Герберт Уэллс





H. G. Wells



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений
выходит под общей
редакцией
Ю Кагарлицкого.

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

(1866—1946)

Знакомясь с писателем по критической статье, читатель обычно прежде всего узнает его биографию. Иначе обстоит дело, когда в руки ему попадают только что вышедшие книги его вчера еще неизвестного современника. О человеческом облике писателя на первых порах приходится судить по его произведениям. Именно так судили о молодом Уэллсе — он слишком быстро приобрел всемирную славу.

Русский читатель тоже познакомился с Уэллсом-художником прежде, чем с Уэллсом-человеком Его произведения начали переводить на русский язык почти сразу после их появления в Англии. «Борьба миров» вышла у нас в том же году, что и на родине писателя, а впоследствии, когда наладились связи Уэллса с русскими литераторами, многие романы Уэллса выходили в России и в Англии почти одновременно. Уже в 1901 году издательство Пантелеева предприняло попытку издать собрание сочинений Уэллса. Правда, по каким-то причинам вышли в свет только самые первые тома, но в 1909 году в петербургском издательстве «Шиповник» было начато и в последующие годы почти доведено до конца относительно полное по тем временам собрание сочинений Уэллса. Это собрание сочинений было первым не только в России, но и во всем мире. Редактировал его известный народоволец, крупный этнограф, языковед и писатель Владимир Германович Тан-Богораз. Он же написал большую вступительную статью.

В двадцатых годах под редакцией писателя Евгения Замятина начало издаваться новое собрание сочинений Уэллса. Закончить его не удалось, многие произведения шли в сокращенных переводах, но круг наших представлений о творчестве Уэллса все же расширился. Третье собрание сочинений — в него вошли только фантастические романы, но зато все, написанные к этому времени,— было издано в 1930 году под редакцией М. Зенкевича. Предисловие к нему написал

А. В. Луначарский. Три собрания сочинений за двадцать лет, не говоря уже о бесчисленных сборниках и отдельных изданиях! Не многие иностранные писатели удостаивались у нас подобного интереса.

В 1909 году Уэллс черпал сведения о России оттуда же, откуда в России черпали сведения о нем,— из книг. «Когда я думаю о России, я представляю себе то, что я читал у Тургенева...— писал он в предисловии к русскому собранию сочинений 1909 года.— Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками, где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых, где много икон и бородатых попов, где плохие, пустынные дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть, все это и не так; хотел бы я знать, так ли это». Россия 1909 года по Тургеневу? Россия, «где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых», после революционной бури 1905 года? Конечно, Уэллс здесь сказал не все, что знал о России. Его письма и статьи той поры полны упоминаний о русских писателях — Льве Толстом, Достоевском, Мережковском, Горьком. С Горьким он был уже знаком — они познакомились в Нью-Йорке в апреле 1906 года, когда озверевшие мещане травили Горького,— и не без гордости называл его своим другом. С Толстым он в том же 1906 году обменялся письмами. И все же, надо думать, в России вернее судили об Уэллсе, чем он представлял себе нашу страну. Его знали как интересного фантаста, как писателя, стремящегося к широчайшему охвату действительности, как человека, задумывающегося над самыми кардинальными проблемами современности. А потом и лично с ним познакомились.

В Россию Уэллс впервые приехал в январе 1914 года. Его тепло встречали, чествовали, «Всероссийское литературное общество» преподнесло ему адрес, который потом лежал на видном месте в его кабинете, где, между прочим, висели русские лубочные картинки, изображавшие Троице-Сергиевскую лавру, Соловецкий монастырь и монашескую трапезу... Уэллс ходил по Невскому, наблюдая оживленную жизнь города, завязывал знакомства, чуть не до утра беседовал и спорил с людьми, набирался впечатлений и примечал мелкие черты быта, которые так умеет ценить писатель.

Его тоже рассматривали и изучали. Не без удивления. «Помню, как тогда его несколько прозаическая наружность меня поразила своим несоответствием с тем представлением, которое естественно создается об авторе стольких замечательных книг, то блещущих фантазией, то изумляющих глубиной мысли, яркими мгновенными вспышками страсти, чередованием сарказма и лиризма,— писал два года спустя В. Д. Набоков, близкий в те годы ко многим передовым русским писателям.— Поневоле ждешь чего-то необыкновенно-

го,— думаешь увидеть человека, которого отличишь среди тысячи. А вместо того — как будто самый заурядный английский сквайр,— не то делец, не то фермер. Но вот стоит ему заговорить со своим типичным акцентом природного лондонца среднего круга — и начинается очарование. Этот человек глубоко индивидуален. В нем нет ничего чужого, заимствованного. Иногда он парадоксален, часто хочется с ним спорить, но никогда его мнения не оставляют вас равнодушными, никогда вы не услышите от него банального общего места. По природе своей, по складу своего таланта он представляет редкую и любопытную смесь идеалиста и скептика, оптимиста и сурового едкого критика. Эти противоречивые черты его духовной сущности выражаются и в книгах его и в разговоре».

Внешность обманчива? Да, пожалуй. Книги и беседы Уэллса могли сказать о нем больше и вернее, чем его внешность заурядного «не то дельца, не то фермера», и все-таки внешность неплохо его характеризовала. Среди контрастов, которыми поражают произведения Уэллса, есть один самый важный. Контраст между обывателем и великолепным мыслителем, фантастом, художником. И обыватель и художник — авторы книг, написанных Уэллсом. Чаще всего писатель изгоняет обывателя, ему ненавистного. Но иногда они дружно усаживаются вместе за письменный стол...

Этот контраст увидели и оценили в Петрограде и Москве шесть лет спустя, когда Уэллс снова приехал в Россию — разоренную, голодную, боровшуюся не на жизнь, а на смерть — и рассказал о своей поездке в знаменитой книге «Россия во мгле». О пребывании Уэллса в России в 1920 году написано много. Еще больше написано о его книге. Но, пожалуй, лучшее из воспоминаний об Уэллсе принадлежит Ольге Берггольц, никогда не встречавшейся с ним, а только видевшей Петроград того же 1920 года.

«Уже много лет спустя,— пишет О. Берггольц в своей автобиографической повести «Дневные звезды»,— я узнала, что примерно в те же годы, когда мы возвращались в Питер, чуть ли не в те же дни на родину мою приезжал известный английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, и прочла его книгу об этом путешествии.

Он ехал по той же железной дороге, что и мы, он видел таких же женщин, мужчин и детей, как мы, он видел *нас*. Но мы жили, а он смотрел. Смотрел, как на сцену, из окна отдельного купе в хорошем вагоне, где ехал со своим сыном, со своим английским кофейным прибором, пледом и консервами, привезенными из Англии. Их сопровождал «приставленный в Петрограде» матрос, перевитый пулеметной лентой, который зорко следил, чтобы никто не обидел знаменитого гостя, на остановках бегал для него за кипятком, а кипяток набирал в «серебряный чайник с царской монограммой», настолько «прелестный», что Уэллс этот чайник запомнил... Английский писатель был ужасно недоволен, что едет не экспрессом, а скорым, и непрерывно сварливо донимал

балтийского матроса с серебряным чайником политическими претензиями... «Уста мои разверзлись,— писал он впоследствии,— и я заговорил с моим проводником, как моряк с моряком, и высказал ему все, что думал по поводу русских порядков...» Писатель упоминает также, что испытывал острое раздражение из-за ответов матроса, который, выслушав «мою длинную едкую речь, весьма почтительно отвечал одной стереотипной, очень знаменательной для современного настроения умов в России фразой: «Видите ли,— говорил он вежливо,— блокада! Блокада четырнадцати держав...» И автору «Борьбы миров», описавшему войну людей и марсиан, непонятно было,что вкладывал матрос в эту «стереотипную» вежливую фразу: «Видите ли, блокада...» До сих пор думаю, сколько выдержки потребовалось матросу, чтобы не ответить «по-балтийски» брюзжащему писателю... В те дни даже мы, дети, еще в Угличе пели, что у Колчака «мундир английский»... О, как любит мое детство этого неизвестного, через много лет узнанного матроса, как не прощает ничего знаменитому писателю — сильнее, чем зрелость!»

При этом «Россия во мгле» отнюдь не была антисоветской книжкой. Герберт Уэллс приехал в Советскую Россию не для того, чтобы опорочить ее, а для того, чтобы честно разобраться в происходящем. И во многом он разобрался совершенно правильно. Он писал, что большевики — это единственная партия, которая может управлять Россией, он воздал по заслугам белогвардейцам, назвав их попросту разбойниками, он растолковал миллионам читателей на Западе, получавшим с каждым номером большинства буржуазных газет новую порцию антисоветской клеветы, что отнюдь не большевики виноваты в разрухе и бедствиях населения, а царизм, втянувший Россию в бессмысленную и разорительную войну, белогвардейцы и их западные пособники. Даже его известная фраза о Ленине — «кремлевский мечтатель» — была при всем неверии Уэллса в реальность ленинских планов исполнена восхищения перед силой духа вождя русской революции. Это восхищение Лениным Уэллс пронес через всю жизнь. Оно тем больше укреплялось, чем больше Уэллс с течением времени убеждался в том, что ленинский план преобразования России опирался на верный научный расчет. И все-таки Уэллс поражает в этой книге какой-то удивительной для писателя сосредоточенностью на своих давно устоявшихся представлениях, которые не удалось раскачать даже таким грандиозным событиям. Можно ценить Уэллса за то правдивое и честное, что он сказал в этой книге, можно поражаться его недальновидности в оценке будущего Советской России, но в любом случае нельзя не увидеть всю неприложимость мерки Уэллса к масштабу происходящих событий — историческому и человеческому.

И это тот самый Уэллс, который прославился умением достоверно описать никогда им не виденное, схватить самую суть грандиознейших мировых процессов, осмыслить и объ-

яснить их так, что чем дальше, тем больше мы поражаемся силе его ума.

Что это, случайный срыв? Нет, ни о какой случайности здесь не может быть и речи. Просто в книге о чужой стране, и к тому же стране, переживающей крупнейший в мировой истории социальный переворот, наиболее полно сказались обычные недостатки Уэллса. Недостатки политические, человеческие да и просто писательские. Разве, скажем, в одной лишь «России во мгле» Уэллсу так трудно проникнуть в душу людей и отрешиться от себя? В публицистической книге ему только труднее было преодолеть этот свой недостаток. Люди, знавшие его, неизменно свидетельствовали о подозрительной похожести героев Уэллса на автора и ближайшее его окружение. Путешественник по времени и невидимка Гриффин с их порывистостью, способностью месяцами увлеченно работать, внезапными прозрениями и такими же внезапными вспышками ярости — это сам Уэллс в те годы, когда писались эти книги. Героиня «Истории мистера Полли» — это мать Уэллса. Героиня «Анны-Вероники» — его вторая жена, Эми Кэтрин Уэллс. Ее возлюбленный — опять же сам Уэллс. Иногда Уэллс пробовал оспаривать это сходство. Иногда прямо признавался в автобиографичности тех или иных своих персонажей. В последнем случае спорить с ним не приходится.

Разумеется, все эти бесчисленные Уэллсы не кажутся читателю одним и тем же лицом. Как-никак Уэллс пишет не автобиографию и старается по возможности отстранить от себя героя, наделить его собственной жизнью и характером. И если колоссальная сосредоточенность писателя на самом себе мешала этому, то в другом отношении она же ему помогала.

Когда Уэллс на старости лет взялся за перо мемуариста, он сумел рассказать сам о себе без особых прикрас. Но еще до этого он рассказал о себе во множестве романов. Перед нами раскрылся изменчивый и вместе с тем цельный образ человека, принадлежащего своему времени, своей стране, своему классу и одновременно всему человечеству, ибо настоящая литература, рассказывая правду о своем времени, неизбежно находит новую частицу правды о человеке и человечестве.

Произведения Уэллса написаны человеком со своеобразным кругом жизненных представлений, своими достоинствами и недостатками, человеком, многого вокруг себя попросту не замечавшим. И вместе с тем они написаны великим писателем. Мало кто так ограничен личными своими понятиями, как Уэллс. И мало кто, подобно Уэллсу, умел так возвыситься над собой и перехлестнуть мыслью стандарты эпохи. Уэллс — яркая и многообразная личность. Он очень оригинален и очень типичен. И если его оригинальность бросалась в глаза прежде его типичности, то лишь потому, что он во многом шел впереди своего времени. Иногда на шаг или на два. Иногда на целую милю.

В его личной судьбе, впрочем, не было ничего особенно оригинального. Во всяком случае, для двадцатого века.

От века к веку в литературу приходило все больше разночинцев. Было время, когда за плечами писателя стояли, как правило, либо знатная родословная и бедность, либо отсутствие родословной и немалое состояние. В таком случае родословную покупали за деньги. В восемнадцатом и девятнадцатом веках количество тех, кто нуждался в этой покупке, заметно возросло, но у писателей как-то отпала охота к таким бессмысленным тратам. В двадцатом веке простолюдины буквально хлынули в литературу. Понятие «хорошей семьи» изменилось. Считалось вполне достаточным, если родители имели какую-либо интеллигентную профессию. Но писатели двадцатого века не могли в большинстве своем похвастаться даже этим. Они приходили, что называется, кто откуда.

В каждой мещанской семье, надо думать, гордятся какими-нибудь родственниками, достигшими многого на жизненном поприще. Семья Уэллса не составляла исключения. Там гордились дедом, старшим садовником лорда Лисли, и другим дедом, который какое-то время, пока не разорился, содержал деревенский трактир. Дети этих почтенных людей не сумели уже так высоко подняться по общественной лестнице. Дочь трактирщика Сара Нил была горничной в старинном поместье Ап Парк, сын старшего садовника, Джозеф Уэллс,— младшим садовником в том же Ап Парке. Во всяком случае, так обстояло дело, когда они познакомились. И если у Сары Нил, с ее истовой религиозностью, почтением к вышестоящим и твердым характером, были еще какие-то надежды на повышение, то у младшего садовника — решительно никаких. Он был веселый, добрый, но не очень работящий парень, увлекавшийся только игрой в крикет.

Впрочем, именно крикет выручил Сару и Джозефа, когда они поженились и приобрели посудную лавку в Бромли, маленьком городке неподалеку от Лондона. Сара Уэллс очень гордилась независимым положением жены лавочника, но одной гордостью не проживешь, а лавка почти не приносила дохода. Тогда-то Джозеф Уэллс и стал профессионалом, начал играть в крикет за деньги. Лавка обеспечивала им респектабельность, крикет — возможность ее поддерживать и не обнищать вконец.

В их тесном и грязном домике, где сияла чистотой только выходившая на улицу витрина, и родился 21 сентября 1866 года Герберт Уэллс. Жизнь городка текла сонно, размеренно. Лениво переговаривались, стоя в дверях своих лавок, обитатели центральной, торговой улицы, где жили в числе прочих Уэллсы. Изредка появлялся покупатель. Его примечали издалека и тотчас начинали гадать, к кому он зайдет. Здесь тоже существовала своя табель о рангах. Аптекарь считался на голову выше всех остальных. За ним шли хозяева галантерейных, посудных и прочих лавок. Потом всякие там бакалейщики и мясники. Торговавших вразнос за

людей не считали. И тем более презирали обитателей окраин — тех, у кого не было никакой собственности и чьи дети ходили в бесплатную казенную школу.

Сара Уэллс, конечно, не допускала и мысли о том, чтобы отдать сына в школу, где учились дети простонародья. Его определили в «Коммерческую академию Морли». В этом названии все было обманом, кроме разве последнего слова. Фамилия хозяина, директора и главного учителя действительно была Морли. В школе, правда, учили кое-каким основам коммерции — усерднее всего четырем правилам арифметики,— но называлась она так прежде всего потому, что в ней учились дети «коммерсантов», как предпочитали именовать себя бромлейские лавочники. А слово «академия» было приманкой, чтобы лавочники охотнее отдавали туда своих детей. И Герберт стал усердным учеником «Коммерческой академии», хотя при всем своем усердии он очень мало что там приобрел.

В «Опыте автобиографии» Уэллс с удивительной скрупулезностью прослеживает свою родословную. И делает он это отнюдь не в надежде открыть какого-нибудь знатного или культурного предка. Напротив, он с удовольствием выясняет, что таковых у него не было. С незапамятных времен все Уэллсы и Нилы были слугами, в лучшем случае лавочниками. Они принадлежали к замкнутому классу, у которого были свои традиции, свои обязательные занятия, своя гордость — господские слуги из крупных поместий и бывшие господские слуги, которые прикопили деньжат и вышли в мелкие лавочники. Этот класс просуществовал не одно столетие и был очень сплочен благодаря единству понятий, общим страхам и общим надеждам. Внутри этого класса был свой снобизм, но еще больше он проявлялся по отношению к тем, кто стоял ниже на общественной лестнице.

Уэллс не был чужд ни этого снобизма, ни этой гордости. «Я — мелкий буржуа»,— напоминал он при всяком случае. Иной раз это приобретало характер какой-то озлобленной бравады. Однажды к Уэллсу пришел студент, который, то ли из почтения к прославленному писателю, то ли думая, что тот стыдится своего простонародного происхождения, все время обращался к нему «как к джентльмену». На пятый раз разъяренный Уэллс по-купецки запустил в него бутербродом. Бывало и такое... Но чаще Уэллс сам очень умно анализировал свои представления и свой характер выходца из «низшего среднего класса», как в Англии вежливо именуют мещанство. И неизбежно приходил к выводу, что его взгляд на мир прочно обусловлен двумя факторами: происхождением и характером образования.

Уэллс, например, вполне откровенно говорил, что если он «никогда не верил в превосходство низших» (иными словами, рабочего класса), то это, безусловно, связано с внушенным еще в детстве мелкобуржуазным снобизмом. Но ведь в конце концов Уэллс не стал наследником посудной лавки. Он перерос свою семью, перерос и ее понятия. Так что, ко-

гда мы говорим о приверженности и верности Уэллса своему «низшему среднему классу», речь идет о чем-то гораздо большем, нежели о неизжитых семейных предрассудках, как бы ни были они типичны и характерны.

Слово «мещанство» не всегда точно характеризует английскую мелкую буржуазию. Слишком заметны ее отличия от мещанства в странах, прошедших иной путь развития. В тех странах, где иногда на протяжении жизни одного поколения по нескольку раз менялся весь уклад жизни, где экономика развивалась ускоренными темпами, мещанское состояние оказывалось для огромного числа семей временным, переходным. Мелкий буржуа либо поднимался к богатству и преуспеянию, либо разорялся и попадал в число пролетариев, либо выходил в интеллигенты. Совершенно так же, как до Французской революции 1789 года основным «поставщиком» интеллигенции было мелкое духовенство, после революции демократическая интеллигенция выходила из мещанства. Все эти процессы, разумеется, были характерны и для Англии, но в очень ослабленном виде. Когда английский драматург и романист Э. Булвер-Литтон захотел изобразить процесс приобщения мещанина к правящим классам, он после недолгого раздумья решил написать свою пьесу «Лионская красавица» все-таки на французском, а не на английском материале. В Англии, писал он в предисловии, подобные процессы настолько замедленны, что изобразить их в драматическом произведении очень трудно.

В Англии положение мелкого буржуа было устойчивым— наглядный пример тому дает семья Уэллса. Английская средняя буржуазия сформировалась значительно раньше, чем на континенте, и пробиться в ее ряды было не очень просто. С другой стороны, нужда в интеллигенции росла постепенно, гуманитарные профессии пополнялись по традиции за счет дворянства или же духовенства, технические профессии в заметной мере — за счет выходцев из самого старого в мире рабочего класса.

Как известно, психология мелкого буржуа определяется двумя факторами: тем, что он труженик и одновременно — собственник. Этот тип психологии особенно прочно закрепился в Англии в силу того, что родословная английского мещанства так длинна. Он был очень традиционным, этот «низший средний класс», и среди его традиций наряду с самыми отталкивающими были и такие, какими по праву можно было гордиться.

Буржуазная революция в Англии завершилась, как известно, в конце XVII века компромиссом между верхушкой буржуазии и дворянством, и от десятилетия к десятилетию плодами этого компромисса начали пользоваться все более широкие круги средней буржуазии. Буржуазия, хотя роль ее политических представителей приняли на себя дворяне и сами по себе буржуа были несколько стеснены в правах, стала соучастницей в подавлении низших классов. Эти низшие классы еще только начинали приобретать самостоятельное

политическое значение или же, наоборот, утрачивали его: крестьянство разорялось и распадалось, рабочий класс только формировался. В подобных условиях мелкая буржуазия оказалась опорой и естественной надеждой демократии. В произведениях большинства английских просветителей самого демократического направления постоянно можно встретить упоминания о достоинствах «среднего состояния», то есть той степени обеспеченности, при которой человек не настолько богат, чтобы угнетать других, и вместе с тем не настолько беден, чтобы его можно было купить подачками.

Просветительство — этот сложный, противоречивый и вместе с тем по-своему очень цельный комплекс философских, эстетических и политических представлений — сформировалось в XVIII веке. Позади была Английская буржуазная революция, компромиссная, но тем не менее оставившая огромный след в умах передовых людей всех стран Европы. В Англии, стране буржуазных свобод, относительной веротерпимости, развитой промышленности и более высокого, чем в феодальных странах, жизненного уровня, видели образец для своих стран французские и первые немецкие просветители. Но время шло своим чередом. Становилось ясно, что другие страны не просто будут «подтягиваться» к Англии, взяв ее правопорядки за образец, а двинутся дальше. Молодой Вольтер мечтал о политическом компромиссе в своей стране на английский манер. Он ненавидел абсолютистский произвол и клерикальное мракобесие, но боялся революции и верил, что можно без нее обойтись. Однако на старости лет он уже признавал неизбежность революции и говорил о ней как о «прекрасном времени», которое предстоит стране.

Сам по себе английский «низший средний класс» все время колебался между революционностью и законопослушанием. Он примкнул к чартизму, который, как говорил В. И. Ленин, представлял собой «первое широкое, действительно массовое, политически оформленное, пролетарски-революционное движение» [1], и выходцы из мелкой буржуазии даже в какой-то мере его возглавили, но это, по словам Энгельса, и было одной из причин поражения чартизма. Этот класс боролся за расширение числа избирателей, чего требовал и рабочий класс, но, когда ему были пожалованы избирательные права, сразу почувствовал себя «становым хребтом нации» и сделался неплохой опорой для правящих классов. Появление крупной промышленности должно было, казалось, лишить его главной экономической опоры. Ручной труд сделался непроизводительным, а мелкому ремесленнику не под силу поставить в своей мастерской огромную, дорогостоящую паровую машину, которая оправдывала себя лишь в случае, если приводила в движение десятки, а то и сотни станков. Но в 1860 году француз Ленуар начал производство и продажу маленьких, вполне доступных по цене двигате-

[1] В. И. Ленин. Соч., V изд., т. 38, стр. 305.

лей внутреннего сгорания, работавших на светильном газе, и положение заметно исправилось. Потом появилось электричество, и мелкие производители не нуждались больше в собственных источниках энергии. Ремесленников пожирали монополии, но они снова как-то выныривали, быстрее поспевая за модой. Доля мелкой буржуазии в национальном доходе быстро уменьшалась. То, что производила она, не могло идти ни в какое сравнение с тем, что производила промышленность. В торговле ее оборот составлял все меньшую долю по сравнению с оборотом крупных торговых фирм. Но само по себе число мелких буржуа оставалось солидным.

Когда Уэллс говорил о себе как о мелком буржуа, он имел в виду не только то, что был сыном лавочника. В гораздо большей степени речь шла о духовном родстве с этим исторически сложившимся классом, пронесшим через века свою демократическую традицию, доказавшим свою гибкость, жизненность, приспособляемость, а теперь, по мнению Уэллса, теряющего самые отрицательные свои качества: косность, необразованность и враждебность прогрессу. Именно на рубеже XIX и XX веков, когда Уэллс вступал в жизнь, из среды мелкой буржуазии впервые начала быстро рекрутироваться интеллигенция, и собственная судьба представлялась Уэллсу в этом смысле очень типичной.

Впрочем, стать хотя бы еще и не прославленным писателем, а просто человеком интеллигентной профессии и соответствующего склада мышления оказалось для Уэллса не просто. При всех его выдающихся способностях Уэллс уже подростком и юношей напрягал все силы, пользовался каждой свободной минутой для того, чтобы по возможности зачинить колоссальные прорехи в своих знаниях. Школа готовила из него приказчика, не более того, а он мечтал стать ученым. Но этого от него меньше всего ожидали. Сын лавочника становится лавочником. Такова была освященная веками традиция, а традиции в Англии всегда почитали, и министерство просвещения в этом смысле не составляло исключения.

Надо сказать, что, уже став прославленным писателем, Уэллс потратил немало времени и сил для того, чтобы улучшить и демократизировать систему народного просвещения в Англии. Он написал несколько сочинений по педагогике, популяризировал по всей стране опыт передовых учителей, помог основать первую в Англии школу с преподаванием русского языка. В эту школу он и отдал впоследствии своих детей.

Но сам-то он был сыном лавочника, и у его родителей были соответствующие представления о месте, которое он должен занять в жизни. Четырнадцати лет Герберта отдали в мануфактурную лавку. Однако он оказался настолько бестолковым учеником, что скоро его вернули родителям. Тогда Сара Уэллс устроила его в аптеку. Это было самое высокое положение, на которое он, казалось бы, мог рассчитывать, и родители, вероятно, заранее гордились, представляя себе сы-

на провизором. Но плата за обучение фармакопее оказалась слишком высока. Из аптеки его забрали.

К этому времени в жизни Уэллсов произошли новые перемены. Отец Герберта сломал ногу и не мог больше зарабатывать игрой в крикет. Мать вынуждена была снова пойти в услужение. Она вернулась в Ап Парк,— правда, теперь уже на положение домоправительницы. Но для щепетильно честной Сары Уэллс эта должность не оказалась хлебной. Словом, Герберту опять надо было искать место. И он опять очутился в мануфактурной торговле. На этот раз его не прогнали. Началось продвижение по службе. Год спустя он был уже младшим приказчиком. Но отвращение молодого Уэллса ко всем профессиям, которыми зарабатывали себе на хлеб многие поколения его предков, и его тяга к знаниям были так велики, что, когда у него появилась надежда занять место помощника учителя в Мидхерсте — том самом городке, где он был учеником в аптеке и заодно посещал грамматическую школу,— он попросту удрал из магазина.

Лето он прожил у матери. А потом сбылась самая радужная его мечта. Он стал человеком интеллигентной профессии — школьным учителем. Вернее, помощником учителя. Диплома у него, как легко понять, не было. Но это теперь был только вопрос времени. Он учился с утра до ночи...

Мануфактурная лавка, аптека, Ап Парк, провинциальная школа... Сделайся Уэллс ученым, как он мечтал, такое медленное и трудное продвижение к цели дало бы его сверстникам, получившим систематическое образование, преимущество перед ним. Но Уэллс в эти годы, сам не зная того, готовился стать писателем. Люди, которых он встречал, да и он сам, должны были стать его героями, мануфактурная лавка, аптека, Ап Парк и школа — местом действия. С приказчиком из мануфактурной лавки мы встретимся потом в романе «Киппс», аптека и Ап Парк — это место действия романа «Тоно Бенге», школа — романа «Любовь и мистер Люишем». В своей статье о Льве Толстом Уэллс писал, что для настоящей реалистической литературы необходимо, как воздух, знание всех мелких деталей жизни, ее подробностей. Этих подробностей Уэллсу было не занимать. Они открылись ему не как стороннему наблюдателю, а как посвященному. Он был причастен к быту лавки, аптеки, аристократического поместья, провинциальной школы, но с детства мечтал оттуда уйти и смотрел вокруг себя взглядом немного отчужденным. Он запечатлевал в памяти черты мира своего детства и юности, чтобы вспомнить потом о нем с грустью, с юмором, с раздражением — с раздражением, когда особенно живо припоминались примеры косности, ограниченности, мелочности интересов. Уэллс справедливо называл себя мелким буржуа, много писал о мещанстве, но он ведь не просто поднялся над своим классом. Он из него вырвался ценою борьбы с обстоятельствами, и нелегкой внутренней борьбы. Те люди, которые окружали его в детстве, были не только его средой — это

были его противники, хватавшие его незримыми руками, старавшиеся удержать при себе.

Впрочем, время теперь было не такое, чтобы Герберт добровольно пошел по стопам своих законопослушных предков. Его отец, человек непоседливый, любопытный, с душою бесшабашной и вольной, всю жизнь смирял себя. Он был очень своеобразной личностью, но считал это пороком. Теперь же, на пороге нового века, все рушилось, смещалось, старые понятия не вызывали былого уважения. Мало того, что Герберт сбежал из мануфактурной лавки. Его брат Фрэнк, которого совсем было удалось сделать «аршинником», потеряв старое место, не пожелал искать нового и пошел бродить по округе, зарабатывая себе пропитание починкой часов и находя неизъяснимое наслаждение в бесконечных беседах со встречными. Сын людей, мечтавших всю жизнь о респектабельности и твердом положении в обществе, сделался бродячим ремесленником — не по нужде, по своей воле! Чарлз Диккенс на старости лет жалел, что ему не удалось побродить по стране, занимаясь починкой часов или плетением стульев из лозняка. То, о чем мечталось прославленному писателю, четверть века спустя осуществил, сам того не зная, Фрэнк Уэллс — скромный мануфактурщик. Какой-то инстинкт бродяг и художников жил, видно, в семье Уэллсов и теперь прорвался наружу. И Герберт всю жизнь горячо любил своего брата — этого, с общепринятой точки зрения, неудачника, а по его мнению, человека, сумевшего осуществиться как личность. Много лет спустя Уэллс изобразил поступок Фрэнка в повести «История мистера Полли». Сюжет он придумал. Характеры взял из жизни. Мистер Полли — это Фрэнк, миссис Полли, как уже говорилось,— Сара Уэллс.

Осуществиться как личность... Время делало это теперь мечтою многих, но не слишком помогало выполнить эту задачу. Викторианская эпоха (время правления королевы Виктории, с 1837 по 1901 год) создала необычайно определенные, прочные, всеохватывающие стандарты существования. Устойчивые формы жизни. Устойчивые формы мысли. Традиция и неподвижность во всем. Почитание давно ушедших времен. Недоверие к новому. Прогресс, но такой постепенный, преемственный, что он лишался революционизирующего влияния на человеческую мысль. Великие открытия и неусыпное старание не позволить им расшевелить умы. Так было десятилетиями. Такой открылась Англия людям того поколения, к которому принадлежал Уэллс. И многие из них не приняли эту Англию. Теперь люди почувствовали себя неуютно в обжитом и косном мире викторианского благополучия, но этот мир цепко держал их. Мещанин ненавидит не похожего на себя, а викторианский мир был от начала до конца мещанским. Мещанину не обязательно быть мелким лавочником. В «высших сферах» мещанство было только самоувереннее, спокойнее за свое благополучие, тверже в исповедании своего символа веры. Вступить в противоречие с по-

вседневным бытом викторианской Англии значило сделать первый шаг по дороге, ведущей к конфликту с ее социальным укладом. Такой путь проделал до Уэллса видный английский писатель и общественный деятель Уильям Моррис. Он начал с возмущения неэстетичностью и стандартностью быта и человеческих душ и пришел к социализму. Уэллс, который с молодых лет хорошо знал работы Морриса и не раз посещал его публичные лекции, соглашался с ним далеко не всегда и не во всем. Но он высоко его ценил и отдал ему дань уважения своей повестью «Чудесное посещение». Ангел в «Чудесном посещении» — это ангел искусства, освобождающего человека от сковывающих норм повседневности и приобщающего его к Человечеству.

Своим освобождением Герберт Уэллс был немало обязан искусству. Для него, как для Горького, книга была прорывом в большой мир — мир подлинных чувств, мир мысли, недоступной его среде. С юных лет он читал запоем. В доме Уэллсов книги почти не водились, не слишком увлекались чтением и обитатели Ап Парка. Книги там пылились на полках. Они остались от прежних, давно умерших владельцев поместья. Библиотеку собирали еще в XVIII веке. И если в чтении этого юноши из людской появилась какая-то система, то он обязан был этим подбору библиотеки Ап Парка. Он с жадностью поглощал произведения Свифта, Вольтера, Платона, Томаса Мора — просветителей, философов, утопистов.

Еще большим он был обязан науке. В мидхерстской школе Уэллс получил полную свободу в преподавании естествознания. Успехи молодого учителя оказались так велики, его ученики обнаружили такие хорошие знания на экзаменах в учебном округе, что ему предоставили право прослушать за казенный счет курс биологии в одном из колледжей Лондонского университета — так называемом Ройал Сайенс колледже. Это был тот самый колледж, где работал Чарлз Дарвин, умерший немногим более чем за год до того, как в стены его вступил Герберт Уэллс. Еще за несколько лет до смерти Дарвина его место на лекторской кафедре заступил другой крупнейший английский биолог, Томас Хаксли. Студенты старших курсов рассказывали, что иногда раздвигались портьеры на дверях лекционного зала и позади Хаксли незаметно появлялся Дарвин, решивший послушать своего любимого ученика.

Уэллс много раз описывал обстановку этого учебного заведения и царивший в нем дух яростной погони за знаниями. Состав студентов был самый разношерстный. Здесь учились дети людей, успевших уже прославить себя на научном поприще, и дети лавочников, сапожников, портных. Со студентами, учившимися на казенный счет, обращение было иное, нежели со своекоштными студентами. Каждого из получавших стипендию могли в два счета выгнать из колледжа, профессора, разговаривая с ними, не предлагали им сесть, но их было здесь большинство, они были среди своих. И они чув-

ствовали, что занятия в колледже отвечают их жажде нового, их потребности осмыслить жизнь.

Этому помогал сам предмет занятий. Слушая лекции биологического цикла, студенты колледжа не только приобретали знания — они учились мыслить. «Изучение зоологии в то время,— писал Уэллс в своем «Опыте автобиографии»,— складывалось из системы тонких, строгих и поразительно значительных опытов. Это были поиски и осмысление основополагающих фактов. Год, который я провел в ученичестве у Хаксли, дал для моего образования больше, чем любой другой в моей жизни. Он выработал во мне стремление к последовательности и к поискам взаимных связей между вещами, а также неприятие тех случайных предположений и необоснованных утверждений, которые и составляют главный признак мышления человека необразованного в отличие от образованного». И вместе с тем, по словам Уэллса, еще не раскрытый механизм эволюции оставлял свободу для самых смелых и неожиданных гипотез. Сочетание скрупулезной верности фактам с очень широким их осмыслением, со смелостью предположений — вот что приобрел для себя будущий писатель, слушая курс профессора Хаксли. И главное — он научился мыслить вне предписанных схем. Он чувствовал потребность самостоятельно изыскивать факты и приводить их в систему, далеко простирающуюся за пределы отдельной науки.

В этом влияние Хаксли на Уэллса было огромным. Издаваемый Королевским обществом журнал до сих пор носит название «философского». Уже во времена Хаксли это было данью традиции, воспоминанием о тех временах, когда естественные и точные науки считались отраслями философии. Но Томас Хаксли действительно придавал своим открытиям и построениям, не выходившим, казалось бы, за рамки биологии, философскую направленность. Каждая отдельная наука, считал он,— это средство осмыслить жизнь в целом. «Культура,— говорил он в лекции, прочитанной в Бирмингеме в 1880 году,— безусловно, представляет собой нечто совершенно отличное от знаний и технических навыков. Она включает в себя обладание идеалом и привычку критически осмыслять, в свете теории, ценность вещей. Совершенная культура должна дать законченную теорию жизни...» Для Уэллса наука тоже не замыкалась сама в себе и культура не была просто набором знаний и навыков. Она призвана была представить людям очищенную от предрассудков картину мира. Не избранным — именно всем людям. Хаксли всю жизнь боролся за популяризацию знания и был известен не только как ученый, но и как блестящий и неутомимый лектор в массовых аудиториях. Его ученик Уэллс сумел найти себе аудиторию еще более широкую...

Не меньшее влияние на Уэллса оказала и другая мысль Хаксли.

«Если богатство, которое приносит преуспевающая промышленность, должно быть потрачено на удовлетворение

недостойных желаний, если совершенствование производственных процессов должно сопровождаться все большим унижением тех, кто осуществляет эти процессы, я не вижу пользы ни в промышленности, ни в преуспеянии»,— говорил Хаксли в той же лекции. Он всегда подчеркивал, что человеческое общество должно жить по законам, отличным от законов животного царства, и высшую цель всякой деятельности видел в служении человеку. Животное инстинктивно следует велениям целесообразности Человек их осознает. Но главное его отличие от животного, говорил Хаксли, все же не в этом, а в том, что для человека существует система понятий, недоступная никому, кроме него,— мораль. Прогресс культуры был для Хаксли прогрессом морали. Он всю жизнь боролся за науку и материальный прогресс, но прекрасно понимал, что голое усвоение знаний и технических навыков, бессмысленное увеличение общественного богатства и производства может оказаться для человечества причиной не прогресса, а, напротив, регресса.

Насколько оригинальны были эти положения Хаксли? По-своему вполне оригинальны, несмотря на то, что они входили в философскую систему позитивизма, созданную не им. Но у Хаксли все эти мысли получили иное истолкование. Он выделил из позитивизма и усилил как раз то, что позитивизм заимствовал из философии Просвещения. Позитивисты перетолковывали просветительство на охранительно-буржуазный лад. Хаксли был далек от этого. Его можно назвать «научным гуманистом» — так впоследствии называли его ученика Герберта Уэллса.

Одним словом, биологический факультет оказался для Уэллса лучшей писательской школой. Здесь он всерьез занялся наукой. И здесь же он понял теснейшую связь между вопросами, которые издавна считались заповедной областью литературы,— вопросами морали — и проблемами, составляющими предмет естествознания, точных наук и социологии. Научные проблемы неизбежно подводили его к проблемам общественным, а затем и нравственным.

Вот пример.

Из курса дарвинизма Уэллс узнал, что природа нашла какую-то свою меру целенаправленности и изменчивости, лежащую в основе развития видов. Если бы процесс эволюции каждого вида был раз навсегда предначертан при его появлении, то данный биологический вид был бы лишен возможности приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. С другой стороны, допусти природа ничем не ограниченную изменчивость, вредные изменения забили бы полезные. Современная кибернетика, обратившись к теории Дарвина, подтвердила подобную постановку вопроса. Любой биологический вид очень скоро погиб бы, развивайся он на основах абсолютной определенности или полного отсутствия таковой.

Это положение дарвинизма имело для Уэллса то преимущество перед хитросплетениями современных ему мод-

ных теорий, что оно было научно доказательно, опиралось на объективную реальность. И оно помогло ему найти верную позицию в целом ряде вопросов. Но прежде всего оно подстегнуло его интерес к социологии.

Уроки Томаса Хаксли заставили его задуматься о том, что та мера свободной изменчивости и детерминированности, которую природа нашла в результате великого и трагического эксперимента, длящегося многие миллионы лет и приводившего на отдельных его этапах к гибели целых видов, должна быть найдена человеком — разумным существом — в теории. В этом одна из основ той критики, которой Уэллс подверг буржуазное общество, развивающееся стихийно, подчиненное слепым законам капиталистической экономики. Отсюда же в значительной мере его постоянная критика анархизма, с одной стороны, и фабианской теории «административного социализма» — с другой. Эта критика буржуазного общества и многих буржуазных теорий шла у Уэллса параллельно с критикой эгоистического и безответственного человека, которого порождает буржуазное общество. Подобные мысли он упорно повторял в течение всей своей жизни — и как публицист и как писатель. Но размышлять над этим он начал еще на университетской скамье.

Биология дала только первый толчок фантазии и научным интересам Уэллса. Каждое ее общее положение ему хотелось проверить на примере других наук, узнать, насколько ее выводы совпадают с выводами, сделанными в других отраслях знания, насколько они находят параллель в общественной жизни и всегда ли к ней применимы. Уже в Ройал-колледже он жадно кинулся изучать все, что должно было ему пригодиться в будущем: сочинения по истории, научные трактаты, работы искусствоведов и социологов.

Широта интересов огромная. Но она далеко не сразу принесла ему желанные плоды. А на первых порах только вред. Уэллс в числе лучших студентов окончил биологический цикл и был переведен на второй курс, где изучалась физика. Этот курс он тоже благополучно окончил, но третий курс, минералогический, не одолел. Его собственный план занятий, включавший социологию, искусство, литературу, не совпал с академическим. Уэллса отчислили. Блестящая перспектива стать ученым-биологом и автором социологических и философских трактатов снова ушла в область далеких мечтаний. Он очутился на лондонской улице без диплома и без гроша в кармане. Не блестящий, преуспевающий ученый — студент-недоучка, не сумевший оценить и удержать свое счастье.

Поиски работы привели его в новую провинциальную «академию» с директором, в сравнении с которым незабвенный мистер Морли казался просто светочем мысли, и одичавшими, некормленными учениками, которым вдалбливали в голову, что любой из них может, приняв католичество, сделаться со временем папой римским. У Морли готовили «коммерсантов». Здесь — «римских пап».

Уэллс недолго участвовал в пополнении римской курии. Сказались голодные скитания по лондонским улицам, усиленные занятия, тяжелые раздумья последних месяцев. Он слег с болезнью почек и кровохарканьем. Начался туберкулез. Мать забрала его к себе. И вот он снова в Ап Парке. У разбитого корыта. Он приобрел знания и... болезнь. Ушли несколько лет жизни. С возвращением в родные места вернулись старые страхи. Он снова боялся, что не сможет отстоять себя как личность. И теперь, отлеживаясь и отъедаясь в Ап Парке, избавленный на время от мыслей о заработке, он с новой страстью набросился на учение. Он продолжал выполнять тот самый свой план, который роковым образом разошелся с учебными планами Лондонского университета. Он уже чувствовал себя ученым. Пусть он не сделал еще ни одного открытия, он добился главного: овладел научным мышлением. Но тем острее он ощущал теперь основной свой недостаток — нехватку конкретных знаний, навыков, общей культуры. По масштабам Ап Парка он знал невероятно много. По сравнению с тем, чего хотел добиться, чудовищно мало. Надо было подняться еще на одну ступень.

В эти месяцы в нем вызревал писатель. Писатель совершенно оригинальный и новый. Из тех, что заставили какое-то время спустя заговорить о появлении литературы XX века. Он много писал в это время, и, хотя мало что опубликовал из написанного, ничто не пропало даром. В этих юношеских вещах было заключено удивительно многое от будущего Уэллса.

Совсем недавно английскому исследователю творчества Уэллса Бернарду Бергонци удалось найти в студенческом журнале один из этих ранних рассказов — «Рассказ о XX веке». Он был напечатан в 1887 году, но написан, видимо, раньше: ведь у дверей начинающего писателя не стоят курьеры, готовые, едва он поставил точку, бежать с рукописью в типографию.

Человек сделал изобретение — и умер с голоду. Зато неимоверно обогатились те, кто понимает толк лишь в выколачивании прибылей. Они дали жизнь идее изобретателя. И вот мчится по подземным туннелям поезд новой конструкции, с каждым кругом набирает скорость и не может остановиться: забыли поставить тормоза. И, наконец, ужасный взрыв сотрясает землю. Это — страшное бедствие для города. И вместе с тем избавление. Потому что в поезде ехали коронованные особы, спекулянты, лизоблюды и прихлебатели.

«Рассказ о XX веке» подписан буквами С. Б. Они напоминают принятое в Англии сокращение от «Бэчлор оф сайенс» — «бакалавр наук». Такая подпись была несколько преждевременна и скорее выдавала честолюбивые планы автора, нежели свидетельствовала о реальных его достижениях, но время, когда он приобрел действительное право ставить после своей фамилии эти две буквы, было теперь уже не за горами. В 1888 году он вернулся в Лондон и доволь-

но скоро получил место преподавателя биологии в университетском заочном колледже. Пору провалов сменила пора успехов. В конце 1889 года Уэллс получил, заняв второе место среди экзаменующихся, степень лиценциата. Год спустя — степень бакалавра. Прошел еще год, и он получил высшую степень, которую давал педагогический колледж,— «феллоушип» (нечто вроде звания научного работника).

Наконец-то он был «устроен в жизни». Его преподавательский оклад из года в год увеличивался, он женился, снял дом, открыл счет в банке. Все, о чем мог мечтать заурядный мещанин, обнаруживший в себе способность к науке, осуществилось. Но далеко не все, о чем мечтал Герберт Уэллс.

Он теперь упорно пробивался в журналистику. Это требовало времени, новых навыков, упорной работы. Несколько раз Уэллсу начинало казаться, что он уже занял прочное место среди пишущей братии, но тем больнее била по его самолюбию какая-нибудь новая встреча с редактором, для которого, как выяснялось, он по-прежнему был ничем. И все же он довольно быстро достиг своего. Он писал живо, остроумно, располагал материалом, недоступным для рядового участника еженедельных изданий. Сотрудничеством такого человека трудно было пренебречь. Вскоре он уже не обивал пороги редакций. Теперь редакции сами обращались к нему. Он приобрел известность.

Но Уэллсу этого было мало. Он мечтал переделать литературу по-своему, добиться права на полную самостоятельность суждений, на собственную форму выражения. И работать не где-то около литературы — в самой литературе.

В 1895 году на долю Уэллса выпал первый крупный литературный успех. Мало даже сказать «крупный успех» — он опубликовал «Машину времени», произведение новаторское, означавшее поворот в судьбе целого литературного жанра, а впоследствии, когда было оценено по достоинству сделанное Уэллсом, ставшее одним из краеугольных камней его славы и положения «живого классика».

Но этот будущий классик отнюдь не был преисполнен олимпийского спокойствия. Ни в жизни, ни тем более в творчестве. Слишком о многом ему надо было сказать. Его размышления о судьбах цивилизации были навеяны сегодняшним днем — той Англией, в которой он жил. Англией семидесятых, восьмидесятых, девяностых годов, когда никто не задумывался еще об атомном оружии, не помышлял о планетарном вмешательстве человека в дела природы, не верил по-настоящему в грядущие перемены. То, о чем говорил Уэллс, отнюдь не было спокойным разъяснением и уточнением общеизвестного. Это была яростная попытка внедрить свои мысли в головы людей, желающих слышать только о приятном, растормошить их, выбить почву из-под ног спокойных и благодушествующих. «Во всех своих произведениях,— говорил Уэллс в «Опыте автобиографии»,— я писал об изменении жизни и о людях, думающих, как ее изменить.

Я никогда просто не «изображал жизнь». Даже в самых на первый взгляд объективных книгах, мною созданных, скрыта критика современности и призыв к переменам».

«Во всех своих произведениях»,— коротко сказал Уэллс. Но стоит пробежать глазами список этих произведений, и трудно сдержать удивление. Когда дотошные исследователи подсчитали, сколько слов написал Уэллс в течение жизни, то итог получился внушительный — более двенадцати миллионов. Вот какую массированную атаку предпринял Уэллс на умы своих современников!

Подготовкой к писательству, как выяснилось, было все его прошлое. В неожиданно явившемся литераторе не пропал ученый. Это сказалось в жанре, к которому первоначально обратился Уэллс,— жанре научной фантастики, в словоупотреблении, напоминавшем зачастую язык препараторской, лекционных залов и ученых трактатов и казавшемся поэтому непривычным (сейчас, когда научные термины и обороты на каждом шагу проскальзывают в нашей речи, язык Уэллса уже не производит странного впечатления). Французский историк литературы Луи Каземьян очень удачно сказал о манере, в которой написан «Тоно Бенге». По словам Каземьяна, «Тоно Бенге» представляет собой «широкое, нарисованное с редкостной силой всеобъемлющее полотно жизни, на котором светотень распределена художником с точностью, достойной зависти ученого». Это можно было бы повторить применительно ко многим вещам Уэллса. Он из тех художников, перед которыми имеет преимущество далеко не всякий ученый.

Он не уступает ученому даже в главном — широте и точности мышления. Стиль Уэллса — сколок его мысли, лаконичной, точной, дерзающей. Его пафос — пафос осмысленных фактов. Его юмор из того же источника, что и его талант фантаста,— из умения перейти пределы привычного, открыть в каждой ситуации и факте возможности, неразличимые для невооруженного глаза. Замыслы его вещей под стать масштабам века, ознаменованного великими успехами науки.

Уэллс пришел в литературу со своими взглядами и диктуемым ими творческим методом.

В конце прошлого и в начале нашего века английская литература стала все больше сосредоточивать внимание на человеческой личности. Диккенс и Теккерей заметно уступали в мастерстве психологического анализа лучшим представителям русской и французской литературы. Они показывали человека в очень верных внешних приметах, характеризующих его внутренний мир, и в этом смысле всего только направляли фантазию читателя, перекладывали на него часть работы, которую в России и Франции давно уже взял на себя писатель. После их смерти английские писатели с увлечением кинулись изучать сделанное русскими и французами. Им захотелось поглубже — и самим — заглянуть в души своих героев.

Причины такого поворота понятны. Кончались «золотые годы» старого режима. Королева Виктория еще сидела на троне, но мертвечина викторианства, давящая сила условностей, ощущение неподвижности и вечности царящих порядков, моральных установлений и предписанных форм выражения предписанных чувств изо дня в день расшатывались промышленным кризисом и возродившимся рабочим движением. Даже люди очень далекие от пролетариата и жившие совершенно иными понятиями не могли не ощутить тот толчок, который дала общественной жизни активность рабочего класса, не почувствовать, как переменилась атмосфера. «Из-за ритмического бряцания джаз-банда и тяжелого шума национальных знамен какие другие голоса могли быть слышны? Только недовольные голоса рабочих промышленного мира, выражавших свой протест при помощи стачек»,— писал впоследствии Уэллс, вспоминая это время.

Когда один класс не хочет жить по-старому, остальные при всем желании не могут оставаться при старом. На место застоя приходит движение. В жизни. В человеческих душах. В литературе.

Однако этот процесс психологического обогащения литературы зачастую оборачивался дурной стороной. Занявшись следствиями, писатели забывали причины. Человека стали изображать подробнее, но отдельно от общества. Именно в это время возникло и на многие годы закрепилось, как говорил Уэллс, «убеждение современных писателей... в том, что жизнь и действия человека не определяются политическими и социальными условиями». Старая формула критического реализма «человек через общество, общество через человека» была разрушена.

Уэллс признавал достижения современной литературы, но считал, что они не оправдывают потери. «Почему мы должны считать, что человек — это только его лицо, манеры, его любовные дела? — спрашивал он позже, продолжая давний, начатый еще в юности спор со своими противниками.— Чтобы дать полное представление о человеке, необходимо начать с сотворения мира, поскольку это касается его лично, и кончить описанием его ожиданий от вечности. Если человек должен быть изображен полностью, он должен быть дан сначала в его отношении ко вселенной, затем — к истории и только после этого — в его отношении к другим людям и ко всему человечеству. Мое стремление понять разыгрывающийся вокруг меня социальный конфликт столь же составляет часть меня, как и... мой безразличный для вселенной брак». Идеи и мысли литературного персонажа должны быть «характерны для человека соответствующего склада ума и социального положения», причем в задачу автора входит не просто «показать разные стороны определенного социального типа», но «дать единую цельную личность».

Эти строки написаны сторонником и продолжателем реалистической традиции. Уэллс не был противником литературного эксперимента. С другой стороны, он видел не только

достоинства, но и недостатки английского критического реализма. И все же он говорил, что любой, самый длинный роман Диккенса кажется ему слишком коротким, тогда как, читая произведения Джойса, он все время задается вопросом: чего ради тратить на Джойса столько времени, которого человеку и без того так мало отпущено? Он с интересом и одобрением отнесся к попыткам Джозефа Конрада и Генри Джеймса добиться большей психологической разработки человеческого образа, чем знала английская литература прошлого столетия. И с тем и с другим писателем он одно время дружил. Более того, он сам иногда старался кое-чему у них научиться. Да и Джойсу он писал, что хотя пути у них разные, на земле в конце концов хватит места и для Джойса и для Уэллса. Но он настолько шире этих писателей смотрел на жизнь, в его поле зрения попадало столько явлений, ускользавших от их взора, что расхождений было не скрыть. Он знал не хуже других, что литература должна говорить о человеке, и тем больше ей чести, чем глубже она в него заглянет. Но человек существовал для него прежде всего как часть человечества и средоточие не только биологических, но и социальных сил, и он мало верил в то, что возможен настоящий успех, если подходить к человеку с иной точки зрения. Его тоже не во всем удовлетворяла литература минувшего столетия, но лишь потому, что он мечтал неизмеримо расширить взгляд романиста на вещи.

В приведенном рассуждении Уэллса об образе человека в романе есть слова, которых никогда не сказали бы ни Диккенс, ни Теккерей. «Чтобы дать полное представление о человеке, необходимо начать с сотворения мира...» Человек «должен быть дан сначала в его отношении ко вселенной, затем — к истории и только после этого — в его отношении к другим людям и ко всему человечеству». В этом и состояла самая суть отличия Уэллса как от его предшественников, так и от многих его современников.

Впрочем, литература не придумывается — она создается. Писатель предстает перед читателем не таким, каким задумал стать, а таким, каким оказался в результате огромного числа органически воспринятых литературных влияний, житейского опыта и уроков социальной действительности — всего, что вместе с талантом составляет предварительное условие творчества. Предварительное потому, что создается писатель все-таки в самом процессе творчества.

Симпатии и антипатии Уэллса порой были изменчивы. Он, например, был первым крупным писателем, который приветствовал успех неоромантика Джозефа Конрада. И он же очень скоро начал высмеивать его манеру. Тут он, правда, проявил постоянство. Сорок лет спустя он продолжал отзываться о нем в выражениях, мало приличествующих спокойному и объективному критику: «Прекрасный, но непонятный писатель. Колорадо. Красная икра. На любителя, хочу я сказать. Эдакое изобилие. Облекает простейшие понятия покровом таинственности. Добавляет жизни сложности на

каждой странице». И так далее и тому подобное. Нечего говорить, изменчивые симпатии. Но эта изменчивость была по-своему закономерна. Были писатели, по отношению к которым Уэллс оставался всегда безразличен,— писатели, у которых он ничего не взял для себя. Но по отношению к тем, через чье влияние он прошел, Уэллс был беспощаден. Переработанное считал своим собственным. Все, что откинул, ставил не выше объедков.

Его особые писательские приметы отнюдь не состояли в абсолютном отличии от всех окружающих. Скорее в ином — в том, как своеобразно сказались на его творчестве влияния предшественников и современников, в том, какая яростная борьба понятий, представлений, взглядов началась на страницах его книг. В его романах и рассказах не просто соединились признаки разных литературных манер и разных взглядов на мир. Современная мысль и современные литературные стили предстали в своих сложных связях и противоречиях. Это была дерзновеннейшая и, как выяснилось, успешная попытка расширить охват жизни в романе. То, о чем впоследствии Уэллс писал как о задаче современной литературы, было не советами критика, а рассказом о собственных устремлениях и собственном опыте. Уэллс мечтал, чтобы действительность вошла в литературу в невероятных масштабах. Даже когда речь идет о человеке. «Необходимо начать с сотворения мира... и кончить описанием его ожиданий от вечности». В невероятных масштабах и, значит, в невероятной концентрации. В той степени концентрации, какую дает только мысль, охватывающая судьбы всего человечества и всей нашей планеты, способная выразить — не следует ли отсюда, по Уэллсу, что и заменить? — все, даже чувство. Ибо, спрашивает Уэллс, что такое мысль, если не чувство, «только более утонченное».

Остается ли тут место для человека, права которого в литературе были только что с такой торжественностью провозглашены? И провозглашены совершенно искренне. «Больше всего мне нужно знать, что чувствуют люди, — писал Уэллс, — проникнуть под внешний покров заученного, сквозь инстинктивную защитную броню в самую сокровенную сущность человека... Я живу в эпоху, когда искреннее и глубокое проникновение в человеческие эмоции, к которому я тяготею, встречает отпор и подавляется, когда писателя призывают оставить попытки отражения действительности такой, какова она есть, а заняться изготовлением красивых масок из картона, льстящих тщеславию глупцов и предусмотрительности трусов». Писать о человеке для Уэллса в той же мере значило выполнять свою социальную задачу, как и писать о человечестве в целом. Но не затеряется ли человек, подобно пылинке в грандиозных просторах мироздания, изобразить которое Уэллс поставил себе задачей?

Это было, пожалуй, главной трудностью, которая встала

перед Уэллсом как художником, в такой же мере желавшим обрисовать свой век в его конкретных, вещественных и человеческих приметах, как и передать самое общее, недоступное простому наблюдателю представление о современной действительности. Эта трудность и привела к тому, что творчество Уэллса довольно четко разделилось на два направления. Он писал фантастические романы, где действительность представлена очень обобщенно, и так называемые «бытовые романы». В романах Уэллса «Колеса фортуны», «Любовь и мистер Люишем», «Киппс», «Жена сэра Айзека Хармана» и ряде других мы встретим интересные человеческие характеры, много юмора, много бытовых зарисовок — и ни капли фантастики. Здесь только люди в привычном своем окружении. Романтики или обыватели, люди, пытающиеся понять жизнь и как-то переделать ее, или же недалекие создания, примитивно реагирующие на повороты судьбы... Но Уэллса никак нельзя обвинить в бездумном бытописательстве. Пишет ли он о недалеком приказчике Киппсе или о рвущейся из своего окружения леди Харман, старается ли удержаться от комментариев или перемежает повествование авторскими отступлениями, он никогда не мелочный бытописатель. Самые на первый взгляд непритязательные его вещи очень крепко посажены в ячейки его системы. Когда он писал не о мире в целом, то писал об отношении его «простейших составляющих» — людей — все к тому же миру, увиденному глазами ученого. Однако различие между бытовыми и фантастическими романами в смысле охвата действительности все-таки оставалось значительным, и Уэллс чем дальше, тем больше стремился его преодолеть. Он ввел в свой роман нового героя — ученого, человека, живущего уже не в фантастической, а в конкретной социальной действительности и вместе с тем занятого всеми теми вопросами, которые волновали автора. Так появилось несколько романов Уэллса о судьбе и работе ученого, в том числе лучший из них — «Тоно Бенге».

В раннем творчестве Уэллса дело обстояло иначе. Когда человек и история, человек и человечество, человек и вселенная соединяются вместе в пределах одного произведения, человек рисуется в тех формах, какие до Уэллса придали ему неоромантики,— концентрированных, выпуклых, обобщенных. Тогда только он приходит в соответствие со всем строем романа и масштабом уэллсовской мысли.

Так был написан уже первый роман Уэллса — «Машина времени», где фантастические образы морлоков и элоев должны были выразить мысль Уэллса о бедах, грозящих человечеству, если оно и дальше будет развиваться прежним путем. Порок современного общества Уэллс видит в том, что оно все больше распадается на тружеников и бездельников, и логические выводы из этого положения вещей он изображает в своем романе. В далеком будущем, нарисованном в «Машине времени», потомки теперешних буржуа и пролетариев, это даже не «две нации», а две раз-

ные породы человекоподобных существ — одни в течение многих тысячелетий были лишены благ культуры и просто человеческих условий существования, другие все это время бездельничали. Человек остается человеком только до тех пор, пока он трудится и развивается духовно, утверждает Уэллс. И он обвиняет буржуазное общество в том, что оно, разобщая людей на классы эксплуататоров и эксплуатируемых, оказывается враждебным самой человеческой природе. Конечно, этот роман Уэллса вернее характеризует настоящее, нежели будущее. Мы знаем, что возможность осуществления мрачного пророчества Уэллса исключена уже потому, что человечество не будет жить долго в условиях капитализма. К тому же и биологические рассуждения Уэллса в «Машине времени» неверны. Ученый уступил свое место сочинителю. Но в дальнейшем Уэллс научился ставить на службу литературе точное научное знание.

«Машина времени» была опубликована в 1895 году. В том же году Уэллс узнал о смерти своего учителя. И его следующий фантастический роман, «Остров доктора Моро», оказался лучшей памятью Томасу Хаксли. В этом романе научная достоверность не помешала, а, напротив, помогла ему подняться до той меры обобщения, о которой мечтал Хаксли.

Все знают историю Робинзона Крузо, который прожил двадцать восемь лет на необитаемом острове, причем значительную часть этого времени в полном одиночестве, и не только не растерял свои человеческие качества, но и сделался законченной личностью, своего рода олицетворением всего человечества. Но Робинзон Крузо был не более чем удобной для автора выдумкой. Его реальный прототип, английский моряк Александр Селкирк, за несколько лет совершенно одичал, утерял способность к членораздельной речи, повредился в уме. Не менее известны история Тарзана у Бэрроуза и Маугли у Киплинга. Они в такой же степени противоречат действительности. Науке известны десятки детей, выращенных зверями. Собиранием этих случаев занимался еще Карл Линней, который описал их в своем капитальном труде «Система природы» (1735). Последние сведения о детях, выращенных зверями, пришли в 1956 году из Индии. Эти случаи по-своему единообразны. В руки врачей всякий раз попадали уже не люди, а человекоподобные существа, неспособные ходить на двух ногах, неспособные усвоить человеческую речь, с повадками зверей, их воспитавших. Попытки «очеловечивания» приносили очень малые результаты. Человек в отличие от зверя существует только как часть человечества. Вне общества человек превращается в животное.

В «Острове доктора Моро» Уэллс поставил своеобразный «биологический эксперимент». Доктор Моро на необитаемом острове занимается очеловечиванием зверей, вернее сказать, дает им при помощи последовательных хирургических операций, заменяющих долгий процесс естествен-

ной эволюции, потенциальную возможность очеловечивания. Дальнейшее мало его интересует. Хирургический эксперимент окончен, и очередной человеко-зверь отпускается на все четыре стороны. Но стадный инстинкт собирает животных вместе, а затем у них возникает нечто подобное обществу. Процесс подавления звериных инстинктов, зарождения начатков морали, иными словами, очеловечивания, происходит в этом первоначальном «обществе». Но вот «общество-стадо» распалось, и люди-звери снова возвращаются к животному состоянию.

«Остров доктора Моро» написан сатириком. «Общество-стадо», где люди находятся еще на очень шаткой грани между звериным и человеческим состоянием, жестокость прогресса, олицетворенного в докторе Моро, идиотские молитвы, которые возносят люди-звери своему создателю,— все это нужно было Уэллсу для критики современного общества. Его сатира кое в чем напоминает сатиру Свифта, который изобразил буржуазного индивида в образе звероподобного «йеху». Но Уэллс не просто сатирик, поставивший на службу своим целям знание биологии. Как всякий крупный писатель, он стремится докопаться до первооснов изображаемых им явлений, а как ученый ищет эти первоосновы в объективных законах жизни — в данном случае в человеке, этом «исходном материале истории». Объективно-научное служит ему прочной основой для социологических выводов.

Правда, выводов несколько односторонних. Уэллс словно забывает о значении труда в формировании человека и о совсем недавно так выпукло и страшно обрисованной им самим классовой природе буржуазного общества. Пытаясь переосмыслить робинзонаду, Уэллс говорит здесь о следствиях, минуя причины. Истинный смысл робинзонад вскрыл Маркс, который увидел в образе героя Дефо воплощение буржуазного индивидуалистического принципа, основанного на всей системе хозяйственных отношений капитализма.

Но при всем этом выводы Уэллса очень остры и в политическом смысле совершенно определенны. Особенно по тому времени.

«Остров доктора Моро» появился почти сразу же после выхода в свет первой части киплинговской «Книги джунглей», а изображенный в этой книге Маугли отнюдь не был невинным порождением фантазии автора. Это была проповедь антисоциальности, попытка убедить читателя в том, что чем более человек выделен из общества, тем он сильнее, чем глубже впитал «закон джунглей», тем он ценнее как личность. Попытка тем более опасная, что она была предпринята писателем огромного таланта и литературного обаяния. Уэллс охотно признавал за Киплингом то и другое. И он с увлечением кинулся в бой с этим опасным противником. Во всеоружии своей научной осведомленности. С ожесточением человека, для которого все это было не отвлеченными спорами, а частицей его личной истории.

С уверенностью писателя, говорящего от имени своего поколения...

Они завоевали свое место в жизни в восьмидесятые годы — голодные разночинцы, в которых вдруг явилась нужда и которым предстояло стать всемирно прославленными писателями, учеными или же баронетами, промышленниками, газетными магнатами, оборотистыми дельцами. Иных устраивало общество, в котором они жили, не устраивало только место, которое они в нем занимали. И они пробивались наверх, внося в английскую жизнь невиданный доселе напор, деловой размах, стремление использовать научные методы — быть на уровне века. Уэллс видел много таких. Он вспоминал впоследствии о том, как проходил некогда мимо Букингемского дворца со своим сверстником Рамзаем Макдональдом, выслушивая его филиппики по поводу властей предержащих, а потом увидел того же Макдональда, когда он, гордый и недоступный, входил в Букингемский дворец в качестве премьер-министра буржуазной Англии, охранителем которой он теперь стал. Он вспоминал историю лорда Нортклифа, выходца из низов, который свое приобщение к верхам общества рассматривал не мало, не много, как... свидетельство незаметной социальной революции. Но были и другие, чья задача не исчерпывалась стремлением к личному преуспеянию. Их борьба за место под солнцем то и дело оборачивалась борьбой против общества, за решительный пересмотр его политических и социальных основ.

Было ясно: мир снова стоит перед огромными переменами. Франко-прусская война завершилась событиями Парижской коммуны. Классовое перемирие в Англии, наступившее после разгрома чартизма, пришло к концу. По всей стране прокатились грандиозные забастовки, которые привели к зарождению нового профсоюзного движения, во много раз более широкого, чем прежде, и созданию самостоятельной рабочей партии. Передовые люди, в числе которых был и Уэллс, поняли: все это только начало. Новый век изменит самый масштаб событий. Он ничего не оставит в неприкосновенности — ни теперешних отношений между людьми, ни теперешних отношений между классами, ни теперешней экономической организации. Эти люди называли себя социалистами и революционерами. Характер их социализма и степень их революционности должны были еще проясниться с течением времени, но, во всяком случае, они с юношеским увлечением, предвосхищая дерзания наступавшего двадцатого века, ринулись в борьбу за прогресс и социальные перемены.

Обстановка, казалось, складывалась благоприятно.

Когда в семидесятые и восьмидесятые годы промышленный кризис повел к росту массовой нищеты в Лондоне, буржуазия предполагала справиться с возможным возмущением «низов общества» при помощи испытанного приема — филантропии. Филантропический порыв зашел так

далеко, что в 1888 году буржуазное общественное мнение поддержало забастовавших работниц спичечной фабрики и помогло им выиграть забастовку. Людям типа Уэллса — неискушенным разночинцам, мечтавшим о скорейшем воцарении справедливости, — подобные случаи казались признаком духовного прогресса в правящих классах. В действительности парадоксальная ситуация, сложившаяся во время забастовки на спичечной фабрике, объясняется другим. Буржуазия так долго пыталась доказать, что рабочие сами виноваты в своей нищете, а случаи особенно жестокой эксплуатации объясняются бесчеловечием отдельных хозяев и осуждаются стоящим на страже справедливости буржуазным обществом, что зачастую начинала сама верить в свою пропаганду. Именно в восьмидесятые годы этот самообман привел к изрядному конфузу. В 1886 году крупный коммерсант и судовладелец Чарлз Бут дал деньги на расследование положения рабочего населения Лондона. Бут был заранее уверен, что результаты расследования докажут исключительность, незакономерность мрачных картин, которые рисовали социалисты. К его искреннему изумлению, опубликованный и ставший широко известным отчет статистической комиссии доказал обратное...

Вряд ли студент Уэллс и его однокашники из Ройал-колледжа достаточно трезво оценивали конкретную историческую ситуацию восьмидесятых годов. Здесь было больше молодого задора. Они чувствовали себя на гребне волны, катящейся в будущее. Успехи науки, рабочее движение, покончившее с викторианским застоем, видимость духовного прогресса в правящих классах — все это, казалось им, распахивает одно за другим огромные окна в стене, разделяющей девятнадцатый и двадцатый века. Еще немного — и гостеприимно раскроются широкие ворота в этой стене и человечество войдет в Будущее, оставив позади столетия подневольного труда, неравенства, жестокости и несправедливости. Надо только найти верный путь, объяснить людям свою правоту — и ни у кого не хватит совести помешать прогрессу.

Так казалось этим молодым энтузиастам социализма в семидесятые и в начале восьмидесятых годов. Девяностые годы были для них непрерывной чредой разочарований. Мещанин, который в первом приступе страха перед напором новых, недоступных его разумению идей, забился в свою нору, постепенно оправлялся, поднимал голову, и к нему снова возвращалось былое самодовольство. Девяностые годы были временем ожесточенной реакции. Создавались антирабочее законодательство и наемная армия штрейкбрехеров. Политическая реакция повлекла за собой идеологическую. Торжествовал «социальный дарвинизм», призвавший авторитет новой науки для доказательства стародавних утверждений о том, что буржуазный разбой основывается на законах природы. Приверженцы прогресса, мечтавшие о единстве всего человечества, наблюдали на каждом шагу

отвратительные проявления шовинизма. Сторонники науки видели, как процветает мистицизм — тоже обновленный, взявший себе на вооружение научное знание. По всем направлениям происходил возврат к старому.

Энтузиасты семидесятых—восьмидесятых годов столкнулись с чем-то неожиданным и новым для них — с огромной силой социальной инерции, со страшной неподвижностью мышления обывателя. А этого обывателя им предстояло встречать на каждом шагу: за прилавком магазина и на университетской кафедре, в стенах лаборатории и в кабинете профсоюзного босса. Мещанин осознал опасность, и он с воем взывал к властям предержащим, с грохотом захлопывал каждое окно, до которого мог дотянуться, заставлял его крепчайшими ставнями. Сначала мещане выползали поодиночке. Потом целыми толпами двинулись к избирательным участкам, чтобы под отвратительные шовинистические песни и выкрики дружно проголосовать в 1901 году за новый состав парламента — один из самых реакционных в истории Англии.

Были прямые враги, реакционеры разных мастей — те, чьему благополучию, положению и житейским устоям прямо угрожала проповедь социалистов. Но откуда это массовое ренегатство среди интеллигентов, которым, казалось бы, нечего терять в новом веке? Откуда отступничество рабочих лидеров? И откуда, наконец, — а это ведь самое важное — эти орущие, ожесточенные толпы, готовые растерзать — дай только сигнал — любого социалиста, инородца или просто инакомыслящего?

Этот вопрос предстояло решить Уэллсу как раз в те годы, когда он становился писателем. И первая же его реакция — естественная реакция демократа, поборника прогресса и выученика профессора Хаксли — сразу натолкнула его на путь, подсказанный просветителями. Предметом его ненависти стал обыватель, это тупое животное, страшное в своей массовидности. Обличать его, издеваться над ним и, главное, разрушать те стереотипы мышления, которым он следует, разрушать на каждом шагу его скотское самодовольство, заставлять его думать, смотреть на жизнь, заставить его в конце концов покинуть стадо — такова была цель Уэллса. Самое ужасное в человеке толпы, писал Уэллс много позже,— это то, что он чудовищно лицемерен. Он никогда не говорит правды. Ни о себе, ни о жизни. Уэллс поставил себе целью говорить правду. Как бы ни была она неприятна. Чем неприятней, тем лучше; тем дальше от привычного восприятия обывателя. У Герберта Уэллса за плечами больший исторический опыт, чем у просветителей. Он недоверчивей, мрачнее, ожесточеннее большинства из них. Но задача у него та же самая — готовить людские головы для предстоящего переворота. При помощи сатиры, издевки, разоблачения и прямой проповеди научного знания, открывающего людям глаза на мир, учащего их мыслить.

Среди множества литературных влияний, которые мож-

но проследить в произведениях Уэллса, есть одно основное, подчинившее себе все другие, сцементировавшее их и сформировавшее Уэллса как писателя XX века. Это — влияние просветительства. Те самые книжки в старинных кожаных переплетах, которыми зачитывался в библиотеке Ап Парка юный Герберт, неожиданно оказались ближе ему, а некоторое время спустя и другим европейским писателям, чем произведения их современников и непосредственных предшественников.

Просветители учили Уэллса пониманию жизни. Просветители учили его тактике борьбы. Они же учили его величайшей стойкости в этой борьбе.

«В теперешние времена опасности и хаоса,— писал он за несколько дней до начала второй мировой войны,— приниженность становится трусостью, а покорность — предательством

Это просто констатация факта. Возьмите такую фигуру, как Вольтер. Он был и остается одним из величайших властителей мира. Он жив сегодня, как и в те дни, когда ему угрожала тюрьма».

Но откуда такой повышенный интерес к XVIII веку? Ведь Уэллс мечтал создавать самое современное, боевое, откликающееся на запросы людей XX века искусство. Так стоит ли обращать свои взгляды назад, к тем давним временам, когда люди носили парики, ездили на лошадях, а первые паровые машины казались чудом техники и торжеством человеческого гения, когда по морям ходили парусные суда и на плацах маршировали солдаты в красных кафтанах, вооруженные кремневыми ружьями, когда человечество только что освободилось или готовилось освободиться из-под ига феодализма, буржуазия была передовым классом общества, а пролетариат лишь начинал зарождаться, когда Ньютон еще только создал свое прочное, неколебимое объяснение мира, подчиненного законам механики не хуже идеально выверенных и на миллионы лет заведенных богом часов? Имеет ли смысл выискивать что-то общее между XVIII веком и нашим?

Выискивать — вряд ли. Общие черты обнаруживались как-то сами собой в творчестве то одного, то другого писателя. Критика не указывала им, по какому идти пути. Более того, она не сразу даже отметила появление подобных тенденций, а когда отметила их, это было подобно неожиданному прозрению.

Не могло быть и речи о том, чтобы подражать стилю писателей восемнадцатого века, изображать те же, что и они, жизненные обстоятельства и характеры, остаться на их уровне представлений о мире и человеке. Слишком многое было сделано с тех пор, мимо чего невозможно было пройти. Слишком возрос опыт человечества. Новое объяснять надо по-новому. Но сама по себе функция искусства, если оно призвано объяснять мир и человека и звать к переменам, всегда остается прежней. Оно полно новыми идеями,

образами, впечатлениями, оно строит здание из новых камней, заселяет его новыми людьми, но нет-нет да посматривает в старые планы, по которым когда-то удалось построить такие прочные здания. Просветители штудировали «проекты», оставленные греками и римлянами — людьми, жившими в условиях давно похороненного рабовладельческого общества. Прогрессивные писатели XX века обращались к просветителям. К их опыту. К тому, что они поняли и что лишний раз подтвердила история. К тому, что удалось понять на их примере.

Своим врагом просветители объявили Предрассудок. Они пришли в мир, далекий от современного динамизма, патриархальный, неподвижный, живший вековечными представлениями. Лености жизни соответствует леность мысли. Привычное кажется закономерным. И просветители поставили своей целью сокрушить эту леность мысли. Сама действительность давала достаточно примеров того, что старые порядки изжили себя, что абсолютизм и фанатизм на каждом шагу оскорбляют человеческое достоинство и тормозят жизнь страны. Действительность была страшной. Но надо было открыть на нее глаза людям, притерпевшимся и приспособившимся к ней, обжившим ее как старую развалюху, убожество и уродство которой становятся до конца ясны только тогда, когда человек увидел иную жизнь.

Просветители были замечательными разоблачителями современной им действительности. Чуть ли не каждый из них, живя во Франции, побывал в тюрьме. В тюремной камере разработал план своей «Энциклопедии» Дени Дидро. В тюрьме написал свою первую пьесу Вольтер, и тюрьма продолжала грозить ему вплоть до кончины, когда он был уже прославлен во всем мире. Мы по сей день помним, как эти писатели заклеймили фанатиков и мракобесов. И все-таки они не ограничивались разоблачением конкретного зла. Они замахивались на большее.

Просветители стремились подготовить каждого человека к тому, чтобы он сам, без посторонней помощи научился разбираться в действительности, освободить его от предрассудков, заставить мыслить. Вот почему для них такую огромную роль приобрела наука, и прежде всего самая отвлеченная из наук — математика. Крупнейшие просветители — литераторы Вольтер и Дидро — изучали и пропагандировали недавно открытый математический анализ и механику Ньютона. Крупнейший французский математик того времени Даламбер был просветителем и одним из редакторов «Энциклопедии». Этот многотомный труд, создававшийся в течение многих лет вопреки запретам, конфискациям и угрозам ареста, назывался полностью «Энциклопедия наук, искусств и ремесел». Наука должна была научить человека мыслить ясно, прямо и беспощадно. Она должна была подготовить человеческий разум к восприятию действительности такой, как она есть.

Просветители понимали роль науки и техники в непо-

средственном преобразовании жизни и очень многое сделали для распространения практических знаний. Но не это было для них главным. Они мечтали не о постепенном улучшении условий человеческой жизни, а о перевороте во всех человеческих отношениях — личных, общественных, политических. О том, чтобы теперешний неразумный мир заменить разумным. Свободный, ничем не скованный разум сделался для них предметом настоящего культа. Он заступил место божества. Будущее свободное общество они называли царством разума.

Идеалом просветителей была гармония чувства и разума. Разум должен обуздывать своеволие страстей, чувства — смягчать холодные веления разума.

На исходе восемнадцатого века свершилась Великая французская революция. Она захлестнула всю Европу. Просвещение достигло большего, чем само ожидало. Это был момент высшей славы просветительского движения, но, как вскоре выяснилось, славы посмертной. На глазах изумленных и негодующих просветителей Царство Разума оказалось царством расчетливой буржуазии. Конец предреволюционной эпохи был концом Просвещения. Культ Разума переродился в культ Пользы (его проповедников стали со временем называть позитивистами). Чувство сделалось уделом романтиков.

Но если Просвещение не добилось осуществления своего идеала, оно, во всяком случае, сокрушило своих врагов. Разоблачение предрассудков дворянского общества подорвало его устои. Это был наглядный исторический урок, усвоенный многими писателями XX века, в том числе и Уэллсом.

Феодальное общество существовало много столетий. Буржуазное превратилось в оковы на человечестве меньше чем за столетие. И все же оно успело породить груз гнетущих традиций, запечатлеться в уме обывателя как выражение непреложного, естественного, неколебимого порядка вещей. Особенно законченный характер этот процесс идеологической консервации форм буржуазного общества приобрел в Англии. У английской буржуазии был бо́льший «стаж» причастности к делам государства, Англия подолгу не знала таких социальных потрясений, какие каждые два-три десятилетия переживала Франция. Буржуазная окостенелость понятий была присуща и другим буржуазным странам, но в Англии она выступала всего рельефнее. Стоит ли удивляться, что Уэллс, писатель-просветитель XX века, появился именно в Англии? А заодно и тому, что этот английский писатель, если он даже сосредоточивает действие своего романа в каком-нибудь захолустье, пишет все-таки о всем человечестве? Так диктовала традиция Просвещения. Но еще больше это диктовала действительность.

Не следует забывать и того, что Уэллс писал в годы, когда людскими умами уже завладел марксизм — прямой наследник всего лучшего, что было создано гуманистической культурой во все эпохи, в том числе и в эпоху Про-

свещения. Маркс объяснил то, что не поддавалось объяснению с позиций просветительской философии. И, вынужденный все время делать поправки на современность, просветитель Уэллс не мог, при всей противоречивости своего пути, не подвергнуться влиянию марксизма. Иногда очень косвенному, преломленному через призму буржуазных напластований, иногда довольно прямому.

Беду современного общества Уэллс увидел в том, что оно санкционирует разобщенность человечества на антагонистические классы; на враждующие государства; на самососредоточенных эгоистических индивидов, озверело, в ущерб другим добивающихся своих корыстных целей. Оно разобщает человека с тем, что должно бы составлять подлинную его историю — историю прогресса науки, прогресса морали, утверждения все более справедливых, гуманных, высоких форм человеческого общежития. Беду современной литературы он увидел в том, что она закрывает глаза на это несоответствие идеала и действительности. Несоответствие, которое, по мысли Уэллса, не только задерживает прогресс, но и становится все более опасным для самого существования человечества.

Современникам писателя было труднее, чем нам, постичь смысл его утверждений. При появлении романов Уэллса неизбежно завязывались споры об осуществимости тех или иных его технических и научных идей, причем критики обычно приходили к выводу, что Уэллс опирается в своих писаниях на беспочвенные выдумки. Главная же мысль Уэллса, лежащая в основе всего его творчества, оставалась им недоступна: слишком далеко опередила она систему представлений того времени. Его уверенность в том, что капитализм с неизбежным разделением на классы, на враждующие государства, неизбежно плодящий эгоистического буржуазного индивида, стал тормозом общественного развития, была достаточно ясна из его романов и, разумеется, вызывала осуждение. Слишком напоминала она известные всем положения марксизма. А страшные пророчества Уэллса (вернее сказать, его предупреждения об опасности) казались не больше, чем позой молодого честолюбивого автора, желающего посильней ударить по нервам читателей. Его обвиняли даже в том, что рисуемые им картины сродни апокалиптическим видениям декадентов. Но время открыло смысл предупреждений Уэллса.

Наступил новый, двадцатый век, и с каждым его десятилетием масштаб мысли Уэллса начал приходить во все большее соответствие с масштабом человеческих дел и с масштабом нависших над нашей планетой опасностей.

В двадцатом веке деятельность человека приобрела глобальный размах. Интенсивность воздействия человека на природу возросла настолько, что сделанное на одном конце земного шара отзывается неожиданными последствиями на другом.

У Жюля Верна есть роман «Вверх дном». Группа

авантюристов решила обогатиться путем открытия и эксплуатации угольных месторождений на Северном полюсе (тогда предполагали, что подо льдами Северного полюса расположена суша). Чтобы добиться желанных прибылей, они задумали сместить ось вращения земного шара, воспользовавшись отдачей гигантского орудия, и растопить льды. Жюль Верн описывает страшные последствия, которые имело бы для человечества осуществление этого замысла озверелых собственников и честолюбцев. Описывает, насколько ему подсказывал тогдашний уровень знаний. В действительности последствия были бы много страшнее. Но, к счастью, замысел лихих артиллеристов не осуществился. В расчетах они ошиблись на несколько нулей. Так обстоит дело у Жюля Верна. Иначе оно обстояло бы сейчас, когда люди научились освобождать одновременно огромные количества энергии.

Впрочем, для того чтобы сделать нашу планету непригодной для жизни, не обязательно совершить единичный акт злодейства. Можно, скажем, в течение неопределенного времени взрывать над океаном или пустынями водородные бомбы... А порою к планетарного масштаба последствиям приводит и обычная хозяйственная деятельность человека — ведь она тоже стала при всей своей обычности необычной по размаху. За последние сто лет, например, в результате сжигания минерального топлива содержание углекислого газа в атмосфере увеличилось на тринадцать процентов. «Несомненно, что подобное изменение состава атмосферы не могло не иметь весьма разнообразных последствий геофизического и биологического характера,— пишет академик И. П. Герасимов в статье «Советская географическая наука и проблемы преобразования природы».— Они еще слабо изучены и учтены, хотя считается, например, что указанного увеличения углекислоты было вполне достаточно для общего повышения средней температуры земной атмосферы на 1—1,5 градуса. По мнению некоторых ученых, при сохранении нынешних темпов развития промышленности земной шар (точнее, его атмосфера) перегреется до недопустимых размеров уже через двести лет». Совсем недавно, в 1964 году, эти подсчеты были опровергнуты. Но, как бы то ни было, предпочтительнее, чтобы в земной атмосфере сохранялось прежнее соотношение газов. Термоядерная управляемая реакция освобождает такое количество кислорода, что способна восстановить прежний баланс. Но, к сожалению, как рассказал нам академик Н. Н. Семенов в своей статье «Наука и общественный прогресс», опубликованной в газете «Известия», термоядерная реакция сама по себе вызывает колоссальное нагревание атмосферы. В каких пределах строительство термоядерных электростанций может быть полезно? В каких пределах опасно? Этот вопрос предстоит решить путем мероприятий, подобных Международному геофизическому году, продолжавшемуся с 1 июля 1957 по 31 декабря 1958 года и объединившему усилия ученых шестидесяти семи стран.

Решить, а потом и осуществить в тех трудных условиях, какие создает теперешняя разобщенность человечества.

Эта идея взаимозависимости людей по всему свету сделалась сейчас обычной для литературы, особенно для фантастических произведений, авторы которых соприкасаются непрерывно не только с системой политических, экономических и военных, но и научных понятий. В рассказе современного американского писателя Рэя Бредбери «Луг» весь мир представлен пустырем, на котором скопились за многие десятилетия декорации для киносъемок, изображающие самые разные уголки земного шара. И вот сторож объясняет продюсеру, как выглядит этот тесно согнанный вместе, искусственный — но так похожий на настоящий! — мир:

«Пуля поражает человека в Нью-Йорке, он качается, делает шаг-другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Негра, повешенного в Алабаме, хоронят венгры. Погибшие евреи Польши загромождают улицы Сиднея, Портленда, Токио. Нож вонзается в живот человека в Берлине, а острие ножа выходит из спины фермера в Мемфисе. Все — близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим, иначе все полетит к чертям! Один пожар способен уничтожить всех нас, кто бы и почему бы его ни устроил»

Здесь говорится о чувстве моральной ответственности за любое преступление, и прежде всего за самое грандиозное преступление — войну, которое должно существовать у каждого человека в нашем, теперь уже ставшем таким маленьким мире. Уэллс писал обо всем этом значительно раньше. Писал он и о войне — сначала о воздушной войне — в 1908 году, а потом, шесть лет спустя, в романе «Освобожденный мир» — об атомной войне. И о моральной ответственности за преступления реакции: за резню, устроенную империалистами в Китае, за еврейские погромы в царской России, за истребление аборигенов английскими колонизаторами — ответственности не только участников этих злодеяний, но и тех, кто мирится с ними. И о том, что лежит в подоснове этой взаимозависимости всех частей и частиц современного мира — континентов, стран, отдельных людей,— о прогрессе науки. Прежде всего об оборотной его стороне — таящихся в нем опасностях.

В 1899 году Уэллс написал рассказ «Чудотворец» (в других переводах он известен как «Человек, который мог творить чудеса») — рассказ о скудоумном клерке, обретшем колоссальную власть над природой. Эксперименты бедняги Фодерингея чуть не кончились плачевно как для него самого, так и для всего человечества. Он пожелал — ни больше ни меньше — остановить вращение Земли. К счастью, в последнюю минуту он успел пожелать, чтобы все вернулось к прежнему, а сам он потерял чудодейственную силу, которая, как выяснилось, очень опасна в руках дурака и невежды.

Но еще опаснее она в руках честолюбца, фанатика, эгоиста. А ведь как раз таких людей изо дня в день порождает буржуазное общество. Уэллс не уставал говорить об этом. Так возникли у него страшные образы марсиан — существ, не ведающих человеческих чувств и подчиняющих свои действия лишь велениям эгоистичной целесообразности. Так появился трагический образ Гриффина — гениального ученого, принявшего господствующую систему понятий о «войне всех против всех» и кончившего жизнь маниакальным убийцей. Уэллс не из розовых оптимистов. Он не желает скрывать опасности.

И все же он скорее предостерегал, чем предсказывал. Он рисовал грядущее не таким, каким оно обязательно будет, а таким, каким оно может быть, если человечество не спохватится и не предотвратит опасности. Мечтал же он о будущем, каким его надо сделать сознательными усилиями людей.

Наука, по его мнению, должна была сыграть в этом достойную роль.

Отношение Уэллса к науке особое, совсем не потребительское. Конечно, Уэллс понимает, какое значение имеет наука для приумножения материальных благ, но не это для него главное Не согласен Уэллс и с ходячей идеей, очень распространенной в годы его молодости, будто рост благосостояния автоматически влечет за собой прогресс морали. Подобно всем просветителям, он считает, что пороки порождаются как бедностью, так и богатством. В романе «Когда спящий проснется» он немало рассказал о страшнейшем моральном упадке среди самых обеспеченных слоев общества, а в романе «Война миров» подверг уничтожающей критике мысль о моральном прогрессе, сопутствующем материальному. Герой книги, от имени которого ведется повествование, рассказывает читателю, что перед самым нашествием марсиан он работал над статьей, в которой лишний раз должна была быть высказана мысль о росте морали вместе с ростом общественного богатства. Но вот на Землю упали «цилиндры с Марса», и автор, оказавшись свидетелем всего, что за этим последовало, навсегда расстается с этой идеей. Материальный прогресс у марсиан намного опередил земной. Но они начисто лишены моральных понятий. Что же нужно для того, чтобы прогресс науки и стимулируемый им рост общественного богатства служил «очеловечиванию человека», а не удовлетворению его безудержной корысти? Для этого, по Уэллсу, эгоистический буржуазный индивид должен уступить место настоящему человеку — не тому, кто всю жизнь служит своей утробе, своему кошельку, своим удобствам. Занятия наукой должны помочь человеку увидеть свою высшую цель в служении интересам всего человечества, а общественные перемены — обеспечить возможность такого именно рода людям взять на себя ответственность за судьбы мира.

Но прежде чем такие перемены произойдут, как можно

больше людей должны понять, что современное общество устроено неправильно. Должны быть подорваны общественные предрассудки. Смысл просвещения Уэллс видел не в *отвлеченной проповеди добрых начал*, не в навязывании людям придуманных схем, а в объяснении реального положения в мире. Вернее сказать, в подготовке каждого человека к тому, чтобы он сам сумел понять мир. В тактике просветителей он унаследовал самое революционизирующее их стремление — то именно, благодаря которому развитие просветительских идей пошло значительно дальше первоначальных замыслов основателей этой теории: стремление раскрепостить сознание каждого человека.

Таким, во всяком случае, Уэллс выступает в лучших своих вещах. Он не проповедник, а разоблачитель. Временами, однако, проповедник берет верх. В конце десятых и начале двадцатых годов Уэллс пишет серию «богостроительских» романов, в которых пытается при помощи религии внушить своим современникам добрые чувства. Конечно, это была попытка с негодными средствами, а появление этих романов свидетельствовало о том тяжелом духовном кризисе, который Уэллс пережил в результате первой мировой войны. Этот кризис еще усугублялся тем, что сам писатель сыграл недостойную роль в событиях военного времени. Он включился в аппарат военной пропаганды, желая использовать предоставленную ему возможность выступать со страниц правительственных изданий для проповеди своих идей и «разумной перестройки» послевоенного мира. Но официальной пропаганде гораздо лучше удалось использовать Уэллса, чем ему ее, и толкнуть писателя на заявления, которых он стыдился потом всю жизнь. Уэллс нашел в себе силы признать свою неправоту. Уже в 1916 году он высказал в романе «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна», заслужившем высокую оценку М. Горького, свое истинное отношение к несправедливой, империалистической войне, а в двадцатые годы посмеялся сам над собой как провозвестником новой религии. Путь проповедника отвлеченной морали оказался для Уэллса опасным. Он привел его к отказу — пускай временному — от самых передовых черт его мировоззрения. И если творческая биография Уэллса не закончилась где-то в первой четверти нашего века, то этому мы обязаны возвращению его к позициям разоблачителя.

В 1928 году Уэллс написал свой лучший послевоенный роман «Мистер Блетсуорси на острове Ремпол». Он нарисовал в нем современный жестокий, полный несправедливости и лицемерия мир. Человек, взращенный буржуазной цивилизацией, по сути своей, говорит Уэллс, еще не поднялся над уровнем дикаря. Он всего только научился прикрывать красивыми словами свою людоедскую сущность. Герою романа, прошедшему через все испытания, которые история уготовила людям его поколения, вспоминается повседневная жестокость «благополучного» довоенного мира, варварские годы войны, такие примеры мстительности, злобы и бесчеловечия напу-

ганного буржуа, как фальсифицированное дело и казнь двух американских революционеров — Сакко и Ванцетти. Прогресс морали? Нет, прогресс лицемерия!

С этой жестокостью и с этим лицемерием боролся по-своему Уэллс, разоблачая в своих романах и своей публицистике подлинный смысл многих тенденций и событий мировой истории, начиная с конца прошлого и вплоть до сороковых годов нашего века. Пятьдесят с лишним лет его творчества были годами борьбы — не всегда успешной. Уэллсу снова и снова приходилось самому в себе побеждать обывателя и буржуа, того самого обывателя и буржуа, которого он так ненавидел. Это придавало особенный личный оттенок его произведениям, особую психологическую остроту, угадываемую за порой иронически отстраненной манерой повествования. Его романы об обывателях особенно интересны в этом отношении. Он жалеет своего Киппса, пока видит в нем жертву того духа косности, что пронизывает собой всю английскую жизнь; он глядит на него с надеждой, когда вылущивает из-под душевной оболочки этого малюсенького человечка какие-то проявления собственного достоинства, независимости, стремления к знанию, и он же брезгливо морщится, когда замечает, как органичны мещанские проявления Киппса. Он глядит на мещанина — на этот самый массовидный образец человека в буржуазном обществе — с опаской и с надеждой. Что в нем победит: истинно человеческое или корыстное, мелкое, тупое? Он хочет научить его разбираться в окружающем, взывает к нерастраченной человечности. И он же хорошо понимает — чем дальше, тем лучше понимает,— что обыватель очень легко поддается классовой и националистической демагогии, что он может быть использован как массовая опора реакции. Об этом свидетельствовал опыт девяностых годов. Об этом говорил опыт первых месяцев империалистической войны, когда и сам Уэллс не сумел удержаться на позициях писателя-гуманиста. Об этом, наконец, свидетельствовали успехи фашизма, сумевшего отравить сознание миллионов людей. Уже во время второй мировой войны Уэллс написал роман о мещанине, пришедшем к фашизму,— «Необходима осторожность». Почти за десять лет до этого он создал другой роман о мещанине-фашисте — об «интеллектуальном» мещанине — «Бэлпингтон Блепский». Тьюлера, героя романа «Необходима осторожность», и Бэлпингтона, людей совершенно разного умственного уровня, роднит своекорыстие. Тьюлер не способен понять ничего, что выходит за рамки его полуживотных потребностей. Бэлпингтон не желает этого понимать.

В образе Бэлпингтона Уэллс верно показал, что буржуазная корысть выше знания или незнания, она подчиняет себе не только темного мещанина, но и, казалось бы, вполне «просвещенного» человека, принявшего нормы буржуазного общества. Но признать это положение до конца значило бы для Уэллса публично заявить об иллюзорности многих своих надежд. И Уэллс начинает доказывать себе

и другим, что подвластность человека буржуазной морали определяется не просто степенью образованности, а характером полученного образования. Люди, овладевшие системой гуманитарных знаний, подвластны ей больше, поскольку именно гуманитарные науки несут в себе националистические, империалистические и прочие буржуазные предрассудки. Те, кто овладел точными науками, напротив, отрешаются от современного буржуазного типа сознания. Вот почему Уэллс делает фашистского диктатора Парема в романе «Самовластье мистера Парема» историком по профессии, а роль его противника отводит химику Кемельфорду. Поэтому же спасителями мира в киносценарии «Облик грядущего» выступают летчики. Поэтому же Уэллс в тридцатые годы не только писал романы, но и выступал с лекциями на научные темы, заботился о популяризации научных открытий и даже сам написал совместно со своим сыном Джорджем Уэллсом, профессором зоологии, и с внуком своего учителя Джулианом Хаксли большую общедоступную книгу о биологии «Наука жизни». В своем стремлении внедрить достижения естественных и точных наук в сознание современников Уэллс шел за французскими просветителями.

Ту роль, которая принадлежала у них математике и механике, он отвел новой физике и биологии. В этой замене преемственность Уэллса по отношению к просветительству сказалась, если угодно, даже больше, чем если бы он сохранил верность их выбору. В его время новаторскими были именно эти науки, а Уэллс понимал, что революционизирующее влияние на человеческий ум оказывает не просто усвоение системы отстоявшихся знаний, а первооткрывательство. Наука, рвущая с предрассудками прежних теорий, приучает человека не цепляться за предрассудки общественные. Наука подарила обществу столько же оголтелых реакционеров из числа «все постигших» и ничего не давших коллекционеров научного знания, сколько и революционеров в науке, ставших революционерами в общественной жизни,— людей типа Галуа и Тимирязева. Наряду с этим сторонники новых общественных форм часто умели раньше других оценить важные научные новшества. Общественный и научный прогресс идут рука об руку, несмотря на все уродливые исключения и отклонения, обязанные собой уродству общественной жизни. Новаторское знание открывает человеку новую картину мира — того мира, к которому он должен заново приспособиться в материальной сфере, а значит, перестроить и сферу общественную.

Занятия новой физикой сыграли огромную роль в становлении Уэллса-просветителя — человека, призванного рушить устоявшиеся каноны мысли. Ведь новая физика далеко выходит за рамки наших чувственных представлений, она говорит о том, чего человек в повседневной жизни никогда не представлял себе, да и не может представить. «Машина времени» была в этом смысле поистине «потрясением основ» для обывателя. Не менее неожиданным и нова-

торским был роман «Первые люди на Луне». Фантасты отправляли своих героев на Луну задолго до Уэллса. Но он первый заговорил, пока еще, может быть, не очень определенно, о том перевороте в сознании людей, какой должна принести с собой эра космических путешествий, о том противоречии, которое обнаружится с этого момента между мелкими устремлениями и жалким духовным миром буржуа и достижениями человеческого разума. Картина полета нарисована им так, что в ней уже можно угадать намек на предвосхищаемую теперь учеными новую пространственную фазу эволюции человечества — космическую.

Но если новая физика во времена, когда начинал Уэллс, делала лишь первые робкие шаги и даже не определилась как самостоятельное направление мысли, то биология прошла достаточный путь для того, чтобы не только взрывать привычное, но и давать реальные ответы на многие вопросы. Не следует подозревать Уэллса в том, что он желал при помощи биологических законов объяснять социальную жизнь. Подобную корыстно-вульгаризаторскую теорию, созданную на потребу реакционному буржуа, отверг еще его учитель Томас Хаксли. Но он черпал из биологии свое представление о связи человека с природой и его отличии от других представителей животного царства, об искусственной и естественной среде существования, о соотношении целенаправленности и изменчивости в процессе эволюции и множество других первоначальных идей, обраставших потом материалом социального опыта. Он постоянно ищет ответа на вопрос: когда и в какой мере противоборство человека природе «очеловечивает» его и, значит, полезно для человечества, а когда человек действует вразрез с законами природы и, значит, подрывает самые основы своего существования? В последнем случае писатель ищет ответ уже на новый, возникший из прежних вопрос: что заставляет человечество так упорно работать для собственной гибели? Ответ он дает достаточно определенный. Во-первых, говорит он,— недостаток знания. Во-вторых,— корысть. В-третьих,— разобщенность.

Все это тесно связано. Самый недостаток знания в значительной степени объясняется для Уэллса тем, что человек живет в условиях «корыстной цивилизации», тормозящей прогресс науки. Та же корысть лежит в основе человеческой разобщенности. Корысть, проистекающая из всей системы буржуазных отношений и представлений. Совершенно так же, как борьба за общечеловеческие интересы приобретала у просветителей антифеодальный характер, у Герберта Уэллса она приобретает антибуржуазный характер. Он сторонник коренного переворота в обществе и в душах людей.

Каков будет этот переворот? Что он с собой принесет? О деталях, конкретных обстоятельствах и самом характере этого переворота Уэллс в разные годы жизни судил по-разному. Он сам при всем старании не мог определить своего места в социалистической мысли. Менялись обстоятельства,

менялась точка зрения Уэллса. В юности он, по его словам, верил в близкую социалистическую революцию. Трудно сказать, какой она рисовалась ему. Вооруженное восстание рабочих он изобразил только однажды, в романе «Когда спящий проснется», и в «Опыте автобиографии» объяснил появление этих сцен — действительно совсем необычных для его творчества — тем, что незадолго до того, во время своего путешествия по Европе, наблюдал рабочие волнения. Этому объяснению трудно поверить. Читая роман, начинаешь догадываться, что волнения на континенте, свидетелем которых был тридцатидвухлетний Уэллс, только напомнили ему картины, рисовавшиеся в его воображении в юности, когда он бродил по рабочим кварталам такой же голодный, как их обитатели, а потом возвращался на ярко освещенные центральные улицы, наполненные довольной, сытой, разодетой толпой. Те же чувства испытывает молодой «английский якобинец» Вилли, нарисованный им в романе «В дни кометы» Вилли мечтает о грандиозной очистительной буре, подобной французской революции. Сам Уэллс увлекался книгой английского историка и философа Карлейля «История французской революции» приблизительно в том же возрасте, что и его герой. И, подобно тому же Вилли, он довольно скоро ушел от мысли если не о революции вообще, то по крайней мере о вооруженном восстании. Ушел вместе с сотнями таких же разночинных интеллигентов. Его собственные воспоминания и ранние наброски, письма, статьи, опубликованные целиком или в извлечениях после его смерти, свидетельствуют о том, что он всегда колебался между какими-то формами социализма и либерализмом, «подправленным» наукой, выросшим до уровня новых задач. Его попеременно увлекало то одно, то другое. К 1903 году Уэллс, казалось, окончательно определил свой путь. Он вступил в Фабианское общество. Это была организация, вобравшая в себя самый цвет английской радикально мыслящей интеллигенции. Членом и одним из руководителей Фабианского общества был Бернард Шоу. Его председателем — крупный экономист и один из первых историков профсоюзного движения в Англии, Сидней Уэбб. Фабианцы исповедовали социализм. Но это была самая оппортунистическая и «постепеновская» социалистическая организация в Англии. О ней очень резко отзывался Энгельс. Уже в 1906 году Уэллс начал полемику против фабианского руководства, а два года спустя вышел из общества. Фабианцы мечтали внедрить социализм при помощи «социалистически мыслящих администраторов», путем проникновения в государственный аппарат и реформ «сверху». Уэллс же непрерывно твердил фабианцам, что они забыли про народ и что социализм, где «над чиновником никого уже нет», если даже удастся его «внедрить», в чем он сильно сомневается, будет пародией на социализм. Уэллс призывал фабианцев «спустить социализм с небес на землю», придать Фабианскому обществу, напоминающему, по его словам, дискуссионный клуб, характер массовой по-

литической партии, изменить его программу. В полемике против фабианского руководства Уэллс не раз ссылался на Маркса и высказал немало горьких истин об оппортунистах. Бунт Уэллса и уход его из Фабианского общества совпали с новым подъемом левого движения в Англии, и к Уэллсу все более возвращался былой радикализм. Но и этот период был недолгим. При новой перемене политической обстановки Уэллс снова отступил с этих позиций. И так не раз. В социализме он охотнее всего воспринимал и прочнее всего усваивал то, что больше всего импонировало ему как просветителю — в первую очередь стремление построить жизнь на разумных основаниях, устранить капиталистическую анархию производства, использовать достижения науки для объяснения и перестройки жизни. Величайшей заслугой Маркса Уэллс считал то, что тот впервые связал социализм и науку. В либерализме же он видел своеобразную гарантию личной свободы, которую никак не мог ему обещать «административный социализм» фабианцев. Уэллс любил, не без оттенка иронии, называть кое-кого из английских социалистов того времени «домарксовскими социалистами, живущими после Маркса». Однако сам он во многом был похож на них. При мысли о централизации, неизбежной и необходимой, по его же собственному мнению, в социалистическом государстве, в его воображении немедленно возникало нечто подобное фабианскому государству чиновников. Марксистское представление о диалектическом соединении необходимости и свободы очень долго было ему недоступно. И в виде своеобразного гаранта личной свободы в хозяйственно-централизованном обществе он выдвигал либерализм. Но либеральное представление о личной свободе неразрывно связано с представлением о свободе частной собственности. Уэллс всякий раз становился в тупик перед этим противоречием. Он создавал один за другим планы своего идеального государства, в котором пытался найти должную меру целесообразности и свободы, и всякий раз вынужден был делать сам себе уступки либо в том, либо в другом отношении. Просветительская теория была модернизирована Уэллсом, но не в такой степени, чтобы полностью вобрать в себя классовую конкретность современного общества. Наибольшие плоды она приносила в произведениях о далеком будущем — о том времени, когда классовое общество исчезнет, а с ним вместе и разобщенность человечества. А в тех политических произведениях Уэллса, где он пытается определить пути безболезненного перехода к этому счастливому времени (американский историк Уэйгер очень удачно назвал их «утопиями-минимум» в отличие от тех утопий Уэллса, где речь идет о коммунистическом обществе), писатель не достигает такого успеха.

«Утопий-минимум» Уэллс написал множество. Иногда они имели форму самостоятельных трактатов, иногда попросту оказывались довесками к книгам о современности или о ближайшем будущем. В них немало противоречий. И

все же смысл его представлений о путях перехода к счастливому будущему может быть резюмирован довольно кратко. Уэллс надеется на то, что увеличение роли научных исследований, технический прогресс и автоматизация производства поведут уже не к созданию малочисленной прослойки интеллигентов, а к образованию невиданного прежде «нового среднего класса», который составит опору общества. Представители этого класса будут в силу своего положения и характера занятий чувствовать себя представителями всего человечества и постараются работать в общих его интересах. Как они будут действовать, каким путем отнимут власть у теперешних правителей общества, подскажет время.

Этот «идеальный» проект неизбежно терпит крах уже в самой системе логических выкладок автора. Уэллс слишком реалист, чтобы не задаться вопросом: «Из каких слоев будет формироваться этот «новый средний класс»?» Очевидно, из представителей современных общественных классов. А если так, будет ли он представлять собой единое целое? Согласится ли «просвещенный капиталист» (а это подобие «просвещенного монарха» просветителей XVIII века тоже принадлежит, по Уэллсу, к «новому среднему классу») трудиться ради будущего? Ведь его вполне устраивает и настоящее. Не будет ли он совершенно так же, как эксплуатирует сейчас рабочих низкой и средней квалификации, эксплуатировать высококвалифицированных, сравнявшихся с интеллигентами рабочих будущего, своих «собратьев по новому среднему классу»? И не ему ли будет принадлежать реальная власть внутри «нового среднего класса»? О новом ли классе идет после всего этого речь или о подновленной системе теперешних отношений?

Еще больший крах эта система воззрений терпела, когда ее пытались претворить в жизнь. Под влиянием призывов Уэллса иногда возникали небольшие группы энтузиастов, объявлявших его своим руководителем и наставником. Но, сталкиваясь с живыми людьми в качестве руководителя и наставника, Уэллс проявлял такую беспомощность, а сами по себе его проекты обнаруживали такое несогласие с жизнью, что все эти начинания кончались ничем. Иногда же происходило и нечто худшее. Его авторитетом начинали пользоваться люди, желавшие замаскировать и укрепить действительный характер отношений в буржуазном обществе, а отнюдь не изменить это общество и перевести его на рельсы социализма. Даже его призывы к единству всего человечества, призывы, за которыми скрывалось неприятие буржуазного общества, породившего невиданную разобщенность людей, пытались использовать для обоснования империалистических теорий. В подобном духе действовал, например, такой заядлый реакционер, как бывший премьер-министр Южно-Африканского Союза фельдмаршал Смэтс.

Неосуществимость просветительских идей Уэллса в условиях буржуазного общества лишний раз подчеркивала их

антикапиталистическую сущность. Рисуя высокоразвитое идеальное общество будущего, Уэллс изображает его как общество, в котором и следа не осталось от сегодняшних отношений купли-продажи и вся жизнь человечества и отдельного человека пришла в согласие с велениями разума. Уэллс проделал до конца тот путь мысли, на середине которого вынуждены были остановиться просветители XVIII века. Их мечта о людском братстве потерпела крах, столкнувшись с реальностью буржуазного общества. Уэллс увидел, что она воплотима в обществе коммунистическом. Каковы ни были разногласия Уэллса с марксизмом, именно учение научного социализма помогло ему принять знамя из рук просветителей.

Уэллс немало ссылался на авторитет Маркса, когда воевал со своими противниками. Но, пытаясь отстоять свои реформистские идеи, он столько же, если не больше, спорил с Марксом. И все же, честно оценивая тенденции общественного развития, Уэллс не мог не прийти к выводам, сходным с конечными выводами марксизма. «Моя мысль всегда развивалась параллельно марксистской»,— говорил о себе Уэллс. Это правильно сказано. Мысль Уэллса проходила через те же пласты общественных противоречий, что и марксистская мысль, и стремилась в конечном итоге к той же цели. Но мысль Уэллса труднее всего уподобить идеальной прямой. Моментами она ближе к марксистской теории, моментами заметно от нее отдаляется. Уподобив свою и марксистскую мысль двум параллелям, Уэллс забыл сказать, на каком расстоянии они одна от другой находятся. Да это было бы и непросто. Расстояние всегда разное. В «Машине времени», говоря о противоположности интересов буржуазии и пролетариата, он хотя и очень своеобразно, но приближался к Марксу. В романе «В дни кометы», когда он пытается объяснить современные неурядицы только существованием крупных земельных собственников и моральной неразвитостью буржуа, напротив, становится на совершенно противоположные позиции. В романе «Мистер Блетсуорси на острове Рэмпол» до тех пор, во всяком случае, пока он не начинает под конец излагать свои реформистские теории, снова к нему приближается. И так все время.

У одного из крупнейших современных фантастов, Станислава Лема, есть небольшой рассказ о машине времени. К Йиону Тихому — лицу, от имени которого писатель любит вести повествование,— является изобретатель машины времени и предлагает ему принять участие в распространении его идеи. А для того чтобы действовать наверняка и знать наперед, кто будет им помогать, а кто мешать, он решает перенестись немного вперед по времени и прочитать обо всем этом в исторических сочинениях. Это обычный прием фантастов и утопистов. Героя переносят в отдаленное будущее, чтобы из исторических трудов и преданий узнать о ближайших событиях. Уильям Моррис, например, включил в свою книгу о коммунистической Англии «Вести ниоткуда»

даже специальную главу «Как произошла перемена». До него таким приемом воспользовался американский утопист Беллами. Уэллс тоже не раз строил свои вещи подобным образом. Но, удивительное дело, при всей своей подтвержденной опытом безотказности прием этот чем дальше, тем больше отказывал именно Уэллсу. И притом в годы, когда он особенно сосредоточил внимание на утопиях. В главной его утопии «Люди как боги» (1923) читатель не найдет никаких конкретных указаний на то, «как произошла перемена». Отличие от Морриса огромное. Тот описал очень подробно и очень прозорливо основные этапы пролетарской революции. У Герберта Уэллса этого нет и в помине. То же самое и в написанном год спустя романе «Сон». В этом романе Уэллс желает показать, что перестройка общественной жизни необходима в интересах самого человека, что более совершенный социальный строй и человека сделает другим, избавит его от подневольного труда и от личных страданий. С этой целью Уэллс переносит человека будущего в современность и заставляет его прожить свою жизнь такой, какой она сложилась бы в условиях начала двадцатого века, а потом заново, в полную меру оценить, что дали человеку новые условия существования. Не приходится спорить: убедительное доказательство того, что «перемена» необходима. Но все-таки как она произошла?

Не следует ждать от Уэллса убедительного ответа на этот вопрос. Он пытался дать его в своих социальных трактатах, но, очевидно, не слишком верил сам в предлагаемые решения. Важнее другое: уверенность Уэллса в том, что революция неизбежно произойдет и в конечном итоге приведет к формированию коммунистического общества.

Герой его утопии «Люди как боги» мистер Барнстейпл воочию убедился в осуществимости самых смелых революционных идей — тех, что объявлялись похороненными и возрождались вновь.

«Социализм был евангелием его юности; он разделял надежды этого движения и его сомнения, участвовал в его острых внутренних раздорах»,— рассказывает автор об этом новом своем воплощении, мистере Барнстейпле.

Потом мистер Барнстейпл пережил период разочарования. Ему, наглядевшемуся на жестокость и несправедливость, царящие в мире, казалось, что человек по природе жесток и жаден, что его надо держать в крепких тисках, дабы обуздать его животные страсти. Развивается ли мир? Меняется ли человек?

«Но теперь он видел ясно, что феникс революции сгорает и испепеляется только для того, чтобы возродиться снова».

Мы сейчас можем только посмеяться над оговорками, которыми Уэллс сопровождает эти свои совершенно верные мысли. В утопии «Люди как боги» он по-прежнему, как в «России во мгле», написанной за какие-нибудь два с лишним года до этого, продолжает «воевать с марксизмом». Ему кажется, что коммунизм показал себя как колоссальная раз-

рушительная, но никак не созидательная сила, что нельзя создать людское братство «при помощи ненависти», что коммунисты не понимают значения воспитания человека. Не стоит опровергать в этом Уэллса — он это сделал сам. Не кто иной, как Уэллс, этот проповедник воспитания, одного только воспитания, ничего более, кроме воспитания, одобрил в «России во мгле» революционный террор, направленный против белогвардейцев и мародеров, и он же предупреждал в последнем своем романе, «Необходима осторожность», что в революции воспитанием не обойдешься — активных реакционеров придется расстреливать. И опять же не кто иной, как Уэллс, признал впоследствии достижения советского народа и объяснил наши победы в войне против фашизма тем, что новый общественный строй создал нового человека. Оговорки Уэллса не стоят опровержения. Важнее, повторяем, другое — его слова о великой революции, которая приближается неуклонно и неотвратимо.

Мистеру Барнстейплу удалось увидеть ее плоды. Он попадает в прекрасную страну, где живут красивые, здоровые люди, добрые, веселые, по-товарищески относящиеся друг к другу, не знающие нужды. Как непохоже это на картины, которые рисовал сам Уэллс на заре своего творчества, повествуя о будущем человека в капиталистическом обществе! Морлоки и элои, страшные головоногие марсиане, лунные жители, подобные насекомым... О всех этих химерических существах теперь нет ни слова. Люди, подлинные люди, каких еще не знал мир, населяют уэллсовскую утопию. В условиях высокоразвитого справедливого общества, говорит Уэллс, умственный рост человека будет сопровождаться его духовным ростом. Человек будущего будет обладать сильной тренированной волей, острым умом, тонкими чувствами, сильным, красивым телом. Ему потребуются все отпущенные ему природой возможности.

Подобного рода утопия была особенно знаменательна для Англии — страны, где мысль о промышленной революции воскрешала в памяти жестокие страдания народных масс, закопченные города, застроенные мрачными фабричными казармами и заселенные низкорослыми, угрюмыми людьми, выросшими без глотка свежего воздуха, без малейшего представления о том, как может быть прекрасна природа, какую красоту способны создавать человеческие руки. Эта унылая, безрадостная фабричная Англия, описанная Диккенсом в «Тяжелых временах», вызывала страх и протест. И разве во времена Уэллса она ушла в прошлое? Вот почему в мечтах о прекрасном будущем Англия неизменно рисовалась страной, где люди вернулись на лоно природы, снова стали веселыми, красивыми, обрели утерянное чувство прекрасного, сами творят его в процессе труда. Такую утопию задолго до Уэллса, в 1890 году, создал Уильям Моррис. Семнадцать лет спустя об этой мечте Морриса заговорил в своей утопии «Страна чудес» другой видный деятель рабочего движения, Роберт Блечфорд. Уэллс в своей книге «Люди как боги», ка-

залось, всего только шел по их стопам. Но это так только на первый взгляд.

Его мечта о разлитой в мире красоте, о людях, подчинивших свою жизнь велениям гуманизма и справедливости, об обществе, где не осталось ни следа принуждения и все социальные отношения свелись в конечном счете к человеческим отношениям, совпадает с представлениями Морриса и Блечфорда. Но Уэллс не из тех писателей, которым достаточно создать себе идеал, чтобы воплотить его в своем творчестве. Ему надо еще поверить в его осуществимость. Эту веру Уэллс черпает в тенденциях развития «машинной цивилизации». Той самой «машинной цивилизации», катастрофические последствия которой он изобразил сначала в «Машине времени», а потом в романе «Когда спящий проснется». Той самой, которая настолько пугала Морриса, что он заставил своих утопийцев, использовав машины для накопления материальных благ, впоследствии по возможности от них отказаться, поставить крест на дальнейшем развитии производительных сил, отнести науку к числу допустимых, но не очень одобряемых чудачеств и зажить в потребительском патриархально-ремесленном обществе анархистского толка.

Небо той страны, куда попал мистер Барнстейпл, не заволакивают тучи фабричного дыма — но не потому, что его утопийцы отказались от фабрик. Они просто сумели создать «автоматически действующую цивилизацию», устранив в промышленном производстве то, что вредно человеку и противоречит его природе. Утопийцы любят прилагать свои руки к делу — не только голову, но и руки. Они с удовольствием трудятся на земле. Но опять же не в знак протеста против умственной работы и не потому, что к этому их вынуждает материальная необходимость. Если для них и существует в данном случае какая-то необходимость, то это необходимость всестороннего развития личности, чувство единства с природой.

В этом обществе труд — гарантия всестороннего развития личности, форма осуществления личности и потому не требует принуждения. Совесть заменила законы. Красота пришла на смену убожеству бедности и убожеству роскоши. Потребность в служении человечеству заменила уродство стяжательства. Личность торжествует потому, что она перестала быть самососредоточенной. Человек существует только как часть человечества, снова повторяет Уэллс. Он по природе своей не таков, каким изображали его декаденты,— он такой, каким изображали его великие гуманисты.

Вот он, человеческий и социальный идеал Уэллса-художника. И если он не знал пути к осуществлению этого идеала, если цепко держался всю жизнь за свои реформистские теории и за неимением аргументов, по остроумному замечанию английского писателя Пирсона, «бросался с дубинкой на Маркса», а заодно и на других «инакомыслящих», то, во всяком случае, этот высокий гуманистический идеал об-

щества будущего помогал ему видеть несправедливость и жестокость современного мира, его враждебность человеку и человечеству и яростно ненавидеть тех, кто, по его выражению, «желал увеличить сумму мирового зла».

Последние двадцать лет своей жизни Уэллс посвятил борьбе с фашизмом. Уже в 1927 году первым из английских писателей он выступил с антифашистским романом «Накануне». Это не лучший из романов Уэллса, в нем много теоретической путаницы и политических противоречий, но в этом романе Уэллс сумел понять и высказать главное, что определило собой политическую ситуацию на ближайшие десятилетия. Фашизм, говорил Уэллс, это — проявление паники крупной буржуазии. И он продолжал: «Оголтелая реакция — неизбежный спутник каждой революционной бури. И если говорить о каком бы то ни было дальнейшем прогрессе, то всем прогрессивно мыслящим людям придется бороться, придется организоваться как для обороны, так и для нападения. Это бой за землю и за человека. В такой войне кто может жить спокойно, кто может быть оставлен в покое?.. Силы реакции в настоящее время не более могущественны, но более явны, более активны и воинственны, ибо только теперь они начинают чувствовать всю мощь и опасность революции».

Уэллс задается вопросом: только ли для Италии и Германии характерен фашизм? — и отвечает на него романом «Самовластье мистера Парема», где показывает установление фашистской диктатуры в Англии. Это было своевременное предупреждение: уже через два года после выхода в свет романа Уэллса в Англии создалась первая крупная фашистская организация во главе с Освальдом Мосли, получавшая немалую поддержку от английских монополистов. И еще об одном не устает предупреждать Уэллс. Фашизм — это война, говорит он каждым своим романом.

Осенью 1939 года в Стокгольме должна была состояться встреча членов Пен-клуба — международной писательской организации, председателем которой Уэллс был избран после смерти Голсуорси. Но когда Уэллс прибыл в Стокгольм, он не застал там, за исключением одного-двух человек, участников предполагавшейся конференции: начиналась война. Речь, которую Уэллс должен был произнести перед своими собратьями по перу, он опубликовал в печати. Она называлась «О чести и достоинстве свободного разума».

«Чумная крыса» может искусать и погубить человека,— писал Уэллс.— Крысы и раньше распространяли эпидемии и губили миллионы людей. Но человек тем не менее остается человеком, а крыса — крысой.

Страшно и омерзительно, когда огородное чучело, выучившееся говорить трескучие речи, пустой костюм, набитый газетами, набрасывается на человека и убивает его, но это не делает чучело человеком и не отнимает у человека его человеческого достоинства и гордости, если только он не поддался страху».

Уэллс призывал сохранять верность своим убеждениям, *чего бы это ни стоило, чем бы это ни грозило — лишениями*, опасностями, смертью. Он сам отнюдь не был гарантирован от опасности. Его книги давно уже сжигали в фашистской Германии, а при подготовке операции «Морской лев» — высадки фашистских войск в Англии — его имя было занесено в список англичан, подлежащих немедленному уничтожению. Уэллс мог этим гордиться. Та ненависть, которую он заслужил у фашистов, была оценкой его позиции писателя-гуманиста.

1941 год. Фашистские войска стоят под Москвой. В английской печати все чаще мелькает фраза: «Мы должны быть благодарны русским за отсрочку» Смысл этой вежливой фразы понятен. Операция «Морской лев» была отложена Гитлером «до победы над Россией». В Англии многие верили, что только отложена, и подсчитывали—на сколько. Иначе думал Уэллс. В начале второй мировой войны, до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, он испытывал большие сомнения в победе союзников. В той же речи «О чести и достоинстве свободного разума» он призывал писателей сохранить верность своим идеям не только в испытаниях войны, но и в случае поражения. Вступление Советского Союза в войну было для Уэллса ее переломным моментом, и первое же поражение гитлеровских войск в зимней кампании 1941—1942 года заставило его раз навсегда поверить в победу. Почему остановились, а потом и попятились от Москвы фашистские дивизии? Те, кто «благодарил Советский Союз за отсрочку», теперь большую часть своей благодарности переадресовывали русским морозам. Уэллс увидел другую причину. В России, писал он, немцы впервые столкнулись с народом, освободившимся от буржуазной морали и дерущимся в полном единодушии.

Война еще не перевалила за половину, а Уэллс уже задумывался о том, в каком мире будет жить человечество, прошедшее через испытания военных лет. И здесь его предсказания снова, как те, что он делал в годы, когда только входил в литературу, поражают своей верностью. Нет, на этот раз даже большим — своей определенностью.

«В Центральной Европе нет недостатка в слабоумных кликушах,— пишет он в предвидении немецкого реваншизма.— Мир по-прежнему останется лицом к лицу с охваченной жаждой мести, уже пережившей Гитлера Германией, накапливающей силы в ожидании нового фюрера и новой судороги».

После войны снова придется бороться за мир с тем большей настойчивостью, что средства войны неудержимо растут.

«Почему люди так глупы?—спрашивает себя Уэллс.— Ведь факты говорят за себя. Не было и нет никакого мыслимого предела для размеров воздушного флота и дальности его действия... Точно так же невозможно наметить какой-нибудь предел для действия бомбы, которое опять-таки должно достичь всемирно-разрушительной силы». Человечество, пишет

Уэллс, столкнется после войны с возможностью *истребления жизни на земле. И, обращаясь к будущим поджигателям войны*, он говорит: «При мысли о более счастливых поколениях вами овладевает злобная зависть. Вы с радостью сделаете все от вас зависящее, чтобы уничтожить не только человеческую надежду, но и само человечество. Ваша жажда власти может найти удовлетворение в мысли об этом.

Но тут воля пойдет против воли. Может быть, вы добьетесь своего. Но если вас постигнет неудача и мировая революция одержит верх, ничто не помешает ей совершенно категорически объявить вас безумцами и преступниками...»

Во имя человеческой надежды и человечества всю жизнь боролся Уэллс. Он прошел долгий путь, и ему суждено было увидеть, как самые мрачные его пророчества если и не всегда исполняются, то приобретают пугающую реальность, а туманные символы мировых катастроф материализуются в атомные бомбы и безумцев, дергающих рычаг бомбодержателя Юношеское честолюбие давно ушло для него в прошлое, и он без всякого удовольствия — с ужасом — убеждался в том, что ему в самом деле был присущ большой дар предвидения. С поздних фотографий Уэллса на нас смотрит обрюзгший, усталый, чуждый всякого тщеславия старик со скорбными, умными глазами. Он охотнее примирился бы с кличкою лжепророка, нежели с той печальной славой провидца, какую принес ему мир, живущий под дамокловым мечом водородной бомбы.

Последние два года жизни Уэллс метался между отчаянием и надеждой. Чем более приближался конец войны, тем яснее он видел, что и последнему его мрачному пророчеству суждено сбыться, что все отчетливей вырисовываются силы— уже не в Германии — в Англии и в Америке,— которые постараются привести человечество к новой войне. «Мне известно, что сейчас исподволь и упорно внушают людям, что следующая война будет войной Англии и Америки против России,— писал он 24 мая 1945 года в газете «Дейли уоркер», органе Английской компартии.— Вся эта кампания ведется слишком одинаковыми методами, чтобы не быть подготовленной заранее». Надежду он видел в единстве всех левых сил, в победе человеческого разума, в духовном прогрессе. Поэтому он, человек, столько сил потративший на полемику с коммунистами, в том же письме в «Дейли уоркер» заявил, что активно поддерживает коммунистическую партию и в соответствии с этим будет голосовать на ближайших парламентских выборах.

От юношеской атаки на устоявшийся, косный мир, угрожающий самому существованию человечества, к непримиренной скорби за новые поколения, так и не познавшие счастья жить на земле, освобожденной от жестокости, несправедливости и войны,— такой путь духовного развития прошел Герберт Уэллс. Этот странный, непоследовательный, в чем-то ограниченный человек оказался удивительно последовате-

лен в главном — в гуманизме. Не в сентиментальной подделке под гуманизм — в подлинном гуманизме, умном, трезвом, чуждом своекорыстной лести людям и полном заботы о них.

Уэллс умер 13 августа 1946 года, оставив после себя более ста книг и сотни отдельных статей, сохранившие для нас его мысли, надежды, сомнения. Многое из того, что он сказал, волнует нас сегодня не меньше, а порой больше, чем его современников. Он рано приобрел всемирную славу, но только поколение, пришедшее после него, увидело в нем великого писателя. Он был не похож на других, как все великие писатели не похожи один на другого. У него были срывы, как были они у многих из тех, кто поднялся к вершинам литературы. Им владело неосуществимое стремление вобрать в себя все, чем живет человечество. Он был великим писателем нашего не завершившегося еще двадцатого века.

Ю. Кагарлицкий

Машина времени

Посвящается Уильяму Эрнесту Хенли

I

Путешественник по Времени (будем называть его так) рассказывал нам невероятные вещи. Его серые глаза искрились и сияли, лицо, обычно бледное, покраснело и оживилось. В камине ярко пылал огонь, и мягкий свет электрических лампочек, ввинченных в серебряные лилии, переливался в наших бокалах. Стулья собственного его изобретения были так удобны, словно ласкались к нам; в комнате царила та блаженная послеобеденная атмосфера, когда мысль, свободная от строгой определенности, легко скользит с предмета на предмет. Вот что он нам сказал, отмечая самое важное движениями тонкого указательного пальца, в то время как мы лениво сидели на стульях, удивляясь его изобретательности и тому, что он серьезно относится к своему новому парадоксу (как мы это называли):

— Прошу вас слушать меня внимательно. Мне придется опровергнуть несколько общепринятых представлений. Например, геометрия, которой вас обучали в школах, построена на недоразумении...

— Не думаете ли вы, что это слишком широкий вопрос, чтобы с него начинать? — сказал рыжеволосый Филби, большой спорщик.

— Я и не предполагаю, что вы согласитесь с мной, не имея на это достаточно разумных оснований. Но вам придется согласиться со мной, я вас заставлю. Вы, без сомнения, знаете, что математическая линия, линия без толщины, воображаема и реально не существует.

Учили вас этому? Вы знаете, что не существует также и математической плоскости. Все это чистые абстракции.

— Совершенно верно,— подтвердил Психолог.

— Но ведь точно так же не имеет реального существования и куб, обладающий только длиной, шириной и высотой...

— С этим я не могу согласиться,— заявил Филби.— Без сомнения, твердые тела существуют. А все существующие предметы...

— Так думает большинство людей. Но подождите минуту. Может ли существовать вневременной куб?

— Не понимаю вас,— сказал Филби.

— Можно ли признать действительно существующим кубом то, что не существует ни единого мгновения?

Филби задумался.

— А из этого следует,— продолжал Путешественник по Времени,— что каждое реальное тело должно обладать четырьмя измерениями: оно должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования. Но вследствие прирожденной ограниченности нашего ума мы не замечаем этого факта. И все же существуют четыре измерения, из которых три мы называем пространственными, а четвертое — временны́м. Правда, существует тенденция противопоставить три первых измерения последнему, но только потому, что наше сознание от начала нашей жизни и до ее конца движется рывками лишь в одном-единственном направлении этого последнего измерения.

— Это,— произнес Очень Молодой Человек, делая отчаянные усилия раскурить от лампы свою сигару,— это... право. яснее ясного.

— Замечательно. Однако это совершенно упускают из виду,— продолжал Путешественник по Времени, и голос его слегка повеселел.— Время и есть то, что подразумевается под Четвертым Измерением, хотя некоторые трактующие о Четвертом Измерении не знают, о чем говорят. Это просто иная точка зрения на Время. *Единственное различие между Временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется по нему.* Некоторые глупцы неправильно понимают эту мысль. Все вы, конечно, знаете, в

чем заключаются их возражения против Четвертого Измерения?

— Я не знаю,— заявил Провинциальный Мэр.

— Все очень просто. Пространство, как понимают его наши математики, имеет три измерения, которые называются длиной, шириной и высотой, и оно определяется относительно трех плоскостей, расположенных под прямым углом друг к другу. Однако некоторые философские умы задавали себе вопрос: почему же могут существовать только три измерения? Почему не может существовать еще одно направление под прямым углом к трем остальным? Они пытались даже создать Геометрию Четырех Измерений. Всего около месяца тому назад профессор Саймон Ньюком[1] излагал эту проблему перед Нью-Йоркским математическим обществом. Вы знаете, что на плоской поверхности, обладающей только двумя измерениями, можно представить чертеж трехмерного тела. Предполагается, что точно так же при помощи трехмерных моделей можно представить предмет в четырех измерениях, если овладеть перспективой этого предмета. Понимаете?

— Кажется, да,— пробормотал Провинциальный Мэр.

Нахмурив брови, он углубился в себя и шевелил губами, как человек, повторяющий какие-то магические слова.

— Да, мне кажется, я теперь понял,— произнес он спустя несколько минут, и его лицо просияло.

— Ну, я мог бы рассказать вам, как мне пришлось заниматься одно время Геометрией Четырех Измерений. Некоторые из моих выводов довольно любопытны. Например, вот портрет человека, когда ему было восемь лет, другой — когда ему было пятнадцать, третий — семнадцать, четвертый — двадцать три года и так далее. Все это, очевидно, трехмерные представления его четырехмерного существования, которое является вполне определенной и неизменной величиной.

— Ученые,—продолжал Путешественник по Времени, помолчав для того, чтобы мы лучше усвоили сказанное,— отлично знают, что Время—только особый вид Простран-

---

[1] Саймон Ньюком (1835—1909)—крупный американский астроном.

ства. Вот перед вами самая обычная диаграмма, кривая погоды. Линия, по которой я веду пальцем, показывает колебания барометра. Вчера он стоял вот на такой высоте, к вечеру упал, сегодня утром снова поднялся и полз понемногу вверх, пока не дошел вот до этого места. Без сомнения, ртуть не нанесла этой линии ни в одном из общепринятых пространственных измерений. Но так же несомненно, что ее колебания абсолютно точно определяются нашей линией, и отсюда мы должны заключить, что такая линия была проведена в Четвертом Измерении — во Времени.

— Но,— сказал Доктор, пристально глядя на уголь в камине,— если Время действительно только Четвертое Измерение Пространства, то почему же всегда, вплоть до наших дней, на него смотрели как на нечто отличное? И почему мы не можем двигаться во Времени точно так же, как движемся во всех остальных измерениях Пространства?

Путешественник по Времени улыбнулся.

— А вы так уверены в том, что мы можем свободно двигаться в Пространстве? Правда, мы можем довольно свободно пойти вправо и влево, назад и вперед, и люди всегда делали это. Я допускаю, что мы свободно движемся в двух измерениях. Ну, а как насчет движения вверх? Сила тяготения ограничивает нас в этом.

— Не совсем,— заметил Доктор.— Существуют же аэростаты.

— Но до аэростатов, кроме неуклюжих прыжков и лазанья по неровностям земной поверхности, у человека не было иной возможности вертикального движения.

— Все же мы можем двигаться немного вверх и вниз,— сказал Доктор.

— Легче, значительно легче вниз, чем вверх!

— Но двигаться во Времени совершенно немыслимо, вы никуда не уйдете от настоящего момента.

— Мой дорогой друг, тут-то вы и ошибаетесь. В этом-то и ошибался весь мир. Мы постоянно уходим от настоящего момента. Наша духовная жизнь, нематериальная и не имеющая измерений, движется с равномерной быстротой от колыбели к могиле по Четвертому Измерению Пространства — Времени. Совершенно так же, как если бы мы, начав свое существование в пятидесяти ми-

лях над земной поверхностью, равномерно падали бы вниз.

— Однако главное затруднение,— вмешался Психолог,— заключается в том, что можно свободно двигаться во всех направлениях Пространства, но нельзя так же свободно двигаться во Времени!

— В этом-то и заключается зерно моего великого открытия. Вы совершаете ошибку, говоря, что нельзя двигаться во Времени. Если я, например, очень ярко вспоминаю какое-либо событие, то возвращаюсь ко времени его совершения и как бы мысленно отсутствую. Я на миг делаю прыжок в прошлое. Конечно, мы не имеем возможности остаться в прошлом на какую бы то ни было частицу Времени, подобно тому как дикарь или животное не могут повиснуть в воздухе на расстоянии хотя бы шести футов от земли. В этом отношении цивилизованный человек имеет преимущество перед дикарем. Он вопреки силе тяготения может подняться вверх на воздушном шаре. Почему же нельзя надеяться, что в конце концов он сумеет также остановить или ускорить свое движение по Времени или даже повернуть в противоположную сторону?

— Это совершенно невозможно...—начал было Филби.

— Почему нет? — спросил Путешественник по Времени.

— Это противоречит разуму,— ответил Филби.

— Какому разуму? — сказал Путешественник по Времени.

— Конечно, вы можете доказывать, что черное — белое,— сказал Филби,— но вы никогда не убедите меня в этом.

— Возможно,— сказал Путешественник по Времени.— Но все же попытайтесь взглянуть на этот вопрос с точки зрения Геометрии Четырех Измерений. С давних пор у меня была смутная мечта создать машину...

— Чтобы путешествовать по Времени? — прервал его Очень Молодой Человек.

— Чтобы двигаться свободно в любом направлении Пространства и Времени по желанию того, кто управляет ею.

Филби только рассмеялся и ничего не сказал.

— И я подтвердил возможность этого на опыте,— сказал Путешественник по Времени.

— Это было бы удивительно удобно для историка,— заметил Психолог.— Можно было бы, например, отправиться в прошлое и проверить известное описание битвы при Гастингсе [1]!

— А вы не побоялись бы, что на вас нападут обе стороны? — сказал Доктор.— Наши предки не очень-то любили анахронизмы.

— Можно было бы изучить греческий язык из уст самого Гомера или Платона,— сказал Очень Молодой Человек.

— И вы, конечно, провалились бы на экзамене. Немецкие ученые так удивительно усовершенствовали древнегреческий язык!

— В таком случае уж лучше отправиться в будущее!—воскликнул Очень Молодой Человек.—Подумайте только! Можно было бы поместить все свои деньги в банк под проценты — и вперед!

— А там окажется,— перебил я,— что общество будущего основано на строго коммунистических началах.

— Это самая экстравагантная теория!..— воскликнул Психолог.

— Да, так казалось и мне, но я не говорил об этом до тех пор...

— Пока не могли подтвердить это опытом! — подхватил я.— И вы можете доказать...

— Требую опыта!—закричал Филби, которому надоели рассуждения.

— Покажите же нам свой опыт,— сказал Психолог,— хотя, конечно, все это чепуха.

Путешественник по Времени, улыбаясь, обвел нас взглядом. Затем все с той же усмешкой засунул руки в карманы и медленно вышел из комнаты. Мы услышали шарканье его туфель по длинному коридору, который вел в лабораторию.

Психолог посмотрел на нас.

— Интересно, зачем он туда пошел?

---

[1] При Гастингсе (город на юго-востоке Англии) произошла в 1066 году битва между войсками англосаксонского короля Гарольда и нормандского герцога Вильгельма I.

— Наверно, это какой-нибудь фокус,— сказал Доктор.

Филби принялся рассказывать о фокуснике, которого он видел в Барслеме, но тут Путешественник по Времени вернулся, и рассказ Филби остался неоконченным.

II
МАШИНА ВРЕМЕНИ

Путешественник по Времени держал в руке искусно сделанный блестящий металлический предмет немного больше маленьких настольных часов. Он был сделан из слоновой кости и какого-то прозрачного, как хрусталь, вещества. Теперь я постараюсь быть очень точным в своем рассказе, так как за этим последовали совершенно невероятные события. Хозяин придвинул один из маленьких восьмиугольных столиков, расставленных по комнате, к самому камину так, что две его ножки очутились на каминном коврике. На этот столик он поставил свой аппарат. Затем придвинул стул и сел на него. Кроме аппарата, на столе стояла еще небольшая лампа под абажуром, от которой падал яркий свет. В комнате теперь горело еще около дюжины свечей: две в бронзовых подсвечниках на камине, остальные в канделябрах,— так что вся она была освещена. Я сел в низкое кресло поближе к огню и выдвинул его вперед так, что оказался почти между камином и Путешественником по Времени. Филби уселся позади и смотрел через его плечо. Доктор и Провинциальный Мэр наблюдали с правой стороны, а Психолог — слева. Очень Молодой Человек стоял позади Психолога. Все мы насторожились. Мне кажется невероятным, чтобы при таких условиях нас можно было обмануть каким-нибудь фокусом, даже самым хитрым и искусно выполненным.

Путешественник по Времени посмотрел на нас, затем на свой аппарат.

— Ну? — сказал Психолог.

— Этот маленький механизм — только модель,— сказал Путешественник по Времени, облокотившись на стол и сплетя пальцы над аппаратом. По ней я делаю машину для путешествия по Времени. Вы замечаете, какой у нее

необычный вид? Например, вот у этой пластинки очень смутная поверхность, как будто бы она в некотором роде не совсем реальна.

Он указал пальцем на одну из частей модели.

— Вот здесь находится маленький белый рычажок, а здесь другой.

Доктор встал со стула и принялся рассматривать модель.

— Чудесно сделано,— сказал он.

— На это ушло два года,— ответил Путешественник по Времени. Затем, после того как мы все по примеру Доктора осмотрели модель, он добавил: — А теперь обратите внимание на следующее: если нажать на этот рычажок, машина начинает скользить в будущее, а второй рычажок вызывает обратное движение. Вот седло, в которое должен сесть Путешественник по Времени. Сейчас я нажму рычаг — и машина двинется. Она исчезнет, умчится в будущее и скроется из наших глаз. Осмотрите ее хорошенько. Осмотрите также стол и убедитесь, что тут нет никакого фокуса. Я вовсе не желаю потерять свою модель и получить за это только репутацию шарлатана.

Наступило минутное молчание. Психолог как будто хотел что-то сказать мне, но передумал. Путешественник по Времени протянул палец по направлению к рычагу.

— Нет,— сказал он вдруг.— Пусть кто-нибудь даст мне руку.— Обернувшись к Психологу, он взял его за локоть и попросил вытянуть указательный палец.

Таким образом, Психолог сам отправил модель Машины Времени в ее бесконечное путешествие. Мы все видели, как рычаг повернулся. Я глубоко убежден, что здесь не было обмана. Произошло колебание воздуха, и пламя лампы задрожало. Одна из свечей, стоявших на камине, погасла. Маленькая машина закачалась, сделалась неясной, на мгновение она представилась нам как тень, как призрак, как вихрь поблескивавшего хрусталя и слоновой кости — и затем исчезла, пропала. На столе осталась только лампа.

С минуту мы все молчали. Затем Филби пробормотал проклятие.

Психолог, оправившись от изумления, заглянул под стол. Путешественник по Времени весело рассмеялся.

— Ну! — сказал он, намекая на сомнения Психолога.

Затем, встав, он взял с камина жестянку с табаком и преспокойно принялся набивать трубку.

Мы посмотрели друг на друга.

— Слушайте,— сказал Доктор,— неужели вы это серьезно? Неужели вы действительно верите, что ваша машина отправилась путешествовать по Времени?

— Без сомнения,— ответил он, наклонился к камину и сунул в огонь клочок бумаги. Затем, закурив трубку, посмотрел на Психолога. (Психолог, стараясь скрыть свое смущение, достал сигару и, позабыв обрезать кончик, тщетно пытался закурить.) —Скажу более,— продолжал наш хозяин,— у меня почти окончена большая машина... Там.— Он указал в сторону своей лаборатории.— Когда она будет готова, я предполагаю сам совершить путешествие.

— Вы говорите, что эта машина отправилась в будущее? — спросил Филби.

— В будущее или в прошлое — наверняка не знаю.

— Постойте,— сказал Психолог с воодушевлением.— Она должна была отправиться в прошлое, если вообще можно допустить, что она куда-нибудь отправилась.

— Почему? — спросил Путешественник по Времени.

— Потому что если бы она не двигалась в Пространстве и отправилась в будущее, то все время оставалась бы с нами: ведь и мы путешествуем туда же!

— А если бы она отправилась в прошлое,— добавил я,— то мы видели бы ее еще в прошлый четверг, когда были здесь, и в позапрошлый четверг, и так далее!

— Серьезные возражения! — заметил Провинциальный Мэр и с видом полного беспристрастия повернулся к Путешественнику по Времени.

— Вовсе нет,— сказал тот и, обращаясь к Психологу, сказал: — Вы сами легко можете им это объяснить. Это вне восприятия, неуловимо чувством.

— Конечно,—ответил Психолог,—обращаясь к нам.— С психологической точки зрения это очень просто. Я должен был бы подумать раньше. Это подтверждает ваш парадокс. Мы действительно не можем видеть, не можем воспринять движение этой машины, как не можем видеть спицу быстро вертящегося колеса или пулю, летящую в воздухе. И если машина движется в будущее со ско-

ростью в пятьдесят или сто раз большей, чем мы сами, если она проходит хотя бы минуту времени, пока мы проходим секунду, то восприятие ее равняется, безусловно, только одной пятидесятой или одной сотой обычного восприятия. Это совершенно ясно.— Он провел рукой по тому месту, где стоял аппарат.— Понимаете? — сказал он, смеясь.

Целую минуту мы не сводили взгляда с пустого стола. Затем Путешественник по Времени спросил, что мы обо всем этом думаем.

— Все это кажется сегодня вполне правдоподобным,— ответил Доктор,— но подождем до завтра. Утро вечера мудренее.

— Не хотите ли взглянуть на саму Машину Времени? — спросил Путешественник по Времени.

И, взяв лампу, он повел нас по длинному холодному коридору в свою лабораторию. Ясно помню мерцающий свет лампы, его темную крупную голову впереди, наши пляшущие тени на стенах. Мы шли за ним, удивленные и недоверчивые, и увидели в лаборатории, так сказать, увеличенную копию маленького механизма, исчезнувшего на наших глазах. Некоторые части машины были сделаны из никеля, другие из слоновой кости; были и детали, несомненно, вырезанные или выпиленные из горного хрусталя. В общем, машина была готова. Только на скамье, рядом с чертежами, лежало несколько прозрачных, причудливо изогнутых стержней. Они, по-видимому, не были окончены. Я взял в руку один из них, чтобы получше рассмотреть. Мне показалось, что он был сделан из кварца.

— Послушайте,— сказал Доктор,— неужели это действительно серьезно? Или это фокус вроде того привидения, которое вы показывали нам на прошлое рождество?

— На этой машине,— сказал Путешественник по Времени, держа лампу высоко над головой,— я собираюсь исследовать Время. Понимаете? Никогда еще я не говорил более серьезно, чем сейчас.

Никто из нас хорошенько не знал, как отнестись к этим его словам. Выглянув из-за плеча Доктора, я встретился взглядом с Филби, и он многозначительно подмигнул мне.

III

ПУТЕШЕСТВЕННИК ПО ВРЕМЕНИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Мне кажется, в то время никто из нас серьезно не верил в Машину Времени. Дело в том, что Путешественник по Времени принадлежал к числу людей, которые слишком умны, чтобы им можно было слепо верить. Всегда казалось, что он себе на уме, никогда не было уверенности в том, что его обычная откровенность не таит какой-нибудь задней мысли или хитроумной уловки. Если бы ту же самую модель показал нам Филби, объяснив сущность дела теми же словами, мы проявили бы значительно больше доверия. Мы понимали бы, что им движет: всякий колбасник мог бы понять Филби. Но характер Путешественника по Времени был слишком причудлив, и мы инстинктивно не доверяли ему. Открытия и выводы, которые доставили бы славу человеку менее умному, у него казались лишь хитрыми трюками. Достигая своих целей слишком легко, он совершал большую ошибку. Серьезные, умные люди, с уважением относившиеся к нему, никогда не были уверены в том, что он не одурачит их просто ради шутки, и всегда чувствовали, что их репутация в его руках подобна тончайшему фарфору в руках ребенка. Вот почему, как мне кажется, ни один из нас всю следующую неделю, от четверга до четверга, ни словом не обмолвился о путешествии по Времени, хотя, без сомнения, оно заинтересовало всех: кажущаяся правдоподобность и вместе с тем практическая невероятность такого путешествия, забавные анахронизмы и полный хаос, который оно вызвало бы,— все это очень занимало нас. Что касается меня лично, то я особенно заинтересовался опытом с моделью. Помню, я поспорил об этом с Доктором, встретившись с ним в пятницу в Линнеевском обществе. Он говорил, что видел нечто подобное в Тюбингене, и придавал большое значение тому, что одна из свечей во время опыта погасла. Но как все это было проделано, он не мог объяснить.

В следующий четверг я снова поехал в Ричмонд, так как постоянно бывал у Путешественника по Времени, и, немного запоздав, застал уже в гостиной четверых или пятерых знакомых.

Доктор стоял перед камином с листком бумаги в одной руке и часами в другой. Я огляделся: Путешественника по Времени не было.

— Половина восьмого,— сказал Доктор.— Мне кажется, пора садиться за стол.

— Но где же хозяин? — спросил я.

— Ага, вы только что пришли? Знаете, это становится странным. Его, по-видимому, что-то задержало. В этой записке он просит нас сесть за стол в семь часов, если он не вернется, и обещает потом объяснить, в чем дело.

— Досадно, если обед будет испорчен,— сказал Редактор одной известной газеты.

Доктор позвонил.

Из прежних гостей, кроме меня и Доктора, был только один Психолог. Зато появились новые: Бленк, уже упомянутый нами Редактор, один журналист и еще какой-то тихий, застенчивый бородатый человек, которого я не знал и который, насколько я мог заметить, за весь вечер не проронил ни слова. За обедом высказывались всевозможные догадки о том, где сейчас хозяин. Я шутливо намекнул, что он путешествует по Времени. Редактор захотел узнать, что это значит, и Психолог принялся длинно и неинтересно рассказывать об «остроумном фокусе», очевидцами которого мы были неделю назад. В самой середине его рассказа дверь в коридор медленно и бесшумно отворилась. Я сидел напротив нее и первый заметил это.

— А! — воскликнул я.— Наконец-то! — Дверь распахнулась настежь, и мы увидели Путешественника по Времени.

У меня вырвался крик изумления.

— Господи, что с вами? — воскликнул и Доктор.

Все сидевшие за столом повернулись к двери.

Вид у него был действительно странный. Его сюртук был весь в грязи, на рукавах проступали какие-то зеленые пятна; волосы были всклокочены и показались мне поседевшими от пыли или оттого, что они за это время выцвели. Лицо его было мертвенно-бледно, на подбородке виднелся темный, едва затянувшийся рубец, глаза дико блуждали, как у человека, перенесшего тяжкие страдания. С минуту он постоял в дверях, как буд-

то ослепленный светом. Затем, прихрамывая, вошел в комнату. Так хромают бродяги, когда натрут ноги. Мы все выжидающе смотрели на него.

Не произнося ни слова, он заковылял к столу и протянул руку к бутылке. Редактор налил шампанского и пододвинул ему бокал. Он осушил бокал залпом, и ему, казалось, стало лучше: он обвел взглядом стол, и на лице его мелькнуло подобие обычной улыбки.

— Что с вами случилось? — спросил Доктор. Путешественник по Времени, казалось, не слышал вопроса.

— Не беспокойтесь,— сказал он, запинаясь.— Все в порядке.

Он замолчал и снова протянул бокал, затем выпил его, как и прежде, залпом.

— Вот хорошо,— сказал он.

Глаза его заблестели, на щеках показался слабый румянец. Он взглянул на нас с одобрением и два раза прошелся из угла в угол теплой и уютной комнаты... Потом заговорил, запинаясь и как будто с трудом подыскивая слова.

— Я пойду приму ванну и переоденусь, а затем вернусь и все вам расскажу... Оставьте мне только кусочек баранины. Я смертельно хочу мяса.

Он взглянул на Редактора, который редко бывал в его доме, и поздоровался с ним. Редактор что-то спросил у него.

— Дайте мне только одну минутку, и я вам отвечу,— сказал Путешественник по Времени.— Видите, в каком я виде. Но через минуту все будет в порядке.

Он поставил бокал на стол и направился к двери. Я снова обратил внимание на его хромоту и на глухой звук его шагов. Привстав со стула как раз в то мгновение, когда он выходил из комнаты, я поглядел на его ноги. На них не было ничего, кроме изорванных и окровавленных носков. Дверь закрылась. Я хотел его догнать, но вспомнил, как он ненавидит лишнюю суету. Несколько минут я не мог собраться с мыслями.

— «Странное Поведение Знаменитого Ученого»,— услышал я голос Редактора, который по привычке мыслил всегда в форме газетных заголовков. Эти слова вернули меня к ярко освещенному обеденному столу.

— В чем дело? — спросил Журналист.— Что он, разыгрывает из себя бродягу, что ли? Ничего не понимаю.

Я встретился взглядом с Психологом, и на его лице прочел отражение собственных мыслей. Я подумал о путешествии по Времени и о самом Путешественнике, ковылявшем теперь наверх по лестнице. Кажется, никто, кроме меня, не заметил его хромоты.

Первым опомнился Доктор. Он позвонил — Путешественник по Времени не любил, чтобы прислуга находилась в комнате во время обеда,— и велел подать следующее блюдо.

Проворчав что-то себе под нос, Редактор принялся орудовать ножом и вилкой, и Молчаливый Гость последовал его примеру. Все снова принялись за еду. Некоторое время разговор состоял из одних удивленных восклицаний, перемежавшихся молчанием. Любопытство Редактора достигло предела.

— Не пополняет ли наш общий друг свои скромные доходы нищенством? — начал он снова.— Или с ним случилось то же самое, что с Навуходоносором?

— Я убежден, что это имеет какое-то отношение к Машине Времени,— сказал я и стал продолжать рассказ о нашей предыдущей встрече с того места, где остановился Психолог. Новые гости слушали с явным недоверием. Редактор принялся возражать.

— Хорошенькое путешествие по Времени! — воскликнул он.— Подумайте только! Не может же человек покрыться пылью только потому, что запутался в своем парадоксе!

Найдя эту мысль забавной, он принялся острить:

— Неужели в Будущем нет платяных щеток?

Журналист тоже ни за что не хотел нам верить и присоединился к Редактору, легко нанизывая одну на другую насмешки и несообразности. Оба они были журналистами нового типа — веселые разбитные молодые люди.

— Наш специальный корреспондент из послезавтрашнего дня сообщает! — сказал или скорее выкрикнул Журналист в то мгновение, когда Путешественник по Времени появился снова. Он был теперь в своем обычном костюме, и, кроме блуждающего взгляда, во внешности

его не осталось никаких следов недавней перемены, которая меня так поразила.

— Вообразите,— весело сказал Редактор,— эти шутники утверждают, что вы побывали в середине будущей недели!.. Не расскажете ли вы нам что-нибудь о Розбери [1]? Какой желаете гонорар?

Не произнося ни слова, Путешественник по Времени подошел к оставленному для него месту. Он улыбался своей обычной спокойной улыбкой.

— Где моя баранина? — спросил он.— Какое наслаждение снова воткнуть вилку в кусок мяса!

— Выкладывайте! — закричал Редактор.

— К черту! — сказал Путешественник по Времени.— Я умираю с голоду. Не скажу ни слова, пока не подкреплюсь. Благодарю вас. И, будьте любезны, передайте соль.

— Одно только слово,— проговорил я.— Вы путешествовали по Времени?

— Да, — ответил Путешественник по Времени с набитым ртом и кивнул головой.

— Готов заплатить по шиллингу за строчку! — сказал Редактор.

Путешественник по Времени пододвинул к Молчаливому Человеку свой бокал и постучал по нему пальцем; Молчаливый Человек, пристально смотревший на него, нервно вздрогнул и налил вина.

Обед показался мне бесконечно долгим. Я с трудом удерживался от вопросов, и, думаю, то же самое было со всеми остальными. Журналист пытался поднять настроение, рассказывая анекдоты. Но Путешественник по Времени был поглощен обедом и ел с аппетитом настоящего бродяги. Доктор курил сигару и, прищурившись, незаметно наблюдал за ним. Молчаливый Человек, казалось, был застенчивей обыкновенного и нервно пил шампанское. Наконец Путешественник по Времени отодвинул тарелку и оглядел нас.

— Я должен извиниться перед вами,— сказал он.— Простите! Я умирал с голоду. Со мной случилось удивительнейшее происшествие.

Он протянул руку за сигарой и обрезал ее конец.

---

[1] Арчибалд Розбери—английский премьер-министр в 1894—1895 годах.

— Перейдемте в курительную. Это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее за столом, уставленным грязными тарелками.

И, позвонив прислуге, он отвел нас в соседнюю комнату.

— Рассказывали вы Бленку, Дэшу и Чоузу о Машине? — спросил он меня, откидываясь на спинку удобного кресла и указывая на троих новых гостей.

— Но ведь это просто парадокс,— сказал Редактор.

— Сегодня я не в силах спорить. Рассказать могу, но спорить не в состоянии. Если хотите, я расскажу вам о том, что со мной случилось, но прошу не прерывать меня. Я чувствую непреодолимую потребность рассказать вам все. Знаю, что едва ли не весь мой рассказ покажется вам вымыслом. Пусть так! Но все-таки это правда — от первого до последнего слова... Сегодня в четыре часа дня я был в своей лаборатории, и с тех пор... за три часа прожил восемь дней... Восемь дней, каких не переживал еще ни один человек! Я измучен, но не лягу спать до тех пор, пока не расскажу вам все. Тогда только я смогу заснуть. Но не прерывайте меня. Согласны?

— Согласен,— сказал Редактор.

И все мы повторили хором:

— Согласны!

И Путешественник по Времени начал свой рассказ, который я привожу здесь. Сначала он сидел, откинувшись на спинку кресла, и казался крайне утомленным, но потом понемногу оживился. Пересказывая его историю, я слишком глубоко чувствую полнейшее бессилие пера и чернил и, главное, собственную свою неспособность передать все эти характерные особенности. Вероятно, вы прочтете его со вниманием, но не увидите бледного искреннего лица рассказчика, освещенного ярким светом лампы, и не услышите звука его голоса. Вы не сможете представить себе, как по ходу рассказа изменялось выражение этого лица. Большинство из нас сидело в тени: в курительной комнате не были зажжены свечи, а лампа освещала только лицо Журналиста и ноги Молчаливого Человека, да и то лишь до колен.

Сначала мы молча переглядывались, но вскоре забыли обо всем и смотрели только на Путешественника по Времени.

IV
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВРЕМЕНИ

— В прошлый четверг я объяснял уже некоторым из вас принцип действия моей Машины Времени и показывал ее, еще не законченную, в своей мастерской. Там она находится и сейчас, правда, немного потрепанная путешествием. Один из костяных стержней надломлен, и бронзовая полоса погнута, но все остальные части в исправности. Я рассчитывал закончить ее еще в пятницу, но, собрав все, заметил, что одна из никелевых деталей на целый дюйм короче, чем нужно. Пришлось снова ее переделывать. Вот почему моя Машина была закончена только сегодня. В десять часов утра первая в мире Машина Времени была готова к путешествию. В последний раз я осмотрел все, испробовал винты и, снова смазав кварцевую ось, сел в седло. Думаю, что самоубийца, который подносит револьвер к виску, испытывает такое же странное чувство, какое охватило меня, когда одной рукой я взялся за пусковой рычаг, а другой — за тормоз. Я быстро повернул первый и почти тотчас же второй. Мне показалось, что я покачнулся, испытав, будто в кошмаре, ощущение падения. Но, оглядевшись, я увидел свою лабораторию такой же, как и за минуту до этого. Произошло ли что-нибудь? На мгновение у меня мелькнула мысль, что все мои теории ошибочны. Я посмотрел на часы. Минуту назад, как мне казалось, часы показывали начало одиннадцатого, теперь же — около половины четвертого!

Я вздохнул и, сжав зубы, обеими руками повернул пусковой рычаг. Лаборатория стала туманной и неясной. Вошла миссис Уотчет и, по-видимому, не замечая меня, двинулась к двери в сад. Для того, чтобы перейти комнату, ей понадобилось, вероятно, около минуты, но мне показалось, что она пронеслась с быстротой ракеты. Я повернул рычаг до отказа. Сразу наступила темнота, как будто потушили лампу, но в следующее же мгновение вновь стало светло. Я неясно различал лабораторию, которая становилась все более и более туманной. Вдруг наступила ночь, затем снова день, снова ночь и так далее, все быстрее. У меня шумело в ушах, и странное ощущение падения стало сильнее.

Боюсь, что не сумею передать вам своеобразных ощущений путешествия по Времени. Чтобы понять меня, их надо испытать самому. Они очень неприятны. Как будто мчишься куда-то, беспомощный, с головокружительной быстротой. Предчувствие ужасного, неизбежного падения не покидает тебя. Пока я мчался таким образом, ночи сменялись днями, подобно взмахам черных крыльев. Скоро смутные очертания моей лаборатории исчезли, и я увидел солнце, каждую минуту делавшее скачок по небу от востока до запада, и каждую минуту наступал новый день. Я решил, что лаборатория разрушена и я очутился под открытым небом. У меня было впечатление, что здесь что-то строится, но я мчался слишком быстро, чтобы воспринимать подробности. Самая медленная из улиток двигалась для меня слишком быстро. Мгновенная смена темноты и света была нестерпима для глаз. В секунды потемнения я видел луну, которая быстро пробегала по небу, меняя свои фазы от новолуния до полнолуния, видел слабое мерцание кружившихся звезд. Я продолжал мчаться так со все возрастающей скоростью, день и ночь слились наконец в сплошную серую пелену; небо окрасилось в ту удивительную синеву, приобрело тот чудесный оттенок, который появляется в ранние сумерки; метавшееся солнце превратилось в огненную полосу, дугой сверкавшую от востока до запада, а луна — в такую же полосу слабо струившегося света; я уже не мог видеть звезд и только изредка замечал то тут, то там светлые круги, опоясавшие небесную синеву.

Вокруг меня все было смутно и туманно. Я все еще находился на склоне холма, на котором и сейчас стоит этот дом, и вершина его поднималась надо мной, серая и расплывчатая. Я видел, как деревья вырастали и изменяли форму подобно клубам дыма: то желтея, то зеленея, они росли, увеличивались и исчезали. Я видел, как огромные великолепные здания появлялись и таяли, словно сновидения. Вся поверхность земли изменялась на моих глазах. Маленькие стрелки на циферблатах, показывавшие скорость Машины, вертелись все быстрей и быстрей. Скоро я заметил, что полоса, в которую превратилось солнце, колеблется то к северу, то к югу — от летнего солнцестояния к зимнему,— показывая, что я

пролетал более года в минуту, и каждую минуту снег покрывал землю и сменялся яркой весенней зеленью.

Первые неприятные ощущения полета стали уже не такими острыми. Меня вдруг охватило какое-то исступление. Я заметил странное качание машины, но не мог понять причины этого. В голове моей был какой-то хаос, и я в припадке безумия летел в будущее. Я не думал об остановке, забыл обо всем, кроме своих новых ощущений. Но вскоре эти ощущения сменились любопытством, смешанным со страхом. «Какое удивительное развитие человечества, какие чудесные достижения прогресса по сравнению с нашей зачаточной цивилизацией,— думал я,— могут открыться передо мной, если я взгляну поближе на смутный, мелькающий мир, несущийся и меняющийся перед моими глазами!» Я видел, как вокруг меня вздымались огромные сооружения чудесной архитектуры, гораздо более величественные, чем здания нашего времени, но они казались как бы сотканными из мерцающего тумана. Я видел, как склон этого холма покрылся пышной зеленью и она оставалась на нем круглый год — летом и зимой. Даже сквозь дымку, окутавшую меня, зрелище показалось мне удивительно прекрасным. И я почувствовал желание остановиться.

Риск заключался в том, что пространство, необходимое для моего тела или моей Машины, могло оказаться уже занятым. Пока я с огромной скоростью мчался по Времени, это не имело значения: я находился, так сказать, в разжиженном состоянии, подобно пару, скользил между встречавшимися предметами. Но остановка означала, что я должен молекула за молекулой втиснуться в то, что оказалось бы на моем пути; атомы моего тела должны были войти в такое близкое соприкосновение с атомами этого препятствия, что между теми и другими могла произойти бурная химическая реакция — возможно, мощный взрыв, после которого я вместе с моим аппаратом оказался бы по ту сторону всех возможных измерений, в Неизвестности. Эта возможность не раз приходила мне на ум, пока я делал Машину, но тогда я считал, что это неизбежный риск, на который необходимо идти. Теперь же, когда опасность казалась неминуемой, я уже не смотрел на нее так беззаботно. Дело в том, что новизна окружаю-

щего, утомительные колебания и дрожание Машины, а главное, непрерывное ощущение падения — все это незаметно действовало на мои нервы. Я говорил себе, что уже больше не смогу никогда остановиться, и вдруг, досадуя на самого себя, решил это сделать. Как глупец, я нетерпеливо рванул тормоз, Машина в то же мгновение перевернулась, и я стремглав полетел в пространство.

В ушах у меня словно загремел гром. На мгновение я был оглушен. Потом с трудом сел и осмотрелся. Вокруг меня со свистом падал белый град, а я сидел на мягком дерне перед опрокинутой машиной. Все вокруг по-прежнему казалось серым, но вскоре я почувствовал, что шум в ушах прошел, и еще раз осмотрелся: я находился, по-видимому, в саду, на лужайке, обсаженной рододендронами, лиловые и алые цветы падали на землю под ударами града. Отскакивая от земли, градины летели над моей Машиной, таяли и сырым покровом стлались по земле. В одно мгновение я промок до костей.

«Нечего сказать, хорошенькое гостеприимство,— сказал я,— так встречать человека, который промчался сквозь бесчисленное множество лет».

Решив, что мокнуть дольше было бы глупо, я встал и осмотрелся. Сквозь туман за рододендронами я смутно различил колоссальную фигуру, высеченную, по-видимому, из какого-то белого камня. Больше ничего видно не было.

Трудно передать мои ощущения. Когда град стал падать реже, я подробно разглядел белую фигуру. Она была очень велика — высокий серебристый тополь достигал только до ее половины. Высечена она была из белого мрамора и походила на сфинкса, но крылья его не прилегали к телу, а были распростерты, словно он собирался взлететь. Пьедестал показался мне сделанным из бронзы и был густо покрыт медной зеленью. Лицо Сфинкса было обращено прямо ко мне, его незрячие глаза, казалось, смотрели на меня, и по губам скользила улыбка. Он был сильно потрепан непогодами, словно изъеден болезнью. Я стоял и глядел на него, быть может, полминуты, а может, и полчаса. Казалось, он то приближался, то отступал, смотря по тому, гуще или реже

падал град. Наконец я отвел от него глаза и увидел, что завеса града прорвалась, небо прояснилось и скоро должно появиться солнце.

Я снова взглянул на белую фигуру Сфинкса и вдруг понял все безрассудство своего путешествия. Что увижу я, когда совершенно рассеется этот туман? Разве люди не могли за это время измениться до неузнаваемости? Что, если они стали еще более жестокими? Что, если они совершенно утратили свой человеческий облик и превратились во что-то нечеловеческое, мерзкое и неодолимо сильное? А может быть, я увижу какое-нибудь дикое животное, еще более ужасное и отвратительное, чем первобытные ящеры, в силу своего человекоподобия,— мерзкую тварь, которую следовало бы тотчас же уничтожить?

Я взглянул кругом и увидел вдали какие-то очертания — огромные дома с затейливыми перилами и высокими колоннами, они отчетливо выступали на фоне лесистого холма, который сквозь утихающую грозу смутно вырисовывался передо мною. Панический страх вдруг овладел мною. Как безумный, я бросился к Машине Времени и попробовал снова запустить ее. Солнечные лучи пробились тем временем сквозь облака. Серая завеса расплылась и исчезла. Надо мной в густой синеве летнего неба растаяло несколько последних облаков. Ясно и отчетливо показались огромные здания, блестевшие после обмывшей их грозы и украшенные белыми грудами нерастаявших градин. Я чувствовал себя совершенно беззащитным в этом неведомом мире. Вероятно, то же самое ощущает птичка, видя, как парит ястреб, собирающийся на нее броситься. Мой страх граничил с безумием. Я собрался с силами, сжал зубы, руками и ногами уперся в Машину, чтобы перевернуть ее. Она поддалась моим отчаянным усилиям и наконец перевернулась, сильно ударив меня по подбородку. Одной рукой держась за сиденье, другой — за рычаг, я стоял, тяжело дыша, готовый снова взобраться на нее.

Но вместе с возможностью отступления ко мне снова вернулось мужество. С любопытством, к которому примешивалось все меньше страха, я взглянул на этот мир далекого будущего. Под аркой в стене ближайшего дома я увидел несколько фигур в красивых свободных

одеждах. Они меня тоже увидели: их лица были обращены ко мне.

Затем я услышал приближающиеся голоса. Из-за кустов позади Белого Сфинкса показались головы и плечи бегущих людей. Один из них выскочил на тропинку, ведущую к лужайке, где я стоял рядом со своей Машиной. Это было маленькое существо — не более четырех футов ростом, одетое в пурпуровую тунику, перехваченную у талии кожаным ремнем. На ногах у него были не то сандалии, не то котурны. Ноги до колен были обнажены, и голова не покрыта. Обратив внимание на эту легкую одежду, я впервые почувствовал, какой теплый был там воздух.

Подбежавший человек показался мне удивительно прекрасным, грациозным, но чрезвычайно хрупким существом. Его залитое румянцем лицо напомнило мне лица больных чахоткой,— ту чахоточную красоту, о которой так часто приходится слышать. При виде его я внезапно почувствовал доверие. Я отдернул руку от Машины.

V

В ЗОЛОТОМ ВЕКЕ

Через мгновение мы уже стояли лицом к лицу — я и это хрупкое существо далекого будущего. Он смело подошел ко мне и приветливо улыбнулся. Это полное отсутствие страха чрезвычайно поразило меня. Он повернулся к двум другим, которые подошли вслед за ним, и заговорил с ними на странном, очень нежном и певучем языке.

Тем временем подоспели другие, и скоро вокруг меня образовалась группа из восьми или десяти очень изящных созданий. Один из них обратился ко мне с каким-то вопросом. Не знаю почему, но мне пришло вдруг в голову, что мой голос должен показаться им слишком грубым и резким. Поэтому я только покачал головой и указал на свои уши. Тот, кто обратился ко мне, сделал шаг вперед, остановился в нерешительности и дотронулся до моей руки. Я почувствовал еще несколько таких же

нежных прикосновений на плечах и на спине. Они хотели убедиться, что я действительно существую. В их движениях не было решительно ничего внушающего опасение. Наоборот, в этих милых маленьких существах было что-то вызывающее доверие, какая-то грациозная мягкость, какая-то детская непринужденность. К тому же они были такие хрупкие, что, казалось, можно совсем легко в случае нужды разбросать их, как кегли,— целую дюжину одним толчком. Однако, заметив, что маленькие руки принялись ощупывать Машину Времени, я сделал предостерегающее движение. Я вдруг вспомнил то, о чем совершенно забыл,— что она может внезапно исчезнуть, вывинтил, нагнувшись над стержнями, рычажки, приводящие Машину в движение, и положил их в карман. Затем снова повернулся к этим людям, раздумывая, как бы мне с ними объясниться.

Я пристально разглядывал их изящные фигурки, напоминавшие дрезденские фарфоровые статуэтки. Их короткие волосы одинаково курчавились, на лице не было видно ни малейшего признака растительности, уши были удивительно маленькие. Рот крошечный, с яркопунцовыми, довольно тонкими губами, подбородок остроконечный. Глаза большие и кроткие, но — не сочтите это за тщеславие! — в них недоставало выражения того интереса ко мне, какого я был вправе ожидать.

Они больше не делали попыток объясняться со мной и стояли, улыбаясь и переговариваясь друг с другом нежными, воркующими голосами. Я первым начал разговор. Указал рукой на Машину Времени, потом на самого себя. После этого, поколебавшись, как лучше выразить понятие о Времени, указал на солнце. Тотчас же одно изящное существо, одетое в клетчатую пурпурно-белую одежду, повторило мой жест и, несказанно поразив меня, издало звук, подражая грому.

На мгновение я удивился, хотя смысл жеста был вполне ясен. Мне вдруг пришла мысль: а не имею ли я дело просто-напросто с дураками? Вы едва ли поймете, как это поразило меня. Я всегда держался того мнения, что люди эпохи восемьсот второй тысячи лет, куда я залетел, судя по счетчику моей Машины, уйдут невообразимо дальше нас в науке, искусстве и во всем остальном. И вдруг один из них задает мне вопрос, показываю-

щий, что его умственный уровень не выше уровня нашего пятилетнего ребенка: он всерьез спрашивает меня, не упал ли я с солнца во время грозы? И потом эта их яркая одежда, хрупкое, изящное сложение и нежные черты лица. Я почувствовал разочарование и на мгновение подумал, что напрасно трудился над своей Машиной Времени.

Кивнув головой, я указал на солнце и так искусно изобразил гром, что все они отскочили от меня на шаг или два и присели от страха. Но тотчас снова ободрились, и один, смеясь, подошел ко мне с гирляндой чудесных и совершенно неизвестных мне цветов. Он обвил гирляндой мою шею под мелодичные одобрительные возгласы остальных. Все принялись рвать цветы, и, смеясь, обвивать ими меня, пока наконец я не стал задыхаться от благоухания. Вы, никогда не видевшие ничего подобного, вряд ли можете представить себе, какие чудесные и нежные цветы создала культура невообразимого числа лет. Кто-то, видимо, подал мысль выставить меня в таком виде в ближайшем здании, и они повели меня к высокому серому, покрытому трещинами каменному дворцу, мимо Сфинкса из белого мрамора, который, казалось, все время с легкой усмешкой смотрел на мое изумление. Идя с ними, я едва удержался от смеха при воспоминании о том, как самоуверенно предсказывал вам несколько дней назад серьезность и глубину ума будущих поколений.

Здание, куда меня вели, имело огромный портал, да и все оно было колоссальных размеров, Я с интересом рассматривал огромную, все растущую толпу этих маленьких существ и зияющий вход, темный и таинственный. Общее впечатление от окружающего было таково, как будто весь мир покрыт густой порослью красивых кустов и цветов, словно давно запущенный, но все еще прекрасный сад. Я видел высокие стебли и нежные головки странных белых цветов. Они были около фута в диаметре, имели прозрачный восковой оттенок и росли дико среди разнообразных кустарников; в то время я не мог хорошенько рассмотреть их. Моя Машина Времени осталась без присмотра среди рододендронов.

Свод был украшен чудесной резьбой, но я, конечно, не успел ее как следует рассмотреть, хотя, когда я про-

ходил под ним, мне показалось, что он сделан в древнефиникийском стиле, и меня поразило, что резьба сильно попорчена и стерта.

Под взрывы мелодичного смеха и веселые разговоры меня встретило на пороге несколько существ, одетых в еще более светлые одежды, и я вошел внутрь в своем неподходящем темном одеянии девятнадцатого века. Я не мог не чувствовать, что вид у меня довольно забавный,— я был весь увешан гирляндами цветов и окружен волнующейся толпой людей, облаченных в светлые, нежных расцветок одежды, сверкавших белизной обнаженных рук и смеявшихся и мелодично ворковавших.

Большая дверь вела в огромный, завешанный коричневой тканью зал. Потолок его был в тени, а через окна с яркими цветными стеклами, а местами совсем незастекленные, лился мягкий, приятный свет. Пол состоял из какого-то очень твердого белого металла — это были не плитки и не пластинки, а целые глыбы, но шаги бесчисленных поколений даже в этом металле выбили местами глубокие колеи. Поперек зала стояло множество низких столов, сделанных из полированного камня, высотою не больше фута,— на них лежали груды плодов. В некоторых я узнал что-то вроде огромной малины, другие были похожи на апельсины, но большая часть была мне совершенно неизвестна.

Между столами было разбросано множество мягких подушек. Мои спутники расселись на них и знаками указали мне мое место. С милой непринужденностью они принялись есть плоды, беря их руками и бросая шелуху и огрызки в круглые отверстия по бокам столов. Я не заставил себя долго просить, так как чувствовал сильный голод и жажду. Поев, я принялся осматривать зал.

Меня особенно поразил его запустелый вид. Цветные оконные стекла, представлявшие простые геометрические фигуры, во многих местах были разбиты, а тяжелые занавеси покрылись густым слоем пыли. Мне также бросилось в глаза, что угол мраморного стола, за которым я сидел, отбит. Несмотря на это, зал был удивительно живописен. В нем находилось, может быть, около двухсот человек, и большинство из них с любопытством теснилось вокруг меня. Их глаза весело блестели,

а белые зубы изящно грызли плоды. Все они были одеты в очень мягкие, но прочные шелковистые ткани.

Фрукты были их единственной пищей. Эти люди далекого будущего были строгими вегетарианцами, и на время я принужден был сделаться таким же травоядным, несмотря на потребность в мясе. Впоследствии я узнал, что лошади, рогатый скот, овцы, собаки в это время уже вымерли, как вымерли когда-то ихтиозавры. Однако плоды были восхитительны, в особенности один плод (который, по-видимому, созрел во время моего пребывания там), с мучнистой мякотью, заключенной в трехгранную скорлупу. Он стал моей главной пищей. Я был поражен удивительными плодами и чудесными цветами, но не знал, откуда они берутся: только позднее я начал это понимать.

Таков был мой первый обед в далеком будущем. Немного насытившись, я решил сделать попытку научиться языку этих новых для меня людей. Само собой разумеется, это было необходимо. Плоды показались мне подходящим предметом для начала, и, взяв один из них, я попробовал объясниться при помощи вопросительных звуков и жестов. Мне стоило немалого труда заставить меня понять. Сначала все мои слова и жесты вызывали изумленные взгляды и бесконечные взрывы смеха, но вдруг одно белокурое существо, казалось, поняло мое намерение и несколько раз повторило какое-то слово. Все принялись болтать и перешептываться друг с другом, а потом наперебой начали весело обучать меня своему языку. Но мои первые попытки повторить их изящные короткие слова вызывали у них новые взрывы неподдельного веселья. Несмотря на то, что я брал у них уроки, я все-таки чувствовал себя как школьный учитель в кругу детей. Скоро я заучил десятка два существительных, а затем дошел до указательных местоимений и даже до глагола «есть». Но это была трудная работа, быстро наскучившая маленьким существам, и я почувствовал, что они уже избегают моих вопросов. По необходимости пришлось брать уроки понемногу и только тогда, когда мои новые знакомые сами этого хотели. А это бывало не часто — я никогда еще не встречал таких беспечных и быстро утомляющихся людей.

VI

ЗАКАТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Всего более поразило меня в этом новом мире почти полное отсутствие любознательности у людей. Они, как дети, подбегали ко мне с криками изумления и, быстро оглядев меня, уходили в поисках какой-нибудь новой игрушки. Когда все поели и я перестал их расспрашивать, то впервые заметил, что в зале уже нет почти никого из тех людей, которые окружали меня вначале. И, как это ни странно, я сам быстро почувствовал равнодушие к этому маленькому народу. Утолив голод, я вышел через портал на яркий солнечный свет. Мне всюду попадалось на пути множество этих маленьких людей будущего. Они недолго следовали за мной, смеясь и переговариваясь, а потом, перестав смеяться, предоставляли меня самому себе.

Когда я вышел из зала, в воздухе уже разлилась вечерняя тишина и все вокруг было окрашено теплыми лучами заходящего солнца. Сначала окружающее казалось мне удивительно странным. Все здесь так не походило на тот мир, который я знал,— все, вплоть до цветов. Огромное здание, из которого я вышел, стояло на склоне речной долины, но Темза по меньшей мере на милю изменила свое теперешнее русло. Я решил добраться до вершины холма, лежавшего от меня на расстоянии примерно полутора миль, чтобы с его высоты поглядеть на нашу планету в восемьсот две тысячи семьсот первом году нашей эры — именно эту дату показывала стрелка на циферблате моей Машины.

По дороге я искал хоть какое-нибудь объяснение тому гибнущему великолепию, в состоянии которого я нашел мир, так как это великолепие, несомненно, гибло. Немного выше на холме я увидел огромные груды гранита, скрепленные полосами алюминия, гигантский лабиринт отвесных стен и кучи расколовшихся на мелкие куски камней, между которыми густо росли удивительно красивые растения. Возможно, что это была крапива, но ее листья были окрашены в чудесный коричневый цвет и не были жгучими, как у нашей крапивы. Вблизи были руины какого-то огромного здания, непонятно для чего предназначенного. Здесь мне пришлось впоследствии

сделать одно странное открытие, но об этом я вам расскажу потом.

Я присел на уступе холма, чтобы немного отдохнуть, и, оглядевшись вокруг, заметил, что нигде не видно маленьких домов. По-видимому, частный дом и частное хозяйство окончательно исчезли. То тут, то там среди зелени виднелись огромные здания, похожие на дворцы, но нигде не было тех домиков и коттеджей, которые так характерны для современного английского пейзажа.

«Коммунизм»,— сказал я сам себе.

А следом за этой мыслью возникла другая.

Я взглянул на маленьких людей, которые следовали за мной, и вдруг заметил, что на всех одежда всевозможных светлых цветов, но одинакового покроя, у всех те же самые безбородые лица, та же девичья округленность конечностей. Может показаться странным, что я не заметил этого раньше, но все вокруг меня было так необычно. Теперь это бросилось мне в глаза. Мужчины и женщины будущего не отличались друг от друга ни костюмом, ни телосложением, ни манерами, одним словом, ничем, что теперь отличает один пол от другого. И дети, казалось, были просто миниатюрными копиями своих родителей. Поэтому я решил, что дети этой эпохи отличаются удивительно ранним развитием, по крайней мере в физическом отношении, и это мое мнение подтвердилось впоследствии множеством доказательств.

При виде довольства и обеспеченности, в которой жили эти люди, сходство полов стало мне вполне понятно. Сила мужчины и нежность женщины, семья и разделение труда являются только жестокой необходимостью века, управляемого физической силой. Но там, где народонаселение многочисленно и достигло равновесия, где насилие — редкое явление, рождение многих детей нежелательно для государства, и нет никакой необходимости в существовании семьи. А вместе с тем и разделение полов, вызванное жизнью и потребностью воспитания детей, неизбежно исчезает. Первые признаки этого явления наблюдаются и в наше время, а в том далеком будущем оно уже было вполне закончено. Таковы были мои тогдашние выводы. Позднее я имел возмож-

ность убедиться, насколько они были далеки от действительности.

Размышляя так, я невольно обратил внимание на хорошенькую маленькую постройку, похожую на колодец, прикрытый куполом. У меня мелькнула мысль: как странно, что до сих пор существуют колодцы, но затем я снова погрузился в раздумья. До самой вершины холма больше не было никаких зданий, и, продолжая идти, я скоро очутился один, так как остальные за мной не поспевали. С чувством свободы, ожидая необыкновенных приключений, я направился к вершине холма.

Дойдя до вершины, я увидел скамью из какого-то желтого металла; в некоторых местах она была разъедена чем-то вроде красноватой ржавчины и утопала в мягком мхе; ручки ее были отлиты в виде голов грифонов. Я сел и принялся смотреть на широкий простор, освещенный лучами догоравшего заката. Картина была небывалой красоты. Солнце только что скрылось за горизонтом; запад горел золотом, по которому горизонтально тянулись легкие пурпурные и алые полосы. Внизу расстилалась долина, по которой, подобно полосе сверкающей стали, дугой изогнулась Темза. Огромные старые дворцы, о которых я уже говорил, были разбросаны среди разнообразной зелени; некоторые уже превратились в руины, другие были еще обитаемы. Тут и там, в этом огромном, похожем на сад мире, виднелись белые или серебристые изваяния; кое-где поднимались кверху купола и остроконечные обелиски. Нигде не было изгородей, не было даже следов собственности и никаких признаков земледелия: вся земля превратилась в один цветущий сад.

Наблюдая все это, я старался объяснить себе то, что видел, и сделал вот какие выводы из своих наблюдений. (Позже я убедился, что они были односторонними и содержали лишь половину правды.)

Мне казалось, что я вижу человечество в эпоху увядания. Красноватая полоса на западе заставила меня подумать о закате человечества. Я впервые увидел те неожиданные последствия, к которым привели общественные отношения нашего времени. Теперь я прихожу к убеждению, что это были вполне логические последствия. Сила есть только результат необходимости; обеспе-

ченное существование ведет к слабости. Стремление к улучшению условий жизни — истинный прогресс цивилизации, делающий наше существование все более обеспеченным,— неизбежно привело к своему конечному результату. Объединенное человечество поколение за поколением торжествовало победы над природой. То, что в наши дни кажется несбыточными мечтами, превратилось в искусно задуманные и осуществленные проекты. И вот какова оказалась жатва!

В конце концов охрана здоровья человечества и земледелие находятся в наше время еще в зачаточном состоянии. Наука объявила войну лишь малой части человеческих болезней, но она неизменно и упорно продолжает свою работу. Земледельцы и садоводы то тут, то там уничтожают сорняки и выращивают лишь немногие полезные растения, предоставляя остальным бороться как угодно за свое существование. Мы улучшаем немногие избранные нами виды растений и животных путем постепенного отбора лучших из них; мы выводим новый, лучший сорт персика, виноград без косточек, более душистый и крупный цветок, более пригодную породу рогатого скота. Мы улучшаем их постепенно, потому что наши представления об идеале смутны и вырабатываются путем опыта, а знания крайне ограниченны, да и сама природа робка и неповоротлива в наших неуклюжих руках. Когда-нибудь все это будет организовано лучше Несмотря на водовороты, поток времени неуклонно стремится вперед. Весь мир когда-нибудь станет разумным, образованным, все будут трудиться коллективно; это поведет к быстрейшему и полнейшему покорению природы. В конце концов мы мудро и заботливо установим равновесие животной и растительной жизни для удовлетворения наших потребностей.

Это должно было свершиться и действительно свершилось за то время, через которое промчалась моя Машина. В воздухе не стало комаров и мошек, на земле — сорных трав и плесени. Везде появились сочные плоды и красивые душистые цветы; яркие бабочки порхали повсюду. Идеал профилактической медицины был достигнут. Болезнетворные микробы были уничтожены. За время своего пребывания там я не видел даже и признаков заразных болезней. Благодаря всему этому даже

процессы гниения и разрушения приняли совершенно новый вид.

В общественных отношениях тоже была одержана большая победа. Я видел, что люди стали жить в великолепных дворцах, одеваться в роскошные одежды и освободились от всякого труда. Не было и следов борьбы, политической или экономической. Торговля, промышленность, реклама — все, что составляет основу нашей государственной жизни, исчезло из этого мира Будущего. Естественно, что в тот золотистый вечер я невольно счел окружающий меня мир земным раем. Опасность перенаселения исчезла, так как население, по-видимому, перестало расти.

Но изменение условий неизбежно влечет за собой приспособление к этим изменениям. Что является движущей силой человеческого ума и энергии, если только вся биология не представляет собой бесконечного ряда заблуждений? Только труд и свобода; такие условия, при которых деятельный, сильный и ловкий переживает слабого, который должен уступить свое место; условия, дающие преимущество честному союзу талантливых людей, преимущество умению владеть собой, терпению и решительности. Семья и возникающие отсюда чувства: ревность, любовь к потомству, родительское самоотвержение — все это находит себе оправдание в неизбежных опасностях, которым подвергается молодое поколение. Но где теперь эти опасности? Уже сейчас начинает проявляться протест против супружеской ревности, против слепого материнского чувства, против всяческих страстей, и этот протест будет нарастать. Все эти чувства даже теперь уже не являются необходимыми, они делают нас несчастными и, как остатки первобытной дикости, кажутся несовместимыми с приятной и возвышенной жизнью.

Я стал думать о физической слабости этих маленьких людей, о бессилии их ума и об огромных развалинах, которые видел вокруг. Все это подтверждало мое предположение об окончательной победе, одержанной над природой. После войны наступил мир.

Человечество было сильным, энергичным, оно обладало знаниями; люди употребляли все свои силы на изменение условий своей жизни. А теперь измененные ими условия оказали свое влияние на их потомков.

При новых условиях полного довольства и обеспеченности неутомимая энергия, являющаяся в наше время силой, должна была превратиться в слабость. Даже в наши дни некоторые склонности и желания, когда-то необходимые для выживания человека, стали источником его гибели. Храбрость и воинственность, например, не помогают, а скорее даже мешают жизни цивилизованного человека. В государстве же, основанном на физическом равновесии и обеспеченности, превосходство — физическое или умственное — было бы совершенно неуместно. Я пришел к выводу, что на протяжении бесчисленных лет на земле не существовало ни опасности войн, ни насилия, ни диких зверей, ни болезнетворных микробов, не существовало и необходимости в труде. При таких условиях те, кого мы называем слабыми, были точно так же приспособлены, как и сильные, они уже не были слабыми. Вернее, они были даже лучше приспособлены, потому что сильного подрывала не находящая выхода энергия. Не оставалось сомнения, что удивительная красота виденных мною зданий была результатом последних усилий человечества перед тем, как оно достигло полной гармонии жизни,— последняя победа, после которой был заключен окончательный мир. Такова неизбежная судьба всякой энергии. Достигнув своей конечной цели, она еще ищет выхода в искусстве, в любви, а затем наступает бессилие и упадок.

Даже эти художественные порывы в конце концов должны были заглохнуть, и они почти заглохли в то Время, куда я попал. Украшать себя цветами, танцевать и петь под солнцем — вот что осталось от этих стремлений. Но и это в конце концов должно было смениться бездействием. Все наши чувства и способности обретают остроту только на точиле труда и необходимости, а это неприятное точило было наконец разбито.

Пока я сидел в сгущавшейся темноте, мне казалось, что этим простым объяснением я разрешил загадку мира и постиг тайну прелестного маленького народа. Возможно, они нашли удачные средства для ограничения рождаемости, и численность населения даже уменьшалась. Этим можно было объяснить пустоту заброшенных дворцов. Моя теория была очень ясна и правдоподобна — как и большинство ошибочных теорий!

VII
ВНЕЗАПНЫЙ УДАР

Пока я размышлял над этим слишком уж полным торжеством человека, из-за серебристой полосы на северо-востоке выплыла желтая полная луна. Маленькие светлые фигурки людей перестали праздно двигаться внизу, бесшумно пролетела сова, и я вздрогнул от вечерней прохлады. Я решил спуститься с холма и поискать ночлега.

Я стал отыскивать глазами знакомое здание. Мой взгляд упал на фигуру Белого Сфинкса на бронзовом пьедестале, и, по мере того как восходящая луна светила все ярче, фигура яснее выступала из темноты. Я мог отчетливо рассмотреть стоявший около него серебристый тополь. Вон и густые рододендроны, черные при свете луны, вон и лужайка. Я еще раз взглянул на нее. Ужасное подозрение закралось в мою душу.

«Нет,— решительно сказал я себе,— это не та лужайка».

Но это была та самая лужайка. Бледное, словно изъеденное проказой лицо Сфинкса было обращено к ней. Можете ли вы представить себе, что я почувствовал, когда убедился в этом! Машина Времени исчезла!

Как удар хлыстом по лицу, меня обожгла мысль, что я никогда не вернусь назад, навеки останусь беспомощный в этом новом, неведомом мире! Сама мысль об этом была мучительна. Я почувствовал, как сжалось мое горло, пресеклось дыхание. Ужас овладел мною, и дикими прыжками я кинулся вниз по склону. Раз я упал и расшиб лицо; но я даже не пытался остановить кровь, вскочил на ноги и снова побежал, чувствуя, как теплая струйка стекает по щеке. Я бежал и не переставал твердить себе: «Они просто немного отодвинули ее, поставили под кустами, чтобы она не мешала на дороге». Но, несмотря на это, бежал изо всех сил. С уверенностью, которая иногда рождается из самого мучительного страха, я с самого начала знал, что это вздор; чутье говорило мне, что Машина унесена куда-то, откуда мне ее не достать. Я едва переводил дыхание. От вершины холма до лужайки было около двух миль, и я преодолел это расстояние за десять минут. А ведь я уже не молод. Я бежал и громко проклинал свою безрассудную доверчивость, побудив-

шую меня оставить Машину, задыхаясь от этого еще больше. Я попробовал громко кричать, но никто мне не отвечал. Ни одного живого существа не было видно на залитой лунным светом земле!

Когда я добежал до лужайки, худшие мои опасения подтвердились: Машины нигде не было видно. Похолодев, я смотрел на пустую лужайку среди черной чащи кустарников, потом быстро обежал ее, как будто Машина могла быть спрятана где-нибудь поблизости, и резко остановился, схватившись за голову. Надо мной на бронзовом пьедестале возвышался Сфинкс, все такой же бледный, словно изъеденный проказой, ярко озаренный светом луны. Казалось, он насмешливо улыбался, глядя на меня.

Я мог бы утешиться мыслью, что маленький народец спрятал Машину под каким-нибудь навесом, если бы не знал наверняка, что у них не хватило бы на это ни сил, ни ума. Нет, меня ужасало теперь другое: проявление какой-то новой, до сих пор неведомой мне силы, захватившей мое изобретение. Я был уверен только в одном: если в какой-либо другой век не изобрели точно такого же механизма, моя Машина не могла без меня отправиться путешествовать по Времени. Не зная способа закрепления рычагов — я потом покажу вам, в чем он заключается,— невозможно воспользоваться ею для путешествия. К тому же рычаги были у меня. Мою Машину перенесли, спрятали где-то в Пространстве, а не во Времени. Но где же?

Я совершенно обезумел. Помню, как я неистово метался взад и вперед среди освещенных луной кустов вокруг Сфинкса; помню, как вспугнул какое-то белое животное, которое при лунном свете показалось мне небольшой ланью. Помню также, как поздно ночью я колотил кулаками по кустам до тех пор, пока не исцарапал все руки о сломанные сучья. Потом, рыдая, в полном изнеможении, я побрел к большому каменному зданию, темному и пустынному, поскользнулся на неровном полу и упал на один из малахитовых столов, чуть не сломав ногу, зажег спичку и прошел мимо пыльных занавесей, о которых я уже рассказывал вам.

Дальше был второй большой зал, устланный подушками, на которых спали два десятка маленьких людей.

Мое вторичное появление, несомненно, показалось им очень странным. Я так внезапно вынырнул из ночной тишины с отчаянными нечленораздельными криками и с зажженной спичкой в руке. Спички давно уже были позабыты в их время.

«Где моя Машина Времени?» — кричал я во все горло, как рассерженный ребенок. Я хватал их и тряс полусонных. Вероятно, это их поразило. Некоторые смеялись, другие казались рассеянными. Когда я увидел, что они встают, то понял, что поступаю самым безрассудным образом, стараясь пробудить в них чувство страха. Вспоминая их поведение днем, я вообразил, что это чувство совершенно ими позабыто.

Бросив спичку и сбив с ног кого-то, попавшегося на пути, я снова ощупью прошел по большому обеденному залу и вышел на лунный свет. Позади меня вдруг раздались громкие крики и топот маленьких спотыкающихся ног, но тогда я не понял причины этого. Не помню всего, что я делал при лунном свете. Неожиданная потеря довела меня почти до безумия. Я чувствовал себя теперь безнадежно отрезанным от своих современников, каким-то странным животным в неведомом мире. В исступлении я бросался в разные стороны, плача и проклиная бога и судьбу. Помню, как я измучился в эту длинную отчаянную ночь, как рыскал в самых неподходящих местах, как ощупью пробирался среди озаренных лунным светом развалин, натыкаясь в темных углах на странные белые существа; помню, как в конце концов я упал на землю около Сфинкса и рыдал в отчаянии. Вместе с силами исчезла и злость на себя за то, что я так безрассудно оставил Машину... Я ничего не чувствовал, кроме ужаса. Потом незаметно я уснул, а когда проснулся, уже совсем рассвело и вокруг меня по траве, на расстоянии протянутой руки, весело и без страха прыгали воробьи.

Я сел, овеваемый свежестью утра, стараясь вспомнить, как я сюда попал и почему все мое существо полно чувства одиночества и отчаяния. Вдруг я вспомнил обо всем, что случилось. Но при дневном свете у меня хватило сил спокойно взглянуть в лицо обстоятельствам. Я понял всю нелепость своего вчерашнего поведения и принялся рассуждать сам с собою.

«Предположим самое худшее,— говорил я.— Предположим, что Машина навсегда утеряна, может быть, даже уничтожена. Из этого следует только то, что я должен быть терпеливым и спокойным, изучить образ жизни этих людей, разузнать, что случилось с Машиной, попытаться добыть необходимые материалы и инструменты; в конце концов я, может быть, сумею сделать новую Машину. На это теперь моя единственная надежда, правда, очень слабая, но все же надежда лучше отчаяния. И, во всяком случае, я очутился в прекрасном и любопытном мире. Но вполне вероятно, что моя Машина где-нибудь спрятана. Значит, я должен спокойно и терпеливо искать то место, где она спрятана, и постараться взять ее силой или хитростью».

С такими мыслями я встал на ноги и осмотрелся вокруг в поисках места, где можно было бы выкупаться. Я чувствовал себя усталым, мое тело одеревенело и покрылось грязью. Утренняя свежесть вызывала желание стать самому чистым и свежим. Волнение истощило меня. Когда я принялся размышлять о своем положении, то удивился вчерашним опрометчивым поступкам. Я тщательно исследовал лужайку. Некоторое время ушло на напрасные расспросы проходивших мимо маленьких людей. Никто не понимал моих жестов: одни казались просто тупыми, другие принимали мои слова за шутку и смеялись. Мне стоило невероятных усилий удержаться и не отхлестать их по смеющимся лицам. Безумный порыв! Но сидевший во мне дьявол страха и слепого раздражения еще не был обуздан и пытался овладеть мною.

Очень помогла мне густая трава. На полпути между пьедесталом Сфинкса и моими следами, там, где я возился с опрокинутой Машиной, на земле оказалась свежая борозда. Были видны и другие следы: странные узкие отпечатки ног, похожие, как мне казалось, на следы ленивца. Это побудило меня тщательней осмотреть пьедестал. Я уже, кажется, сказал, что он был из бронзы. Однако он не состоял из одной цельной плиты, а был с обеих сторон украшен искусно выполненными панелями. Я подошел и постучал. Пьедестал оказался полым. Внимательно осмотрев панели, я понял, что они не составляют одного целого с пьедесталом. На них не было ни ручек,

ни замочных скважин, но, возможно, они открывались изнутри, если, как я предполагал, служили входом в пьедестал. Во всяком случае, одно было мне ясно: Машина Времени находилась внутри пьедестала. Но как она попала туда — это оставалось загадкой.

Я увидел головы двух людей в оранжевой одежде, шедших ко мне между кустами и цветущими яблонями. Улыбаясь, я повернулся к ним и поманил их рукой. Когда они подошли, я указал им на бронзовый пьедестал и постарался объяснить, что хотел бы открыть его. Но при первом же моем жесте они стали вести себя очень странно. Не знаю, сумею ли я объяснить вам, какое выражение появилось на их лицах. Представьте себе, что вы сделали бы неприличный жест перед благовоспитанной дамой — именно с таким выражением она посмотрела бы на вас. Они ушли, как будто были грубо оскорблены. Я попытался подозвать к себе миловидное существо в белой одежде, но результат оказался тот же самый. Мне стало стыдно. Но Машина Времени была необходима, и я сделал новую попытку. Малыш с отвращением отвернулся от меня. Я потерял терпение. В три прыжка я очутился около него и, захлестнув его шею полой его же одежды, потащил к Сфинксу. Тогда на лице у него вдруг выразились такой ужас и отвращение, что я тотчас же выпустил его.

Однако я не сдавался. Я принялся бить кулаками по бронзовым панелям. Мне показалось, что внутри что-то зашевелилось, вернее, это был звук, похожий на хихиканье, но, должно быть, это мне только почудилось. Подобрав у реки большой камень, я вернулся и принялся колотить им до тех пор, пока не расплющил одно из украшений и медная зелень не стала сыпаться на землю мелкими крошками. Маленький народец, должно быть, слышал грохот моих ударов на расстоянии мили вокруг, но ничего у меня не вышло. Я видел целую толпу на склоне холма, украдкой смотревшую на меня. Злой и усталый, я опустился на землю, но нетерпение не давало мне долго сидеть на месте, я был слишком деятельным человеком для неопределенного ожидания. Я мог годами трудиться над разрешением какой-нибудь проблемы, но сидеть в бездействии двадцать четыре часа было свыше моих сил.

Скоро я встал и принялся бесцельно бродить среди кустарника. Потом направился к холму.

«Терпение,— сказал я себе.— Если хочешь вновь получить свою Машину, оставь Сфинкса в покое. Если кто-то решил отнять ее у тебя, ты не принесешь себе никакой пользы тем, что станешь портить бронзовые панели Сфинкса; если же у похитителя не было злого умысла, ты получишь ее обратно, как только найдешь способ попросить об этом. Бессмысленно торчать здесь, среди незнакомых вещей, становясь в тупик перед каждым новым затруднением. Это прямой путь к безумию. Осмотрись лучше вокруг. Изучи нравы этого мира, наблюдай его, остерегайся слишком поспешных заключений! В конце концов ты найдешь ключ ко всему!»

Мне ясно представлялась и комическая сторона моего приключения: я вспомнил о годах напряженной учебы и труда, потраченных только для того, чтобы попасть в будущее и изучить его, и сопоставил с этим свое нетерпение поскорее выбраться отсюда. Я своими руками изготовил себе самую сложную и самую безвыходную ловушку, какая когда-либо была создана человеком. И хотя смеяться приходилось только над самим собой, я не мог удержаться и громко расхохотался.

Войдя в залу огромного дворца, я заметил, что маленькие люди стали избегать меня. Быть может, это мне только казалось, но их отчуждение могло быть связано с моей попыткой разбить бронзовые двери. Я ясно чувствовал, что они избегали меня, но постарался не придавать этому значения и не пытался более заговаривать с ними. Через день-другой все пошло своим чередом. Насколько было возможно, я продолжал изучать их язык и урывками производил исследования. Не знаю, был ли их язык слишком прост, или же я упускал в нем какие-нибудь тонкие оттенки, но, по-моему, он почти исключительно состоял из существительных и глаголов. Отвлеченных понятий было мало, или, скорее, совсем не было, так же как и слов, имеющих переносный смысл. Фразы обыкновенно были несложны и состояли всего из двух слов, и мне не удавалось высказать или понять ничего, кроме простейших вопросов или ответов. Мысли о моей Машине Времени и о тайне бронзовых дверей под Сфинксом я решил запрятать в самый дальний уголок памяти,

пока накопившиеся знания не приведут меня к ним естественным путем. Но чувство, без сомнения, понятное вам, все время удерживало меня поблизости от места моего прибытия.

VIII

ВСЕ СТАНОВИТСЯ ЯСНЫМ

Насколько я мог судить, весь окружавший меня мир был отмечен той же печатью изобилия и роскоши, которая поразила меня в долине Темзы. С вершины каждого нового холма я видел множество великолепных зданий, бесконечно разнообразных по материалу и стилю; видел повсюду те же чащи вечнозеленых растений, те же цветущие деревья и высокие папоротники. Кое-где отливала серебром зеркальная гладь воды, а вдали тянулись голубоватые волнистые гряды холмов, растворяясь в прозрачной синеве воздуха. С первого взгляда мое внимание привлекли к себе круглые колодцы, казалось, достигавшие, во многих местах очень большой глубины. Один из них был на склоне холма, у тропинки, по которой я поднимался во время своей первой прогулки. Как и другие колодцы, он был причудливо отделан по краям бронзой и защищен от дождя небольшим куполом. Сидя около этих колодцев и глядя вниз, в непроглядную темноту, я не мог увидеть в них отблеска воды или отражения зажигаемых мною спичек. Но всюду слышался какой-то стук: «Тук, тук, тук»,— похожий на шум работы огромных машин. По колебанию пламени спички я убедился, что в глубь колодца постоянно поступал свежий воздух. Я бросил в один из них кусочек бумаги, и, вместо того чтобы медленно опуститься, он быстро полетел вниз и исчез.

Вскоре я заметил, что между этими колодцами и высокими башнями на склонах холмов существует какая-то связь. Над ними можно было часто увидеть марево колеблющегося воздуха, вроде того, какое бывает в жаркий день над берегом моря. Сопоставив все это, я пришел к заключению, что башни вместе с колодцами входили в систему какой-то загадочной подземной вентиляции. Сначала я подумал, что она служит каким-нибудь санитарным целям. Это заключение само напрашивалось, но оказалось потом неверным.

Вообще должен сознаться, что во время своего пребывания в Будущем я очень мало узнал относительно водоснабжения, связи, путей сообщения и тому подобных жизненных удобств. В некоторых прочитанных мною утопиях и рассказах о грядущих временах я всегда находил множество подробностей насчет домов, общественного порядка и тому подобного. Нет ничего легче, как придумать сколько угодно всяких подробностей, когда весь будущий мир заключен только в голове автора, но для путешественника, находящегося, подобно мне, среди незнакомой действительности, почти невозможно узнать обо всем этом в короткое время. Вообразите себе негра, который прямо из Центральной Африки попал в Лондон. Что расскажет он по возвращении своему племени? Что будет он знать о железнодорожных компаниях, общественных движениях, телефоне и телеграфе, транспортных конторах и почтовых учреждениях? А ведь мы охотно согласимся все ему объяснить! Но даже то, что он узнает из наших рассказов, как передаст он своим друзьям, как заставит их поверить себе? Учтите при этом, что негр сравнительно недалеко отстоит от белого человека нашего времени, между тем как пропасть между мною и этими людьми Золотого Века была неизмеримо громадна! Я чувствовал существование многого, что было скрыто от моих глаз, и это давало мне надежду, но, помимо общего впечатления какой-то автоматически действующей организации, я, к сожалению, могу передать вам лишь немногое.

Я нигде не видел следов крематория, могил или чего-либо, связанного со смертью. Однако было весьма возможно, что кладбища (или крематории) были где-нибудь за пределами моих странствий. Это был один их тех вопросов, которые я сразу поставил перед собой и разрешить которые сначала был не в состоянии. Отсутствие кладбищ поразило меня и повело к дальнейшим наблюдениям, которые поразили меня еще сильнее: среди людей будущего совершенно не было старых и дряхлых.

Должен сознаться, что мои первоначальные теории об автоматически действующей цивилизации и о приходящем в упадок человечестве недолго удовлетворяли меня. Но я не мог придумать ничего другого. Вот что меня смущало: все большие дворцы, которые я исследовал,

служили исключительно жилыми помещениями — огромными столовыми и спальнями. Я не видел нигде машин или других приспособлений. А между тем на этих людях была прекрасная одежда, требовавшая обновления, и их сандалии, хоть и без всяких украшений, представляли собой образец изящных и сложных изделий. Как бы то ни было, но вещи эти нужно было сделать. А маленький народец не проявлял никаких созидательных наклонностей. У них не было ни цехов, ни мастерских, ни малейших следов ввоза товаров. Все свое время они проводили в играх, купании, полушутливом флирте, еде и сне. Я не мог понять, на чем держалось такое общество.

К этому добавилось происшествие с Машиной Времени: кто-то, мне неведомый, спрятал ее в пьедестале Белого Сфинкса. Для чего? Я никак не мог ответить на этот вопрос! То же самое — безводные колодцы и башни с колеблющимся над ними воздухом. Я чувствовал, что не нахожу ключа к этим загадочным явлениям. Я чувствовал... как бы это вам объяснить? Представьте себе, что вы нашли бы надпись на хорошем английском языке, перемешанном с совершенно вам незнакомыми словами. Вот как на третий день моего пребывания представлялся мне мир восемьсот две тысячи семьсот первого года!

В этот день я приобрел в некотором роде друга. Когда я смотрел на группу маленьких людей, купавшихся в реке на неглубоком месте, кого-то из них схватила судорога, и маленькую фигурку понесло по течению. Течение было здесь довольно быстрое, но даже средний пловец мог бы легко с ним справиться. Чтобы дать вам некоторое понятие о странной психике этих существ, я скажу лишь, что никто из них не сделал ни малейшей попытки спасти бедняжку, которая с криками тонула на их глазах. Увидя это, я быстро сбросил одежду, побежал вниз по реке, вошел в воду и, схватив ее, легко вытащил на берег. Маленькое растирание привело ее в чувство, и я с удовольствием увидел, что она совершенно оправилась. Я сразу же оставил ее, поскольку был такого невысокого мнения о ней и ей подобных, что не ожидал никакой благодарности. Но на этот раз я ошибся.

Все это случилось утром. После полудня я снова встретил ту же маленькую женщину, возвращаясь к своим

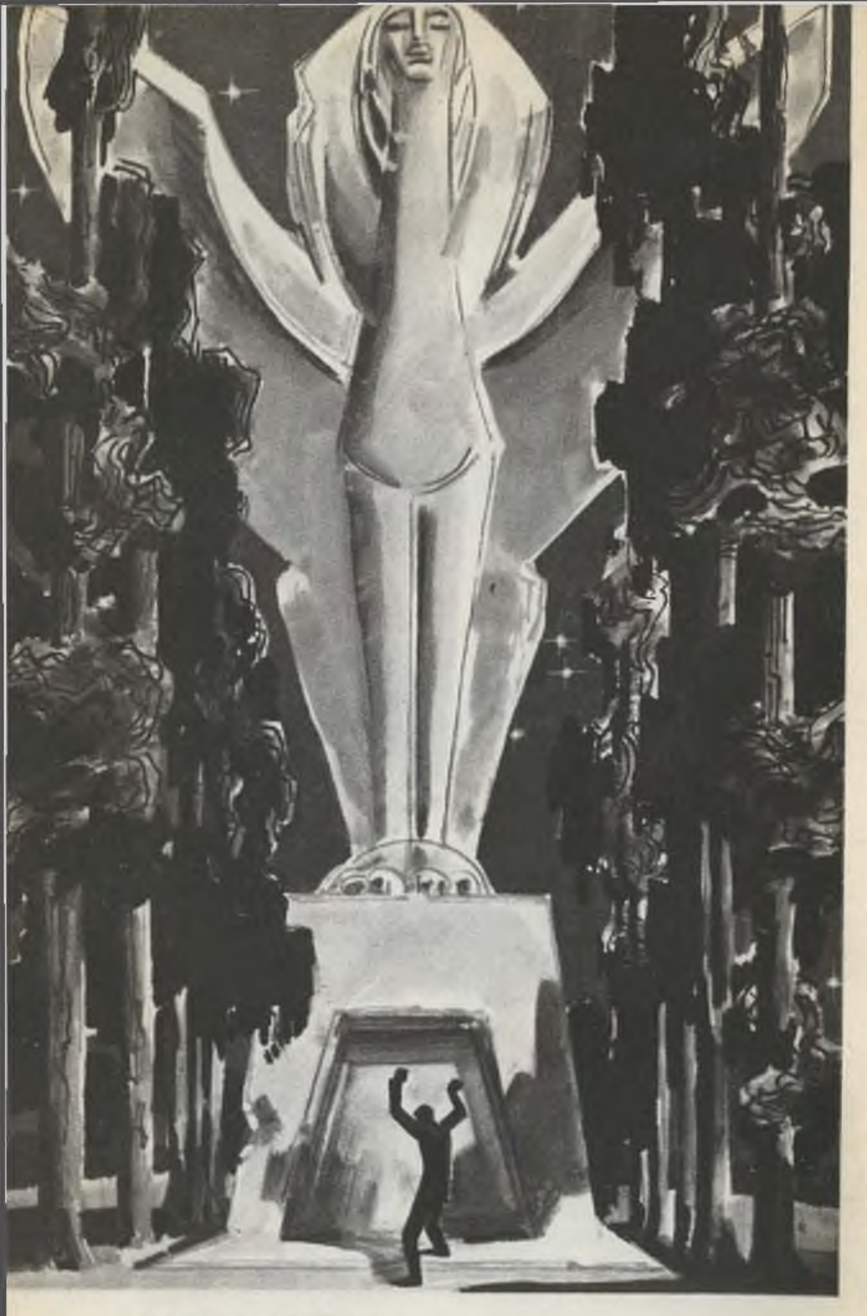
исследованиям. Она подбежала с громкими криками радости и поднесла мне огромную гирлянду цветов, очевидно, приготовленную специально для меня. Это создание очень меня заинтересовало. Вероятно, я чувствовал себя слишком одиноким. Но как бы то ни было, я, насколько сумел, высказал ей, что мне приятен подарок. Мы оба сели в небольшой каменной беседке и завели разговор, состоявший преимущественно из улыбок. Дружеские чувства этого маленького создания радовали меня, как радовали бы чувства ребенка. Мы обменялись цветами, и она целовала мои руки. Я отвечал ей тем же. Когда я попробовал заговорить, то узнал, что ее зовут Уина, и хотя не понимал, что это значило, но все же чувствовал, что между ней и ее именем было какое-то соответствие. Таково было начало нашей странной дружбы, которая продолжалась неделю, а как окончилась — об этом я расскажу потом!

Уина была совсем как ребенок. Ей хотелось всегда быть со мной. Она бегала за мной повсюду, так что на следующий день мне пришло в голову нелепое желание утомить ее и, наконец, бросить, не обращая внимания на ее жалобный зов. Мировая проблема, думал я, должна быть решена. Я не для того попал в Будущее, повторял я себе, чтобы заниматься легкомысленным флиртом. Но ее отчаяние было слишком велико, а в ее сетованиях, когда она начала отставать, звучало исступление. Ее привязанность тронула меня, я вернулся, и с этих пор она стала доставлять мне столько же забот, сколько и удовольствия. Все же она была для меня большим утешением. Мне казалось сначала, что она испытывала ко мне лишь простую детскую привязанность, и только потом, когда было уже слишком поздно, я ясно понял, чем я сделался для нее и чем стала она для меня. Уже потому, что эта малышка выказывала мне нежность и заботу, я, возвращаясь к Белому Сфинксу, чувствовал, будто возвращаюсь домой, и каждый раз, добравшись до вершины холма, отыскивал глазами знакомую фигурку в белой, отороченной золотом одежде.

От нее я узнал, что чувство страха все еще не исчезло в этом мире. Днем она ничего не боялась и испытывала ко мне самое трогательное доверие. Однажды у меня возникло глупое желание напугать ее страшными гри-



«МАШИНА ВРЕМЕНИ»



«МАШИНА ВРЕМЕНИ»

масами, но она весело засмеялась. Она боялась только темноты, густых теней черных предметов. Страшней всего была ей темнота. Она действовала на нее настолько сильно, что это натолкнуло меня на новые наблюдения и размышления. Я открыл, между прочим, что с наступлением темноты эти маленькие люди собирались в больших зданиях и спали все вместе. Войти к ним ночью значило произвести среди них смятение и ужас. Я ни разу не видел, чтобы после наступления темноты кто-нибудь вышел на воздух или спал один под открытым небом. Но все же я был таким глупцом, что не обращал на это внимания и, несмотря на ужас Уины, продолжал спать один, не в общих спальнях.

Сначала это очень беспокоило ее, но наконец привязанность ко мне взяла верх, и пять ночей за время нашего знакомства, считая и самую последнюю ночь, она спала со мной, положив голову на мое плечо. Но, говоря о ней, я отклоняюсь от главной темы своего рассказа. Кажется, в ночь накануне ее спасения, я проснулся на рассвете. Ночь прошла беспокойно, мне снился очень неприятный сон: будто бы я утонул в море, и морские анемоны касались моего лица мягкими щупальцами. Вздрогнув, я проснулся, и мне почудилось, что какое-то сероватое животное выскользнуло из комнаты. Я попытался снова заснуть, но мучительная тревога уже овладела мною. Был тот ранний час, когда предметы только начинают выступать из темноты, когда все вокруг кажется бесцветным и каким-то нереальным, несмотря на отчетливость очертаний. Я встал и, пройдя по каменным плитам большого зала, вышел на воздух. Желая извлечь хоть какую-нибудь пользу из этого случая, я решил посмотреть восход солнца.

Луна закатывалась, ее прощальные лучи и первые бледные проблески наступающего дня смешивались в таинственный полусвет. Кусты казались совсем черными, земля — темно-серой, а небо — бесцветным и туманным. На верху холма мне почудились привидения. Поднимаясь по его склону, я три раза видел смутные белые фигуры. Дважды мне показалось, что я вижу какое-то одинокое белое обезьяноподобное существо, быстро бегущее к вершине холма, а один раз около руин я увидел их целую толпу: они тащили какой-то темный предмет. Дви-

гались они быстро, и я не заметил, куда они исчезли. Казалось, они скрылись в кустах. Все вокруг было еще смутным, поймите это. Меня охватило то неопределенное, предрассветное ощущение озноба, которое вам всем, вероятно, знакомо. Я не верил своим глазам.

Когда на востоке заблестела заря и лучи света возвратили всему миру обычные краски и цвета, я тщательно обследовал местность. Но нигде не оказалось и следов белых фигур. По-видимому, это была просто игра теней.

«Может быть, это привидения,— сказал я себе.— Желал бы я знать, к какому времени они принадлежат...»

Я сказал это потому, что вспомнил любопытный вывод Грант Аллена[1], говорившего, что если б каждое умирающее поколение оставляло после себя привидения, то в конце концов весь мир переполнился бы ими. По этой теории, их должно было накопиться бесчисленное множество за восемьсот тысяч прошедших лет, и потому не было ничего удивительного, что я увидел сразу четырех. Эта шутливая мысль, однако, не успокоила меня, и я все утро думал о белых фигурках, пока наконец появление Уины не вытеснило их из моей головы. Не знаю почему, я связал их с белым животным, которое вспугнул при первых поисках своей Машины. Общество Уины на время развлекло меня, но, несмотря на это, белые фигуры скоро снова овладели моими мыслями.

Я уже говорил, что климат Золотого Века значительно теплее нашего. Причину я не берусь объяснить. Может быть, солнце стало горячее, а может быть, земля приблизилась к нему. Принято считать, что солнце постепенно охлаждается. Однако люди, незнакомые с такими теориями, как теория Дарвина-младшего[2], забывают, что планеты должны одна за другой приближаться к центральному светилу и в конце концов упасть на него. После каждой из таких катастроф солнце будет светить с обновленной энергией; и весьма возможно, что эта участь постигла тогда одну из планет. Но какова бы ни была причина, факт остается фактом: солнце грело значительно сильнее, чем в наше время.

---

[1] Чарлз Грант Аллен — английский писатель и естествоиспытатель XIX века.

[2] Джордж Говард Дарвин (1845—1912), сын Чарлза Дарвина, английский астроном и математик.

И вот в одно очень жаркое утро — насколько помню, четвертое по моем прибытии,— когда я собирался укрыться от жары и ослепительного света в гигантских руинах (невдалеке от большого здания, где я ночевал и питался), со мной случилось странное происшествие. Карабкаясь между каменными грудами, я обнаружил узкую галерею, конец и окна которой были завалены обрушившимися глыбами. После ослепительного дневного света галерея показалась мне непроглядно темной. Я вошел в нее ощупью, потому что после яркого солнечного света цветные пятна поплыли у меня перед глазами и ничего нельзя было разобрать. И вдруг я остановился как вкопанный. На меня из темноты смотрела пара блестящих глаз, отражая проникавший в галерею дневной свет.

Древний инстинктивный страх перед дикими зверями охватил меня. Я сжал кулаки и уставился в светившиеся глаза. Мне было страшно повернуть назад. На мгновение в голову мне пришла мысль о той абсолютной безопасности, в которой, как казалось, жило человечество. И вдруг я вспомнил его странный ужас перед темнотой. Пересилив свой страх, я шагнул вперед и заговорил. Мой голос, вероятно, звучал хрипло и дрожал. Я протянул руку и коснулся чего-то мягкого. В то же мгновение блестящие глаза метнулись в сторону и что-то белое пробежало мимо меня. Испугавшись, я повернулся и увидел маленькое обезьяноподобное существо со странно опущенной вниз головой, бежавшее по освещенному пространству за моей спиной. Оно налетело на гранитную глыбу, отшатнулось в сторону и в одно мгновение скрылось в черной тени под другой грудой каменных обломков.

Мое впечатление о нем было, конечно, неполное. Я заметил только, что оно было грязно-белое и что у него были странные, большие, серовато-красные глаза; его голова и спина были покрыты светлой шерстью. Но, как я уже сказал, оно бежало слишком быстро, и мне не удалось его отчетливо рассмотреть. Не могу даже сказать, бежало ли оно на четвереньках, или же руки его были так длинны, что почти касались земли. После минутного замешательства я бросился за ним ко второй груде обломков. Сначала я не мог ничего найти, но скоро в кромешной темноте наткнулся на один из тех круглых безводных колодцев, о которых я уже говорил. Он был

частично прикрыт упавшей колонной. В голове у меня блеснула внезапная мысль. Не могло ли это существо спуститься в колодец? Я зажег спичку и, взглянув вниз, увидел маленькое белое создание с большими блестящими глазами, которое удалялось, упорно глядя на меня. Я содрогнулся. Это было что-то вроде человекообразного паука. Оно спускалось вниз по стене колодца, и я впервые заметил множество металлических скобок для рук и ног, образовавших нечто вроде лестницы. Но тут догоревшая спичка обожгла мне пальцы и, выпав, потухла; когда я зажег другую, маленькое страшилище уже исчезло.

Не знаю, долго ли я просидел, вглядываясь в глубину колодца. Во всяком случае, прошло немало времени, прежде чем я пришел к заключению, что виденное мною существо тоже было человеком. Понемногу истина открылась передо мной. Я понял, что человек разделился на два различных вида. Изящные дети Верхнего Мира не были единственными нашими потомками: это беловатое отвратительное ночное существо, которое промелькнуло передо мной, также было наследником минувших веков.

Вспомнив о дрожании воздуха над колодцами и о своей теории подземной вентиляции, я начал подозревать их истинное значение. Но какую роль, хотелось мне знать, мог играть этот лемур в моей схеме окончательной организации человечества? Каково было его отношение к безмятежности и беззаботности прекрасных жителей Верхнего Мира? Что скрывалось там, в глубине этого колодца? Я присел на его край, убеждая себя, что мне, во всяком случае, нечего опасаться и что необходимо спуститься туда для разрешения моих недоумений. Но вместе с тем я чувствовал какой-то страх! Пока я колебался, двое прекрасных наземных жителей, увлеченные любовной игрой, пробежали мимо меня через освещенное пространство в тень. Мужчина бежал за женщиной, бросая в нее цветами.

Они, казалось, очень огорчились, увидя, что я заглядываю в колодец, опираясь на упавшую колонну. Очевидно, было принято не замечать эти отверстия. Как только я указал на колодец и попытался задать вопросы на их языке, смущение их стало еще очевиднее, и они

отвернулись от меня. Но спички их заинтересовали, и мне пришлось сжечь несколько штук, чтобы позабавить их. Я снова попытался узнать что-нибудь про колодцы, но снова тщетно. Тогда, оставив их в покое, я решил вернуться к Уине и попробовать узнать что-нибудь у нее. Все мои представления о новом мире теперь перевернулись. У меня был ключ, чтобы понять значение этих колодцев, а также вентиляционных башен и таинственных привидений, не говоря уже о бронзовых дверях и о судьбе, постигшей Машину Времени! Вместе с этим ко мне в душу закралось смутное предчувствие возможности разрешить ту экономическую проблему, которая до сих пор приводила меня в недоумение.

Вот каков был мой новый вывод. Ясно, что этот второй вид людей обитал под землей. Три различных обстоятельства приводили меня к такому заключению. Они редко появлялись на поверхности земли, по-видимому, вследствие давней привычки к подземному существованию. На это указывала их блеклая окраска, присущая большинству животных, обитающих в темноте,— например, белые рыбы в пещерах Кентукки. Глаза, отражающие свет,— это также характерная черта ночных животных, например, кошки и совы. И, наконец, это явное замешательство при дневном свете, это поспешное, неуклюжее бегство в темноту, эта особая манера опускать на свету лицо вниз — все это подкрепляло мою догадку о крайней чувствительности сетчатки их глаз.

Итак, земля у меня под ногами, видимо, была изрыта тоннелями, в которых и обитала новая раса. Существование вентиляционных башен и колодцев по склонам холмов — всюду, кроме долины реки,— доказывало, что эти тоннели образуют разветвленную сеть. Разве не естественно было предположить, что в искусственном подземном мире шла работа, необходимая для благосостояния дневной расы? Мысль эта была так правдоподобна, что я тотчас же принял ее и пошел дальше, отыскивая причину раздвоения человеческого рода. Боюсь, что вы с недоверием отнесетесь к моей теории, но что касается меня самого, то я убедился в скором времени, насколько она была близка к истине.

Мне казалось ясным, как день, что постепенное углубление теперешнего временного социального различия

между Капиталистом и Рабочим было ключом к новому положению вещей. Без сомнения, это покажется вам смешным и невероятным, но ведь уже теперь есть обстоятельства, которые указывают на такую возможность. Существует тенденция использовать подземные пространства для нужд цивилизации, не требующих особой красоты: существует, например, подземная железная дорога в Лондоне, строятся новые электрические подземные дороги и тоннели, существуют подземные мастерские и рестораны, все они растут и множатся. Очевидно, думал я, это стремление перенести работу под землю существует с незапамятных времен. Все глубже и глубже уходили подземные мастерские, где рабочим приходилось проводить все больше времени, пока, наконец... Да разве и теперь какой-нибудь Уэст-Эндский рабочий не живет в таких искусственных условиях, что, по сути дела, отрезан от поверхности земли?

А вслед за тем кастовая тенденция богатых людей, вызванная все большей утонченностью жизни,— тенденция расширить пропасть между ними и оскорбляющей их грубостью бедняков тоже ведет к захвату привилегированными сословиями все большей и большей части поверхности земли исключительно для себя. В окрестностях Лондона и других больших городов уже около половины самых красивых мест недоступно для посторонних! А эта неуклонно расширяющаяся пропасть между богатыми и бедными, результат продолжительности и дороговизны высшего образования и стремления богатых к утонченным привычкам,— разве не поведет это к тому, что соприкосновения между классами станут все менее возможными? Благодаря такому отсутствию общения и тесных отношений браки между обоими классами, тормозящие теперь разделение человеческого рода на два различных вида, станут в будущем все более и более редкими. В конце концов на земной поверхности должны будут остаться только Имущие, наслаждающиеся в жизни исключительно удовольствиями и красотой, а под землей окажутся все Неимущие — рабочие, приспособившиеся к подземным условиям труда. А раз очутившись там, они, без сомнения, должны будут платить Имущим дань за вентиляцию своих жилищ. Если они откажутся от этого, то умрут с голода или задохнутся. Неприспособленные

или непокорные вымрут. Мало-помалу при установившемся равновесии такого порядка вещей выжившие Неимущие сделаются такими же счастливыми на свой собственный лад, как и жители Верхнего Мира. Таким образом, естественно возникнут утонченная красота одних и бесцветная бледность других.

Окончательный триумф Человечества, о котором я мечтал, принял теперь совершенно иной вид в моих глазах. Это не был тот триумф духовного прогресса и коллективного труда, который я представлял себе. Вместо него я увидел настоящую аристократию, вооруженную новейшими знаниями и деятельно потрудившуюся для логического завершения современной нам индустриальной системы. Ее победа была не только победой над природой, но также и победой над своими собратьями-людьми. Такова была моя теория. У меня не было проводника, как в утопических книгах. Может быть, мое объяснение совершенно неправильно. Но все же я думаю и до сих пор, что оно самое правдоподобное. Однако даже и эта посвоему законченная цивилизация давно прошла свой зенит и клонилась к упадку. Чрезмерная обеспеченность жителей Верхнего Мира привела их к постепенной дегенерации, к общему вырождению, уменьшению роста, сил и умственных способностей. Это я видел достаточно ясно. Что произошло с Подземными Жителями, я еще не знал, но все виденное мной до сих пор показывало, что «морлоки», как их называли обитатели Верхнего Мира, ушли еще дальше от нынешнего человеческого типа, чем «элои» — прекрасная наземная раса, с которой я уже познакомился.

Во мне возникли тревожные опасения. Для чего понадобилась морлокам моя Машина Времени? Теперь я был уверен, что это они похитили ее. И почему элои, если они господствующая раса, не могут возвратить ее мне? Почему они так боятся темноты? Я попытался было расспросить о Подземном Мире Уину, но меня снова ожидало разочарование. Сначала она не понимала моих вопросов, а затем отказалась на них отвечать. Она так дрожала, как будто не могла вынести этого разговора. Когда я начал настаивать, быть может, слишком резко, она горько расплакалась. Это были единственные слезы, которые я видел в Золотом Веке, кроме тех, что пролил

я сам. Я тотчас же перестал мучить ее расспросами о морлоках и постарался, чтобы с ее глаз исчезли эти следы человеческих чувств. Через минуту она уже улыбалась и хлопала в ладоши, когда я торжественно зажег перед ней спичку.

IX

МОРЛОКИ

Вам может показаться странным, что прошло целых два дня, прежде чем я решился продолжать свои изыскания в новом и, очевидно, верном направлении. Я ощущал какой-то ужас перед этими белыми фигурами. Они походили на почти обесцвеченных червей и другие препараты, хранящиеся в спирту в зоологических музеях. А прикоснувшись к ним, я почувствовал, какие они были отвратительно холодные! Этот страх отчасти объяснялся моей симпатией к элоям, чье отвращение к морлокам стало мало-помалу передаваться и мне.

В следующую ночь я спал очень плохо. Вероятно, мое здоровье расстроилось. Страхи и сомнения угнетали меня. Порой на меня нападало чувство ужаса, причину которого я не мог понять. Помню, как я тихонько пробрался в большую залу, где, освещенные луной, спали маленькие люди. В эту ночь с ними спала и Уина. Их присутствие успокоило меня. Мне еще тогда пришло в голову, что через несколько дней луна будет в последней четверти и наступят темные ночи, когда должны участиться появления этих белых лемуров, этих новых червей, пришедших на смену старым. В последние два дня меня не оставляло тревожное чувство, какое обыкновенно испытывает человек, уклоняясь от исполнения неизбежного долга. Я был уверен, что смогу вернуть Машину Времени, только проникнув без страха в тайну Подземного Мира. Но я все еще не решался встретиться с этой тайной. Будь у меня товарищ, возможно, все сложилось бы иначе. Но я был так ужасно одинок, что даже самая мысль спуститься в мрачную глубину колодца была невыносима для меня. Не знаю, поймете ли вы мое чувство, но мне непрестанно казалось, что за спиной мне угрожает страшная опасность.

Вероятно, это беспокойство и ощущение неведомой опасности заставляли меня уходить все дальше и дальше на разведку. Идя на юго-запад к возвышенности, которая в наше время называется Ком Вуд, я заметил далеко впереди, там, где в девятнадцатом веке находится городок Бэнстид, огромное зеленое здание, совершенно не похожее по стилю на все дома, виденные мной до сих пор. Размерами оно превосходило самые большие дворцы. Его фасад был отделан в восточном духе; выкрашенный блестящей бледно-зеленой краской с голубоватым оттенком, он походил на дворец из китайского фарфора. Такое отличие во внешнем виде невольно наводило на мысль о его особом назначении, и я намеревался получше осмотреть дворец. Но впервые я увидел его после долгих и утомительных скитаний, когда день уже клонился к вечеру; поэтому, решив отложить осмотр до следующего дня, я вернулся домой к ласкам приветливой маленькой Уины. На следующее утро я ясно понял, что мое любопытство к Зеленому Фарфоровому Дворцу было вроде самообмана, изобретенного мною для того, чтобы еще на день отложить страшившее меня исследование Подземного Мира. Без дальнейших проволочек я решил пересилить себя и в то же утро спуститься в один из колодцев; я направился прямо к ближайшему из них, расположенному возле обломков гранита и алюминия.

Маленькая Уина бежала рядом со мной. Она, танцуя, проводила меня до колодца, но когда увидела, что я перегнулся через край и принялся смотреть вниз, пришла в ужасное волнение.

«Прощай, маленькая Уина»,— сказал я, целуя ее.

Отпустив ее и перегнувшись через стенку, я принялся ощупывать металлические скобы. Не скрою, что делал я это торопливо из страха, что решимость меня покинет. Уина сначала смотрела на меня с изумлением. Потом, испустив жалобный крик, бросилась ко мне и принялась оттаскивать меня прочь своими маленькими ручками. Мне кажется, ее сопротивление и побудило меня действовать решительно. Я оттолкнул ее руки, может быть, немного резко и мгновенно спустился в шахту колодца. Взглянув вверх, я увидел полное отчаяния лицо Уины и улыбнулся, чтобы ее успокоить. Но тотчас же вслед

за тем я должен был обратить все свое внимание на скобы, едва выдерживавшие мою тяжесть.

Мне нужно было спуститься примерно на глубину двухсот ярдов. Так как металлические скобы были приспособлены для спуска небольших существ, то очень скоро я почувствовал усталость. Нет, не только усталость, но и подлинный ужас! Одна скоба неожиданно прогнулась под моей тяжестью, и я едва не полетел вниз, в непроглядную темноту. С минуту я висел на одной руке и после этого случая не решался более останавливаться. Хотя я скоро ощутил жгучую боль в руках и спине, но все же продолжал спускаться быстро, как только мог. Посмотрев наверх, я увидел в отверстии колодца маленький голубой кружок неба, на котором виднелась одна звезда, а головка Уины казалась на фоне неба черным круглым пятнышком. Внизу все громче раздавался грохот машин. Все, кроме небольшого кружка вверху, было темным. Когда я снова поднял голову, Уина уже исчезла.

Мучительная тревога овладела мной. У меня мелькнула мысль вернуться наверх и оставить Подземный Мир в покое. Но все-таки я продолжал спускаться вниз. Наконец, не знаю через сколько времени, я с невероятным облегчением увидел или скорее почувствовал справа от себя небольшое отверстие в стене колодца. Проникнув в него, я убедился, что это был вход в узкий горизонтальный тоннель, где я мог прилечь и отдохнуть. Это было необходимо. Руки мои ныли, спину ломило, и я весь дрожал от страха перед падением. К тому же непроницаемая темнота сильно угнетала меня. Все вокруг было наполнено гулом машины, накачивавшей в глубину воздух.

Не знаю, сколько времени я пролежал так. Очнулся я от мягкого прикосновения чьей-то руки, ощупывавшей мое лицо. Вскочив в темноте, я торопливо зажег спичку и разглядел при ее свете три сутуловатые белые фигуры, подобные той, какую я видел в развалинах наверху. Они быстро отступили при виде огня. Морлоки, как я уже говорил, проводили всю жизнь в темноте, и потому глаза их были необычайно велики. Они не могли вытерпеть света моей спички и отражали его, совсем как зрачки глубоководных океанских рыб. Я нимало не сомневался, что они видели меня в этой густой темноте,

и их пугал только свет. Едва я зажег новую спичку, чтобы разглядеть их, как они обратились в бегство и исчезли в темных тоннелях, откуда сверкали только их блестящие глаза.

Я попытался заговорить с ними, но их язык, видимо, отличался от языка наземных жителей, так что волей-неволей пришлось мне положиться на свои собственные силы. Снова мелькнула у меня мысль бежать, бросив все исследования. Но я сказал самому себе: «Надо довести дело до конца». Двигаясь ощупью по тоннелю, я заметил, что с каждым шагом гул машины становится все громче. Внезапно стены раздвинулись, я вышел на открытое место и, чиркнув спичкой, увидел, что нахожусь в просторной сводчатой пещере. Я не успел рассмотреть ее всю, потому что спичка скоро погасла

Разумеется, мои воспоминания очень смутны. В темноте проступали контуры огромных машин, отбрасывавших при свете спички причудливые черные тени, в которых укрывались похожие на привидения морлоки. Было очень душно, и в воздухе чувствовался слабый запах свежепролитой крови. Чуть подальше, примерно в середине пещеры, стоял небольшой стол из белого металла, на котором лежали куски свежего мяса. Оказалось, что морлоки не были вегетарианцами! Помню, как уже тогда я с изумлением подумал,— что это за домашнее животное сохранилось от наших времен, мясо которого лежало теперь передо мной. Все вокруг было видно смутно; тяжелый запах, громадные контуры машин, отвратительные фигуры, притаившиеся в тени и ожидающие только темноты, чтобы снова приблизиться ко мне! Догоревшая спичка обожгла мне пальцы и упала на землю, тлея красной точкой в непроглядной тьме.

С тех пор много раз я думал, как плохо был я подготовлен к такому исследованию. Отправляясь в путешествие на Машине Времени, я был исполнен нелепой уверенности, что люди Будущего опередили нас во всех отношениях. Я пришел к ним без оружия, без лекарств, без табака, а временами мне так ужасно хотелось курить! Даже спичек у меня было мало. Ах, если б я только сообразил захватить фотографический аппарат! Можно было бы запечатлеть этот Подземный Мир и потом спокойно рассмотреть его. Теперь же я стоял там, воо-

руженный лишь тем, чем снабдила меня Природа,— руками, ногами и зубами; только это да четыре спасительные спички еще оставались у меня.

Я побоялся пройти дальше в темноте среди машин и только при последней вспышке зажженной спички увидел, что моя коробка кончается. До этой минуты мне и в голову не приходило, что нужно беречь спички, и я истратил почти половину коробки, удивляя наземных жителей, для которых огонь сделался диковинкой. Теперь, когда у меня оставалось только четыре спички, а сам я очутился в темноте, я снова почувствовал, как чьи-то тонкие пальцы принялись ощупывать мое лицо, и меня поразил какой-то особенно неприятный запах. Мне казалось, что я слышу дыхание целой толпы этих ужасных существ. Я почувствовал, как чьи-то руки осторожно пытаются отнять у меня спичечную коробку, а другие тянут меня сзади за одежду. Мне было нестерпимо ощущать присутствие невидимых созданий. Там, в темноте, я впервые ясно осознал, что не могу понять их побуждений и поступков. Я крикнул на них изо всех сил. Они отскочили, но тотчас же я снова почувствовал их приближение. На этот раз они уже смелее хватали меня и обменивались какими-то странными звуками. Я задрожал, крикнул опять, еще громче прежнего. Но в этот раз они уже не так испугались и тотчас приблизились снова, издавая странные звуки, похожие на тихий смех. Признаюсь, меня охватил страх. Я решил зажечь еще спичку и бежать под защитой света. Сделав это, я вынул из кармана кусок бумаги, зажег его и отступил назад в узкий тоннель. Но едва я вошел туда, мой факел задул ветер и стало слышно, как морлоки зашуршали в тоннеле, словно осенние листья. Их шаги звучали негромко и часто, как капли дождя...

В одно мгновение меня схватило несколько рук. Морлоки пытались вытащить меня назад в пещеру. Я зажег еще спичку и помахал ею прямо перед их лицами. Вы едва ли можете себе представить, какими омерзительно нечеловеческими они были, эти бледные лица без подбородков, с большими, лишенными век красновато-серыми глазами! Как они дико смотрели на меня в своем слепом отупении! Впрочем, могу вас уверить, что я недолго разглядывал их. Я снова отступил и, едва догорела вто-

рая спичка, зажег третью. Она тоже почти догорела, когда мне наконец удалось добраться до шахты колодца. Я прилег, потому что у меня кружилась голова от стука огромного насоса внизу. Затем сбоку я нащупал скобы, но тут меня схватили за ноги и потащили обратно. Я зажег последнюю спичку... она тотчас же погасла. Но теперь, ухватившись за скобы и рассыпая ногами щедрые пинки, я высвободился из цепких объятий морлоков и принялся быстро взбираться по стене колодца. Все они стояли внизу и, моргая, смотрели на меня, кроме одной маленькой твари, которая некоторое время следовала за мной и чуть не сорвала с меня башмак в качестве трофея.

Подъем показался мне бесконечным. Преодолевая последние двадцать или тридцать футов, я почувствовал ужасную тошноту. Невероятным усилием я овладел собой. Последние несколько ярдов были ужасны. Сил больше не было. Несколько раз у меня начинала кружиться голова, и тогда падение казалось неминуемым. Сам не знаю, как я добрался до отверстия колодца и, шатаясь, выбрался из руин на ослепительный солнечный свет. Я упал ничком. Даже земля показалась мне здесь чистой и благоуханной. Помню, как Уина осыпала поцелуями мои руки и лицо и как вокруг меня раздавались голоса других элоев. А потом я потерял сознание.

X

КОГДА НАСТАЛА НОЧЬ

После этого я оказался еще в худшем положении, чем раньше. Если не считать минут отчаяния в ту ночь, когда я лишился Машины Времени, меня все время ободряла надежда на возможность бегства. Однако новые открытия пошатнули ее. До сих пор я видел для себя препятствие лишь в детской непосредственности маленького народа и в каких-то неведомых мне силах, узнать которые, казалось мне, было равносильно тому, чтобы их преодолеть. Теперь же появилось совершенно новое обстоятельство — отвратительные морлоки, что-то нечеловеческое и враждебное. Я инстинктивно ненавидел их. Прежде я чувствовал себя в положении человека, попавшего в яму: думал только о яме и о том, как бы из нее

выбраться. Теперь же я чувствовал себя в положении зверя, попавшего в западню и чующего, что враг близко.

Враг, о котором я говорю, может вас удивить: это темнота перед новолунием. Уина внушила мне этот страх несколькими сначала непонятными словами о Темных Ночах. Теперь нетрудно было догадаться, что означало это приближение Темных Ночей. Луна убывала, каждую ночь темнота становилась все непроницаемей. Теперь я хоть отчасти понял наконец причину ужаса жителей Верхнего Мира перед темнотой. Я спрашивал себя, что за мерзости проделывали морлоки в безлунные ночи. Я был уже окончательно убежден, что моя гипотеза о господстве элоев над морлоками совершенно неверна. Конечно, раньше жители Верхнего Мира были привилегированным классом, а морлоки — их рабочими-слугами, но это давным-давно ушло в прошлое. Обе разновидности людей, возникшие вследствие эволюции общества, переходили, или уже перешли, к совершенно новым отношениям. Подобно династии Каролингов [1], элои переродились в прекрасные ничтожества. Они все еще из милости владели поверхностью земли, тогда как морлоки, жившие в продолжение бесчисленных поколений под землей, в конце концов стали совершенно неспособными выносить дневной свет. Морлоки по-прежнему делали для них одежду и заботились об их повседневных нуждах, может быть, вследствие старой привычки работать на них. Они делали это так же бессознательно, как конь бьет о землю копытом или охотник радуется убитой им дичи: старые, давно исчезнувшие отношения все еще накладывали свою печать на человеческий организм. Но ясно, что изначальные отношения этих двух рас стали теперь прямо противоположны. Неумолимая Немезида неслышно приближалась к изнеженным счастливцам. Много веков назад, за тысячи и тысячи поколений, человек лишил своего ближнего счастья и солнечного света. А теперь этот ближний стал совершенно неузнаваем! Элои снова получили начальный урок жизни. Они заново познакомились с чувством страха. Я неожиданно вспомнил о мясе, которое видел в Под-

---

[1] Династия Каролингов—франкских королей—после смерти своего крупнейшего представителя Карла Великого продолжала править остатками его распавшейся империи.

земном Мире. Не знаю, почему мне это пришло в голову: то было не следствие моих мыслей, а как бы вопрос извне. Я попытался припомнить, как выглядело мясо. Оно уже тогда показалось мне каким-то знакомым, но что это было, я не мог понять.

Маленький народ был беспомощен в присутствии существ, наводивших на него этот таинственный страх, но я был не таков. Я был сыном своего века, века расцвета человеческой расы, когда страх перестал сковывать человека и таинственность потеряла свои чары. Во всяком случае, я мог защищаться. Без промедления я решил приготовить себе оружие и найти безопасное место для сна. Имея такое убежище, я мог бы сохранить по отношению к этому неведомому миру некоторую долю той уверенности, которой я лишился, узнав, какие существа угрожали мне по ночам. Я знал, что не засну до тех пор, пока сон мой не будет надежно защищен. Я содрогнулся при мысли, что эти твари уже не раз рассматривали меня.

Весь день я бродил по долине Темзы, но не нашел никакого убежища, которое было бы для них недосягаемым. Все здания и деревья казались легко доступными для таких ловких и цепких существ, какими были морлоки, судя по их колодцам. И тут я снова вспомнил о высоких башенках и гладких блестящих стенах Зеленого Фарфорового Дворца. В тот же вечер, посадив Уину, как ребенка, на плечо, я отправился по холмам на юго-запад. Я полагал, что до Зеленого Дворца семь или восемь миль, но, вероятно, до него были все восемнадцать. В первый раз я увидел это место в довольно пасмурный день, когда расстояния кажутся меньше. А теперь, когда я двинулся в путь, у меня, кроме всего остального, еще оторвался каблук и в ногу впивался гвоздь — это были старые башмаки, которые я носил только дома. Я захромал. Солнце давно уже село, когда показался дворец, вырисовывавшийся черным силуэтом на бледно-желтом фоне неба.

Уина была в восторге, когда я понес ее на плече, но потом она захотела сойти на землю и семенила рядом со мной, перебегая то на одну, то на другую сторону за цветами и засовывая их мне в карманы. Карманы всегда удивляли Уину, и в конце концов она решила, что

это своеобразные вазы для цветов. Во всяком случае, она их использовала для этой цели... Да! Кстати... Переодеваясь, я нашел...

(Путешественник по Времени умолк, опустил руку в карман и положил перед нами на столик два увядших цветка, напоминавших очень крупные белые мальвы. Потом возобновил свой рассказ.)

— Землю уже окутала вечерняя тишина, а мы все еще шли через холм по направлению к Уимблдону. Уина устала и хотела вернуться в здание из серого камня. Но я указал на видневшиеся вдалеке башенки Зеленого Дворца и постарался объяснить ей, что там мы найдем убежище. Знакома ли вам та мертвая тишина, которая наступает перед сумерками? Даже листья на деревьях не шелохнутся. На меня эта вечерняя тишина всегда навевает какое-то неясное чувство ожидания. Небо было чистое, высокое и ясное; лишь на западе виднелось несколько легких облачков. Но к этому гнету вечернего ожидания примешивался теперь страх. В тишине мои чувства, казалось, сверхъестественно обострились. Мне чудилось, что я мог даже ощущать пещеры в земле у себя под ногами, мог чуть ли не видеть морлоков, кишащих в своем подземном муравейнике в ожидании темноты. Мне казалось, что они примут мое вторжение как объявление войны. И зачем взяли они мою Машину Времени?

Мы продолжали идти в вечерней тишине, а сумерки тем временем постепенно сгущались. Голубая ясность дали померкла, одна за другой стали загораться звезды. Земля под ногами становилась смутной, деревья — черными. Страх и усталость овладели Уиной. Я взял ее на руки, успокаивая и лаская. По мере наступления темноты она все крепче и крепче прижималась лицом к моему плечу. По длинному склону холма мы спустились в долину, и тут я чуть было не свалился в маленькую речку. Перейдя ее вброд, я взобрался на противоположный склон долины, прошел мимо множества домов, мимо статуи, изображавшей, как мне показалось, некое подобие фавна, но только без головы. Здесь росли акации. До сих пор я еще не видел морлоков, но ведь ночь только началась и самые темные часы, перед восходом ущербной луны, были еще впереди.

С вершины следующего холма я увидел густую чащу леса, которая тянулась передо мной широкой и черной полосой. Я остановился в нерешительности. Этому лесу не было видно конца ни справа, ни слева. Чувствуя себя усталым — у меня нестерпимо болели ноги,— я осторожно снял с плеча Уину и опустился на землю. Я уже не видел Зеленого Дворца и не знал, куда идти. Взглянув на лесную чащу, я невольно подумал о том, что могла скрывать она в своей глубине. Под этими густо переплетенными ветвями деревьев, должно быть, не видно даже звезд. Если б в лесу меня даже и не подстерегала опасность — та опасность, самую мысль о которой я гнал от себя,— там все же было достаточно корней, чтобы споткнуться, и стволов, чтобы расшибить себе лоб. К тому же я был измучен волнениями этого дня и решил не идти в лес, а провести ночь на открытом месте.

Я был рад, что Уина уже крепко спала. Заботливо завернув ее в свою куртку, я сел рядом с ней и стал ожидать восхода луны. На склоне холма было тихо и пустынно, но из темноты леса доносился по временам какой-то шорох. Надо мной сияли звезды, ночь была очень ясная. Их мерцание успокаивало меня. На небе уже не было знакомых созвездий: они приняли новые очертания благодаря тем медленным перемещениям звезд, которые становятся ощутимы лишь по истечении сотен человеческих жизней. Один только Млечный Путь, казалось, остался тем же потоком звездной пыли, что и в наше время. На юге сияла какая-то очень яркая, неизвестная мне красная звезда, она была ярче даже нашего Сириуса. И среди всех этих мерцающих точек мягко и ровно сияла большая планета, как будто спокойно улыбающееся лицо старого друга.

При свете звезд все заботы и горести земной жизни показались мне ничтожными. Я подумал о том, как они бесконечно далеки, как медленно движутся из неведомого прошлого в неведомое будущее. Подумал о кругах, которые описывает в пространстве земная ось. Всего сорок раз описала она этот круг за восемьсот тысяч лет, которые я преодолел. И за это время вся деятельность, все традиции, вся сложная организация, все национальности, языки, вся литература, все человеческие стремле-

ния и даже самое воспоминание о Человеке, каким я его знал, исчезли. Взамен этого в мире появились хрупкие существа, забывшие о своем высоком происхождении, и белесые твари, от которых я в ужасе бежал. Я думал и о том Великом Страхе, который разделил две разновидности человеческого рода, и впервые с содроганием понял, что за мясо видел я в Подземном Мире. Нет, это было бы слишком ужасно! Я взглянул на маленькую Уину, спавшую рядом со мной, на ее личико, беленькое и ясное, как звездочка, и тотчас же отогнал страшную мысль.

Всю эту долгую ночь я старался не думать о морлоках и убивал время, стараясь найти в путанице звезд следы старых созвездий. Небо было совершенно чистое, кроме нескольких легких облачков. По временам я дремал. Когда такое бдение совсем истомило меня, в восточной части неба показался слабый свет, подобный зареву какого-то бесцветного пожара, и вслед за тем появился белый тонкий серп убывающей луны. А следом, как бы настигая и затопляя его своим сиянием, блеснули первые лучи утренней зари, сначала бледные, но потом с каждой минутой все ярче разгоравшиеся теплыми алыми красками. Ни один морлок не приблизился к нам; в эту ночь я даже не видел никого из них. С первым светом наступающего дня все мои ночные страхи стали казаться почти смешными. Я встал и почувствовал, что моя нога в башмаке без каблука распухла у лодыжки, пятка болела. Я сел на землю, снял башмаки и отшвырнул их прочь.

Разбудив Уину, я спустился с ней вниз. Мы вошли в лес, теперь зеленый и приветливый, а не черный и зловещий, как ночью. Мы позавтракали плодами, а потом встретили несколько прекрасных маленьких существ, которые смеялись и танцевали на солнышке, как будто в мире никогда и не существовало ночей. Но тут я снова вспомнил о том мясе, которое видел у морлоков. Теперь мне стало окончательно ясно, что̀ это было за мясо, и я от всей души пожалел о том слабом ручейке, который остался на земле от некогда могучего потока Человечества. Ясно, что когда-то давно, века назад, пища у морлоков иссякла. Возможно, что некоторое время они питались крысами и всякой другой мер-

зостью. Даже и в наше время человек гораздо менее разборчив в пище, чем когда-то,— значительно менее разборчив, чем любая обезьяна. Его предубеждение против человеческого мяса не есть глубоко укоренившийся инстинкт. И теперь вот что делали эти бесчеловечные потомки людей!.. Я постарался взглянуть на дело с научной точки зрения. Во всяком случае, морлоки были менее человекоподобны и более далеки от нас, чем наши предки-каннибалы, жившие три или четыре тысячи лет назад. А тот высокоразвитый ум, который сделал бы для нас людоедства истинной пыткой, окончательно исчез. «О чем мне беспокоиться? — подумал я.— Эти элои просто-напросто откормленный скот, который разводят и отбирают себе в пищу муравьеподобные морлоки,— вероятно, они даже следят за тем, чтобы элои были хорошо откормлены...» А маленькая Уина тем временем танцевала около меня.

Я попытался подавить отвращение, заставляя себя думать, что такое положение вещей — суровая кара за человеческий эгоизм. Люди хотели жить в роскоши за счет тяжкого труда своих собратьев и оправдывались необходимостью, а теперь, когда настало время, та же необходимость повернулась к ним своей обратной стороной. Я даже, подобно Карлейлю, пытался возбудить в себе презрение к этой жалкой, упадочной аристократии. Но мне это не удалось. Как ни велико было их духовное падение, все же элои сохранили в своей внешности слишком много человеческого, и я невольно сочувствовал им, разделяя с ними унижение и страх.

Что мне делать, я еще не знал. Прежде всего я хотел найти безопасное убежище и раздобыть какое-нибудь металлическое или каменное оружие. Это было необходимо. Затем я надеялся найти средства для добывания огня, чтобы иметь факел, так как знал, что это оружие было самым действенным против морлоков. А еще я хотел сделать какое-нибудь приспособление для того, чтобы выломать бронзовые двери в пьедестале Белого Сфинкса. Я намеревался сделать таран. Я был уверен, что если войду в эти двери, неся с собой факел, то найду там Машину Времени и смогу вырваться из этого ужасного мира. Я не думал, чтобы у морлоков хватило сил утащить мою Машину, куда-нибудь очень

далеко. Уину я решил взять с собой в наше время. Обдумывая все эти планы, я продолжал идти к тому зданию, которое избрал для своего жилища.

XI

ЗЕЛЕНЫЙ ДВОРЕЦ

Когда около полудня мы дошли до Зеленого Дворца, то нашли его полуразрушенным и пустынным. В окнах торчали только осколки стекол, а большие куски зеленой облицовки отвалились от проржавевшего металлического каркаса. Дворец стоял на высоком травянистом склоне, и, взглянув на северо-восток, я изумился, увидя большой эстуарий, или, скорее, бухту, там, где по моим соображениям, были наши Уондсворт и Бэттерси. И я сразу подумал,— что же произошло или происходит теперь с существами, населяющими морскую глубину, но долго раздумывать об этом не стал.

Оказалось, что дворец был действительно сделан из фарфора, и вдоль его фасада тянулась надпись на каком-то незнакомом языке. Мне пришла в голову нелепая мысль, что Уина может помочь разобрать ее, но оказалось, что она и понятия не имеет о письме. Она всегда казалась мне более человеком, чем была на самом деле, может быть, потому, что ее привязанность ко мне была такой человеческой.

За огромными поломанными створчатыми дверями, которые были открыты настежь, мы увидели вместо обычного зала длинную галерею с целым рядом окон. С первого же взгляда я понял, что это музей. Паркетный пол был покрыт густым слоем пыли, и такой же серый покров лежал на всех удивительных и разнообразных предметах, сваленных повсюду. Среди прочего я увидел что-то странное и высохшее посреди зала — несомненно, это была нижняя часть огромного скелета. По форме его ног я определил, что это вымершее животное типа мегатерия. Рядом в густой пыли лежали его череп и кости верхних конечностей, а в одном месте, где крыша протекала, часть костей почти совершенно рассыпалась. Далее в галерее стоял огромный скелет бронтозавра. Мое предположение, что это музей, подтвердилось. По бокам галереи я нашел то, что принял сначала за по-

косившиеся полки, но, стерев с них густой слой пыли, убедился, что это стеклянные витрины. Вероятно, они были герметически закупорены, судя по некоторым прекрасно сохранившимся экспонатам.

Ясно, что мы находились среди развалин огромного музея, подобного Южно-Кенсингтонскому, но относившегося к более поздним временам. Здесь, по-видимому, был палеонтологический отдел, обладавший чудеснейшей коллекцией ископаемых, однако неизбежное разрушение, искусственно остановленное на некоторое время и утратившее благодаря уничтожению бактерий и грибков девяносто девять сотых своей силы, все же верно и медленно продолжало свою работу. То тут, то там находил я следы посещения музея маленьким народом: кое-где попадались редкие ископаемые, разломанные ими на куски или нанизанные гирляндами на тростник. В некоторых местах витрины были сорваны. И я решил, что это сделали морлоки. Дворец был совершенно пуст. Густой слой пыли заглушал звук наших шагов. Пока я с изумлением осматривался, ко мне подошла Уина, которая до тех пор забавлялась тем, что катала морского ежа по наклонному стеклу витрины. Она тихонько взяла меня за руку и встала рядом со мной.

Я был так изумлен при виде этого разрушающегося памятника интеллектуального периода существования человечества, что не подумал о той пользе, какую отсюда мог бы для себя извлечь. Даже мысль о Машине вылетела у меня на время из головы.

Судя по размерам, Зеленый Дворец должен был заключать в себе не только палеонтологическую галерею: вероятно, тут были и исторические отделы, а может быть, даже библиотека. Для меня это было бы неизмеримо интереснее, чем геологическая выставка времен упадка. Принявшись за дальнейшие исследования, я открыл вторую, короткую, галерею, пересекавшую первую. По-видимому, это был Минералогический Отдел, и вид куска серы навел меня на мысль о порохе. Но я нигде не мог отыскать селитры или каких-нибудь азотнокислых солей. Без сомнения, они разложились много столетий назад. Но сера не выходила у меня из головы и натолкнула меня на целый ряд мыслей. Все остальное здесь мало меня интересовало, хотя, в общем, пожалуй, этот

отдел сохранился лучше всего. Я не специалист по минералогии, и потому я отправился дальше в полуразрушенное крыло здания, параллельное первой галерее, через которую я вошел. По-видимому, этот новый отдел был посвящен естественной истории, но все в нем давным-давно изменилось до неузнаваемости. Несколько съежившихся и почерневших остатков того, что прежде было чучелами зверей, высохшие коконы в банках, когда-то наполненных спиртом, темная пыль, оставшаяся от засушенных растений,— вот и все, что я здесь нашел. Я пожалел об этом; мне было бы интересно проследить те медленные терпеливые усилия, благодаря которым была достигнута полная победа над животным и растительным миром. Оттуда мы попали в огромную плохо освещенную галерею. Пол постепенно понижался, хотя и под небольшим углом, от того конца, где мы стояли. С потолка через одинаковые промежутки свешивались белые шары; некоторые из них были треснуты или разбиты вдребезги, и у меня невольно явилась мысль, что это помещение когда-то освещалось искусственным светом. Тут я больше чувствовал себя в своей среде, так как по обе стороны от меня поднимались остовы огромных машин, все сильно попорченные и многие даже поломанные; некоторые, однако, были еще в сравнительной целости. Вы знаете, у меня слабость к машинам; мне захотелось подольше остаться здесь, тем более, что большая часть их поразила меня новизной и непонятностью, и я мог строить лишь самые неопределенные догадки относительно целей, которым они служили. Мне казалось, что если я разрешу эти загадки, то найду могущественное оружие для борьбы с морлоками.

Вдруг Уина прижалась ко мне. Это было так неожиданно, что я вздрогнул. Если бы не она, я, по всей вероятности, не обратил бы внимания на покатость пола. Тот конец галереи, откуда я вошел, поднимался довольно высоко над землей и был освещен через немногие узкие окна. Но по мере того как мы шли дальше, склон холма подступал к самым окнам, постепенно заслоняя их, так что наконец осталось только углубление, как в Лондоне перед полуподвалом, а в неширокую щель просачивалась лишь едва заметная полоска света. Я медленно шел вперед, с любопытством рассматривая маши-

ны. Это занятие совершенно поглотило меня, и поэтому я не заметил постепенного ослабления света, пока наконец возрастающий страх Уины не привлек моего внимания. Я заметил тогда, что галерея уходит в непроглядную темноту.

Остановившись в нерешительности и осмотревшись вокруг, я увидел, что слой пыли здесь был тоньше и местами лежал неровно. Еще дальше, в темноте, на пыльном полу как будто виднелись небольшие узкие следы. При виде их я вспомнил о близости морлоков. Я почувствовал, что даром теряю время на осмотр машин, и спохватился, что уже перевалило далеко за полдень, а я все еще не имею оружия, убежища и средств для добывания огня. Вдруг далеко, в глубине темной галереи, я услышал тот же своеобразный шорох, те же странные звуки, что и тогда в глубине колодца.

Я взял Уину за руку. Но вдруг мне в голову пришла новая мысль, я оставил ее и направился к машине, из которой торчал рычаг, вроде тех, какие употребляются на железнодорожных стрелках. Взобравшись на подставку и ухватившись обеими руками за рычаг, я всей своей тяжестью навалился на него. Уина, оставшись одна, начала плакать. Я рассчитал правильно: рычаг сломался после минутного усилия, и я вернулся к Уине с палицей в руке, достаточно надежной для того, чтобы проломить череп любому морлоку, который повстречался бы на пути. А мне ужасно хотелось убить хотя бы одного! Быть может, вам это желание убить одного из наших потомков покажется бесчеловечным. Но к этим отвратительным существам невозможно было относиться по-человечески. Только мое нежелание оставить Уину и уверенность, что может пострадать Машина Времени, если я примусь за избиение морлоков, удержали меня от попытки тотчас же спуститься по галерее вниз и начать истребление копошившихся там тварей.

И вот, держа палицу в правой руке, а левой обнимая Уину, я вышел из этой галереи и направился в другую — с виду еще большую,— которую я с первого взгляда принял за военную часовню, обвешанную изорванными знаменами. Но скоро в этих коричневых и черных лоскутьях, которые висели по стенам, я узнал остатки истлевших книг. Они давным-давно рассыпались на

куски, на них не осталось даже следов букв. Лишь кое-где валялись покоробленные корешки и треснувшие металлические застежки, достаточно красноречиво свидетельствовавшие о своем прошлом назначении. Будь я писателем, возможно, при виде всего этого я пустился бы философствовать о тщете всякого честолюбия. Но так как я не писатель, меня всего сильнее поразила потеря колоссального труда, о которой говорили эти мрачные груды истлевшей бумаги. Должен сознаться, впрочем, что в ту минуту я вспомнил о «Трудах Философского общества» и о своих собственных семнадцати статьях по оптике.

Поднявшись по широкой лестнице, мы вошли в новое помещение, которое было когда-то отделом прикладной химии. У меня была надежда найти здесь что-нибудь полезное. За исключением одного угла, где обвалилась крыша, эта галерея прекрасно сохранилась. Я торопливо подходил к каждой уцелевшей витрине и наконец в одной из них, закупоренной поистине герметически, нашел коробку спичек. Горя от нетерпения, я испробовал одну из них. Спички оказались вполне пригодными: они нисколько не отсырели. Я повернулся к Уине.

«Танцуй!»— воскликнул я на ее языке.

Теперь у нас действительно было оружие против ужасных существ, которых мы боялись. И вот в этом заброшенном музее, на густом ковре пыли, к величайшему восторгу Уины, я принялся торжественно исполнять замысловатый танец, весело насвистывая песенку «Моя Шотландия». Это был частью скромный канкан, частью полонез, частью вальс (так что развевались фалды моего сюртука) и частью мое собственное оригинальное изобретение. Вы же знаете, что я в самом деле изобретателен.

Эта коробка спичек, которая сохранилась в течение стольких лет вопреки разрушительному действию времени, была самой необычайной и счастливой случайностью. К своему удивлению, я сделал еще одну неожиданную находку — камфору. Я нашел ее в запечатанной банке, которая, я думаю, случайно была закупорена герметически. Сначала я принял ее за парафин и разбил банку. Но запах камфоры не оставлял сомнений. Это летучее вещество среди общего разрушения пережи-

ло, быть может, многие тысячи столетий. Она напомнила мне об одном рисунке, сделанном сепией, приготовленной из ископаемого белемнита[1], погибшего и ставшего окаменелостью, вероятно, миллионы лет тому назад. Я хотел уже выбросить камфору, как вдруг вспомнил, что она горит прекрасным ярким пламенем, так что из нее можно сделать отличную свечку. Я положил ее в карман. Зато я нигде не нашел взрывчатых веществ или каких-либо других средств, чтобы взломать бронзовые двери. Железный рычаг все же был самым полезным орудием, на которое я до сих пор наткнулся. Тем не менее я с гордым видом вышел из галереи.

Не могу пересказать вам всего, что я видел за этот долгий день. Пришлось бы сильно напрячь память, чтобы по порядку рассказать о всех моих изысканиях. Помню длинную галерею с заржавевшим оружием и свои размышления: не выбрать ли мне топор или саблю вместо моего железного рычага? Я не мог унести то и другое, а железный лом был более пригоден для взлома бронзовых дверей. Я видел множество ружей, пистолетов и винтовок. Почти все они были совершенно изъедены ржавчиной, хотя некоторые, сделанные из какого-то неизвестного металла, прекрасно сохранились. Но патроны и порох давно уже рассыпались в пыль. Один угол галереи обгорел и был совершенно разрушен; вероятно, это произошло вследствие взрыва патронов. В другом месте оказалась большая коллекция идолов: полинезийских, мексиканских, греческих, финикийских, собранных со всех концов земли. И тут, уступая непреодолимому желанию, я написал свое имя на носу каменного урода из Южной Америки, особенно меня поразившего.

К вечеру мое любопытство ослабело. Одну за другой проходил я галереи, пыльные, безмолвные, часто разрушенные, все содержимое которых представляло собой по временам груды ржавчины и обуглившихся обломков. В одном месте я неожиданно наткнулся на модель рудника, а затем, также совершенно случайно, нашел в плотно закупоренной витрине два динамитных патрона.

«Эврика!» — воскликнул я с радостью и разбил витрину.

---

[1] Белемниты — вымершие моллюски.

Но вдруг на меня напало сомнение. Я остановился в раздумье. Выбрав маленькую боковую галерею, я сделал опыт. Никогда в жизни не чувствовал я такого разочарования, как в те пять — десять минут, когда ждал взрыва и ничего не дождался. Без сомнения, это были модели, я мог бы догадаться об этом уже по их виду. Уверен, что иначе я тотчас же кинулся бы к Белому Сфинксу и отправил бы его одним взрывом в небытие вместе с его бронзовыми дверями и (как оказалось впоследствии) уже никогда не получил бы обратно Машину Времени.

Насколько я могу припомнить, мы вышли в маленький открытый дворик внутри главного здания. Среди зеленой травы росли три фруктовых дерева. Здесь мы отдохнули и подкрепились. Приближался закат, и я стал обдумывать наше положение. Ночь уже надвигалась, а безопасное убежище все еще не было найдено. Однако теперь это меня мало тревожило. В моих руках была лучшая защита от морлоков: спички! А на случай, если бы понадобился яркий свет, у меня в кармане была камфора. Самое лучшее, казалось мне,— провести ночь на открытом месте под защитой костра. А наутро я хотел приняться за розыски Машины Времени. Единственным средством для этого был железный лом. Но теперь, лучше зная что к чему, я совершенно иначе относился к бронзовым дверям. Ведь до сих пор я не хотел их ломать, не зная, что находилось по другую их сторону. Они не казались мне очень прочными, и я надеялся, что легко взломаю их своим рычагом.

XII

ВО МРАКЕ

Мы вышли из Зеленого Дворца, когда солнце еще не скрылось за горизонтом. Я решил на следующий же день, рано утром, вернуться к Белому Сфинксу, а пока, до наступления темноты, предполагал пробраться через лес, задержавший нас по пути сюда. В этот вечер я рассчитывал пройти возможно больше, а затем, разведя костер, лечь спать под защитой огня. Дорогой я собирал сучья и сухую траву и скоро набрал целую охапку. С

этим грузом мы подвигались вперед медленнее, чем я предполагал, и к тому же Уина очень устала. Мне тоже ужасно хотелось спать. Когда мы дошли до леса, наступила полная темнота. Из страха перед ней Уина хотела остаться на склоне холма перед опушкой, но чувство опасности толкало меня вперед, вместо того чтобы образумить и остановить. Я не спал всю ночь и два дня находился в лихорадочном, раздраженном состоянии. Я чувствовал, как ко мне подкрадывается сон, а вместе с ним и морлоки.

Пока мы стояли в нерешительности, я увидел сзади на темном фоне кустов три притаившиеся твари. Нас окружали высокая трава и мелкий кустарник, так что они могли коварно подкрасться вплотную. Чтобы пересечь лес, надо было, по моим расчетам, пройти около мили. Мне казалось, что если бы нам удалось выйти на открытый склон, то мы нашли бы там безопасное место для отдыха. Спичками и камфорой я рассчитывал освещать дорогу. Но, чтобы зажигать спички, я, очевидно, должен был бросить сучья, набранные для костра. Волей-неволей мне пришлось это сделать. И тут у меня возникла мысль, что я могу позабавить наших друзей, если подожгу кучу хвороста. Впоследствии я понял, какое это было безумие, но тогда такой маневр показался мне отличным прикрытием нашего отступления.

Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какой редкостью бывает пламя в умеренном климате, где нет человека. Солнечный жар редко способен зажечь какое-нибудь дерево даже в том случае, если его лучи собирают, словно зажигательные стекла, капли росы, как это иногда случается в тропических странах. Молния разит и убивает, но редко служит причиной большого пожара. Гниющая растительность иногда тлеет от теплоты внутренних химических реакций, но редко загорается. А в этот период упадка на земле было позабыто самое искусство добывания огня. Красные языки, которые принялись лизать груду хвороста, были для Уины чем-то совершенно новым и поразительным.

Она хотела подбежать и поиграть с пламенем. Вероятно, она даже бросилась бы в огонь, не удержи я ее. Я схватил ее и, несмотря на сопротивление, смело увлек за собой в лес. Некоторое время костер освещал нам до-

рогу. Потом, оглянувшись назад, я увидел сквозь частые стволы деревьев, как занялись ближние кустарники и пламя, змеясь, поползло вверх на холм. Я засмеялся и снова повернулся к темным деревьям. Там царил полнейший мрак; Уина судорожно прижалась ко мне, но мои глаза быстро освоились с темнотой, и я достаточно хорошо видел, чтобы не натыкаться на стволы. Над головой было черным-черно, и только кое-где сиял клочок неба. Я не зажигал спичек, потому что руки мои были заняты. На левой руке сидела малышка Уина, а в правой я держал свой лом.

Некоторое время я не слышал ничего, кроме треска веток под ногами, легкого шелеста ветра, своего дыхания и стука крови в ушах. Затем я услышал позади топот, но упорно продолжал идти вперед. Топот становился все громче, и вместе с ним долетали странные звуки и голоса, которые я уже слышал в Подземном Мире. Очевидно, за нами гнались морлоки; они настигали нас. Действительно, в следующее же мгновение я почувствовал, как кто-то дернул меня за одежду, а потом за руку. Уина задрожала и притихла.

Необходимо было зажечь спичку. Но, чтобы достать ее, я должен был спустить Уину на землю. Я так и сделал, но пока я рылся в кармане, около моих ног в темноте началась возня. Уина молчала, и только морлоки что-то бормотали. Чьи-то маленькие мягкие руки скользнули по моей спине и даже прикоснулись к шее. Спичка чиркнула и зашипела. Я подождал, пока она не разгорелась, и тогда увидел белые спины убегавших в чащу морлоков. Поспешно вынув из кармана кусок камфоры, я приготовился его зажечь, как только начнет гаснуть спичка. Я взглянул на Уину. Она лежала ничком, обхватив мои колени, совершенно неподвижная. Со страхом я наклонился над ней. Казалось, она едва дышала. Я зажег кусок камфоры и бросил его на землю; расколовшись, он ярко запылал, отгоняя от нас морлоков и ночные тени. Я встал на колени и поднял Уину. В лесу, позади нас, слышался шум и бормотание огромной толпы.

По-видимому, Уина лишилась чувств. Я осторожно положил ее к себе на плечо, встал и собрался идти дальше, но вдруг ясно понял безвыходность нашего положе-

ния. Возясь со спичками и с Уиной, я несколько раз повернулся и теперь не имел ни малейшего понятия, куда мне идти. Может быть, я снова шел назад к Зеленому Дворцу. Меня прошиб холодный пот. Нельзя было терять времени; приходилось действовать. Я решил развести костер и остаться на месте. Положив все еще неподвижную Уину на мшистый пень, я принялся торопливо собирать сучья и листья, пока догорал кусок камфоры. Вокруг меня то тут, то там, подобно рубинам, светились в темноте глаза морлоков.

Камфора в последний раз вспыхнула и погасла. Я зажег спичку и увидел, как два белые существа, приближавшиеся к Уине, поспешно метнулись прочь. Одно из них было так ослеплено светом, что прямо натолкнулось на меня, и я почувствовал, как под ударом моего кулака хрустнули его кости. Морлок закричал от ужаса, сделал, шатаясь, несколько шагов и упал. Я зажег другой кусок камфоры и продолжал собирать хворост для костра. Скоро я заметил, что листья здесь совершенно сухие, так как со времени моего прибытия, то есть целую неделю, ни разу не было дождя. Я перестал разыскивать меж деревьями хворост и начал вместо этого прыгать и обламывать нижние ветви деревьев. Скоро разгорелся удушливо дымный костер из свежего дерева и сухих сучьев, и я сберег остаток камфоры. Я вернулся туда, где рядом с моим ломом лежала Уина. Я всеми силами старался привести ее в чувство, но она лежала как мертвая. Я не мог даже понять, дышала она или нет.

Тут мне пахнуло дымом прямо в лицо, и голова моя, и без того тяжелая от запаха камфоры, отяжелела еще больше. Костра должно было хватить примерно на час. Смертельно усталый, я присел на землю. Мне почудилось, что по лесу носился какой-то непонятный сонливый шепот. Мне казалось, что я вздремнул на миг, и тотчас же открыл глаза. Вокруг меня была темнота, и руки морлоков касались моего тела. Стряхнув с себя их цепкие пальцы, я торопливо принялся искать в кармане спички, но их там не оказалось. Морлоки снова схватили меня, окружив со всех сторон. В одну секунду я сообразил, что случилось. Я заснул, костер погас. Меня охватил смертельный ужас. Весь лес, казалось, был наполнен запахом гари. Меня схватили за шею, за воло-

сы, за руки и старались повалить. Ужасны были в темноте прикосновения этих мягкотелых созданий, облепивших меня. Мне казалось, что я попал в какую-то чудовищную паутину. Они пересилили меня, и я упал. Чьи-то острые зубы впились мне в шею. Я перевернулся, и в то же мгновение рука моя нащупала железный рычаг. Это придало мне силы. Стряхнув с себя всю кучу человекообразных крыс, я вскочил и, размахнувшись рычагом, принялся бить им наугад, стараясь попасть по их головам. Я слышал, как под моими ударами обмякали их тела, как хрустели кости. На минуту я освободился.

Мною овладело то странное возбуждение, которое, говорят, так часто приходит во время боя. Я знал, что мы оба с Уиной погибли, но решил дорого продать свою жизнь. Я стоял, опираясь спиной о дерево и размахивая перед собой железной палицей. Лес оглашали громкие крики морлоков. Прошла минута. Голоса их, казалось, уже не могли быть пронзительней, движения становились все быстрее и быстрее. Но ни один не подходил ко мне близко. Я все время стоял на месте, стараясь хоть что-нибудь разглядеть в темноте. В душу мою закралась надежда: может быть, морлоки испугались? И тут произошло нечто необычайное. Казалось, окружающий меня мрак стал проясняться. Я смутно начал различать фигуры морлоков, трое корчились у моих ног, а остальные непрерывным потоком бежали мимо меня в глубь леса. Спины их казались уж не белыми, а красноватыми. Застыв в недоумении, я увидел красную полосу, скользившую между деревьев, освещенных светом звезд. Я сразу понял, откуда взялся запах гари и однообразный шорох, перешедший теперь в страшный рев, и красное зарево, обратившее в бегство морлоков.

Отойдя от дерева и оглянувшись назад, я увидел между черными стволами пламя лесного пожара. Это меня догонял мой первый костер. Я искал Уину, но ее не было... Свист и шипенье позади, треск загоревшихся ветвей — все это не оставляло времени для размышлений. Схватив свой лом, я побежал за морлоками. Пламя следовало за мной по пятам. Пока я бежал, оно обогнало меня справа, так что я оказался отрезанным и бросился влево. Наконец я выбежал на небольшую поляну. Один

из морлоков, ослепленный, наткнулся на меня и промчался мимо прямо в огонь.

После этого мне пришлось наблюдать самое потрясающее зрелище из всех, какие я видел в Будущем. От зарева стало светло, как днем. Посреди огненного моря был холмик или курган, на вершине которого рос полузасохший боярышник. А дальше, в лесу, бушевали желтые языки пламени, и холм был со всех сторон окружен огненным забором. На склоне холма толпилось около тридцати или сорока морлоков; ослепленные, они метались и натыкались в замешательстве друг на друга. Я забыл об их слепоте и, как только они приближались, в безумном страхе принимался яростно наносить им удары. Я убил одного и искалечил многих. Но, увидев, как один из них ощупью пробирался в багровом свете среди боярышника, и услыхав стоны, я убедился в полной беспомощности и отчаянии морлоков и не трогал уже больше никого.

Иногда некоторые из них натыкались на меня и так дрожали, что я сразу давал им дорогу. Однажды, когда пламя немного угасло, я испугался, что эти гнусные существа скоро меня увидят. Я даже подумывал о том, не убить ли мне нескольких из них, прежде чем это случится; но пламя снова ярко вспыхнуло. Я бродил между морлоками по холму, избегая столкновений, и старался найти хоть какие-нибудь следы Уины. Но Уина исчезла.

Я присел наконец на вершине холма и стал смотреть на это необычайное сборище слепых существ, бродивших ощупью и перекликавшихся нечеловеческими голосами при вспышках пламени. Огромные клубы дыма плыли по небу, и сквозь красное зарево изредка проглядывали звезды, такие далекие, как будто они принадлежали какой-то иной вселенной. Два или три морлока сослепу наткнулись на меня, и я, задрожав, отогнал их ударами кулаков.

Почти всю ночь продолжался этот кошмар. Я кусал себе руки и кричал в страстном желании проснуться, колотил кулаками по земле, вставал, потом садился, бродил взад-вперед и снова садился на землю. Я тер глаза, умолял бога дать мне проснуться. Три раза я видел, как морлоки, опустив головы, обезумевшие, кидались пря-

мо в огонь. Наконец над утихшим пламенем пожара, над клубами дыма, над почерневшими стволами деревьев и над жалким остатком этих мерзких существ блеснули первые лучи рассвета.

Я снова принялся искать Уину, но не нашел ее. По-видимому, ее маленькое тельце осталось в лесу. Все же она избегла той ужасной участи, которая, казалось, была ей уготована. При этой мысли я чуть снова не принялся за избиение беспомощных отвратительных созданий, но сдержался. Холмик, как я сказал, был чем-то вроде острова в лесу. С его вершины сквозь пелену дыма я теперь мог разглядеть Зеленый Дворец и определить путь к Белому Сфинксу. Когда окончательно рассвело, я покинул кучку проклятых морлоков, все еще стонавших и бродивших ощупью по холму, обмотал ноги травой и по дымящемуся пеплу, меж черных стволов, среди которых еще трепетал огонь, поплелся туда, где была спрятана Машина Времени. Шел я медленно, так как почти выбился из сил, и, кроме того, хромал: я чувствовал себя глубоко несчастным, вспоминая об ужасной смерти бедной Уины. Это было тяжко. Теперь, когда я сижу здесь у себя, в привычной обстановке, потеря Уины кажется мне скорее тяжелым сном, чем настоящей утратой. Но в то утро я снова стал совершенно одинок, ужасно одинок. Я вспомнил о своем доме, о вас, друзья мои, и меня охватила мучительная тоска.

Идя по дымящемуся пеплу под ясным утренним небом, я сделал одно открытие. В кармане брюк уцелело несколько спичек. По-видимому, коробка разломалась, прежде чем ее у меня похитили.

XIII

ЛОВУШКА БЕЛОГО СФИНКСА

В восемь или девять часов утра я добрался до той самой скамьи из желтого металла, откуда в первый вечер осматривал окружавший меня мир. Я не мог удержаться и горько посмеялся над своей самоуверенностью, вспомнив, к каким необдуманным выводам пришел я в тот вечер. Теперь передо мной была та же дивная карти-



«МАШИНА ВРЕМЕНИ»



«МАШИНА ВРЕМЕНИ»

на, та же роскошная растительность, те же чудесные дворцы и великолепные руины, та же серебристая гладь реки, катившей свои воды меж плодородными берегами. Кое-где среди деревьев мелькали яркие одежды очаровательно-прекрасных маленьких людей. Некоторые из них купались на том самом месте, где я спас Уину, и у меня больно сжалось сердце. И над всем этим чудесным зрелищем, подобно черным пятнам, подымались купола, прикрывавшие колодцы, которые вели в подземный мир. Я понял теперь, что таилось под красотой жителей Верхнего Мира. Как радостно они проводили день! Так же радостно, как скот, пасущийся в поле. Подобно скоту, они не знали врагов и ни о чем не заботились. И таков же был их конец.

Мне стало горько при мысли, как кратковременно было торжество человеческого разума, который сам совершил самоубийство. Люди упорно стремились к благосостоянию и довольству, к тому общественному строю, лозунгом которого была обеспеченность и неизменность; и они достигли цели, к которой стремились, только чтобы прийти к такому концу... Когда-то Человечество дошло до того, что жизнь и собственность каждого оказались в полной безопасности. Богатый знал, что его благосостояние и комфорт неприкосновенны, а бедный довольствовался тем, что ему обеспечены жизнь и труд. Без сомнения, в таком мире не было ни безработицы, ни нерешенных социальных проблем. А за всем этим последовал великий покой.

Мы забываем о законе природы, гласящем, что гибкость ума является наградой за опасности, тревоги и превратности жизни. Существо, которое живет в совершенной гармонии с окружающими условиями, превращается в простую машину. Природа никогда не прибегает к разуму до тех пор, пока ей служат привычка и инстинкт. Там, где нет перемен и нет необходимости в переменах, разум погибает. Только те существа обладают им, которые сталкиваются со всевозможными нуждами и опасностями.

Таким путем, мне кажется, человек Верхнего Мира пришел к своей беспомощной красоте, а человек Подземного Мира — к чисто механическому труду. Но даже и для этого уравновешенного положения вещей, при всем

его механическом совершенстве, недоставало одного — полной неизменности. С течением времени запасы Подземного Мира истощились. И вот Мать-Нужда, сдерживаемая в продолжение нескольких тысячелетий, появилась снова и начала внизу свою работу. Жители Подземного Мира, имея дело со сложными машинами, что, кроме навыков, требовало все же некоторой работы мысли, невольно удержали в своей озверелой душе больше человеческой энергии, чем жители земной поверхности. И когда обычная пища пришла к концу, они обратились к тому, чего до сих пор не допускали старые привычки. Вот как все это представилось мне, когда я в последний раз смотрел на мир восемьсот две тысячи семьсот первого года. Мое объяснение, быть может, ошибочно, поскольку вообще человеку свойственно ошибаться. Но таково мое мнение, и я высказал его вам.

После трудов, волнений и страхов последних дней, несмотря на тоску по бедной Уине, эта скамья, мирный пейзаж и теплый солнечный свет все же казались мне прекрасными. Я смертельно устал, меня клонило ко сну, и, размышляя, я вскоре начал дремать. Поймав себя на этом, я не стал противиться и, растянувшись на дерне, погрузился в долгий освежающий сон.

Проснулся я незадолго до заката солнца. Теперь я уже не боялся, что морлоки захватят меня во сне. Расправив члены, я спустился с холма и направился к Белому Сфинксу. В одной руке я держал лом, другой перебирал спички у себя в кармане.

Но там меня ждала самая большая неожиданность. Приблизившись к Белому Сфинксу, я увидел, что бронзовые двери открыты и обе половинки задвинуты в специальные пазы.

Я остановился как вкопанный, не решаясь войти.

Внутри было небольшое помещение, и в углу на возвышении стояла Машина Времени. Рычаги от нее лежали у меня в кармане. Итак, здесь после всех приготовлений к осаде Белого Сфинкса меня ожидала покорная сдача. Я отбросил свой лом, почти недовольный тем, что не пришлось им воспользоваться.

Но в ту самую минуту, когда я уже наклонился, чтобы войти, у меня мелькнула внезапная мысль. Я сразу понял нехитрый замысел морлоков. С трудом удержива-

ясь от смеха, я перешагнул через бронзовый порог и направился к Машине Времени. К своему удивлению, я видел, что она была тщательно смазана и вычищена. Впоследствии мне пришло в голову, что морлоки даже разбирали машину на части, стараясь своим слабым разумом понять ее назначение.

И пока я стоял и смотрел на свою машину, испытывая удовольствие при одном прикосновении к ней, случилось то, чего я ожидал. Бронзовые панели скользнули вверх и с треском закрылись. Я попался. Так по крайней мере думали морлоки. Эта мысль вызвала у меня только веселый смех.

Они уже бежали ко мне со своим противным хихиканьем. Сохраняя хладнокровие, я чиркнул спичкой. Мне оставалось только укрепить рычаги и умчаться от них, подобно призраку. Но я упустил из виду одно маленькое обстоятельство. Это были отвратительные спички, которые зажигаются только о коробки.

Куда подевалось мое спокойствие! Маленькие, гадкие твари уже окружили меня. Кто-то прикоснулся ко мне. Отбиваясь рычагами, я полез в седло. Меня схватила чья-то рука, потом еще и еще. Мне пришлось с трудом вырывать рычаги из цепких пальцев и в то же время ощупывать гнезда, в которых они крепились. Один раз морлоки вырвали у меня рычаг. Когда он выскользнул из моих рук, мне пришлось, чтобы найти его на полу в темноте, отбиваться от них головой. Под моими ударами трещали черепа морлоков. Мне кажется, эта последняя схватка была еще упорнее, чем битва в лесу.

В конце концов я укрепил рычаги и повернул их. Цепкие руки соскользнули с моего тела. Темнота исчезла из моих глаз. Вокруг не было ничего, кроме туманного света и шума, о которых уже вам говорил.

XIV

НОВЫЕ ВИДЕНИЯ

Я уже рассказывал о болезненных и муторных ощущениях, которые вызывает путешествие по Времени. Но на этот раз я к тому же плохо сидел в седле, неловко све-

сившись набок. Не знаю, долго ли я провисел таким образом, не замечая, как моя Машина дрожит и раскачивается. Когда я пришел в себя и снова посмотрел на циферблаты, то был поражен. На одном из циферблатов отмечались дни, на другом тысячи, на третьем миллионы и на четвертом миллиарды дней. Оказалось, что вместо того, чтобы повернуть рычаги назад, я привел их в действие таким образом, что Машина помчалась вперед, и, взглянув на указатели, я увидел, что стрелка, отмечающая тысячи дней, вертелась с быстротой секундной стрелки часов — я уносился в Будущее.

По мере движения все вокруг начало принимать какой-то необыкновенный вид. Дрожащая серая пелена стала темнее; потом снова — хотя я все еще продолжал двигаться с невероятной скоростью — началась мерцающая смена ночи и дня, обычно указывавшая на не очень быстрое движение Машины. Это чередование становилось все медленнее и отчетливее. Сначала я очень удивился. День и ночь уже не так быстро сменяли друг друга. Солнце тоже постепенно замедляло свое движение по небу, пока наконец мне не стало казаться, что сутки тянутся целое столетие. В конце концов над землей повисли сумерки, которые лишь по временам прорывались ярким светом мчавшейся по темному небу кометы. Красная полоса над горизонтом исчезла; солнце больше не закатывалось — оно просто поднималось и опускалось на западе, становясь все более огромным и кровавым. Луна бесследно исчезла. Звезды, медленно описывавшие свои круговые орбиты, превратились из сплошных полосок света в отдельные, ползущие по небу точки. Наконец, незадолго до того, как я остановился, солнце, кровавое и огромное, неподвижно застыло над горизонтом; оно походило на огромный купол, горевший тусклым светом и по временам на мгновения совершенно потухавший. Один раз оно запылало прежним своим ярким огнем, но быстро вновь приобрело угрюмо-красный цвет. Из того, что солнце перестало всходить и закатываться, я заключил, что периодическое торможение наконец завершилось. Земля перестала вращаться, она была обращена к солнцу одной стороной, точно так же, как в наше время обращена к земле луна. Помня свое предыдущее стремительное падение, я с большой осторожностью при-

нялся замедлять движение Машины. Стрелки стали крутиться все медленней и медленней, пока наконец та, что указывала тысячи дней, не замерла неподвижно, а та, что указывала дни, перестала казаться сплошным кругом. Я еще замедлил движение, и передо мной стали смутно вырисовываться очертания пустынного берега.

Наконец я осторожно остановился и, не слезая с Машины Времени, огляделся. Небо утратило прежнюю голубизну. На северо-востоке оно было как чернила, и из глубины мрака ярким и неизменным светом сияли бледные звезды. Прямо над головой небо было темно-красное, беззвездное, а к юго-востоку оно светлело и становилось пурпурным; там, усеченное линией горизонта, кровавое и неподвижное, огромной горой застыло солнце. Скалы вокруг меня были темно-коричневые, и единственным признаком жизни, который я увидел сначала, была темно-зеленая растительность, покрывавшая все юго-западные выступы на скалах. Эта густая, пышная зелень походила на лесные мхи или лишайники, растущие в пещерах,— растения, которые живут в постоянной полутьме.

Моя Машина стояла на отлогом берегу. К юго-западу вплоть до резкой линии горизонта расстилалось море. Не было ни прибоя, ни волн, так как не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Только слабая ровная зыбь слегка вздымалась и опускалась, море как будто тихо дышало, сохраняя еще признаки своей вечной жизни. Вдоль берега, там, где вода отступила, виднелась кора соли, красноватая под лучами солнца. Голова у меня была словно налита свинцом, и я заметил, что дыхание мое участилось. Это напомнило мне мою единственную попытку восхождения в горы, и я понял, что воздух стал более разреженным, чем прежде.

Вдали, на туманном берегу, я услышал пронзительный писк и увидел нечто похожее на огромную белую бабочку. Она взлетела и, описав несколько неровных кругов, исчезла за невысокими холмами. Писк ее был таким зловещим, что я невольно вздрогнул и поплотнее уселся в седле. Оглядевшись снова, я вдруг увидел, как то, что я принимал за красноватую скалу, стало медленно приближаться ко мне. Это было чудовищное существо, похожее на краба. Представьте себе краба величиной с этот стол, со множеством медленно и нерешительно

шевелящихся ног, с огромными клешнями, с длинными, как хлысты, щупальцами и выпуклыми глазами, сверкающими по обе стороны отливающего металлом лба! Спина его была вся в отвратительных буграх и выступах, местами покрытая зеленоватым налетом. Я видел, как шевелились и дрожали многочисленные щупальца у его рта.

С ужасом глядя на это подползающее чудище, я вдруг почувствовал щекочущее прикосновение на щеке. Казалось, будто на нее села муха. Я попробовал согнать ее взмахом руки, но ощущение сразу же возобновилось и почти одновременно я почувствовал такое же прикосновение возле уха. Я отмахнулся и схватил рукой нечто похожее на нитку. Она быстро выдернулась. Дрожа от ужаса, я обернулся и увидел, что это было щупальце другого чудовищного краба, очутившегося как раз у меня за спиной. Его свирепые глаза вращались, рот был разинут в предвкушении добычи, огромные, неуклюжие клешни, покрытые слизью водорослей, нацелились прямо на меня! В одно мгновение я схватился за рычаг, и между мной и чудовищами сразу же легло расстояние целого месяца. Но я по-прежнему находился на том же берегу и, как только остановился, снова увидел тех же самых чудовищ. Они десятками ползали взад и вперед под мрачным небом, среди скользкой зелени мхов и лишайников.

Не могу передать вам, какое страшное запустение царило в мире. На востоке — багровое небо, на севере — темнота, мертвое соленое море, каменистый берег, по которому медленно ползали эти мерзкие чудовища. Однообразные, ядовито-зеленые лишайники, разреженный воздух, вызывающий боль в легких,— все это производило подавляющее впечатление! Я перенесся на столетие вперед и увидел все то же багровое солнце — только немного больше и тусклее,— тот же умирающий океан, тот же серый холодный воздух и то же множество ракообразных, ползающих среди красных скал и зеленых лишайников. А на западе, низко над горизонтом, я увидел бледный серп, похожий на огромную нарождающуюся луну.

Так продолжал я передвигаться по времени огромными скачками, каждый в тысячу лет и больше, увлеченный тайной судеб Земли и в состоянии какого-то гипноза наблюдая, как солнце на западе становится все огром-

ней и тусклей, как угасает жизнь. Наконец больше чем через тридцать миллионов лет огромный красный купол солнца заслонил собой десятую часть потемневшего неба. Я остановился, так как многочисленные крабы уже исчезли, а красноватый берег казался безжизненным и был покрыт лишь мертвенно-бледными мхами и лишайниками. Местами виднелись пятна снега. Ужасный холод окружал меня. Редкие белые хлопья медленно падали на землю. На северо-востоке под звездами, усеивавшими траурное небо, блестел снег и высились волнистые вершины красновато-белых гор. Прибрежная полоса моря была скована льдом, и огромные ледяные глыбы уносились на простор; однако большая часть соленого океана, кровавая от лучей негаснущего заката, еще не замерзла.

Я огляделся в поисках каких-нибудь животных. Смутное опасение все еще удерживало меня в седле Машины. Но ни в небе, ни на море, ни на земле не было признаков жизни. Лишь зеленые водоросли на скалах свидетельствовали, что жизнь еще не совсем угасла. Море далеко отступило от прежних берегов, обнажив песчаное дно. Мне показалось, что на отмели что-то движется, но когда я вгляделся пристальнее, то не увидел никакого движения; я решил, что зрение обмануло меня и это был просто черный камень. На небе горели необычайно яркие звезды, и мне казалось, что они почти перестали мерцать.

Вдруг я увидел, что диск солнца на западе стал менять свои очертания. На его краю появилась какая-то трещина или впадина. Она все более увеличивалась. С минуту я в ужасе смотрел, как на солнце наползала темнота, а потом понял, что это начинается затмение. Должно быть, луна или Меркурий проходили перед его диском. Разумеется, прежде всего я подумал о луне, но дальнейшие соображения привели меня к выводу, что в действительности очень близко к земле прошла перед солнцем одна из крупных планет нашей системы.

Темнота быстро надвигалась. Холодными порывами задул восточный ветер, и в воздухе гуще закружились снежные хлопья. С моря до меня донеслись всплески волн. Но, кроме этих мертвенных звуков, в мире царила тишина. Тишина? Нет, невозможно описать это жуткое без-

молвие. Все звуки жизни, блеяние овец, голоса птиц, жужжание насекомых, все то движение и суета, которые нас окружают,— все это отошло в прошлое. По мере того как мрак сгущался, снег падал все чаще, белые хлопья плясали у меня перед глазами, мороз усиливался. Одна за другой погружались в темноту белые вершины далеких гор. Ветер перешел в настоящий ураган. Черная тень ползла на меня. Через мгновение на небе остались одни только бледные звезды. Кругом была непроглядная тьма. Небо стало совершенно черным.

Ужас перед этой безбрежной тьмой охватил все мое существо. Холод, пронизывавший до мозга костей, и боль при дыхании стали невыносимы. Я дрожал и чувствовал сильную тошноту. Потом, подобно раскаленной дуге, на небе снова появилось солнце. Я слез с Машины, чтобы немного прийти в себя. Голова у меня кружилась, и не было сил даже подумать об обратном путешествии. Измученный и растерянный, я вдруг снова увидел на отмели, на фоне красноватой морской воды, какое-то движение. Теперь сомневаться уже не приходилось. Это было нечто круглое, величиною с футбольный мяч, а может быть, и больше, и с него свисали длинные щупальца; мяч этот казался черным на колыхавшейся кроваво-красной воде, и передвигался он резкими скачками. Я почувствовал, что начинаю терять сознание. Но ужас при мысли, что я могу беспомощно упасть на землю в этой далекой и страшной полутьме, заставил меня снова взобраться на седло.

XV

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКА ПО ВРЕМЕНИ

И я отправился назад. Долгое время я лежал без чувств на своей Машине. Снова началась мерцающая смена дней и ночей, снова солнце заблистало золотом, а небо — прежней голубизной. Дышать стало легче. Внизу подо мной быстро изменялись контуры земли. Стрелки на циферблатах вертелись в обратную сторону. Наконец я снова увидел неясные очертания зданий периода

упадка человечества. Они изменялись, исчезали, и появлялись другие. Когда стрелка, показывавшая миллионы дней, остановилась на нуле, я уменьшил скорость. Я стал узнавать знакомую архитектуру наших домов. Стрелка, отмечавшая тысячи дней, возвращалась ко времени отправления, ночь и день сменяли друг друга все медленней. Стены лаборатории снова появились вокруг меня. Осторожно замедлил я движение Машины.

Мне пришлось наблюдать странное явление. Я уже говорил вам, что, когда я отправился в путь и еще не развил большой скорости, через комнату промчалась миссис Уотчет, двигаясь, как мне показалось, с быстротой ракеты. Когда же я возвратился, то снова миновал ту минуту, в которую она проходила по лаборатории. Но теперь каждое ее движение казалось мне обратным. Сначала открылась вторая дверь в дальнем конце комнаты, потом, пятясь, появилась миссис Уотчет и исчезла за той дверью, в которую прежде вошла. Незадолго перед этим мне показалось, что я вижу Хилльера, но он мелькнул мгновенно, как вспышка.

Я остановил Машину и снова увидел свою любимую лабораторию, свои инструменты и приборы в том же виде, в каком я их оставил. Совершенно разбитый, я сошел с Машины и сел на скамью. Сильная дрожь пробежала по моему телу. Но понемногу я начал приходить в себя. Лаборатория была такой же, как всегда. Мне казалось, что я заснул и все это мне приснилось.

Но нет! Не все было по-прежнему. Машина Времени отправилась в путешествие из юго-восточного угла лаборатории, а вернулась она в северо-западный и остановилась напротив той стены, у которой вы ее видели. Точно такое же расстояние было от лужайки до пьедестала Белого Сфинкса, в котором морлоки спрятали мою Машину.

Не знаю, долго ли я был не в состоянии ни о чем думать. Наконец я встал и прошел сюда через коридор, хромая, потому что пятка моя еще болела. Я был весь перепачкан грязью. На столе у двери я увидел номер «Пелл Мелл газетт». Она была сегодняшняя. Взглянув на часы, я увидел, что было около восьми. До меня донеслись ваши голоса и звон тарелок. Я не сразу решился войти: так я был слаб и утомлен! Но я по-

чувствовал приятный запах еды и открыл дверь. Остальное вы знаете. Я умылся, пообедал и вот теперь рассказываю вам свою историю.

XVI

КОГДА ИСТОРИЯ БЫЛА РАССКАЗАНА

— Я знаю,— сказал он, помолчав,— все это кажется вам совершенно невероятным; для меня же самое невероятное состоит в том, что я сижу здесь, в этой милой, знакомой комнате, вижу ваши дружеские лица и рассказываю вам свои приключения.

Он взглянул на Доктора.

— Нет, я даже не надеюсь, что вы поверите мне. Примите мой рассказ за ложь или... за пророчество. Считайте, что я видел это во сне, у себя в лаборатории. Представьте себе, что я раздумывал о грядущих судьбах человечества и придумал эту сказку. Отнеситесь к моим уверениям в ее достоверности как к простой уловке, к желанию придать ей побольше интереса. Но, относясь ко всему этому, как к выдумке, что вы скажете?

Он вынул изо рта трубку и начал по старой привычке нервно постукивать ею о прутья каминной решетки. Наступило минутное молчание. Потом послышался скрип стульев и шарканье ног по полу. Я отвел глаза от лица Путешественника по Времени и взглянул на его слушателей. Все они сидели в тени, и блики от огня в камине скользили по их лицам. Доктор пристально вглядывался в лицо рассказчика. Редактор, закурив шестую сигару, уставился на ее кончик. Журналист вертел в руках часы. Остальные, насколько помню, сидели неподвижно.

Глубоко вздохнув, Редактор встал.

— Какая жалость, что вы не пишете статей,— сказал он, кладя руку на плечо Путешественника по Времени.

— Вы не верите?

— Ну, знаете...

— Я так и думал.

Путешественник по Времени повернулся к нам.

— Где спички? — спросил он.

Он зажег спичку и, дымя трубкой, сказал:

— Признаться... я и сам верю с трудом, но все же...

Его глаза с немым вопросом устремились на белые увядшие цветы, лежавшие на столе. Потом он повернул руку, в которой была трубка, и посмотрел на едва затянувшиеся шрамы на своих пальцах.

Доктор встал, подошел к лампе и принялся рассматривать цветы.

— Какие странные у них пестики,— сказал он.

Психолог наклонился вперед и протянул руку за одним из цветков.

— Ручаюсь головой, что уже четверть первого,— сказал Журналист.— Как же мы доберемся до дому?

— У станции много извозчиков,— сказал Психолог.

— Странная вещь,— произнес Доктор.— Я не могу определить вид этих цветов. Не позволите ли мне взять их с собою?

На лице Путешественника по Времени мелькнула нерешительность.

— Конечно, нет,— сказал он.

— Серьезно, откуда вы их взяли? — спросил Доктор.

Путешественник по Времени приложил руку ко лбу. Он имел вид человека, который старается собрать разбегающиеся мысли.

— Их положила мне в карман Уина, когда я путешествовал по Времени.

Он оглядел комнату.

— Все плывет у меня в глазах. Эта комната, вы и вся знакомая обстановка не вмещаются в моей голове. Строил ли я когда-нибудь Машину Времени или ее модель? Может быть, все это был сон? Говорят, вся жизнь — это сон и к тому же скверный, жалкий, короткий сон, хотя ведь другой все равно не приснится. С ума можно сойти. И откуда взялся этот сон?.. Я должен взглянуть на мою Машину. Существует ли она?..

Он схватил лампу и пошел по коридору. Пламя колебалось и по временам вспыхивало красным огнем. Мы последовали за ним. Освещенная трепетавшим пламенем лампы, низкая, изуродованная, погнутая, перед нами, несомненно, была та же самая Машина, сделанная из бронзы, черного дерева, слоновой кости и прозрачного

блестящего кварца. Я потрогал ее. Она была тут, ощутимая и реальная. Темные полосы и пятна покрывали слоновую кость, а на нижних частях висели клочья травы и мха, одна из металлических полос была изогнута.

Поставив лампу на скамью, Путешественник по Времени ощупал поврежденную полосу.

— Теперь ясно,— сказал он.— То, что я вам рассказал, правда. Простите, что я привел вас в этот холод...

Он взял лампу. Никто из нас не произнес ни слова, и мы вернулись обратно в курительную.

Провожая нас в переднюю, он помог Редактору надеть пальто. Доктор посмотрел ему в лицо и сказал несколько неуверенно, что он переутомлен. Путешественник по Времени громко рассмеялся. Помню, как он, стоя в дверях, крикнул нам вслед несколько раз: «Спокойной ночи!»

Я поехал в одном кебе с Редактором. По его словам, весь рассказ был «эффектным вымыслом». Что касается меня, я не мог ничего решить. Этот рассказ был таким невероятным и фантастическим, а тон рассказчика так искренен и правдив. Почти всю ночь я не спал и думал об этом. На другое утро я решил снова повидать Путешественника по Времени. Мне сказали, что он в лаборатории. Я запросто бывал у него в доме и поэтому пошел прямо туда. Но лаборатория была пуста. На минуту я остановился перед Машиной Времени, протянул руку и дотронулся до рычага. В то же мгновение она, такая тяжелая и устойчивая, заколыхалась, как листок от порыва ветра. Это поразило меня, и в голове моей мелькнуло забавное воспоминание о том, как в детстве мне запрещали трогать разные вещи. Я вернулся обратно. Пройдя по коридору, я столкнулся в курительной с Путешественником по Времени, который собирался уходить. В одной руке у него был небольшой фотографический аппарат, в другой — сумка. При виде меня он рассмеялся и протянул мне для пожатия локоть.

— Я очень занят, хочу побывать там,— сказал он.

— Значит, это правда? — спросил я.— Вы действительно путешествуете по Времени?

— Да, действительно и несомненно.

Он посмотрел мне в глаза. На его лице отразилась нерешительность.

— Мне нужно только полчаса,— сказал он.— Я знаю, зачем вы пришли, это очень мило с вашей стороны. Вот здесь журналы. Если вы подождете до завтрака, я, безусловно, докажу вам возможность путешествия по Времени, доставлю вам образцы и все прочее... Вы позволите оставить вас?

Я согласился, едва ли понимая все значение его слов. Он кивнул мне и вышел в коридор. Я услышал, как хлопнула дверь его лаборатории, потом сел и стал читать газету. Что он собирается делать до завтрака? Взглянув на одно из объявлений, я вдруг вспомнил, что в два часа обещал встретиться с Ричардсоном по издательским делам. Я посмотрел на часы и увидел, что опаздываю. Я встал и пошел по коридору, чтобы сказать об этом Путешественнику по Времени.

Взявшись за ручку двери, я услышал отрывистое восклицание, треск и удар. Открыв дверь, я очутился в сильном водовороте воздуха и услышал звук разбитого стекла. Путешественника по Времени в лаборатории не было. Мне показалось, что на миг передо мной промелькнула неясная, похожая на призрак фигура человека, сидевшего верхом на кружившейся массе из черного дерева и бронзы, настолько призрачная, что скамья позади нее, на которой лежали чертежи, была видна совершенно отчетливо. Но едва я успел протереть глаза, как это видение исчезло. Исчезла и Машина Времени. Дальний угол лаборатории был пуст, и там виднелось легкое облако оседавшей пыли. Одно из верхних стекол окна было, очевидно, только что разбито.

Я стоял в изумлении. Я видел, что случилось нечто необычное, но не мог сразу понять, что именно. Пока я так стоял, дверь, ведущая в сад, открылась, и на пороге показался слуга.

Мы посмотрели друг на друга. В голове у меня блеснула внезапная мысль.

— Скажите, мистер... вышел из этой двери? — спросил я.

— Нет, сэр, никто не выходил. Я думал, он здесь.

Теперь я все понял. Рискуя рассердить Ричардсона, я остался ждать возвращения Путешественника по Времени, ждать его нового, быть может, еще более странного рассказа и тех образцов и фотографий, ко-

торые он мне обещал. Теперь я начинаю опасаться, что никогда его не дождусь. Прошло уже три года со времени его исчезновения, и все знают, что он не вернулся.

ЭПИЛОГ

Нам остается теперь лишь строить догадки. Вернется ли он когда-нибудь? Может быть, он унесся в прошлое и попал к кровожадным дикарям палеолита, или в пучину мелового моря, или же к чудовищным ящерам и огромным земноводным юрской эпохи? Может быть, и сейчас он бродит в одиночестве по какому-нибудь кишащему плезиозаврами оолитовому рифу или по пустынным берегам соленых морей триасового периода? Или, может быть, он отправился в Будущее, в эпоху расцвета человеческой расы, в один из тех менее отдаленных веков, когда люди оставались еще людьми, но уже разрешили все сложнейшие вопросы и все общественные проблемы, доставшиеся им в наследство от нашего времени? Я лично не могу поверить, чтобы наш век только что начавшихся исследований, бессвязных теорий и всеобщего разногласия по основным вопросам науки и жизни был кульминационным пунктом развития человечества! Так по крайней мере думаю я. Что же касается до него, то он держался другого мнения. Мы не раз спорили с ним об этом задолго до того, как была сделана Машина Времени, и он всегда мрачно относился к Прогрессу Человечества. Развивающаяся цивилизация представлялась ему в виде беспорядочного нагромождения материала, который в конце концов должен обрушиться и задавить строителей. Но если это и так, все же нам ничего не остается, как продолжать жить. Для меня будущее неведомо, полно загадок и только кое-где освещено его удивительным рассказом. И я храню в утешение два странные белые цветка, засохшие и блеклые, с хрупкими лепестками, как свидетельство того, что даже в то время, когда исчезают сила и ум человека, благодарность и нежность продолжают жить в сердцах.

1895.

Остров доктора Моро

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 февраля 1887 года «Леди Вейн» погибла, наскочив на мель около 1° южной широты и 107° западной долготы.

5 января 1888 года, то есть одиннадцать месяцев и четыре дня спустя, мой дядя Эдвард Прендик, который сел на «Леди Вейн» в Кальяо и считался погибшим, был подобран в районе 3° северной широты и 101° западной долготы в небольшой парусной шлюпке, название которой невозможно было прочесть, но по всем признакам это была шлюпка с пропавшей без вести шхуны «Ипекакуана». Дядя рассказывал о себе такие невероятные вещи, что его сочли сумасшедшим. Впоследствии он сам признал, что не помнит ничего с того самого момента, как покинул борт «Леди Вейн». Психологи заинтересовались дядей, считая, что это любопытный случай потери памяти вследствие крайнего физического и нервного переутомления. Однако я, нижеподписавшийся его племянник и наследник, нашел среди его бумаг записки, которые решил опубликовать, хотя никакой письменной просьбы об этом среди них не было.

Единственный известный остров в той части океана, где нашли моего дядю, это маленький необитаемый островок Ноубл вулканического происхождения. В 1891 году этот островок посетило английское военное судно «Скорпион». На берег был высажен отряд, который, однако, не обнаружил там ничего, кроме нескольких необыкновенных белых мотыльков, а также свиней, кроликов и крыс странной породы. Ни одно из животных не было взято на борт, так что главное в записках дяди

осталось без подтверждения. Ввиду всего сказанного можно надеяться, что издание этих удивительных записок никому не принесет вреда и, как мне кажется, соответствует желанию моего дяди. Во всяком случае, остается фактом, что дядя исчез где-то в районе 5° северной широты и 106° западной долготы и нашелся в этой же части океана через одиннадцать месяцев. Должен же он был где-то жить все это время. Известно также, что шхуна «Ипекакуана» с пьянчугой капитаном Джоном Дэвисом вышла из Арики, имея на борту пуму и других животных, в январе 1887 года ее видели в нескольких портах на юге Тихого океана, после чего она бесследно исчезла с большим грузом кокосовых орехов, выйдя в неизвестном направлении из Бэньи в декабре 1887 года, что совершенно совпадает с утверждением моего дяди.

Чарлз Эдвард Прендик

I

В ЯЛИКЕ С «ЛЕДИ ВЕЙН»

Я не собираюсь ничего прибавлять к тому, что уже сообщалось в газетах о гибели «Леди Вейн». Всем известно, что через десять дней после выхода из Кальяо она наткнулась на отмель. Семь человек экипажа спаслись на баркасе и были подобраны восемнадцать дней спустя английской канонеркой «Миртл». История их злоключений стала так же широко известна, как и потрясающий случай с «Медузой». На мою долю остается только добавить к уже известной истории гибели «Леди Вейн» другую, не менее ужасную и, несомненно, гораздо более удивительную. До сих пор считалось, что четверо людей, пытавшихся спастись на ялике, погибли, но это не так. У меня есть неопровержимое доказательство: я один из этих четверых.

Прежде всего я должен заметить, что в ялике было не четверо, а только трое — Констанс, про которого писали, что «его видел капитан, когда он прыгал за борт» («Дейли ньюс» от 17 марта 1887 года), к счастью для нас и к несчастью для себя, не добрался до ялика. Выбираясь из путаницы снастей у сломанного бугшприта и готовясь кинуться в воду, он зацепился каблуком за какую-то снасть. На минуту он повис вниз головой, а потом, падая в воду, ударился о плававшее в волнах бревно. Мы стали грести к нему, но он уже больше не показывался на поверхности.

Пожалуй, все же он не доплыл до нас не только к нашему счастью, но и к счастью для себя. У нас был

только маленький бочонок с водой и несколько отсыревших сухарей (так неожиданно произошла катастрофа и так плохо подготовлен был корабль). Решив, что на баркасе припасов больше (хотя, как видно, это было не так), мы стали кричать, но наши голоса не долетали до баркаса, а на следующее утро, когда рассеялся туман, мы его уже не увидели. Встать и осмотреться не было возможности из-за качки. По морю гуляли огромные валы, нечеловеческих усилий стоило держаться против волнения. Со мной спаслись еще двое: Хельмар, такой же пассажир, как и я, и матрос, имени которого я не знаю, коренастый, заикающийся человек невысокого роста.

Восемь дней носило нас по морю. Мы умирали от голода и нестерпимой жажды, после того как выпили всю воду. Через два дня море утихло и стало гладким, как стекло. Едва ли читатель сумеет представить себе, какие это были восемь дней! Счастлив он, если память не рисует ему подобных картин. На второй день мы почти не говорили друг с другом и неподвижно лежали в шлюпке, уставившись вдаль или глядя блуждающими глазами, как ужас и слабость овладевают всеми. Солнце пекло безжалостно. Вода кончилась на четвертый день. Нам мерещились страшные видения, и их можно было прочесть в наших глазах. Если не ошибаюсь, на шестой день Хельмар заговорил наконец о том, что было у каждого из нас на уме. Помню, мы были так слабы, что наклонялись друг к другу и едва слышно шептали. Я всеми силами противился этому, предпочитая прорубить дно шлюпки и погибнуть всем вместе, отдавшись на съедение следовавшим за нами акулам. Но я оказался в одиночестве: когда Хельмар сказал, что, если мы примем его предложение, у нас будет что пить, матрос присоединился к нему.

Все же я не хотел бросать жребий. Ночью Хельмар все шептался с матросом, а я сидел на носу, зажав в руке нож, хотя и чувствовал, что слишком слаб для борьбы с ними. Утром я согласился с предложением Хельмара, и мы бросили полупенсовик, чтобы жребий решил нашу судьбу.

Жребий пал на матроса, но он был самый сильный из нас и, не желая умирать, кинулся на Хельмара. Они сцепились, и оба привстали. Я пополз к ним по дну шлюп-

ки, чтобы схватить матроса за ногу и помочь Хельмару, но в эту минуту шлюпку качнуло, матрос оступился, и оба упали за борт. Они пошли ко дну, как камни. Помню, я засмеялся, сам удивляясь этому.

Не знаю, сколько времени я пролежал, думая только о том, что если б я был в силах встать, то напился бы соленой воды, чтобы сойти с ума и поскорее умереть. Потом я увидел, что на горизонте показался корабль, но продолжал лежать с таким равнодушием, словно это был мираж. Я, по-видимому, был невменяем, но теперь помню все совершенно отчетливо. Помню, как голова моя качалась в такт волнам и судно на горизонте танцевало перед моими глазами. Помню, я был убежден в том, что уже умер, и думал, какая горькая насмешка, что корабль подойдет слишком поздно и подберет лишь мой труп.

Мне казалось, что я лежал так бесконечно долго, опустив голову на банку и глядя на судно, плясавшее на волнах. Это была небольшая шхуна. Она лавировала, описывая зигзаги, так как шла против ветра. Мне даже не приходило в голову попытаться привлечь ее внимание, и я не помню почти ничего после того, как увидел борт подошедшего судна и очутился в маленькой каютке. У меня осталось лишь смутное воспоминание, что меня поднимали по трапу и кто-то большой, рыжий, веснушчатый, смотрел на меня, наклонившись над бортом. Помню еще какое-то смуглое лицо со странными глазами, смотревшими на меня в упор, но я думал, что это кошмар, пока снова не увидел их позже. Помню, наконец, как мне вливали сквозь зубы какую-то жидкость. Вот и все, что осталось у меня в памяти.

II

ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА

Каюта, в которой я очнулся, была маленькая и довольно грязная. Белокурый моложавый человек со щетинистыми, соломенного цвета усами и отвисшей нижней губой сидел рядом и держал меня за руку. С минуту мы молча смотрели друг на друга. У него бы-

ли водянистые серые глаза, удивительно бесстрастные.

Сверху донесся шум, словно двигали тяжелую железную кровать, и глухое сердитое рычание какого-то большого зверя. Сидевший рядом со мной человек заговорил.

Он, видимо, уже задавал мне этот вопрос:

— Как вы себя чувствуете?

Насколько помню, я ответил, что чувствую себя хорошо. Но каким образом я сюда попал? По-видимому, он прочел этот немой вопрос у меня на лице, так как я сам не слышал звука своего голоса.

— Вас подобрали полумертвым в шлюпке с судна «Леди Вейн», борт ее был обрызган кровью.

В этот миг взгляд мой нечаянно упал на мою руку: она была такая худая, что походила на кожаный мешочек с костями. И тут все, что случилось в лодке, тотчас воскресло у меня в памяти.

— Выпейте,— сказал незнакомец, подавая мне какое-то красное холодное питье, вкусом похожее на кровь. Я сразу почувствовал себя бодрее.

— Вам посчастливилось попасть на судно, где есть врач,— сказал он.

Говорил он невнятно и как будто пришепетывал.

— Что это за судно? — медленно спросил я, и голос мой был хриплым от долгого молчания.

— Маленький торговый корабль, идущий из Арики в Кальяо. Откуда он, собственно, я не знаю. Думаю, из страны прирожденных идиотов. Сам я сел пассажиром в Арике. Осел, хозяин судна, он же и капитан, по фамилии Дэвис, потерял свое свидетельство или что-то в этом роде. Из всех дурацких имен он не мог выбрать для судна лучшего, чем «Ипекакуана», но, когда на море нет большого волнения, идет оно недурно.

Сверху снова послышалось рычание и человеческий голос.

— Чертов дурак! — произнес наверху другой голос, и все смолкло.

— Вы были совсем при смерти,— сказал незнакомец.— Да, к этому шло дело, но я впрыснул вам кое-чего. Руки болят? Это от уколов. Вы были без сознания почти тридцать часов.

Я задумался. Мои мысли были прерваны лаем множества собак, раздавшимся сверху.

— Нельзя ли мне чего-нибудь поесть?—спросил я.

— Благодарите меня,— ответил он,— сейчас по моему приказанию для вас варится баранина.

— Это хорошо,—сказал я, ободрившись.—С удовольствием съем кусочек.

— Но вот что,— после минутной нерешительности сказал мой собеседник,— мне очень хотелось бы узнать, каким образом вы очутились один в лодке.— Мне показалось, что в его глазах мелькнуло какое-то подозрительное выражение.— А, черт, какой адский вой!

Он быстро выскочил из каюты, и я услышал, как он сердито заговорил с кем-то и ему ответили на непонятном языке. Мне показалось, что дело дошло до драки, но я не был уверен, что слух не обманул меня. Он прикрикнул на собак и снова вернулся в каюту.

— Ну,— сказал он, стоя на пороге.— Вы хотели рассказать мне, что с вами случилось.

Я назвал себя и стал рассказывать, что я, Эдвард Прендик, человек материально независимый и жизнь мою скрашивает увлечение естественными науками. Он явно заинтересовался.

— Я сам когда-то занимался науками в университете, изучал биологию и написал работы об яичнике земляных червей, о мускуле улиток и прочем. Боже, это было целых десять лет тому назад! Но продолжайте, расскажите, как вы попали в лодку.

Ему, по-видимому, понравилась искренность моего рассказа, очень короткого, так как я был ужасно слаб, и, когда я кончил, он снова вернулся к разговору о естественных науках и о своих работах по биологии. Он принялся подробно расспрашивать меня о Тоттенхем Кортроуд и Гауэр-стрит.

— Что, Каплатци по-прежнему процветает? Ах! Какое это было заведение!

По-видимому, он был самым заурядным студентом-медиком и теперь беспрестанно сбивался на тему о мюзик-холлах. Он рассказал мне кое-что из своей жизни.

— И все это было десять лет тому назад,— повторил он.— Чудесное время! Но тогда я был молод и глуп... Я выдохся уже к двадцати годам. Зато теперь дело дру-

гое... Но я должен присмотреть за этим ослом-коком и узнать, что делается с вашей бараниной.

Рычание наверху неожиданно возобновилось с такой силой, что я невольно вздрогнул.

— Что это такое? — спросил я, но дверь каюты уже захлопнулась за ним.

Он скоро вернулся, неся баранину, и я был так возбужден ее аппетитным запахом, что мгновенно забыл все свои недоумения.

Целые сутки я только спал и ел, после чего почувствовал себя настолько окрепшим, что был в силах встать с койки и подойти к иллюминатору. Я увидел, что зеленые морские валы уже не воевали больше с нами. Шхуна, видимо, шла по ветру. Пока я стоял, глядя на воду, Монтгомери — так звали этого блондина — вошел в каюту, и я попросил его принести мне одежду. Он дал кое-что из своих вещей, сшитых из грубого холста, так как та одежда, в которой меня нашли, была, по его словам, выброшена. Он был выше меня и шире в плечах, одежда его висела на мне мешком.

Между прочим, он рассказал мне, что капитан совсем пьян и не выходит из своей каюты. Одеваясь, я стал расспрашивать его, куда идет судно. Он сказал, что оно идет на Гаваи, но по дороге должно ссадить его.

— Где? — спросил я.

— На острове... Там, где я живу. Насколько мне известно, у этого острова нет названия.

Он посмотрел на меня, еще более оттопырив нижнюю губу, и сделал вдруг такое глупое лицо, что я догадался о его желании избежать моих расспросов и из деликатности не расспрашивал его более ни о чем.

III

СТРАННОЕ ЛИЦО

Выйдя из каюты, мы увидели человека, который стоял около трапа, преграждая нам дорогу на палубу. Он стоял к нам спиной и заглядывал в люк. Это был нескладный, коренастый человек, широкоплечий, неуклюжий, с сутуловатой спиной и головой, глубоко ушедшей в плечи. На нем был костюм из темно-синей саржи, его

черные волосы показались мне необычайно жесткими и густыми. Наверху яростно рычали невидимые собаки. Он вдруг попятился назад с какой-то звериной быстротой, и я едва успел отстранить его от себя.

Черное лицо, мелькнувшее передо мной, глубоко меня поразило. Оно было удивительно безобразно. Нижняя часть его выдавалась вперед, смутно напоминая звериную морду, а в огромном приоткрытом рту виднелись такие большие белые зубы, каких я еще не видел ни у одного человеческого существа. Глаза были залиты кровью, оставалась только тоненькая белая полоска около самых зрачков. Странное возбуждение было на его лице.

— Убирайся,— сказал Монтгомери.— Прочь с дороги!

Черномазый человек тотчас же отскочил в сторону, не говоря ни слова. Поднимаясь по трапу, я невольно все время смотрел на него. Монтгомери задержался внизу.

— Нечего тебе торчать здесь, сам отлично знаешь!— сказал он.— Твое место на носу.

Черномазый человек весь съежился.

— Они... не хотят, чтобы я был на носу,— проговорил он медленно, со странной хрипотой в голосе.

— Не хотят, чтобы ты был на носу? — повторил Монтгомери с угрозой в голосе.— Я приказываю тебе — ступай.

Он хотел сказать еще что-то, но, взглянув на меня, промолчал и стал подниматься по трапу. Я остановился на полдороге, оглядываясь назад, все еще удивленный страшным безобразием черномазого. В жизни еще не видел такого необыкновенно отталкивающего лица, и (можно ли понять такой парадокс?) вместе с тем я испытывал ощущение, словно уже видел когда-то эти черты и движения, так поразившие меня теперь. Позже мне пришло в голову, что, вероятно, я видел его, когда меня поднимали на судно, однако эта мысль не рассеивала моего подозрения, что мы встречались с ним раньше. Но как можно было, увидя хоть раз такое необычайное лицо, позабыть все подробности встречи? Этого я не мог понять!

Шаги Монтгомери, следовавшего за мной, отвлекли меня от этих мыслей. Я повернулся и стал оглядывать находившуюся вровень со мной верхнюю палубу малень-

кой шхуны. Я был уже отчасти подготовлен услышанным шумом к тому, что теперь предстало перед моими глазами. Безусловно, я никогда не видел такой грязной палубы. Она была вся покрыта обрезками моркови, какими-то лохмотьями зелени и неописуемой грязью. У грот-мачты на цепях сидела целая свора злых гончих собак, которые принялись кидаться и лаять на меня. У бизань-мачты огромная пума была втиснута в такую маленькую клетку, что не могла в ней повернуться. У правого борта стояло несколько больших клеток с кроликами, а перед ними в решетчатом ящике была одинокая лама. На собаках были ременные намордники. Единственным человеческим существом на палубе был худой молчаливый моряк, стоявший у руля.

Заплатанные, грязные паруса были надуты, маленькое судно, как видно, шло полным ветром. Небо было ясное, солнце склонялось к закату. Большие пенистые волны догоняли судно. Мы прошли мимо рулевого и, остановившись на корме, стали смотреть на остававшуюся позади пенную полосу. Я обернулся и окинул взглядом всю неприглядную палубу.

— Это что, океанский зверинец? — спросил я Монтгомери.

— Нечто вроде,— ответил он.

— Для чего здесь эти животные? Для продажи или какие-нибудь редкие экземпляры? Может быть, капитан хочет продать их где-нибудь в южных портах?

— Все возможно,— снова уклончиво ответил Монтгомери и отвернулся к корме.

В это время раздался крик и целый поток ругательств, доносившихся из люка, и вслед за этим на палубу проворно взобрался черномазый урод, а за ним — коренастый рыжеволосый человек в белой фуражке. При виде его собаки, уже уставшие лаять на меня, снова пришли в ярость, рыча и стараясь оборвать цепи. Черномазый остановился в нерешительности, а подоспевший рыжеволосый изо всех сил ударил его между лопатками. Бедняга рухнул, как бык на бойне, и покатился по грязи под яростный лай собак. К счастью для него, на них были намордники. Крик торжества вырвался у рыжеволосого, и он стоял, пошатываясь, рискуя упасть назад в люк или же вперед на свою жертву.

Монтгомери, увидев этого второго человека, вздрогнул.

— Стойте! — крикнул он предостерегающе.

На носу судна показались несколько матросов.

Черномазый с диким воем катался по палубе среди собак. Но никто и не думал помочь ему. Гончие, как могли, теребили его, тыкались в него мордами. Серые собаки быстро метались по его неуклюже распростертому телу.

Передние матросы науськивали их криками, как будто все это было веселое зрелище. Гневное восклицание вырвалось у Монтгомери, и он торопливо пошел по палубе. Я последовал за ним.

Через минуту черномазый был уже на ногах и, шатаясь, побрел прочь. Около мачты он прижался к фальшборту, где и остался, тяжело дыша и косясь через плечо на собак. Рыжеволосый расхохотался с довольным видом.

— Послушайте, капитан! — пришепетывая сильнее обыкновенного, сказал Монтгомери и схватил рыжеволосого за локти.— Вы не имеете права!

Я стоял позади Монтгомери. Капитан сделал пол-оборота и посмотрел на него тупыми, пьяными глазами.

— Чего не имею? — переспросил он, с минуту вяло глядя в лицо Монтгомери.— Убирайтесь ко всем чертям!

Быстрым движением он высвободил свои веснушчатые руки и после двух-трех безуспешных попыток засунул их наконец в боковые карманы.

— Этот человек — пассажир,— сказал Монтгомери.— Вы не имете права пускать в ход кулаки.

— К чертям! — снова крикнул капитан. Он вдруг резко повернулся и чуть не упал.— У себя на судне я хозяин, что хочу, то и делаю.

Мне казалось, Монтгомери, видя, что он пьян, должен был бы оставить его в покое. Но тот, только слегка побледнев, последовал за капитаном к борту.

— Послушайте, капитан,— сказал он.— Вы не имеете права так обращаться с моим слугой. Вы не даете ему покоя с тех пор, как он поднялся на борт.

С минуту винные пары не давали капитану сказать ни слова.

— Ко всем чертям! — только и произнес он.

Вся эта сцена свидетельствовала, что Монтгомери обладал одним из тех упрямых характеров, которые способны гореть изо дня в день, доходя до белого каления и никогда не остывая. Я видел, что ссора эта назревала давно.

— Этот человек пьян,— сказал я, рискуя показаться назойливым,— лучше оставьте его.

Уродливая судорога свела губы Монтгомери.

— Он вечно пьян. По-вашему, это оправдывает его самоуправство?

— Мое судно,— начал капитан, неуверенно взмахнув руками в сторону клеток,— было чистое. Посмотрите на него теперь.

Действительно, чистым его никак нельзя было назвать.

— Моя команда не терпела грязи.

— Вы сами согласились взять зверей.

— Глаза мои не видели бы вашего проклятого острова. Черт его знает, для чего нужны там эти животные. А ваш слуга, разве это человек?.. Это ненормальный. Ему здесь не место! Не думаете ли вы, что все мое судно в вашем распоряжении?

— Ваши матросы преследуют беднягу с тех пор, как он здесь появился.

— И не удивительно, потому что он страшнее самого дьявола. Мои люди не выносят его, и я тоже. Никто его терпеть не может, даже вы сами.

Монтгомери повернулся к нему спиной.

— Все же вы должны оставить его в покое,— сказал он, подкрепляя свои слова кивком головы.

Но капитану, видимо, не хотелось уступать.

— Пусть только еще сунется сюда! — заорал он.— Я ему все кишки выпущу, вот увидите! Как вы смеете меня учить! Говорю вам, я капитан и хозяин судна! Мое слово закон и желание свято! Я согласился взять пассажира со слугой до Арики и доставить его обратно на остров вместе с животными, но я не соглашался брать какого-то дьявола, черт побери... какого-то...

И он злобно обругал Монтгомери. Тот шагнул к капитану, но я встал между ними.

— Он пьян,— сказал я.

Капитан начал ругаться последними словами.

— Молчать! — сказал я, круто поворачиваясь к нему, так как бледное лицо Монтгомери стало страшным. Ругань капитана обратилась на меня.

Но я был рад, что предупредил драку, хоть пьяный капитан и невзлюбил меня. Мне случалось бывать в самом странном обществе, но никогда в жизни я не слышал из человеческих уст такого нескончаемого потока ужаснейшего сквернословия. Как ни был я миролюбив от природы, но все же едва сдерживался. Конечно, прикрикнув на капитана, я совершенно забыл, что был всего лишь потерпевшим крушение, без всяких средств, даровым пассажиром, целиком зависевшим от милости или выгоды хозяина судна. Он напомнил мне об этом достаточно ясно. Но так или иначе драки я не допустил.

IV

У БОРТА

В тот же вечер, вскоре после захода солнца, мы увидели землю, и шхуна легла в дрейф. Монтгомери сказал, что он прибыл. За дальностью расстояния нельзя было ничего разобрать: остров показался мне просто невысоким темно-синим клочком земли на смутном, голубовато-сером фоне океана. Столб дыма почти отвесно поднимался с острова к небу.

Капитана не было на палубе, когда показалась земля. Излив на меня свою злобу, он спустился вниз и, как я узнал, заснул на полу своей каюты. Командование принял на себя его помощник. Это был тот самый худой молчаливый субъект, который стоял у руля. По-видимому, он тоже не ладил с Монтгомери. Он как будто не замечал нас. Обедали мы втроем в угрюмом молчании после нескольких безрезультатных попыток с моей стороны заговорить с ним. Меня поразило, что этот человек относился к моему спутнику и его животным со странной враждебностью. Я находил, что Монтгомери слишком скрытен, когда заходит речь о том, для чего ему эти животные; но, хотя любопытство мое было задето, я его не расспрашивал.

Небо было уже сплошь усыпано звездами, а мы все еще беседовали, стоя на шканцах. Ночь была тихая, яс-

ная, тишину нарушали только размеренный шум с освещенного желтоватым светом полубака да движения животных. Пума, свернувшись клубком, смотрела на нас своими горящими глазами. Собаки, казалось, спали. Монтгомери вынул из кармана сигары.

Он вспоминал Лондон с некоторой грустью, расспрашивал о переменах, происшедших там за это время. Мне показалось, что он любил ту жизнь, которой здесь навсегда лишился. Я поддерживал разговор, как умел. Странность моего собеседника все время возбуждала мое любопытство, и, говоря с ним, я рассматривал его худое, бледное лицо, освещенное слабым светом фонаря, который горел у меня за спиной. Затем я оглянулся на темнеющий океан, где во мраке таился его маленький островок.

Этот человек, думалось мне, появился из безбрежности пространства только для того, чтобы спасти меня. Завтра он покинет корабль и снова исчезнет из моей жизни навеки. Даже при самых обычных обстоятельствах эта встреча, несомненно, произвела бы на меня впечатление. Больше всего меня поразило, что этот образованный человек живет на таком маленьком, затерянном острове и привез сюда столь необычайный багаж.

Я невольно разделял недоумение капитана. Для чего ему эти животные? И почему он отрекся от них, когда я впервые о них заговорил? Кроме того, в этом его слуге было что-то странное, глубоко поразившее меня. Все это, вместе взятое, казалось очень таинственным, заставляя работать мое воображение и сковывая язык. К полуночи разговор о Лондоне исчерпался, и мы молча стояли рядом у борта, задумчиво глядя на тихий, отражающий звезды океан; каждый из нас был занят своими мыслями. Я расчувствовался и принялся выражать ему свою признательность.

— Надо прямо сказать,— начал я, немного помолчав,— вы спасли мою жизнь.

— Это случайность,— отозвался он,— простая случайность.

— Но все же я должен поблагодарить вас.

— Чего там, не стоит благодарности. Вы нуждались в помощи, а у меня была возможность ее оказать. Я сделал вам впрыскивания и кормил вас точно так же, как если бы нашел редкий экземпляр какого-нибудь живот-

ного. Я скучал и хотел чем-нибудь заняться. Поверьте, будь я не в духе в тот день или не понравься мне ваше лицо, право, не знаю, что было бы с вами теперь.

Такой ответ немного расхолодил меня.

— Во всяком случае...— начал я снова.

— Говорю вам, это простая случайность, как и все остальное в человеческой жизни,— прервал он меня,— только дураки не хотят этого понять. Почему я должен быть здесь, вдали от цивилизованного мира, вместо того чтобы наслаждаться счастьем и всеми удовольствиями Лондона? Только потому, что одиннадцать лет назад я на десять минут потерял голову в одну туманную ночь...

Он замолчал.

— И что же? — спросил я.

— Вот и все.

Мы оба умолкли. Потом он неожиданно рассмеялся.

— Эти звезды как-то располагают к откровенности. Я просто осел, но мне все же хочется кое-что рассказать вам.

— Что бы вы ни рассказали, можете положиться на мою скромность... Поверьте, я умею молчать.

Он уже собрался начать свой рассказ, но вдруг с сомнением покачал головой.

— Не надо,— сказал я.— Я вовсе не любопытен. В конце концов самое лучшее — не доверять никому своей тайны. Если я сохраню ее, вы не выиграете ничего, только душу немного облегчите. А если проболтаюсь... Что тогда?

Он нерешительно пробормотал что-то про себя. Я почувствовал, что ему хочется поделиться со мной, но, говоря по правде, мне вовсе не интересно было знать, что́ заставило молодого медика покинуть Лондон. Для этого у меня было достаточно богатое воображение. Я пожал плечами и отвернулся. Какая-то темная молчаливая фигура, застыв у борта, смотрела на отражавшиеся в воде звезды. Это был слуга Монтгомери. Он быстро взглянул на меня через плечо, затем снова отвернулся и уставился на воду.

Эта мелочь, может быть, показалась бы вам пустяком, но меня она поразила, как громом. Единственным источником света возле нас был фонарь, висевший у ру-

ля. Лицо слуги лишь на одно короткое мгновение повернулось к свету, но я заметил, что глаза, взглянувшие на меня, светились слабым зеленоватым светом.

Я тогда не знал, что по крайней мере красноватый отблеск бывает иногда свойствен человеческим глазам. Это показалось мне совершенно сверхъестественным. Темная фигура с горящими глазами заполнила все мои мысли и чувства, и забытые образы детского воображения на миг воскресли передо мной. Но они исчезли так же быстро, как и явились. Уже в следующее мгновение я видел лишь обыкновенную темную, неуклюжую человеческую фигуру, фигуру, в которой не было ничего необычайного и которая стояла у борта, глядя на отражавшиеся в море звезды. Монтгомери снова заговорил.

— Если вы уже достаточно подышали воздухом, я хотел бы спуститься вниз,— сказал он.

Я ответил что-то невпопад. Мы ушли вниз, и он простился со мной у дверей моей каюты.

Всю ночь я видел скверные сны. Ущербная луна взошла поздно. Ее таинственные бледные лучи косо падали через иллюминатор, и койка моя отбрасывала на стену чудовищную тень. Наверху проснулись собаки, послышался лай и рычание. Заснуть крепко мне удалось только на рассвете.

V

БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Рано утром — это было на второй день после моего выздоровления и, кажется, на четвертый после того, как меня подобрала шхуна,— я проснулся; мучимый тревожными сновидениями, в которых мне чудились стрельба и рев толпы, и услышал наверху чьи-то хриплые крики. Протерев глаза, я лежал, прислушиваясь к шуму и не понимая, где я. Вдруг послышалось шлепанье босых ног, стук бросаемых тяжестей, громкий скрип и грохот цепей. Потом раздался плеск, так как судно сделало резкий поворот, желто-зеленая пенистая волна ударилась о маленький иллюминатор каюты и снова схлынула. Я быстро оделся и поспешил на палубу.

Поднимаясь по трапу, я увидел на алом фоне восходившего солнца широкую спину и рыжие волосы капитана. Над ним висела в воздухе клетка с пумой, которую он спускал на веревке, пропущенной через блок на бизань-мачте. Бедное животное, смертельно перепуганное, припало ко дну своей маленькой клетки.

— За борт их всех! — рычал капитан.— За борт! Я очищу судно от всей этой дряни!

Он стоял у меня на дороге, и, чтобы выйти на палубу, я вынужден был хлопнуть его по плечу. Он вздрогнул, повернулся и попятился. Сразу видно было, что он все еще пьян.

— Эй, ты! — сказал он с идиотским видом, потом, начав соображать, добавил: — А, это мистер... мистер...

— Прендик,— сказал я.

— К черту Прендика! — завопил капитан.— Заткни Глотку — вот ты кто! Мистер Заткни Глотку!

Конечно, не следовало отвечать этому пьяному скоту. Но я не мог предвидеть, что́ он сделает дальше. Он протянул руку к трапу, у которого стоял Монтгомери, разговаривая с широкоплечим седым человеком в грязном синем фланелевом костюме, по-видимому, только что появившимся на судне.

— Пошел туда, мистер Заткни Глотку, туда! — ревел капитан.

Монтгомери и его собеседник повернулись к нам.

— Что это значит? — спросил я.

— Вон отсюда, мистер Заткни Глотку, вот что это значит! За борт, живо! Мы очищаем судно, очищаем наше бедное судно! Вон!

Оторопев, я смотрел на него. Но потом понял, что именно этого мне и хочется. Перспектива остаться единственным пассажиром этого сварливого дурака не сулила мне ничего приятного. Я повернулся к Монтгомери.

— Мы не можем вас взять,— решительно сказал мне его собеседник.

— Не можете меня взять? — совершенно растерявшись, переспросил я. Такого непреклонного и решительного лица, как у него, я еще в жизни не видел.

— Послушайте...— начал я, обращаясь к капитану.

— За борт! — снова заорал он.— Это судно не для зверей и не для людоедов, которые хуже зверья, в сто

раз хуже! За борт... проклятый мистер Заткни Глотку! Возьмут они вас или не возьмут, все равно вон с моей шхуны! Куда угодно! Вон отсюда вместе с вашими друзьями! Я навсегда простился с этим проклятым островом! Довольно с меня!

— Послушайте, Монтгомери...— сказал я.

Он скривил нижнюю губу и, безнадежно кивнув головой, указал на седого человека, стоявшего рядом с ним, как бы выразив этим свое бессилие помочь мне.

— Уж я об этом позабочусь,— сказал капитан.

Началось странное препирательство. Я попеременно обращался то к одному, то к другому из троих, прежде всего к седому человеку, прося позволить мне высадиться на берег, потом к пьяному капитану с просьбою оставить меня на судне и, наконец, даже к матросам. Монтгомери не сказал ни слова — он только качал головой.

— За борт, говорю вам,— беспрестанно повторял капитан.— К черту закон! Я хозяин на судне!

Я начал грозить, но голос мой пресекся. Охваченный бессильным бешенством, я отошел на корму, угрюмо глядя в пустоту.

Тем временем матросы быстро работали, сгружая ящики и клетки с животными. Большой баркас с поднятыми парусами уже стоял у подветренного борта шхуны, и туда сваливали всю эту удивительную кладь. Я не мог видеть, кто приехал за ней с острова, потому что баркас был скрыт бортом шхуны.

Ни Монтгомери, ни его собеседник не обращали на меня ни малейшего внимания: они помогали четырем или пяти матросам, выгружавшим багаж. Капитан был тут же, скорее мешая, чем помогая работе. Я переходил от отчаяния к бешенству. Пока я стоял, ожидая своей дальнейшей участи, мне несколько раз неудержимо хотелось смеяться над моей злополучной судьбой. Я не завтракал и чувствовал себя от этого еще несчастнее. Голод и слабость лишают человека мужества. Я прекрасно понимал, что не в силах сопротивляться капитану, который мог избавиться от меня, и у меня не было способа заставить Монтгомери и его товарища взять меня с собой. Мне оставалось лишь покорно ждать своей судьбы, а выгрузка багажа на баркас между тем продолжалась, и никто не обращал на меня внимания.

Вскоре работа была закончена. И тогда произошла схватка: меня, слабо сопротивлявшегося, потащили к трапу. Но даже в эту отчаянную минуту меня удивили странные смуглые лица людей, сидевших в баркасе вместе с Монтгомери. Погрузка была окончена, и баркас сразу отчалил от судна. Подо мной быстро увеличивалась полоса зеленой воды, и я изо всех сил подался назад, чтобы не упасть вниз головой.

Сидевшие в баркасе что-то насмешливо закричали, и я слышал, как Монтгомери обругал их. Капитан, его помощник и один из матросов потащили меня на корму. Там был привязан ялик с «Леди Вейн», до половины залитый водой, без весел и провизии. Я отказался сойти в него и повалился ничком на палубу. Но они силой опустили меня туда на веревке без трапа и, перерезав буксир, бросили на произвол судьбы.

Волны медленно относили меня от шхуны. В каком-то оцепенении я видел, как матросы начали тянуть снасти, и шхуна медленно, но решительно развернулась по ветру. Паруса затрепетали и наполнились. Я тупо смотрел на истрепанный непогодами борт круто накренившейся шхуны. Она постепенно начала удаляться.

Я даже не повернул головы ей вслед. Я едва верил случившемуся. Ошеломленный, сидел я на дне шлюпки и глядел на пустынный, подернутый легкой зыбью океан. Но постепенно я осознал, что снова очутился в этой проклятой, почти затонувшей шлюпке. Обернувшись, я увидел шхуну, уплывавшую от меня вместе с рыжеволосым капитаном, который что-то насмешливо кричал, стоя у гакаборта. Повернувшись к острову, я увидел баркас, который становился все меньше и меньше по мере того, как приближался к берегу.

Я понял весь ужас своего положения. У меня не было никакой возможности добраться до берега, если только меня случайно не отнесет туда течением. Я еще не окреп после своих недавних злоключений и к тому же был голоден, иначе у меня было бы больше мужества. Но тут я заплакал, как ребенок. Слезы потоком хлынули у меня из глаз. В припадке отчаяния я принялся бить кулаками по воде на дне ялика и колотить ногами в борт. Я молил бога послать мне смерть.

VI
УЖАСНАЯ КОМАНДА БАРКАСА

Но люди с острова, увидя, что я действительно брошен на произвол судьбы, сжалились надо мной. Меня медленно относило к востоку в сторону острова, и скоро я с облегчением увидел, что баркас повернул и направился ко мне. Баркас был тяжело нагружен, и когда он подошел ближе, то я увидел седого широкоплечего товарища Монтгомери, сидевшего на корме среди собак и ящиков с багажом. Этот человек молча, не двигаясь, смотрел на меня. Не менее пристально разглядывал меня и черномазый урод, расположившийся около клетки с пумой на носу. Кроме них, в баркасе было еще три странных, звероподобных существа, на которых злобно рычали собаки. Монтгомери, сидевший на руле, подчалил к ялику и, привстав с места, поймал и прикрепил к своей корме обрывок каната, чтобы отвести меня на буксире: на баркасе места не было.

Я успел уже оправиться от своего нервного припадка и довольно бодро ответил на его оклик. Я сказал, что шлюпка почти затоплена, и он подал мне деревянный ковш. Когда буксир натянулся, я упал от толчка, но встал и начал усердно вычерпывать воду.

Лишь покончив с этим делом (шлюпка только зачерпнула воду бортом, она была невредима), я снова взглянул на людей, сидевших в баркасе.

Седой человек все так же пристально и, как мне показалось, с некоторым замешательством смотрел на меня. Когда наши взгляды встречались, он опускал глаза и глядел на собаку, сидевшую у него между коленями. Это был великолепно сложенный человек, с красивым лбом и довольно крупными чертами лица, но веки у него были дряблые, старческие, а складка у рта придавала лицу выражение дерзкой решительности. Он разговаривал с Монтгомери так тихо, что я не мог разобрать слов. Я стал рассматривать остальных трех, сидевших в баркасе.

Это была на редкость странная команда. Я видел только их лица; но в них было что-то неуловимое, чего я не мог постичь, и это вызывало во мне странное отвраще-

ние. Я пристально всматривался в них, и это чувство не проходило, хотя я и не мог понять его причины. Они показались мне темнокожими, но их руки и ноги были обмотаны какой-то грязной белой тканью до самых кончиков пальцев. Я никогда еще не видел, чтобы мужчины так кутались, только женщины на Востоке носят такую одежду. На головах их были тюрбаны, из-под которых виднелись таинственные лица, выпяченные нижние челюсти и сверкающие глаза. Волосы их, черные и гладкие, были похожи на лошадиные гривы, и, сидя, они казались значительно выше людей всех рас, каких мне доводилось видеть. Седой старик, который, как я заметил, был добрых шести футов роста, теперь, сидя, был на голову ниже каждого из этих троих. Впоследствии я убедился, что в действительности все они были не выше меня, но туловища у них были ненормально длинные, а ноги короткие и странно искривленные. Во всяком случае, они представляли собой необычайно безобразное зрелище, а над их головами, под передним парусом, выглядывало смуглое лицо того урода, чьи глаза светились в темноте.

Когда взгляды наши встретились, он отвернулся, но не прекратил украдкой поглядывать в мою сторону. Чтобы не быть навязчивым, я перестал их рассматривать и повернулся к острову, к которому мы приближались.

Остров был низкий, покрытый пышной растительностью, среди которой больше всего было пальм незнакомого мне вида. В одном месте белая струя дыма поднималась необычайно высоко и затем расплывалась в воздухе белыми, как пух, хлопьями. Мы очутились в большой бухте, ограниченной с обеих сторон невысокими мысами. Берег был усыпан темным сероватым песком и в глубине поднимался кверху футов на шестьдесят или семьдесят над уровнем моря, и кое-где виднелись деревья и кустарники. Посреди склона была странная, пестрая каменная ограда, сложенная, как я увидел позже, частью из кораллов и частью из вулканической пемзы. Две тростниковые крыши виднелись над оградой.

На берегу, ожидая нас, стоял человек. Издали мне показалось, что еще несколько других странных существ поспешно скрылись в кустарнике, но, когда мы приблизились, я уже больше не видел их. Человек, ожидавший

нас, был среднего роста, с черным, как у негра, лицом. Его широкий рот был очень тонок, руки необычайно худые, а искривленные дугой ноги имели узкие и длинные ступни. Он стоял на берегу, вытянув шею, ожидая нашего приближения. Одет он был так же, как Монтгомери и седой старик, в синюю блузу и панталоны.

Когда мы подошли к самому берегу, он принялся бегать взад и вперед, делая крайне нелепые телодвижения. По команде Монтгомери все четверо в баркасе вскочили на ноги и как-то удивительно неуклюже принялись спускать паруса. Монтгомери ввел баркас в маленький искусственный залив. Странный человек кинулся к нам. Собственно говоря, заливчик был простой канавой, но достаточно большой, чтобы баркас мог войти туда во время прилива.

Почувствовав, что нос баркаса врезался в песок, я оттолкнулся от его кормы деревянным ковшом и, отвязав буксир, причалил к берегу. Трое закутанных людей неуклюже вылезли из баркаса и тотчас же принялись разгружать багаж с помощью человека, ожидавшего нас на берегу. Особенно удивила меня их походка: нельзя сказать, что они были неповоротливы, но казались какими-то искореженными, словно состояли из кое-как скрепленных кусков. Собаки продолжали рычать и рваться с цепей, после того как они вместе с седым стариком сошли на берег.

Эти трое, переговариваясь, издавали какие-то странные, гортанные звуки, а человек, встретивший нас на берегу, взволнованно обратился к ним на каком-то, как показалось мне, иностранном языке, и они принялись за тюки, сложенные на корме. Я уже где-то слышал точно такой же голос, но где, не мог припомнить. Старик удерживал шесть бесновавшихся собак, покрывая их лай громкими распоряжениями. Монтгомери тоже сошел на берег, и все занялись багажом. Я был слишком слаб, чтобы после голодовки, на жарком солнце, которое пекло мою непокрытую голову, предложить им свою помощь.

Наконец старик, видимо, вспомнил о моем присутствии и подошел ко мне.

— Судя по вашему виду, вы не завтракали,— сказал он.

Его маленькие черные глазки блестели из-под бровей.

— Прошу у вас прощения. Теперь вы наш гость, хотя и непрошеный, и мы должны позаботиться о вас.— Он взглянул мне прямо в лицо.— Монгтомери сказал мне, что вы образованный человек, мистер Прендик. Он сказал, что вы немного занимались наукой. Нельзя ли узнать, чем именно?

Я рассказал, что учился в Ройал колледже и занимался биологическими исследованиями под руководством Хаксли. Услышав это, он слегка приподнял брови.

— Это несколько меняет дело, мистер Прендик,—сказал он с легким оттенком уважения в голосе.— Как ни странно, но мы тоже биологи. Это своего рода биологическая станция.

Он посмотрел на людей, которые на катках двигали клетку с пумой к ограде.

— Да, мы с Монтгомери биологи,— сказал он.— Неизвестно, когда вы сможете нас покинуть,—добавил он минуту спустя.— Наш остров лежит далеко от навигационных путей. Суда появляются здесь не чаще раза в год.

Вдруг он оставил меня, прошел мимо тащивших пуму людей, поднялся вверх по откосу и исчез за изгородью. Еще двое вместе с Монтгомери грузили багаж на низенькую тележку. Лама оставалась на баркасе вместе с кроличьими клетками; собаки были по-прежнему привязаны к скамьям. Нагрузив на тележку не меньше тонны, все трое повезли ее наверх, вслед за клеткой с пумой. Потом Монтгомери оставил их и, вернувшись, протянул мне руку.

— Что касается меня, то я рад,— сказал он.— Капитан настоящий осел. Вам пришлось бы хлебнуть с ним горя.

— Вы еще раз спасли меня,— сказал я.

— Ну, смотря как на это взглянуть! Уверяю вас, остров покажется вам чертовски скучной дырой! На вашем месте я был бы осторожен... Он ..— Монтгомери замялся и не сказал того, что едва не сорвалось у него с языка.— Не будете ли вы так добры помочь мне выгрузить клетки с кроликами?

С кроликами он поступил самым удивительным образом. После того как я, войдя в воду, помог ему пере-

нести клетку на берег, он открыл дверцу и, наклонив ее, вывернул всех зверьков прямо на землю. Кролики грудой барахтались на земле. Он хлопнул в ладоши, и они скачками бросились врассыпную; их было штук пятнадцать или двадцать.

— Плодитесь и размножайтесь, друзья,— проговорил Монтгомери.— Населяйте остров. У нас тут был недостаток в мясе

Пока я наблюдал за разбегавшимися кроликами, вернулся старик с бутылкой коньяку и несколькими сухарями.

— Вот, подкрепитесь, Прендик,— сказал он уже гораздо дружелюбнее.

Не заставляя себя долго просить, я принялся за сухари, а он помог Монтгомери выпустить на волю еще десятка два кроликов. Но три оставшихся кроличьих клетки и клетку с ламой отнесли наверх, к дому. К коньяку я не притронулся, так как никогда не пил спиртного.

VII

ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ

Надеюсь, читатель поймет, что на первых порах все окружающее казалось мне до того необычайным и я пережил такие неожиданные приключения, что не мог понять, в чем же здесь самое странное. Я последовал за клеткой с ламой, но меня нагнал Монтгомери и попросил не входить за ограду. Тут я заметил, что пума в клетке и груда багажа также остались за оградой.

Обернувшись, я увидел, что баркас, уже окончательно разгруженный, вытащен на берег и старик идет к нам.

— А теперь нам предстоит решить, как поступить с этим незваным гостем,— обратился он к Монтгомери.— Что с ним делать?

— У него есть некоторые научные познания,— отозвался тот.

— Мне не терпится поскорее приняться за дело, поработать над этим новым материалом,— сказал старик, кивнув головой в сторону ограды. Глаза его заблестели.

— Охотно верю,— угрюмо буркнул Монтгомери.

— Мы не можем пустить его туда, а строить для него хижину нет времени. Вместе с тем никак нельзя посвящать его в наше дело.

— Готов вам повиноваться,— сказал я. У меня не было ни малейшего представления о том, что означало «пустить туда».

— Я тоже думал об этом,— сказал Монтгомери.— Но у меня есть комната с наружной дверью...

— Значит, решено,— быстро прервал его старик, пристально глядя на Монтгомери, и мы все трое подошли к ограде.

— Мне очень жаль, что приходится окружать дело такой тайной, мистер Прендик, но не забывайте, что вы здесь незваный гость. Наше маленькое предприятие имеет свой секрет, нечто вроде комнаты Синей Бороды. В сущности, тут нет ничего страшного для человека с крепкими нервами. Но пока мы еще не пригляделись к вам...

— Понятно,— сказал я,— глупо было бы мне обижаться на недоверие.

На его мрачном лице появилась бледная улыбка — он принадлежал к тому суровому типу людей, которые улыбаются одними углами рта,— и он поклонился в знак признательности. Мы прошли мимо главных ворот. Они были тяжелые, деревянные, окованные железом и запертые на замок. Перед ними были свалены груды багажа с баркаса. В углу ограды оказалась небольшая дверь, которой я раньше не заметил. Старик вынул из кармана своей засаленной синей блузы связку ключей, отпер дверь и вошел. Меня удивило, что даже во время его присутствия на острове все здесь так надежно заперто.

Я последовал за ним и очутился в небольшой комнате, просто, но уютно обставленной. Внутренняя дверь была приоткрыта и выходила на мощеный двор. Эту дверь Монтгомери тотчас же запер. В дальнем углу комнаты висел гамак; маленькое незастекленное окно, забранное железной решеткой, выходило прямо на море.

Старик сказал, что здесь я буду жить и не должен переступать порога внутренней двери, которую он «на всякий случай» запер. Он указал на удобный шезлонг у окна и на множество старых книг, главным образом сочинений по хирургии и изданий классиков на греческом и

латинском языках (эти языки я понимал с трудом), стоявших на полке около гамака. Вышел он через наружную дверь, словно не желая больше отворять внутреннюю.

— Обыкновенно мы здесь обедаем,— сказал Монтгомери и вдруг, как будто почувствовав неожиданное сомнение, быстро последовал за ушедшим.—Моро!—окликнул он его.

Сначала я не обратил на эту фамилию никакого внимания. Но, просматривая книги, стоявшие на полке, я невольно стал припоминать: где же раньше я ее слышал?

Я сел у окна, вынул оставшиеся сухари и с аппетитом принялся жевать их. Моро?

Взглянув в окно, я увидел одного из удивительных людей в белом, тащившего ящик с багажом. Вскоре он скрылся из виду. Затем я услышал, как позади меня щелкнул замок. Немного погодя сквозь запертую дверь донеслись шум и возня, поднятые собаками, которых привели с берега. Они не лаяли, а только как-то странно рычали и фыркали. Я слышал быстрый топот их лап и успокаивающий голос Монтгомери.

Таинственность, которой окружили себя эти двое людей, произвела на меня очень сильное впечатление, и я задумался над этим, как и над удивительно знакомой мне фамилией Моро. Но человеческая память так капризна, что я никак не мог припомнить, с чем связана эта известная фамилия. Постепенно я начал думать о непостижимой странности обезображенного и закутанного в белое человека на берегу. Я никогда не видел такой походки, таких странных телодвижений, как у него, когда он тащил ящик. Я вспомнил, что ни один из этих людей не заговорил со мной, хотя я и видел, что все они по временам посматривали на меня как-то странно, украдкой, а совсем не тем открытым взглядом, какой бывает у настоящих дикарей. Я никак не мог понять, на каком языке они говорили. Все они казались удивительно молчаливыми, а когда говорили, голоса их звучали резко и неприятно. Что же с ними такое? Тут я вспомнил глаза уродливого слуги Монтгомери.

Он вошел как раз в ту минуту, когда я подумал о нем. Теперь он был одет в белое и нес небольшой поднос с кофе и вареными овощами. Я чуть не отскочил, когда он, любезно кланяясь, поставил передо мной на стол поднос.

Изумление сковало меня. Под черными мелкими прядями его волос я увидел ухо. Оно внезапно открылось прямо перед моими глазами. Ухо было остроконечное и покрытое тонкой бурой шерстью!

— Ваш завтрак, сэр,— сказал он.

Я уставился ему прямо в лицо, чувствуя, что не в силах ответить. Он повернулся и пошел к двери, странно косясь на меня через плечо.

Я проводил его взглядом, и в это же самое время из подсознания в памяти у меня всплыли слова: «Заказы Моро... Или указы?..»

А, вот что! Память перенесла меня на десять лет назад. «Ужасы Моро». Мгновение эта фраза смутно вертелась у меня в голове, но тотчас она предстала передо мной, напечатанная красными буквами на небольшой коричневатой обложке брошюры, которую невозможно было читать без дрожи. Я ясно припомнил все подробности: эта давно забытая брошюра с поразительной яркостью воскресла в памяти. В то время я был еще юношей, а Моро уже перевалило за пятьдесят. Это был выдающийся ученый-физиолог, хорошо известный в научных кругах богатством своего воображения и резкой прямотой взглядов. Был ли это тот самый Моро? Он описал несколько поразительных случаев переливания крови и, кроме того, был известен своими выдающимися трудами о ненормальностях развития организма. Но вдруг его блестящая карьера прервалась. Ему пришлось покинуть Англию. Какой-то журналист пробрался в его лабораторию под видом лаборанта с намерением опубликовать сенсационные разоблачения. Благодаря поразительной случайности, если только это действительно была случайность, его гнусная брошюрка приобрела громкую известность. Как раз в день ее появления из лаборатории Моро убежала собака с ободранной шкурой, вся искалеченная.

Это было скверное время, и один известный издатель, двоюродный брат мнимого лаборанта Моро, обратился к общественному мнению. Уже не в первый раз общественное мнение восставало против методов экспериментального исследования. Доктор Моро был изгнан из страны. Может быть, он и заслуживал этого, но безразличие других исследователей, отречение от него большинства

его собратьев-ученых были все же постыдны. Правда, судя по сообщению журналиста, некоторые из его опытов были бессмысленно жестоки. Быть может, ему удалось бы примириться с обществом, прекратив свои исследования, но он не пошел на это, как сделало бы на его месте большинство людей, испытавших однажды невыразимое счастье заниматься наукой. Он не имел семьи, и ему надо было заботиться только о себе...

Я чувствовал уверенность, что это тот самый Моро. Все указывало на это. И вдруг мне стало ясно, для чего предназначались пума и другие животные, доставленные вместе с остальным багажом за ограду позади дома. Странный, слабый, смутно знакомый запах, который я до сих пор ощущал только подсознательно, вдруг стал осознанным: это был антисептический запах операционной. Я услыхал за стенкой рычание пумы и визг одной из собак, которую как будто били.

Собственно говоря, для всякого образованного человека в вивисекции нет ничего настолько ужасного, чтобы обставлять ее такой тайной. Но в результате какого-то странного скачка мысли остроконечные уши и светящиеся глаза слуги Монтгомери снова ярко представились мне. Я смотрел на зеленую морскую даль, расстилавшуюся перед моими глазами, на волны, пенившиеся под напором свежего ветерка, и странные воспоминания последних дней одно за другим мелькали в моей голове.

Что же все это значит? Эта глухая ограда на пустынном острове, этот известный вивисектор, эти искалеченные и обезображенные люди?..

VIII

КРИК ПУМЫ

Около часу дня мои размышления были прерваны приходом Монтгомери. Его странный слуга следовал за ним, неся на подносе хлеб, какие-то овощи и другую еду, а также бутылку виски, кувшин воды, три стакана и три ножа. Я искоса посмотрел на это удивительное существо и увидел, что оно тоже наблюдает за мной своими странными, бегающими глазами. Монтгомери объявил, что будет завтракать вместе со мной, а Моро слишком занят, чтобы присоединиться к нам.

— Моро? — сказал я.— Мне знакома эта фамилия.

— Черт побери! — воскликнул он.— И что я за осел, зачем я вам это сказал! Мог бы раньше подумать. Ну, да все равно, это послужит вам намеком на разъяснение наших тайн. Не хотите ли виски?

— Нет, спасибо, я не пью.

— Хотел бы я быть на вашем месте! Но бесполезно жалеть о невозможном. Это проклятое виски и привело меня сюда. Оно и одна туманная ночь. И я счел еще за счастье, когда Моро предложил взять меня с собой. Странное дело...

— Монтгомери,— прервал я его, как только закрылась наружная дверь,— отчего у вашего слуги остроконечные уши?

— Черт побери! — выругался он с набитым ртом и с минуту изумленно смотрел на меня.— Остроконечные уши?

— Да, остроконечные,— повторил я возможно спокойнее, но со стесненным дыханием,— и поросшие шерстью.

Он преспокойно принялся смешивать виски с водой.

— Мне всегда казалось, что уши его не видны из-под волос.

— Я увидел их, когда он нагнулся, чтобы поставить на стол кофе. И глаза у него светятся в темноте.

Монтгомери уже пришел в себя от неожиданности.

— Я и сам замечал,— спокойно сказал он, слегка шепелявя,— что у него с ушами действительно что-то неладно, у него такая странная манера тщательно прикрывать их волосами. Как же они выглядели?

Я был уверен, что он просто притворяется, но не мог уличить его во лжи.

— Они остроконечные,— повторил я,— маленькие и покрытые шерстью, несомненно, покрытые шерстью. Да и весь он самое странное существо, какое я когда-либо видел.

Резкий, хриплый, звериный крик, полный страдания, донесся до нас из-за ограды. По его ярости и силе можно было догадаться, что это кричит пума. Я заметил, как Монтгомери вздрогнул.

— Да? — сказал он вопросительно.

— Откуда вы его взяли?

— Он из... Сан-Франциско. Действительно, он безобразен. Какой-то полупомешанный. Не могу хорошенько припомнить, откуда он. Но я привык к нему. Мы оба привыкли друг к другу. Чем же он так поразил вас?

— Он весь как бы противоестественный,— сказал я.— В нем есть что-то особенное... Не примите меня за сумасшедшего, но близость его возбуждает во мне дрожь омерзения, как прикосновение чего-то нечистого. В нем, право, есть что-то дьявольское.

Слушая меня, Монтгомери перестал есть.

— Ерунда,— сказал он.— Я этого не замечал.

Он снова принялся за еду.

— Мне это и в голову не приходило,— проговорил он, прожевывая кусок.— По-видимому, матросы на шхуне чувствовали то же самое... И травили же они беднягу!.. Вы сами видели, как капитан...

Снова раздался крик пумы, на этот раз еще более страдальческий. Монтгомери выругался. Я уже почти решился спросить у него о людях, виденных мною на берегу. Но тут бедное животное начало испускать один за другим резкие, пронзительные крики.

— А ваши люди на берегу,— все же спросил я его,— к какой расе они принадлежат?

— Недурные молодцы, правда? — рассеянно ответил он, хмуря брови при каждом новом крике животного.

Я замолчал. Снова раздался крик, еще отчаяннее прежних. Он посмотрел на меня своими мрачными серыми глазами, подлил себе еще виски, попытался завязать разговор об алкоголе и стал уверять, что им он спас мне жизнь. Казалось, ему хотелось подчеркнуть, что я обязан ему жизнью. Я отвечал рассеянно. Завтрак наш скоро кончился. Урод с остроконечными ушами убрал со стола, и Монтгомери снова оставил меня одного. Завтракая со мной, он все время был в состоянии плохо скрываемого раздражения от криков подвергнутой вивисекции пумы. Он жаловался, что нервы у него шалят, и в этом не приходилось сомневаться.

Я сам чувствовал, что эти крики и меня необычайно раздражают. В течение дня они становились все громче. Их было мучительно слышать, и в конце концов я потерял душевное равновесие. Я отбросил перевод Горация,

который пробовал читать, и принялся, сжимая кулаки и кусая губы, шагать по комнате.

Потом я стал затыкать себе уши пальцами.

Но крики становились все нестерпимее. Наконец в них зазвучало такое предельное страдание, что я почувствовал себя не в силах оставаться в комнате. Я вышел на воздух, в дремотный жар полуденного солнца, и, пройдя мимо главных ворот, по-прежнему запертых, повернул за угол ограды.

На воздухе крики звучали еще громче. Казалось, будто в них сосредоточилось все страдание мира. Все же, думается мне (а я с тех пор не раз думал об этом), знай я, что в соседней комнате кто-нибудь страдает точно так же, но молча, я отнесся бы к этому гораздо спокойнее. Но когда страдание обретает голос и заставляет трепетать наши нервы, тогда душу переполняет жалость. Несмотря на яркое солнце и зеленые веера колеблемых морским ветром пальм, весь мир казался мне мрачным хаосом, полным черных и кровавых призраков, до тех пор, пока я не отошел далеко от дома с каменной оградой.

IX
ВСТРЕЧА В ЛЕСУ

Я пробирался через кустарник, покрывавший холм за домом, почти не разбирая дороги. Миновав густую купу прямоствольных деревьев, я очутился на противоположном склоне холма, у подножия которого по узкой долине бежал ручей. Я остановился и прислушался. То ли за дальностью расстояния, то ли из-за густоты леса, но ужасные звуки больше не долетали до меня. Вокруг было тихо. Но вот из кустов выскочил кролик и бросился со всех ног вниз по склону холма. Постояв немного, я уселся в тени на опушке.

Место было красивое. Ручейка совсем не было видно за пышной растительностью, покрывавшей его берега, и только в одном месте треугольником блестела гладь воды. На другом его берегу в синеватой дымке виднелась густая чаща деревьев и ползучих растений, а над ними сияло ясное голубое небо. Тут и там были разбросаны белые и малиновые пятна каких-то цветов. Некоторое время взгляд мой блуждал вокруг, но затем мы-

сли мои снова вернулись к странностям слуги Монтгомери. Однако было слишком жарко для напряженных размышлений, и скоро я впал в какое-то дремотное состояние, нечто среднее между сном и бодрствованием.

Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг меня разбудил легкий шорох на другой стороне ручья. Сначала я увидел только колеблющиеся верхушки папоротников и тростников. Потом на берегу показалось какое-то существо, но что это было, я не мог сразу рассмотреть. Оно нагнуло голову и принялось пить. Тут только я увидел, что это человек, но человек, ходящий на четвереньках, как животное!

Он был в голубоватой одежде, волосы у него были черные, а тело и лицо — медно-красного цвета. По-видимому, необычайное безобразие было общей чертой всех обитателей этого острова. Я слышал, как он шумно лакал воду.

Я наклонился вперед, чтобы получше его рассмотреть. Кусочек лавы, задетый моей рукой, покатился вниз по откосу. Человек с виноватым видом поднял голову, и глаза наши встретились. Он тотчас вскочил на ноги и некоторое время стоял на месте, вытирая рот неуклюжей рукой и глядя на меня. Ноги у него были почти в два раза короче его туловища. Так оставались мы, может быть, с минуту, в смущении разглядывая друг друга. Затем, несколько раз оглянувшись на меня, он исчез в кустах справа, и шелест листьев постепенно затих вдали. Еще долго после того, как он скрылся, я продолжал сидеть, глядя ему вслед. Сонливость мою как рукой сняло.

Я вздрогнул от шума, раздавшегося позади меня, и, быстро обернувшись, увидел белый хвост кролика, мелькнувший на вершине холма. Я вскочил на ноги.

Появление страшного полузвериного существа доказывало, что лес, пустынный с виду, обитаем. Я с беспокойством осмотрелся вокруг, жалея, что у меня не было оружия. Тут мне пришла в голову мысль, что виденный мной человек был в синей одежде, а не нагой, как подобает настоящему дикарю, и я стал убеждать себя, что, по всей вероятности, он был мирный и свирепость его была только кажущейся.

Но все же его появление очень меня встревожило.

Я пошел влево по склону холма, глядя по сторонам меж прямых древесных стволов. Почему этот человек ходил на четвереньках и лакал воду прямо из ручья? Тут я снова услыхал звериный вой и, полагая, что это кричит пума, повернулся и пошел в противоположном направлении. Дорога привела меня к ручью, перейдя который, я продолжал пробиваться сквозь кустарник.

Ярко-красное пятно на земле привлекло к себе мое внимание, и, подойдя ближе, я увидел, что это был необычайного вида гриб, очень причудливый и сморщенный, похожий на листовидный лишайник. При первом же прикосновении он расплылся в водянистую слизь. Дальше под тенью роскошных папоротников я увидел неприятную картину: труп кролика, весь облепленный золотистыми мухами, еще теплый, с оторванной головой. Я остановился, пораженный видом крови. На острове погиб насильственной смертью один из его обитателей!

На трупе не было никаких других следов. Казалось, кролик был внезапно схвачен и убит. Глядя на его мягкое, пушистое тельце, я невольно задал себе вопрос: как это могло случиться? Ощущение смутного страха, вызванное нечеловеческим лицом существа, пившего из ручья, стало теперь определеннее. Я почувствовал, как опасно для меня оставаться здесь, среди этих непонятных людей. Весь лес сразу словно преобразился. Каждый темный уголок казался засадой, каждый шорох — опасностью. Мне казалось, что какие-то незримые существа подстерегают меня всюду.

Я решил, что пора возвращаться. Быстро повернувшись, я стремительно, почти исступленно кинулся сквозь кустарник, мечтая как можно скорей выбраться на открытое место.

Я остановился перед большой поляной. Собственно говоря, это была своего рода просека. Молодые деревца уже начинали завоевывать свободное пространство, а за ними снова сплошной стеной стояли стволы, переплетенные лианами, покрытые грибами и разноцветными лишайниками. Передо мной, на полусгнившем стволе упавшего дерева, еще не замечая моего приближения, сидели, поджав ноги, три странных человеческих существа. Очевидно, одна женщина и двое мужчин. Они были совершенно нагие, если не считать куска красной материи

на бедрах. Кожа у них была розоватая, какой я еще не видел ни у одного дикаря. Их толстые лица были лишены подбородка, лоб выдавался вперед, а головы покрывали редкие щетинистые волосы. Никогда еще я не встречал таких звероподобных существ.

Они разговаривали между собой, или, вернее, один из них говорил, обращаясь к двум другим, но все трое были так увлечены, что никто не услышал моих шагов. Они трясли головами и раскачивались из стороны в сторону. Слова звучали так быстро и невнятно, что хотя я хорошо слышал их, но ничего не мог понять. Казалось, говоривший нес какую-то невероятную околесицу. Скоро звук его голоса стал протяжней, и, размахивая руками, он вскочил на ноги.

Остальные двое тоже встали и, размахивая руками, принялись вторить ему, раскачиваясь в такт пению. Я заметил, что у них ненормально короткие ноги и тонкие неуклюжие ступни. Все трое теперь медленно кружились, притопывая и размахивая руками; в их ритмической скороговорке можно было разобрать мотив с повторяющимся припевом вроде «алула» или «балула». Глаза их заблестели, уродливые лица озарились странной радостью. Слюна текла из безгубых ртов.

И тут, наблюдая их смешные и непостижимые движения, я ясно понял, что́, собственно, так неприятно поражало меня и рождало во мне противоречивое впечатление чего-то необычного и вместе с тем странно знакомого. Эти три существа, поглощенные своим таинственным обрядом, имели человеческий образ, но он странным образом сочетался со знакомым звериным обликом. Несмотря на свою человеческую внешность, на набедренные повязки и на все их грубое человекоподобие, каждый из них был отмечен печатью чего-то животного, в их движениях, во взгляде; во всем облике сквозило сходство со свиньями.

Я стоял, пораженный, и самые ужасные вопросы вихрем завертелись у меня в голове. Странные создания одно за другим начали подпрыгивать высоко в воздухе, визжа и хрюкая. Одно из них поскользнулось и встало на четвереньки лишь на миг, прежде чем снова подняться на ноги. Но и в столь коротком проблеске животного инстинкта я увидел всю его сущность.

Я бесшумно повернулся и, весь цепенея от ужаса при мысли, что треск сучка или шелест листьев может выдать меня, бросился обратно в кустарник. Прошло много времени, прежде чем я осмелел и пошел с меньшими предосторожностями.

В эту минуту единственной моей мыслью было уйти подальше от безобразных существ, и я не заметил, как вышел на еле заметную тропинку, которая вилась среди деревьев. И вдруг, пересекая небольшую поляну, я вздрогнул, увидев между стволами чьи-то ноги, которые бесшумно двигались параллельно мне на расстоянии около тридцати ярдов. Голова и туловище были скрыты густой листвой. Я сразу остановился, надеясь, что неизвестное существо не заметит меня. Но в то же мгновение остановились и ноги. Я был так встревожен, что с величайшим трудом поборол в себе неодолимое желание бежать очертя голову.

Вглядевшись в зеленую путаницу ветвей, я различил голову и туловище того самого существа, которое пило из ручья. Оно взглянуло на меня, и глаза его сверкнули из полумрака зеленоватым огоньком, который погас, как только оно отвернулось. С минуту оно стояло неподвижно, а потом снова бесшумно пустилось бежать сквозь заросли кустов и деревьев. Вскоре оно исчезло среди каких-то растений. Я больше не видел его, но чувствовал, что оно остановилось и следит за мной.

Что же это было такое — человек или животное? Чего хотело оно от меня? Я был совершенно безоружен, даже палки у меня не было. Бежать не имело смысла. Во всяком случае, это существо не осмеливалось напасть на меня. Стиснув зубы, я пошел прямо на него. Я старался не выказывать страха, от которого у меня по спине бегали мурашки. Пробравшись сквозь цветущие белые кусты, я увидел его шагах в двадцати от себя,— он нерешительно оглядывался через плечо. Я подошел еще на несколько шагов, упорно глядя ему в глаза.

— Кто ты? — спросил я.

Он тоже старался посмотреть мне в глаза.

— Нет,— вдруг сказал он и прыжками скрылся в кустарнике. Потом, остановившись, снова стал смотреть на меня. Его глаза сверкали среди густых ветвей.

Душа моя ушла в пятки, но я чувствовал, что единственное мое спасение в смелости, и я продолжал идти прямо на него. Он обернулся еще раз и исчез в чаще. Мне почудилось, что его глаза снова сверкнули, и это было все.

Только теперь я сообразил, что уже поздно и мне опасно оставаться в лесу. Солнце только что зашло, быстрые тропические сумерки уже серели на востоке, и первая ночная бабочка бесшумно порхала над моей головой. Чтобы не остаться на ночь в лесу, среди неведомых опасностей, я должен был спешить назад.

Мысль о возвращении в эту обитель страдания была очень неприятна, но еще неприятней было бы остаться в темноте, полной всяких неожиданностей. Я снова взглянул в синеватые сумерки, поглотившие это странное существо, и повернул назад, вниз по склону, к ручью, двигаясь, как я полагал, в ту же сторону, откуда пришел.

Я быстро шагал вперед, ошеломленный всем происшедшим, и вскоре очутился на открытом месте, лишь кое-где поросшем деревьями. Прозрачная ясность неба, наступающая после заката солнца, уже сменялась темнотой. Небо темнело с каждой минутой, и звезды загорались одна за другой. Просветы меж деревьями, прогалины в лесной чаще, казавшиеся в ярком свете дня голубоватыми, становились теперь черными и таинственными.

Я шел вперед. Все кругом померкло. Черные верхушки деревьев вырисовывались на светлом фоне неба, а внизу все сливалось в бесформенную массу. Вскоре деревья поредели, а кустарник стал еще гуще. Потом он сменился унылым пространством, покрытым белым песком, а дальше стеной встала новая чаща.

Меня все время тревожил слабый шорох, раздававшийся справа. Сначала я решил, что это мне только чудится, так как стоило мне остановиться — и тотчас же наступала полнейшая тишина, нарушаемая лишь шелестом вечернего ветерка. Но как только я продолжал путь, моим шагам вторили еще чьи-то шаги.

Я удалился от чащи, держась поближе к открытым местам и делая время от времени неожиданные повороты, чтобы захватить врасплох своего преследователя, если только он существовал. Я не видел ничего подо-

зрительного, и все же ощущение чьего-то присутствия становилось все сильней. Я ускорил шаги, добрался до невысокого холма, перевалил через него и круто повернул в обратную сторону, не спуская, однако, с него глаз. Холм ясно вырисовывался на темневшем фоне неба.

Вскоре на этом фоне мелькнула какая-то бесформенная тень и сразу исчезла. Теперь я был уверен, что темнокожее существо снова крадется за мной. И к тому же я сделал еще одно печальное открытие: не было сомнения, что я заблудился.

Некоторое время я продолжал идти вперед, совершенно упавший духом, преследуемый своим тайным врагом. Кто бы он ни был, но у него не хватало смелости напасть на меня, а может быть, он просто выжидал благоприятного случая. Я упорно избегал леса. По временам я останавливался, прислушивался и вскоре почти убедил себя, что мой преследователь отстал или же вообще существовал только в моем расстроенном воображении. Тут я услышал шум моря. Я пошел быстро, почти побежал, и сразу же услышал, как позади меня кто-то споткнулся.

Мгновенно повернувшись, я пристально оглядел темневшие позади деревья. Одна черная тень, казалось, слилась с другой. Я прислушался, весь цепенея от страха, но услышал только, как кровь стучит у меня в висках. Решив, что нервы мои расстроены и слух обманывает меня, я снова решительно направился к морю.

Через несколько минут деревья поредели, и я вышел на голый низкий мыс, омываемый темной водой. Ночь была тихая и ясная, свет звезд отражался в гладкой поверхности моря. В некотором отдалении, на неровно выступающей гряде камней, вода слабо светилась. На западе зодиакальный свет сливался с желтоватым светом вечерней звезды. Берег тянулся далеко на восток, а с запада его скрывал мыс. Я сообразил, что дом Моро где-то западнее.

Позади меня треснул сучок и послышался шорох. Я обернулся и стал глядеть на темную стену деревьев. Видеть я ничего не мог или, вернее, видел слишком много. Каждая тень имела какую-то своеобразную форму, казалась настороженным живым существом, я постоял так с минуту, а потом, все время оглядываясь на деревья,

пошел к западу, чтобы пересечь мыс. Как только я двинулся с места, одна из теней зашевелилась и последовала за мной.

Сердце мое быстро забилось. Вскоре на западе показалась большая бухта, и я снова остановился. Бесшумная тень тоже остановилась в десятке шагов от меня. Маленькая светящаяся точка виднелась в дальнем конце бухты, весь серый песчаный берег был слабо освещен звездным светом. Огонек горел примерно в двух милях от меня. Чтобы снова выйти на берег, я должен был пересечь лес, полный жутких теней, и спуститься по поросшему кустарником склону.

Теперь я мог яснее разглядеть своего преследователя. Это не был зверь, так как он стоял на двух ногах. Я раскрыл рот, чтобы заговорить, но судорога свела мне горло. Сделав над собой усилие, я крикнул:

— Кто там?

Ответа не было. Я сделал шаг вперед. Он не двигался и только как будто насторожился. Я споткнулся о камень.

Это навело меня на удачную мысль. Не спуская глаз с темной фигуры, я нагнулся и поднял большой валун. Увидя мое движение, темная фигура быстро шарахнулась в сторону, как это делают собаки, и скрылась в темноте. Я вспомнил, как в школе мы отбивались от больших собак, обернул камень носовым платком, а платок обвязал вокруг кисти. В темноте послышался шорох, как будто мой преследователь отступал. Моя решимость сразу пропала. При виде убегающего противника я вздрогнул и покрылся испариной.

Прошло некоторое время, прежде чем я собрался с духом и, пройдя через деревья и кусты, спустился вниз, к берегу, по другую сторону мыса. Я бежал бегом и, выйдя из чащи на берег, тотчас же услыхал, что кто-то с треском следует за мной.

Совсем потеряв голову от страха, я пустился бежать по берегу. Позади раздался быстрый глухой топот. Я испустил дикий крик и побежал быстрее. Какие-то темные существа раза в три-четыре крупней кролика, вспугнутые мной, скачками промчались мимо меня в кусты. Никогда в жизни не забуду я этой ужасной погони. Я бежал у самой воды и по временам слышал топот, настигавший

меня. Далеко, безнадежно далеко горел желтый огонек. Вокруг было темно и тихо. Лишь топот слышался все ближе и ближе. За последнее время я сильно ослабел и теперь дышал со свистом, а в боку у меня так кололо, как будто туда вонзили нож. Я видел, что преследователь настигнет меня гораздо раньше, чем я успею добежать до ограды. В отчаянии, задыхаясь, я резко обернулся и, как только он приблизился ко мне, изо всех сил ударил его. При этом камень вылетел из платка, как из пращи.

Когда я повернулся, мой преследователь, бежавший на четвереньках, вскочил, и камень угодил ему прямо в левый висок. Послышался громкий удар, человек-зверь пошатнулся, оттолкнул меня и упал на песок, лицом прямо в воду. Там он остался лежать неподвижно.

Я не мог заставить себя приблизиться к этой черной массе. Там я и оставил его, около плещущей воды, под тихим светом мерцающих звезд, и, далеко обойдя это место, продолжал путь к желтому огоньку. С чувством глубокого облегчения я вскоре услыхал жалобный вой пумы, тот самый вой, который заставил меня уйти бродить по таинственному острову. И, несмотря на всю свою слабость, я собрал последние силы и пустился бежать на свет. Мне показалось, что чей-то голос зовет меня во мраке.

X

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КРИК

Приблизившись к дому, я увидел, что свет идет из открытой двери моей комнаты, и тотчас же где-то рядом, в темноте, послышался оклик Монтгомери:

— Прендик!

Я продолжал бежать. Оклик послышался снова. Я отозвался слабым голосом:

— Эй! — и в следующее мгновение, шатаясь, очутился возле него.

— Где вы были? — спросил он, отстраняя меня рукой, так, что свет, падавший из двери, бил мне прямо в лицо.— Мы оба были так заняты, что вспомнили о вас только полчаса назад.

Он ввел меня в комнату и усадил в шезлонг. Ослепленный светом, я ничего не видел.

— Мы никак не думали, что вы пойдете бродить по острову, не предупредив нас,— сказал он.— Я беспокоился. Но... что такое?.. — Последние силы оставили меня, голова моя упала на грудь. Он заставил меня выпить коньяку, вероятно, не без торжества.

— Ради бога, заприте дверь! — сказал я.

— Вероятно, вы встретились с какой-нибудь из наших достопримечательностей? — спросил он.

Заперев дверь, он снова повернулся ко мне. Он не задавал мне больше вопросов, но влил мне в рот еще коньяку с водой и заставил меня поесть. Я был в изнеможении. Он пробормотал, что забыл предупредить меня, и только тогда расспросил, когда я ушел из дому и что видел. Я коротко, отрывочными фразами отвечал ему.

— Скажите мне, что все это значит? — спросил я, едва владея собой.

— Ничего особенного, — ответил он. — Но, я думаю, с вас достаточно на сегодня.

Вдруг раздался раздирающий душу крик пумы. Монтгомери тихо выругался.

— Провалиться мне, если это место не такое же скверное, как Гауэр-стрит со своими котами.

— Монтгомери, что это за существо преследовало меня? — спросил я.— Был ли это зверь или человек?

— Если вы сейчас же не ляжете спать,— сказал он вместо ответа,— то к утру совсем сойдете с ума.

Я встал и подошел к нему вплотную.

— Что это было за существо? — повторил я.

Он посмотрел мне прямо в глаза и скривил рот. Взгляд его, минуту назад такой оживленный, вдруг потускнел.

— Судя по вашему рассказу,— сказал он,— это, вероятно, был призрак.

Меня охватило внезапное раздражение, которое, однако, исчезло так же быстро, как и возникло.

Я снова опустился в шезлонг и сжал голову руками. Пума опять принялась выть.

Монтгомери подошел ко мне сзади и положил мне руку на плечо.

— Послушайте, Прендик,— сказал он.— У меня не было ни малейшего желания брать вас на этот остров. Но все это не так страшно, как вам кажется, дружище. Просто нервы у вас совсем сдали. Послушайтесь меня и примите снотворное. Это... будет продолжаться еще несколько часов. Вы непременно должны заснуть, иначе я ни за что не ручаюсь.

Я не отвечал. Понурившись, я закрыл лицо руками. Он ушел и вскоре вернулся с маленькой склянкой, наполненной какой-то темной жидкостью. Он дал мне ее выпить. Я беспрекословно проглотил жидкость, и он помог мне лечь в гамак

Когда я проснулся, было уже совсем светло. Некоторое время я лежал, уставившись в потолок. Я обнаружил, что балки сделаны из корабельных шпангоутов. Повернув голову, я увидел, что на столе стоит завтрак. Я почувствовал голод и хотел было вылезти из гамака, но гамак предупредил мое намерение, перевернулся и вывалил меня на пол. Я упал на четвереньки и с трудом встал на ноги.

Потом я уселся за стол. Голова была тяжелая, в памяти мелькали смутные воспоминания о вчерашнем. Утренний ветерок задувал в незастекленное окно, и, завтракая, я испытывал приятное физическое удовлетворение. Вдруг внутренняя дверь, которая вела во двор, открылась. Я обернулся и увидел Монтгомери.

— Все в порядке? — спросил он.— Я страшно занят.

Он тотчас же захлопнул дверь, но немного погодя я заметил, что он забыл ее запереть.

Мне невольно припомнилось вчерашнее выражение его лица, а вместе с ним и все происшедшее. Вспоминая пережитые ужасы, я услышал крик. Теперь это уже не был крик пумы.

Не донеся куска до рта, я прислушался. Вокруг царила тишина, прерываемая лишь шелестом ветра. Я подумал, что это мне только послышалось.

Просидев так довольно долго, я снова принялся за еду, все еще прислушиваясь. Через некоторое время донесся новый крик, тихий и слабый. Я так и замер на месте. Этот крик потряс меня сильнее, чем все вопли, слышанные мною здесь. На этот раз я не мог ошибиться, я

не сомневался, что это были за слабые, дрожащие звуки: это были стоны, прерываемые рыданиями и мучительными вздохами. Это стонало уже не животное. Это были стоны терзаемого человеческого существа.

Поняв это, я вскочил на ноги и в три прыжка очутился у противоположной стены, схватился за ручку внутренней двери и широко распахнул ее.

— Прендик, стойте! — крикнул внезапно появившийся передо мной Монтгомери.

Залаяла и зарычала испуганная собака. В тазике, стоявшем у порога, была кровь, темная, с ярко-красными пятнами, и я почувствовал своеобразный запах карболки. Сквозь открытую дверь в неясной полутьме я увидел нечто привязанное к какому-то станку, все изрезанное, окровавленное и забинтованное. А потом все это заслонила седая и страшная голова старого Моро.

В одно мгновение он схватил меня за плечо своей окровавленной рукой и легко, как ребенка, швырнул обратно в комнату. Я растянулся на полу, дверь захлопнулась и скрыла от меня его гневное лицо. Я услышал, как ключ повернулся в замке, а затем раздался укоризненный возглас Монтгомери.

— Мог испортить дело всей моей жизни, — услышал я голос Моро.

— Он не понимает, в чем дело,— сказал Монтгомери и добавил еще что-то, чего я не расслышал.

— Но у меня пока нет времени,— произнес Моро.

Остальное я опять не разобрал. Я встал на ноги и стоял, весь дрожа, полный самых страшных подозрений. «Возможен ли такой ужас, как вивисекция человека?» — подумал я. Эта мысль сверкнула, как молния. И в моем затуманенном страхом мозгу возникло сознание страшной опасности.

XI

ОХОТА ЗА ЧЕЛОВЕКОМ

У меня мелькнула безрассудная надежда на спасение, когда я подумал, что наружная дверь моей комнаты еще открыта. Я теперь не сомневался, я был совершенно уверен, что Моро подвергал вивисекции людей.

С той самой минуты, как я услышал его фамилию, я старался связать странную звероподобность островитян с его омерзительными делами. Теперь, как мне казалось, я все понял. Мне припомнился его труд по переливанию крови. Существа, виденные мною, были жертвами каких-то чудовищных опытов!

Эти негодяи хотели успокоить меня, одурачить своим доверием, чтобы потом схватить и подвергнуть участи ужаснее самой смерти — пыткам, а затем самой гнусной и унизительной участи, какую только возможно себе представить,— присоединить меня к своему нелепому стаду. Я оглянулся в поисках какого-нибудь оружия. Но ничего подходящего не было. Тогда, как бы по наитию свыше, я перевернул шезлонг и, наступив на него ногой, оторвал ножку. Вместе с деревом оторвался и гвоздь, который сделал несколько грознее эту жалкую палицу. Я услышал приближающиеся шаги, резко распахнул дверь и увидел совсем рядом Монтгомери. Он собирался запереть наружную дверь.

Я занес свое оружие, намереваясь ударить его прямо в лицо, но он отскочил. Поколебавшись, я повернулся и бросился за угол дома.

— Прендик, стойте! — услышал я его удивленное восклицание.— Не будьте ослом.

«Еще минута,— подумал я,— и он бы запер меня, как кролика, чтобы подвергнуть вивисекции». Он показался из-за угла, и я снова услышал его оклик:

— Прендик!

Он пустился бежать за мной, не переставая кричать что-то мне вслед.

На этот раз я наудачу пустился к северо-востоку, перпендикулярно вчерашнему направлению. Стремглав мчась по берегу, я оглянулся назад и увидел, что с Монтгомери был и его слуга. Я взбежал на склон и повернул к востоку вдоль долины, с обеих сторон поросшей тростником. Я пробежал так около мили, выбиваясь из сил и слыша, как в груди у меня колотится сердце. Но, убедившись, что ни Монтгомери, ни его слуга более не преследуют меня, и изнемогая от усталости, круто повернул назад, туда, где, по моему предположению, был берег, а потом кинулся на землю в тени тростников.

Я долго лежал там, не смея шевельнуться и боясь даже подумать о дальнейших действиях. Дикий остров неподвижно расстилался под знойными лучами солнца, и я слышал лишь тонкое пение слетавшихся ко мне комаров. Рядом раздавался однообразный, усыпляющий плеск воды — это шумел прибой.

Около часу спустя я услышал голос Монтгомери, звавшего меня где-то далеко на севере. Это побудило меня подумать о том, как быть дальше. На острове, размышлял я, живут только эти два вивисектора и их принявшие звериный облик жертвы. Некоторых они могут, без сомнения, натравить на меня, если им это понадобится. Моро и Монтгомери, оба вооружены револьверами, я же, не считая этого жалкого куска дерева с небольшим гвоздем на конце, совершенно безоружен.

Я лежал до тех пор, пока меня не начали мучить голод и жажда. Тогда я по-настоящему осознал всю безвыходность своего положения. Я понятия не имел, как раздобыть пищу: я был слишком несведущ в ботанике, чтобы отыскать какие-нибудь съедобные коренья или плоды. Мне не из чего было сделать западню, чтобы поймать какого-нибудь из немногочисленных кроликов, бегавших по острову. Чем больше я обдумывал свое положение, тем яснее становилось мне, что выхода нет. Наконец, охваченный отчаянием, я подумал о тех звероподобных людях, которых видел в лесу. Вспоминая их, я старался найти хоть проблеск надежды. Я поочередно перебирал каждого в памяти, соображая, не может ли хоть кто-нибудь из них оказать мне помощь.

Вдруг послышался собачий лай, предупреждавший о новой опасности. Недолго думая, иначе меня нашли бы сразу, я схватил палку с гвоздем и стремглав кинулся на шум прибоя. Помню колючие кусты, шипы которых вонзались в меня, как иглы; я вырвался весь окровавленный, в лохмотьях и выбежал прямо к маленькой бухте на севере острова. Не колеблясь, я вошел в воду и, перейдя вброд бухту, очутился по колена в неглубокой речке. Выбравшись наконец на западный берег и чувствуя, как колотится у меня в груди сердце, я заполз в густые папоротники, ожидая конца. Я услышал, как собака — она была только одна — залаяла около колючих кустов.

Больше я ничего не слышал и решил, что ушел от погони.

Проходили минуты, но ничто не нарушало больше тишину. После часа спокойствия мужество стало возвращаться ко мне.

Теперь я уже не испытывал ни страха, ни отчаяния. Я как бы переступил пределы того и другого. Я понимал, что погиб безвозвратно, и эта уверенность делала меня способным на все. Мне даже хотелось встретиться с Моро лицом к лицу. Речка, которую я перешел вброд, напомнила мне, что если дело дойдет до крайности, то у меня всегда останется спасение от пыток: они не смогут помешать мне утопиться. Я уже готов был решиться на это, но какое-то непонятное желание увидеть все до конца, какой-то странный интерес наблюдателя удержал меня. Я расправил усталые и израненные колючками члены и огляделся. Вдруг неожиданно из зеленых зарослей высунулось черное лицо и уставилось на меня.

Я узнал обезьяноподобное существо, которое встречало на берегу баркас. Оно висело теперь на склоненном стволе пальмы. Я схватил палку и встал, пристально глядя на него. Он принялся что-то бормотать.

— Ты, ты, ты,— вот и все, что я мог сначала разобрать. Внезапно он соскочил с дерева и, раздвинув папоротники, стал с любопытством смотреть на меня.

Я не чувствовал к этому существу того отвращения, которое испытывал при встречах с остальными людьми-животными.

— Ты,— сказал он,— из лодки.

Все-таки это был человек: как и слуга Монтгомери, он умел говорить.

— Да,— сказал я.— Я приплыл в лодке с корабля

— О! — сказал он, и его блестящие бегающие глаза стали ощупывать меня, мои руки, палку, которую я держал, ноги, лохмотья одежды, порезы и царапины, нанесенные колючками. Он был, казалось, чем-то удивлен. Глаза его снова устремились на мои руки. Он вытянул свою руку и стал медленно считать пальцы.

— Один, два, три, четыре, пять — да?

Я не понял, что он хотел этим сказать. Впоследствии я узнал, что у большинства этих звероподобных людей

были уродливые руки, которым недоставало иногда целых трех пальцев. Думая, что это своего рода приветствие, я проделал то же самое. Он радостно оскалил зубы. Затем его беспокойные глаза снова забегали. Он сделал быстрое движение и исчез. Папоротники, где он стоял, с шелестом сомкнулись.

Я вышел вслед за ним из зарослей и, к своему удивлению, увидел, что он раскачивается на одной тонкой руке, уцепившись за петлистую лиану, которая спускалась с дерева. Он висел ко мне спиной.

— Эй! — сказал я.

Он быстро спрыгнул и повернулся ко мне.

— Послушай,— сказал я.— Где бы мне достать поесть?

— Поесть? — повторил он.— Мы должны есть, как люди.— Он снова посмотрел на свои зеленые качели.— В хижинах.

— Но где же хижины?

— О!

— Я здесь в первый раз.

Он повернулся и быстро пошел прочь. Все движения его были удивительно проворны.

— Иди за мной,— сказал он.

Я пошел, чтобы узнать все до конца.

Я догадывался, что хижины — это какие-нибудь первобытные жилища, где он обитает вместе с другими. Быть может, они окажутся миролюбивыми, быть может, я сумею с ними договориться. Я еще и не подозревал, насколько они были лишены тех человеческих качеств, которыми я их наделил.

Мой обезьяноподобный спутник семенил рядом со мной; руки его висели, челюсть сильно выдавалась вперед. Мне было любопытно узнать, насколько в нем сохранились воспоминания о прошлом.

— Давно ты на этом острове? — спросил я его.

— Давно? — переспросил он.

И при этом поднял три пальца. По-видимому, он был почти идиот. Я попытался выяснить, что он хотел сказать, но, очевидно, ему это надоело. После нескольких вопросов он вдруг бросил меня и полез за каким-то плодом на дерево. Потом сорвал целую пригоршню колючих орехов и принялся их грызть. Я обрадовался:

это была хоть какая-то еда. Я попробовал задать ему еще несколько вопросов, но он тараторил в ответ что-то невпопад. Лишь немногие его слова имели смысл, остальное же было как бы заучено попугаем. Я был так поглощен всем этим, что почти не замечал дороги. Скоро мы очутились среди каких-то деревьев, черных и обугленных, а потом вышли на голое место, покрытое желтовато-белой корой. По земле стлался дым, щипавший мне нос и глаза своими едкими клубами. Справа за голой, каменистой возвышенностью виднелась гладкая поверхность моря. Извивающаяся тропинка вдруг свернула вниз, в узкую лощину между двумя бесформенными грудами шлака. Мы спустились туда.

Лощина казалась особенно темной после ослепительного солнечного света, игравшего на усыпанной кусками серы желтой поверхности. Склоны становились все круче и сближались между собой. Красные и зеленые пятна запрыгали у меня перед глазами. Вдруг мой проводник остановился.

— Дом,— сказал он, и я очутился перед пещерой, которая сначала показалась мне совершенно темной.

Я услышал странные звуки и, чтобы лучше видеть, стал левой рукой протирать глаза. До меня доносился какой-то неприятный запах, какой бывает в плохо вычищенных обезьяньих клетках. Дальше, за расступившимися скалами, виднелся пологий, одетый зеленью и залитый солнцем склон, и свет узкими пучками проникал с обеих сторон в темную глубину пещеры.

XII

ГЛАШАТАИ ЗАКОНА

Что-то холодное коснулось моей руки. Я вздрогнул и увидел совсем рядом розоватое существо, очень похожее на ребенка с ободранной кожей. У него были вкрадчивые, но отталкивающие черты ленивца: низкий лоб, медленные движения. Когда глаза мои привыкли к темноте, я стал яснее видеть окружающее. Маленькое ленивцеподобное существо пристально разглядывало меня. Проводник мой куда-то скрылся.

Пещера оказалась узким ущельем между высокими стенами лавы, трещиной в ее застывшем извилистом потоке. Густые заросли папоротников и пальм образовали темные, хорошо укрытые логовища. Извилистое наклонное ущелье имело в ширину не более трех шагов и было загромождено кучами гниющих плодов и всяких других отбросов, распространявших удушливое зловоние.

Маленькое розовое существо, похожее на ленивца, все еще смотрело на меня, когда у отверстия ближайшего логовища появился мой обезьяноподобный проводник и поманил меня. В тот же миг какое-то неповоротливое чудовище выползло из другого логовища и застыло бесформенным силуэтом на фоне яркой зелени, глядя на меня во все глаза. Я колебался и готов был бежать назад той же дорогой, что привела меня сюда, но потом решился идти до конца и, взяв за середину свою палку с гвоздем, заполз вслед за своим проводником в вонючую, тесную берлогу.

Она была полукруглая, наподобие половинки дупла, и около каменной стены, замыкавшей ее изнутри, лежала груда кокосовых орехов и всевозможных плодов. Несколько грубых посудин из камня и дерева стояли на полу, а одна — на кое-как сколоченной скамье. Огня не было. В самом темном углу пещеры сидело бесформенное существо, проворчавшее что-то, когда я вошел. Обезьяно-человек стоял на едва освещенном пороге этого жилища и протягивал мне расколотый кокосовый орех, а я тем временем заполз в угол и сел на землю. Я взял орех и принялся есть, насколько мог спокойно, несмотря на сильное волнение и почти невыносимую духоту пещеры. Розовое существо стояло теперь у входа в берлогу, и еще кто-то с темным лицом и блестящими глазами пристально смотрел на меня через его плечо.

— Эй,— произнесла таинственная тварь, сидевшая напротив меня.

— Это человек! Это человек! — затараторил мой проводник.— Человек. Человек, живой человек, как и я.

— Заткнись,— ворчливо произнес голос из темноты.

Я ел кокосовый орех в напряженном молчании. Изо всех сил всматривался я в темноту, но не мог больше ничего различить.

— Это человек,— повторил голос.— Он пришел жить с нами?

Голос был хриплый, с каким-то особенным, поразившим меня присвистом. Но произношение его было удивительно правильно.

Обезьяно-человек выжидательно поглядел на меня. Я понял его немой вопрос.

— Он пришел с вами жить,— утвердительно сказал я.

— Это человек. Он должен узнать Закон.

Теперь я стал различать какую-то темную груду в углу, какие-то смутные очертания сгорбленной фигуры. В берлоге стало совсем темно, потому что у входа появились еще две головы. Рука моя крепче сжала палку. Сидевший в темном углу сказал громче:

— Говори слова.

Я не понял.

— Не ходить на четвереньках — это Закон,— проговорил он нараспев.

Я растерялся.

— Говори слова,— сказал, повторив эту фразу, обезьяно-человек, и стоявшие у входа в пещеру эхом вторили ему каким-то угрожающим тоном.

Я понял, что должен повторить эту дикую фразу. И тут началось настоящее безумие. Голос в темноте затянул какую-то дикую литанию, а я и все остальные хором вторили ему. В то же время все, раскачиваясь из стороны в сторону, хлопали себя по коленям, и я следовал их примеру. Мне казалось, что я уже умер и нахожусь на том свете. В темной пещере ужасные темные фигуры, на которые то тут, то там падали слабые блики света, одновременно раскачивались и распевали:

— Не ходить на четвереньках — это Закон. Разве мы не люди?

— Не лакать воду языком — это Закон. Разве мы не люди?

— Не есть ни мяса, ни рыбы — это Закон. Разве мы не люди?

— Не обдирать когтями кору с деревьев — это Закон. Разве мы не люди?

— Не охотиться за другими людьми — это Закон. Разве мы не люди?

И так далее, от таких диких запретов до запретов на

поступки, как мне тогда показалось, безумные, немыслимые и потрясающе непристойные. Нами овладел какой-то музыкальный экстаз, мы распевали и раскачивались все быстрее, твердя этот невероятный Закон. Внешне я как будто заразился настроением этих звероподобных людей, но в глубине моей души боролись отвращение и насмешка. Мы перебрали длинный перечень запретов и начали распевать новую формулу:

— Ему принадлежит Дом страдания.

— Его рука творит.

— Его рука поражает.

— Его рука исцеляет.

И так далее, снова целый перечень, который почти весь показался мне тарабарщиной о Нем, кто бы он ни был. Я мог бы подумать, что все это сон, но никогда не слышал, чтобы пели во сне.

— Ему принадлежит молния, — пели мы.

— Ему принадлежит глубокое соленое море.

У меня родилось ужасное подозрение, что Моро, превратив этих людей в животных, вложил в их бедные мозги дикую веру, заставил их боготворить себя. Но я слишком хорошо видел сверкавшие зубы и острые когти сидевших вокруг, чтобы перестать петь.

— Ему принадлежат звезды на небесах.

Наконец пение кончилось. Я увидел, что все лицо обезьяно-человека покрыто пòтом, и глаза мои, привыкшие теперь к темноте, отчетливее рассмотрели тварь в углу, откуда слышался хриплый голос. Она была ростом с человека, но как будто покрыта темно-серой шерстью, почти как у шотландских терьеров.

Кто была она?

Кто были все они?

Представьте себя в окружении самых ужасных калек и помешанных, каких только может создать воображение, и вы хоть отчасти поймете, что я испытал при виде этих странных карикатур на людей.

— У него пять пальцев, пять пальцев, пять пальцев, как у меня,— бормотал обезьяно-человек.

Я вытянул руки. Серая тварь в углу наклонилась вперед.

— Не ходить на четвереньках — это Закон. Разве мы не люди? — снова сказала она.

Она протянула свою уродливую лапу и схватила мои пальцы. Ее лапа была вроде оленьего копыта, из которого вырезаны когти. Я чуть не вскрикнул от неожиданности и боли. Эта тварь наклонилась еще ниже и рассматривала мои ногти, она сидела так, что свет упал на нее, и я с дрожью отвращения увидел, что это не лицо человека и не морда животного, а просто какая-то копна серых волос с тремя еле заметными дугообразными отверстиями для глаз и рта.

— У него маленькие когти,— сказало волосатое чудовище.— Это хорошо.

Оно отпустило мою руку, и я инстинктивно схватился за палку.

— Надо есть коренья и травы — такова его воля,— произнес обезьяно-человек.

— Я глашатай Закона,— сказало серое чудовище.— Сюда приходят все новички изучать Закон. Я сижу в темноте и возвещаю Закон.

— Да, это так,— подтвердило одно из существ, стоявших у входа.

— Ужасная кара ждет того, кто нарушит Закон. Ему нет спасения.

— Нет спасения,— повторили звероподобные люди, украдкой косясь друг на друга.

— Нет спасения,— повторил обезьяно-человек.— Нет спасения. Смотри! Однажды я совершил провинность, плохо поступил. Я все бормотал, бормотал, перестал говорить. Никто не мог меня понять. Меня наказали, вот на руке клеймо. Он добр, он велик.

— Нет спасения,— сказала серая тварь в углу.

— Нет спасения,— повторили звероподобные люди, подозрительно косясь друг на друга.

— У каждого есть недостаток,— сказал глашатай Закона.— Какой у тебя недостаток, мы не знаем, но узнаем потом. Некоторые любят преследовать бегущего, подстерегать и красться, поджидать и набрасываться, убивать и кусать, сильно кусать, высасывая кровь... Это плохо.

— Не охотиться за другими людьми — это Закон. Разве мы не люди? Не есть ни мяса, ни рыбы — это Закон. Разве мы не люди?

— Нет спасения,— сказало пятнистое существо, стоявшее у входа.

— У каждого есть недостаток,— повторил глашатай Закона.— Некоторые любят выкапывать руками и зубами корни растений, обнюхивать землю... Это плохо.

— Нет спасения,— повторили стоявшие у входа.

— Некоторые скребут когтями деревья, другие откапывают трупы или сталкиваются лбами, дерутся ногами или когтями, некоторые кусаются безо всякой причины, некоторые любят валяться в грязи.

— Нет спасения,— повторил обезьяно-человек, почесывая ногу.

— Нет спасения,— повторило маленькое розовое существо, похожее на ленивца.

— Наказание ужасно и неминуемо. Потому учи Закон. Говори слова.— И он снова принялся твердить слова Закона, и снова я вместе со всеми начал петь и раскачиваться из стороны в сторону.

Голова моя кружилась от этого бормотания и зловония, но я не останавливался в надежде, что какой-нибудь случай меня выручит.

— Не ходить на четвереньках — это Закон. Разве мы не люди?

Мы подняли такой шум, что я не заметил переполоха снаружи, пока кто-то, кажется, один из двух свиноподобных людей, которых я уже видел в лесу, не просунул головы над плечом маленького розового существа и возбужденно не закричал чего-то, чего я не расслышал. Тотчас же исчезли все стоявшие у входа, вслед за ними бросился обезьяно-человек, следом — существо, сидевшее в углу. Я увидел, что оно было огромно, неуклюже и покрыто серебристой шерстью. Я остался один.

Едва я успел дойти до выхода, как услышал лай собаки.

Мгновенно я выбежал из пещеры со своей палкой в руке, весь дрожа. Там, повернувшись ко мне своими неуклюжими спинами, стояли около двадцати звероподобных людей, их уродливые головы глубоко ушли в плечи. Они возбужденно жестикулировали. Другие полузвериные лица вопросительно выглядывали из берлог. Взглянув в ту сторону, куда они смотрели, я увидел под деревьями у входа в ущелье бледное, искаженное яростью лицо Моро. Он удерживал собаку, рвавшуюся с поводка. Следом за ним с револьвером в руке шел Монтгомери.

Секунду я стоял, пораженный ужасом.

Потом обернулся и увидел, что сзади ущелье загородило, надвигаясь на меня, звероподобное чудовище с огромным серым лицом и маленькими сверкавшими глазками. Я осмотрелся и увидел справа от себя, в десятке шагов, узкую расщелину в каменной стене, через которую в пещеру косо падала полоса света.

— Ни с места! — крикнул Моро, как только заметил мое движение в сторону.— Держите его! — крикнул он.

Все повернулись и уставились на меня. По счастью, их звериные мозги соображали медленно.

Я кинулся на неуклюжее чудовище, которое повернулось, чтобы посмотреть, чего хочет Моро, и сбил его с ног. Желая схватить меня, оно взмахнуло руками, но не поймало меня. Маленькое ленивцеподобное существо бросилось на меня, но я перескочил через него, ударив по его безобразному лицу палкой с гвоздем. В следующее мгновение я уже карабкался по отвесной расщелине, которая служила здесь своего рода дымоходом. Позади меня раздавались вой и крики:

— Лови его! Держи!

Серое существо бросилось за мной и втиснуло свое огромное туловище в расщелину.

— Лови его, лови! — вопили все.

Я выкарабкался из расщелины на желтую равнину к западу от обиталища звероподобных людей.

Эта расщелина спасла меня: узкая и крутая, она задержала преследователей. Я побежал вниз по белому крутому склону с несколькими редкими деревьями и добрался до лощины, заросшей высоким тростником. Отсюда я попал в темную чащу кустарника, где было так сыро, что вода хлюпала под ногами. Только когда я нырнул в тростник, мои ближайшие преследователи показались на вершине. За несколько минут я пробрался сквозь кустарник. Воздух звенел от угрожающих криков. Я слышал позади себя шум погони, стук камней и треск веток. Некоторые из моих преследователей рычали, совершенно как дикие звери. Слева залаяла собака. Я услышал голоса Моро и Монтгомери и круто повернул вправо. Мне показалось даже, будто Монтгомери крикнул мне, чтобы я не останавливался, если дорожу жизнью.

Скоро почва у меня под ногами стала болотистой и вязкой. Я был в таком отчаянии, что очертя голову пустился по ней, увязая по колена, и с трудом добрался до тропинки, петлявшей в тростнике. Крики моих преследователей теперь слышались левее. Я спугнул три странных розовых животных величиной с кошку, и они скачками бросились прочь. Тропинка шла в гору, она вывела меня на новую желтую равнину, а оттуда опять вниз, к тростникам.

Вдруг она повернула вдоль отвесного склона оврага, который преградил мне путь так же неожиданно, как забор в английском парке. Я бежал во весь дух и не заметил оврага, пока с разгона не полетел в него вниз головой, вытянув руки.

Я упал прямо в колючие кусты и встал весь ободранный, в крови, с порванным ухом. Овраг был каменистый, поросший кустами, по дну его протекал ручей, а над ручьем стлался туман. Меня поразило, откуда взялся туман в такой жаркий день, но удивляться было некогда. Я повернул вправо, вниз по ручью, надеясь выйти к морю и там утопиться. Тут я заметил, что при падении потерял свою палку с гвоздем.

Скоро овраг стал у́же, и я неосмотрительно вошел в ручей. Но я тут же выскочил из него, потому что вода была горячая, почти как кипяток. Я заметил, что по ее поверхности плыла тонкая сернистая накипь. Почти тотчас же за поворотом оврага показался голубеющий горизонт. Близкое море отражало солнце мириадами своих зеркальных граней. Впереди была смерть. Но я был возбужден и тяжело дышал. Кровь текла у меня по лицу и горячо струилась по жилам. Я ликовал, потому что удалось уйти от преследователей. Мне не хотелось топиться. Я обернулся и стал вглядываться в даль.

Я прислушался. Кроме жужжания комаров и стрекотания каких-то маленьких насекомых, прыгавших в колючих кустах, вокруг стояла мертвая тишина. Но вот послышался собачий лай, слабый шум, щелканье бича и голоса. Они то становились громче, то снова слабели. Шум понемногу удалялся вверх по ручью и, наконец, совершенно затих. На некоторое время я избавился от погони.

Но теперь я знал, как мало помощи можно ждать от звероподобных людей.

XIII
ПЕРЕГОВОРЫ

Я снова повернулся и пошел к морю. Горячий ручей растекся по тинистой песчаной отмели, где ползало множество крабов и каких-то длиннотелых многоногих животных; услышав мои шаги, они сразу обратились в бегство. Я дошел до самого моря, и мне показалось, что я спасен. Обернувшись назад, я стал смотреть на густую зелень позади меня, словно шрамом, прорезанную едва видным оврагом. Я был слишком взволнован и, по правде говоря (хотя люди, которые никогда не испытывали опасности, не поверят мне), слишком отчаялся, чтобы умирать.

Мне пришла в голову мысль, что у меня есть еще выход. Пока Моро и Монтгомери вместе со звероподобными людьми обшаривают остров в глубине, не могу ли я обойти его по берегу и добраться до ограды? Что, если обойти их с фланга, выломать из ограды камень, сбить замок с маленькой двери и найти какой-нибудь нож, пистолет или другое оружие, а когда они вернутся, вступить в бой? Во всяком случае, я мог бы дорого продать свою жизнь.

Я повернул к западу и пошел по берегу моря. Заходящее солнце слепило меня. Слабый тихоокеанский прилив поднимался с тихим журчанием.

Берег свернул к югу, и солнце очутилось справа от меня. И вдруг далеко впереди из кустов появились сначала одна, а потом несколько фигур. Это были Моро с собакой, Монтгомери и еще двое. Увидя их, я остановился.

Они тоже увидели меня и стали приближаться, размахивая руками. Я стоял, ожидая их. Оба звероподобных человека побежали вперед, чтобы отрезать мне путь к кустам. Монтгомери спешил прямо ко мне. Моро с собакой следовал за ним.

Я, наконец, опомнился, побежал к морю и бросился в воду. Но у берега было очень мелко. Я прошел не

менее тридцати ярдов, прежде чем погрузился по пояс. Видно было, как рыбы удирали от меня в разные стороны.

— Что вы делаете! — крикнул Монтгомери.

Я повернулся к ним, стоя по пояс в воде. Монтгомери остановился, задыхаясь, на самом краю берега. Его лицо было багровым от бега, длинные льняные волосы растрепались, а отвисшая нижняя губа открывала редкие зубы. Тем временем подошел Моро. Лицо его было бледно и решительно; собака залаяла на меня. У обоих в руках были хлысты. Из-за их спин на меня во все глаза глядели звероподобные люди.

— Что делаю? Хочу утопиться,— ответил я.

Монтгомери и Моро переглянулись.

— Почему? — спросил Моро.

— Потому что это лучше, чем подвергнуться вашим пыткам.

— Говорил я вам,— сказал Монтгомери, и Моро что-то тихо ответил.

— Почему вы думаете, что я подвергну вас пыткам? — спросил Моро.

— Потому что я все видел,— ответил я.— И вот эти... вот они!

— Тс! — сказал Моро и предостерегающе поднял руку.

— Я не дамся, — сказал я. — Это были люди. А что они теперь? Но со мной у вас ничего не выйдет.

Я взглянул через их головы. На берегу стоял Млинг, слуга Монтгомери, и одно из закутанных в белое существ с баркаса. Дальше, в тени деревьев, я увидел маленького обезьяно-человека и еще несколько смутных фигур.

— Кто они теперь? — спросил я, указывая на них и все больше повышая голос, чтобы они услышали меня.— Они были людьми, такими же людьми, как вы сами, а вы их сделали животными, вы их поработили и все же боитесь их. Эй, слушайте! — крикнул я, обращаясь к звероподобным людям и указывая на Моро.— Слушайте! Разве вы не видите, что они оба еще боятся вас, трепещут перед вами? Почему же вы тогда боитесь их? Вас много...

— Прендик! — крикнул Монтгомери. — Ради бога замолчите!

— Прендик! — подхватил и Моро.

Они кричали оба вместе, стараясь заглушить мой голос. А за их спинами виднелись угрожающие лица звероподобных людей, с уродливо висящими руками и сгорбленными спинами. Мне тогда казалось, они старались понять меня, припомнить что-то из своего человеческого прошлого.

Я продолжал кричать, но что, помню плохо. Кажется, что надо убить Моро и Монтгомери, что их нечего бояться. Эти мысли я вложил в головы звероподобных людей на собственную погибель. Я увидел, как зеленоглазый человек в темных лохмотьях, которого я повстречал в первый вечер своего приезда, вышел из-за деревьев, и остальные последовали за ним, чтобы лучше слышать меня.

Наконец я замолчал, переводя дух.

— Выслушайте меня,— сказал решительным голосом Моро,— а потом говорите все, что угодно.

— Ну? — сказал я.

Он откашлялся, подумал и затем воскликнул:

— Латынь, Прендик, я буду говорить на скверной школьной латыни! Но постарайтесь все же понять! Hi non sunt homines, sunt animalia qui nos habemus...[1], в общем... подвергли вивисекции. Человекообразовательный процесс. Я вам все объясню. Выходите на берег.

Я засмеялся.

— Ловко придумано! — сказал я.— Они разговаривают, строят жилища, готовят еду. Они были людьми. Так я и выйду на берег!

— Здесь очень глубоко и полно акул.

— Именно это мне и нужно,— сказал я.— Быстро и надежно. Прощайте!

— Подождите! — Он вынул из кармана что-то блестящее, сверкнувшее на солнце, и бросил на землю.

— Это заряженный револьвер,— сказал он.— Монтгомери сделает то же самое. Потом мы отойдем по берегу на расстояние, которое вы сами укажете. Тогда вы выйдете и возьмете револьверы.

— Не выйдет. У вас, конечно, есть еще третий.

— Подумайте хорошенько, Прендик. Во-первых, я не

---

[1] Они не люди, а животные, которых мы... (*лат.*)

звал вас на этот остров. Во-вторых, мы усыпили вас вчера и могли делать с вами что хотели, и, наконец, подумайте, ведь теперь ваш первый страх уже прошел и вы способны соображать,— разве характер Монтгомери подходит к той роли, которую вы ему приписываете? Мы гнались за вами для вашего же блага. Этот остров населен множеством злобных существ. Зачем нам стрелять в вас, когда вы сами только что хотели утопиться?

— А зачем вы напустили на меня своих людей там, в пещере?

— Мы хотели схватить вас и избавить от опасности. А потом мы намеренно потеряли ваш след... для вашего же спасения.

Я задумался. Все это казалось правдоподобным. Но тут я вспомнил кое-что другое.

— Там, за оградой, я видел...

— Это была пума...

— Послушайте, Прендик,— сказал Монтгомери,— вы упрямый осел. Выходите из воды, берите револьверы, и поговорим. Ничего другого не остается.

Должен сознаться, что в то время и, по правде сказать, всегда я не доверял Моро и боялся его. Но Монтгомери я понимал.

— Отойдите в сторону,— сказал я и, немного подумав, прибавил:— И поднимите руки.

— Этого сделать мы не можем,— сказал Монтгомери, выразительно кивая назад.— Слишком унизительно.

— Ну, ладно, отойдите тогда к деревьям, — сказал я.

— Вот идиотство! — буркнул Монтгомери.

Оба повернулись туда, где стояли на солнце, отбрасывая длинные тени, шесть или семь уродов — рослые, живые, осязаемые и все же какие-то нереальные. Монтгомери щелкнул хлыстом, и они тотчас врассыпную бросились за деревья. Когда Монтгомери и Моро отошли на расстояние, которое показалось мне достаточным, я вышел на берег, поднял и осмотрел револьверы. Чтобы удостовериться в отсутствии обмана, я выстрелил в круглый кусок лавы и с удовлетворением увидел, как он рассыпался в темный порошок. Однако я все еще колебался.

— Ладно, рискну,— сказал я наконец и, держа по

револьверу в каждой руке, направился к Моро и Монтгомери.

— Вот так-то лучше,— спокойно сказал Моро.— Ведь я потерял все утро из-за ваших проклятых выдумок.

И с оттенком презрения, пристыдив меня, они с Монтгомери повернулись и молча пошли вперед.

Кучка звероподобных людей все еще стояла среди деревьев. Я прошел мимо них, стараясь сохранять спокойствие. Один хотел было последовать за мной, но как только Монтгомери щелкнул хлыстом, сразу обратился в бегство. Остальные молча следили за нами. Быть может, когда-то они были животными. Но я никогда еще не видел животных, пытающихся размышлять.

XIV

ОБЪЯСНЕНИЯ ДОКТОРА МОРО

— А теперь, Прендик, я вам все объясню,— сказал доктор Моро, когда мы утолили голод и жажду.— Должен сознаться, что вы самый деспотический гость, с каким я когда-либо имел дело. Предупреждаю,— это последняя уступка, которую я вам делаю. В следующий раз, если вы опять будете угрожать самоубийством, я и пальцем не пошевельну, несмотря на все неприятные последствия.

Он сидел в шезлонге, держа своими белыми тонкими пальцами наполовину выкуренную сигару. Висячая лампа освещала его седые волосы; он задумчиво смотрел через маленькое окошко на мерцавшие звезды. Я сел как можно дальше от него, по другую сторону стола, с револьверами в руке. Монтгомери не было. Мне не особенно хотелось очутиться с ними обоими в этой тесной комнате.

— Значит, вы признаете, что подвергнутое вивисекции человеческое существо, как вы его называли, в конце концов всего только пума? — спросил Моро.

Он заставил меня посмотреть на этот ужас за оградой и убедиться, что это не человек.

— Да, это пума,— сказал я.—Она еще жива, но до того изрезана и искалечена, что я молю бога никогда больше не сподобить меня увидеть такое. Из всех гнусных...

— Оставим это,— сказал Моро.— Избавьте меня по крайней мере от ваших юношеских бредней. Монтгомери был таким же. Вы признаете, что это пума. Теперь сидите смирно, а я буду излагать вам свои физиологические теории.

Начав свою лекцию тоном человека, крайне раздосадованного, он понемногу увлекся и объяснил мне всю сущность своей работы. Говорил он очень просто и убедительно. По временам в голосе его звучала горькая насмешка. Скоро я почувствовал, что краснею от стыда за себя.

Оказалось, что существа, которых я видел, никогда не были людьми. Это были животные, которые обрели человеческий облик в результате поразительных успехов вивисекции.

— Вы упускаете из виду, что̀ может сделать искусный вивисектор с живым существом,— сказал Моро.— Я же удивляюсь только, почему то, что я здесь сделал, не было сделано уже давно. Слабые попытки вроде ампутации, вырезывания языка, удаления различных органов, конечно, делались не раз. Вы, без сомнения, знаете, что косоглазие может быть вызвано и, наоборот, излечено хирургическим путем. После удаления различных органов в человеческом организме происходят некоторые вторичные изменения: меняются пигменты, темперамент, характер образования жировых тканей. Вы, без сомнения, слышали обо всем этом?

— Конечно,— отвечал я,— но эти ваши уроды...

— Всему свое время,— сказал он, останавливая меня движением руки.— Я только начал. Это лишь самые обычные изменения. Хирургия может достичь гораздо большего, она способна не только разрушать, но и созидать. Вы, может быть, слышали о простой операции, которую делают при повреждении носа? Кусочек кожи вырезают со лба, заворачивают книзу на нос и приживляют в новом положении. Это как бы прививка части организма на нем самом. Перенесение материала с одного живого существа на другое также возможно, вспомните, например, о зубах. Обычно пересадка кожи и костей делается для скорейшего заживления. Хирург вставляет в рану нужные кости и прикрывает ее кожей, беря все это у живого или только что убитого животного. Вы

слышали, может быть, о петушиной шпоре, которую Хантер привил на шею быку? Вспомните еще о крысах-носорогах, которых делают алжирские зуавы. Эти уродцы фабрикуются тем же способом: отрезанные с хвостов полоски кожи перемещают на морду обыкновенной крысы и приживляют там в новом положении.

— Фабрикуются! — воскликнул я. — Вы хотите этим сказать...

— Да. Существа, которых вы видели, не что иное, как животные, которым нож придал новые формы. Изучению пластичности живых форм я посвятил всю свою жизнь. Я изучал это долгими годами, накапливая постепенно все больше и больше знаний. Я вижу, вы в ужасе, а между тем я не говорю ничего нового. Все это уже много лет лежало на поверхности практической анатомии, но ни у кого не хватало решимости заняться опытами. Я не ограничиваюсь только тем, что могу изменить внешний вид животного. Физиология, химическое строение организма также могут быть подвергнуты значительным изменениям, примером чему служит вакцинация и другие всевозможные прививки, которые, без сомнения, вам хорошо известны. Подобной же операцией является и переливание крови, с изучения которой я, собственно, и начал. Все это родственные случаи. Менее близкими этому и, вероятно, гораздо более сложными были операции средневековых хирургов, которые делали карликов, нищих-калек и всевозможных уродов. Следы этого искусства сохранились и до наших дней в подготовке балаганных фокусников и акробатов. Виктор Гюго рассказал нам об этом в своем «Человеке, который смеется»... Надеюсь теперь, моя мысль вам ясна? Вы начинаете понимать возможность пересадки ткани с одной части тела животного на другую или с одного животного на другого, возможность изменения химических реакций, происходящих в живом существе, характера его развития, действия его членов и даже изменения самой сущности его внутреннего строения?

— И все же никто еще не исследовал систематически и до конца эту необыкновенную область знания, пока я не занялся ею. Некоторые случайно наталкивались на нечто подобное при применении новейших достижений хирургии. Большинство таких случаев, которые

вы можете вспомнить, были открыты совершенно случайно тиранами, преступниками, дрессировщиками лошадей и собак, всякими необразованными, бездарными людьми, преследовавшими лишь корыстную цель. Я первый занялся этим вопросом, вооруженный антисептической хирургией и подлинно научным знанием законов развития живого организма.

— Но есть основания подозревать, что все это уже практиковалось втайне. Возьмем хотя бы сиамских близнецов... А в подземельях инквизиции... Конечно, главной целью инквизиторов была утонченная пытка, но, во всяком случае, некоторые из них должны были обладать известной научной любознательностью...

— Но,— прервал я его,— эти существа, эти животные говорят!

Он подтвердил это и продолжал доказывать, что пределы вивисекции не ограничиваются простыми физическими изменениями. Можно научить чему угодно даже свинью. Духовная область изучена наукой еще меньше физической. С помощью развивающегося в наши дни искусства гипнотизма мы заменяем старые наследственные инстинкты новыми внушениями, как бы делая прививки на почве наследственности. Многое из того, что мы называем нравственным воспитанием, есть только искусственное изменение и извращение природного инстинкта; воинственность превращается в мужественное самопожертвование, а подавленное половое влечение в религиозный экстаз. По словам Моро, главное различие между человеком и обезьяной заключается в строении гортани, в неспособности тонкого разграничения звуков — символов понятий, при помощи которых выражается мысль. В этом я с ним не согласился, но он довольно грубо пропустил мое возражение мимо ушей. Он повторил, что это именно так, и продолжал рассказывать о своей работе.

Я спросил его, почему он взял за образец человеческий облик. Мне казалось тогда и до сих пор кажется, что в этом его выборе крылась какая-то странная озлобленность против человечества.

Он сказал, что выбор был совершенно случайный.

— Конечно, я мог бы точно с таким же успехом переделывать овец в лам и лам в овец, но, мне кажется, есть что-то в человеческом облике, что более прият-

но эстетическому чувству, чем формы всех остальных животных. Впрочем, я не ограничивался созданием людей. Несколько раз...— Он помолчал с минуту.—Но как быстро промелькнули все эти годы! Я уже потерял день, спасая вашу жизнь, и теперь теряю целый час на объяснения.

— Но я все еще не понимаю вас,— возразил я.— Чем оправдываете вы себя, причиняя живым существам такие страдания? Единственное, что явилось бы для меня оправданием вивисекции, было бы применение ее для...

— Да, конечно,—перебил он меня.—Но я, как видите, иначе устроен. Мы с вами стоим на различных позициях. Вы материалист.

— Я вовсе не материалист,— горячо возразил я.

— С моей точки зрения, конечно, только с моей точки зрения. Потому что мы с вами расходимся именно в этом вопросе о страдании. До тех пор, покуда вы можете видеть мучения, слышать стоны, и это причиняет вам боль, покуда ваши собственные страдания владеют вами, покуда на страдании основаны ваши понятия о грехе, до тех пор, говорю вам, вы животное, вы мыслите немногим яснее животного. Это страдание...

Я нетерпеливо пожал плечами в ответ на его словесные ухищрения.

— Ах! Оно ведь так ничтожно! Разум, подлинно открытый науке, должен понимать всю его ничтожность! Быть может, нигде, за исключением нашей маленькой планеты, этого клубка космической пыли, который исчезнет из виду гораздо раньше, чем можно достигнуть ближайшей звезды, быть может, говорю вам, нигде во всей остальной вселенной не существует того, что мы называем страданием. Там нет ничего, кроме тех законов, которые мы ощупью открываем... И даже здесь, на земле, даже среди живых существ, что это, собственно, такое — страдание?

С этими словами он вынул из кармана перочинный нож, открыл маленькое лезвие и подвинул свой стул так, чтобы я мог видеть его бедро. Затем, спокойно и тщательно выбрав место, он вонзил себе в бедро нож и вынул его.

— Без сомнения, вы видели это раньше. Нет ни малейшей боли. Что же это доказывает? Способность чувствовать боль не нужна этому мускулу и потому не вложена в него. Чувствовать боль необходимо лишь коже, и

потому-то на бедре есть места, способные ее ощущать. Боль — это просто наш советчик, она, подобно врачу, предостерегает и побуждает нас к осторожности. Всякая живая ткань не чувствительна к боли, так же как всякий нерв. В восприятиях зрительного нерва нет и следа боли, действительной боли. Если вы пораните зрительный нерв, у вас просто возникнут огненные круги перед глазами, точно так же как и расстройство слухового нерва выражается просто шумом в ушах. Растения не чувствуют боли, низшие животные, подобные морским звездам и ракам, по-видимому, тоже. Что же касается людей, то чем выше они будут по своему интеллектуальному развитию, тем тщательнее станут заботиться о себе и тем менее будут нуждаться в боли — этом стимуле, ограждающем их от опасности. Я до сих пор не знаю ни одной бесполезной вещи, которую эволюция не устранила бы рано или поздно. А боль становится бесполезной.

— Кроме того, Прендик, я верующий, каким должен быть каждый здравомыслящий человек. Быть может, я больше вашего знаю о путях Творца, потому что пытался по-своему открыть его законы всю свою жизнь, тогда как вы, насколько я понял, занимались коллекционированием бабочек. И я повторяю вам: радость и страдание не имеют ничего общего ни с раем, ни с адом. Радость и страдание... Эх! Разве религиозный экстаз ваших теологов — это не райские гурии Магомета? Множество мужчин и женщин, живущих только радостями и страданиями, разве не носят они на себе, Прендик, печать зверя, от которого произошли! Страдание и радость — они существуют для нас только до тех пор, пока мы ползаем во прахе...

— Как видите, я продолжал свои исследования, идя по пути, по которому они сами меня вели. Это единственный путь для всякого исследователя... Я ставил вопрос, находил на него ответ и в результате получал новый вопрос. Возможно ли то или это? Вы не можете себе представить, что значат такие вопросы для исследователя, какая умственная жажда охватывает его! Вы не можете себе представить странную, непонятную прелесть стремлений мысли. Перед вами уже больше не животное, не создание единого творца, а только загадка. Жа-

лость... я вспоминаю о ней, как о чем-то давно забытом. Я желал — это было единственное, чего я желал,— изучить до конца пластичность живого организма.

— Но ведь это ужасно! — сказал я.

— До сих пор меня никогда не беспокоила нравственная сторона дела. Изучение природы делает человека в конце концов таким же безжалостным, как и сама природа. Я работал, думал лишь о своей цели, а то, что получалось... текло туда, в хижины... Прошло одиннадцать лет с тех пор, как мы прибыли сюда: я, Монтгомери и шестеро полинезийцев. Помню зеленое безмолвие острова и безбрежный простор океана, расстилавшегося вокруг нас, так явственно, как будто все было только вчера. Остров, казалось, был специально создан для меня.

Мы разгрузили судно и построили дом. Полинезийцы поставили себе у оврага несколько хижин. Я принялся за работу над тем, что привез с собой. Сначала у меня было несколько досадных неудач. Я начал с овцы и убил ее на второй день неосторожным движением скальпеля. Я принялся за вторую овцу, подверг ее ужасным страданиям, а потом заживил раны. Когда я кончил работу, она показалась мне совсем человеческим существом, но, взглянув на нее некоторое время спустя, я остался неудовлетворен. Разума у этого существа было не больше, чем у обыкновенной овцы. Постепенно меня охватил ужас. Чем больше я смотрел на нее, тем безобразнее она мне казалась, и, наконец, я убил это страшилище. Эти животные, лишенные всякого мужества, полны страха и страдания, у них нет даже искорки отважной решимости встретить боль лицом к лицу,— нет, они совсем не годились для того, чтобы создать человека.

— Я взял самца гориллы и, работая с бесконечным старанием, преодолевая одно препятствие за другим, сделал из него своего первого человека. Я работал много недель, днем и ночью. Особенно нуждался в переделке мозг; многое пришлось изменить, многое добавить. Когда я кончил и он лежал передо мной забинтованный, связанный и неподвижный, мне показалось, что это прекрасный образец негроидной расы. Только когда я перестал опасаться за его жизнь, я оставил его и вошел в эту комнату, где застал Монтгомери в таком же состоянии, в каком были и вы. Он слышал крики существа,

становившегося человеком, вроде тех, которые вас так взволновали. Сначала я не вполне открылся ему. Полинезийцы тоже видели и поняли кое-что. При виде меня они дрожали от страха. Я отчасти привлек на свою сторону Монтгомери, но труднее всего нам было удержать на острове полинезийцев. В конце концов трое из них все же бежали, и мы лишились яхты. Я долго обучал созданное мной существо — это продолжалось три или четыре месяца. Я научил его немного английскому языку, начаткам счета и даже азбуке. Но все это ему трудно давалось, хотя я и встречал менее понятливых идиотов. Мозг его был совсем чистой страницей: в нем не сохранилось никаких воспоминаний о том, чем он был раньше. Когда его раны совсем зажили, осталась только болезненная чувствительность и неловкость движений и он научился немного говорить, я привел его к полинезийцам, чтобы поселить среди них.

Сначала они страшно испугались, что немного обидело меня, потому что я был о нем высокого мнения; но он оказался таким ласковым и забавным, что со временем они привыкли к нему и занялись его воспитанием. Он быстро все схватывал, воспринимал и подражал всему, чему его обучали; он даже построил себе шалаш, который показался мне лучше их собственных хижин. Среди полинезийцев был один, в душе немного проповедник, и он научил его читать или по крайней мере узнавать буквы; он внушил ему также несколько элементарных понятий о нравственности, и, по-видимому, инстинкты гориллы в нем совершенно не проявлялись.

Я несколько дней отдыхал от работы и намеревался послать обо всем отчет в Англию, чтобы заинтересовать английских физиологов. Но однажды, гуляя, я набрел на созданное мной существо, оно сидело на дереве и бормотало что-то непонятное двум дразнившим его полинезийцам. Я пригрозил ему, объяснил недостойность такого поведения, вызвал в нем чувство стыда и вернулся домой, решив, что надо достигнуть лучших результатов, прежде чем везти свое творение в Англию. И я достиг лучших результатов, но так или иначе работа моя пропадала: в них снова просыпались упорные звериные инстинкты... Я все еще надеюсь на успех. Надеюсь преодолеть все препятствия... Эта пума...

— Вот вам и вся история. Полинезийцы все умерли. Один утонул в море, упав за борт баркаса, другой погиб, поранив пятку, в которую каким-то путем попал сок ядовитого растения. Трое уплыли на яхте, и я надеюсь, что они утонули. Последний... был убит. Я стал обходиться без них. Монтгомери сначала вел себя вроде вас, и тогда...

— Что случилось с последним полинезийцем? — резко спросил я.— С тем, который был убит?..

— Дело в том, что, сделав много человекоподобных существ, я в конце концов сделал одного...—Моро замялся.

— Ну?

— Его убили.

— Не понимаю,— сказал я.— Вы хотите сказать...

— Да, оно убило полинезийца. Убило и еще нескольких других существ, которых поймало. Мы охотились за ним два дня. Оно сорвалось с цепи случайно. Я никак не предполагал, что оно убежит. Оно не было закончено. Это был опыт. Получилось существо, не имевшее конечностей, с ужасной мордой, оно пресмыкалось наподобие змеи. Оно было разъярено болью и стало перекатываться по земле, как плавает морская свинья. Несколько дней оно скрывалось в лесу, уничтожая все, что попадалось ему на пути, пока мы не загнали его в северную часть острова. Мы разделились, чтобы окружить его. Монтгомери непременно хотел идти со мной. У того полинезийца было ружье, и когда мы нашли его тело, то увидели, что один из стволов изогнут в виде буквы «S» и прокушен почти насквозь... Монтгомери пристрелил чудовище... С тех пор я делал только людей или же мелких существ.

Он замолчал. Я наблюдал за выражением его лица.

— Так работаю я вот уже двадцать лет, считая девять лет в Англии, и в каждом вновь созданном мной существе есть изъяны, которые вызывают неудовлетворенность, побуждают к дальнейшим попыткам. Иногда я поднимаюсь над обычным уровнем, иногда опускаюсь ниже его, но никогда не достигаю идеала. Человеческий облик я придаю теперь животному почти без труда, я умею наделить его гибкостью и грациозностью или огромными размерами и силой, но все же и теперь у ме-

ня часто бывают затруднения с руками и когтями: они такие тонкие и чувствительные, что я не решаюсь свободно изменять их форму. Но главная трудность заключается в изменении формы мозга. Умственное развитие этих созданий бывает иногда непостижимо низким, со странными провалами. И совсем не дается мне нечто, чего я не могу найти, нечто лежащее в самой основе эмоций. Все стремления, инстинкты, желания, вредные для человечества, вдруг прорываются и захлестывают мое создание злобой, ненавистью или страхом. Вам эти твари кажутся странными и отталкивающими с первого взгляда, мне же после того, как я их окончу, они представляются бесспорно человеческими существами. И только после того, как я понаблюдаю за ними, уверенность эта исчезает. Обнаруживается сначала одна звериная черта, потом другая... Но я еще надеюсь победить. Всякий раз, как я погружаю живое существо в купель жгучего страдания, я говорю себе: на этот раз я выжгу из него все звериное, на этот раз я сделаю разумное существо. И собственно говоря, что такое десять лет? Человек формировался тысячелетиями...— Он грустно задумался.— Но я приближаюсь к цели... Эта пума...

Помолчав, он продолжал:

— А все же они возвращаются к своему первоначальному состоянию. Как только я оставляю их, зверь начинает выползать, проявляться...

Он снова замолчал.

— Вы держите свои создания в этих пещерах? — спросил я.

— Да. Я бросаю их, когда начинаю чувствовать в них зверя, и они сами быстро попадают туда. Все они боятся этого дома и меня. У них там некая пародия на человеческое общество. Монтгомери знает их жизнь, так как играет роль посредника. Он приучил нескольких из них служить нам. Мне кажется, хоть он и стыдится в этом сознаться, что он жалеет эти создания. Но это — его личное дело. Во мне они вызывают только чувство неудовлетворенности. Я ими больше не интересуюсь. Кажется, они следуют наставлениям обучавшего их проповедника-полинезийца и устроили жалкое подобие разумной жизни. Бедные твари! У них есть то, что они называют Законом. Они поют гимны, в которых гово-

рится, будто все принадлежит мне, их творцу. Они сами делают себе берлоги, собирают плоды, травы и даже заключают браки. Но я вижу их насквозь, вижу самую глубину их душ и нахожу там только зверя. Их звериные инстинкты и страсти продолжают жить и искать выхода... Все же они странные существа. Сложные, как и все живое. В них есть своего рода высшие стремления — частью тщеславие, частью бесплодное половое влечение, частью любопытство... Все это только смешит меня... Но я возлагаю большие надежды на эту пуму; я усиленно работаю над ее мозгом...

Он долго сидел молча. Мы оба были погружены в свои мысли.

— Ну,— сказал он наконец,— что вы обо всем этом думаете? Все ли еще боитесь меня?

Я взглянул на него и увидел лишь бледного, седого старика со спокойным взглядом. Это спокойствие делало его лицо почти красивым, и лишь великолепное сложение могло бы выделить его среди сотни добродушных стариков. Я вздрогнул. Вместо ответа я протянул ему оба револьвера.

— Оставьте их при себе,— сказал он, удерживая зевок.

Он встал, пристально посмотрел на меня и улыбнулся.

— Вы провели два бурных дня,— сказал он.— Я бы посоветовал вам уснуть. Я рад, что все выяснилось. Спокойной ночи!

Он задумчиво постоял на пороге и вышел через внутреннюю дверь. Я тотчас же запер на ключ наружную.

Потом я снова сел и сидел в каком-то отупении, чувствуя себя до того усталым, умственно и физически, что решительно не в силах был ни о чем думать. Темное окно, словно глаз, смотрело на меня. Наконец я заставил себя потушить лампу и лечь в гамак. Вскоре я заснул.

XV

ЗВЕРОПОДОБНЫЕ ЛЮДИ

Я проснулся рано. И сразу мне ясно вспомнился весь вчерашний разговор с Моро. Выбравшись из гамака, я подошел к двери и убедился, что она заперта. Потом я потрогал решетку окна и нашел ее достаточно прочной.

Поскольку эти человекоподобные существа были только уродливыми чудовищами, дикой пародией на людей, я не мог себе представить, чего от них можно ожидать, и это было гораздо хуже всякого определенного страха. Кто-то постучался в дверь, и я услышал невнятное бормотание Млинга. Я сунул в карман один из револьверов и, сжимая его рукоятку, открыл дверь.

— С добрым утром, сэр,— сказал он, внося, кроме обычного завтрака из овощей, плохо приготовленного кролика. Вслед за ним вошел Монтгомери. Его бегающие глаза скользнули по моей руке, засунутой в карман, и он криво усмехнулся.

Пуму в тот день оставили в покое, чтобы зажили раны, но Моро все же предпочитал уединение и не присоединился к нам. Я принялся расспрашивать Монтгомери, чтобы выяснить образ жизни звероподобных людей. Особенно мне хотелось знать, что удерживало этих страшилищ от нападения на Моро и Монтгомери и от уничтожения друг друга.

Он объяснил, что Моро, как и он сам, живут в относительной безопасности благодаря ограниченному умственному кругозору этих созданий. Хотя, с одной стороны, они умственно выше обыкновенных животных, а с другой — их звериные инстинкты готовы пробудиться, они, по словам Монтгомери, всегда жили под влиянием неких незыблемых понятий, внушенных им Моро, которые, безусловно, сковывали их волю. Они были загипнотизированы, им внушили немыслимость одних вещей и непозволительность других, и все эти запреты так прочно укоренились в их несовершенном мозгу, что исключали всякую возможность неповиновения. Однако кое в чем старый звериный инстинкт противоречил внушениям Моро. Множество запретов, называемых ими Законом (я их уже слышал), вступали в противодействие с глубоко вкоренившимися, вечно мятежными устремлениями животной природы. Они всегда твердили этот Закон и, как я увидел впоследствии, всегда нарушали его. Моро и Монтгомери особенно заботились о том, чтобы они не узнали вкуса крови. Это неизбежно вызвало бы самые опасные последствия.

Монтгомери сказал, что страх перед Законом, особенно среди существ из семейства кошачьих, необычайно

ослабевал с наступлением ночи; в это время зверь просыпался в них с особенной силой. С приближением сумерек у них появлялось желание охотиться, и они отваживались на такие вещи, о которых днем и не помышляли. Именно поэтому леопардо-человек пустился за мной в погоню в первый вечер моего приезда. Но в начале моего пребывания на острове они нарушали Закон украдкой, и то лишь с наступлением ночи; при свете дня все они свято почитали веления Закона.

А теперь приведу кое-какие общие сведения об острове и его звероподобных обитателях. Остров — низкий, с извилистыми берегами — имел площадь в семь или восемь квадратных миль [1]. Он был вулканического происхождения, и с трех сторон его окаймляли коралловые рифы. Несколько дымящихся трещин на севере да горячий источник были теперь единственными признаками создавших его некогда сил. По временам ощущались слабые подземные толчки и из трещин вырывались клубы пара. Но этим все и ограничивалось. На острове, как сообщил мне Монтгомери, жили более шестидесяти странных существ, созданных Моро, не считая мелких уродцев, которые обитали в кустарнике и не имели человеческого облика. В общей сложности Моро изготовил их около ста двадцати, но одни умерли сами, а другие, вроде безногого пресмыкающегося, о котором он мне рассказал, были убиты. Монтгомери рассказал мне также, что они были способны размножаться, но их потомство не наследовало от родителей человеческих черт и вскоре умирало. Некоторым Моро успел придать человеческий облик. Существ женского пола было меньше, за ними тайно ухаживали многие, несмотря на однобрачие, предписываемое Законом.

Я не могу подробно описать этих звероподобных людей; глаз мой не привык замечать подробности, и рисовать я, к сожалению, не умею. Больше всего поражали меня их короткие по сравнению с телом ноги; и все же — так относительны наши представления о красоте — глаз мой постепенно настолько привык к их виду, что мои собственные длинные ноги стали в конце концов казаться

---

[1] Это описание в точности соответствует острову Ноубл.— Ч. Э. П.

мне неуклюжими. Кроме того, лица у этих созданий были вытянуты вперед, спины сгорблены совсем не так, как у людей. Даже у обезьяно-человека не было красивой, чуть вогнутой линии спины, придающей такую грацию человеческой фигуре. У большинства из них плечи неуклюже сутулились, короткие руки вяло висели по сторонам. Лишь немногие густо обросли шерстью, во всяком случае, так было до самого конца моего пребывания на острове.

Кроме того, бросалась в глаза уродливость их лиц. Почти у всех были выдающиеся вперед челюсти, безобразные уши, широкие носы, косматые или жесткие волосы и глаза странного цвета или странным образом посаженные. Никто из них не умел смеяться, и только обезьяно-человек как-то странно хихикал. Помимо этих общих черт, в их внешности было мало сходства, каждый сохранил признаки своей породы; человеческий облик не мог полностью скрыть леопарда, быка, свинью или какое-нибудь другое животное, а иногда и нескольких животных, из которых было сделано каждое существо. Голоса их сильно отличались друг от друга. Руки всегда были уродливы; и хотя некоторые поражали меня своим сходством с человеческой рукой, но почти все обладали разным числом пальцев, имели грубые ногти и были лишены тонкости осязания.

Страшнее всех были леопардо-человек и существо, созданное из гиены и свиньи. Трое человеко-быков, которые втаскивали на берег баркас, превосходили их величиной. За ними следовали косматый глашатай Закона, Млинг и сатироподобное существо — помесь обезьяны и козла. Еще было три человеко-борова, одна женщина-свинья, помесь кобылы с носорогом и несколько других существ женского пола, происхождение которых я не мог определить. Было несколько человеко-волков, медведе-вол и человеко-сенбернар. Про обезьяно-человека я уже рассказывал; кроме него, была еще омерзительная, вонючая старуха, сделанная из лисицы и медведицы. Я возненавидел ее с первого взгляда. Говорили, что она страстная почитательница Закона. Меньше по величине были несколько пятнистых молодых тварей и ленивцеподобное существо. Но довольно этого перечня.

Сначала я испытывал отвращение при виде этих уродов и слишком остро чувствовал, что они все же оставались зверьми, но постепенно стал привыкать к ним и относился к ним почти как Монтгомери. Он жил с ними уже так долго, что начал смотреть на них как на обыкновенных людей, прошлая жизнь в Лондоне казалась ему навеки исчезнувшим сном. Только раз в год он отправлялся в Арику к торговцу животными. Там, в селении испанских метисов-мореходов, он едва ли видел прекрасные экземпляры человеческого рода. Люди на судне, по его словам, сначала казались ему точь-в-точь такими странными, какими показались мне существа на острове,— с неестественно длинными ногами, плоскими лицами, выпуклыми лбами, подозрительные, опасные и бессердечные. Он не любил людей. Ко мне он, по его мнению, почувствовал симпатию только потому, что спас мне жизнь.

Мне даже казалось, что он чувствовал тайное влечение к некоторым из этих преображенных созданий, какую-то порочную симпатию, которую он вначале старался скрыть от меня.

Млинг, темнолицый слуга Монтгомери, первый из звеpолюдей, которого я встретил, жил не в пещерах с остальными своими собратьями, а в маленькой конуре за оградой. Он едва ли был такой же развитой, как обезьяно-человек, но гораздо более кроткий и больше всего похож на человека. Монтгомери выучил его стряпать и исполнять домашние обязанности. Он представлял собой сложный трофей ужасного искусства Моро, помесь медведя, собаки и быка, одно из тщательнейше сделанных созданий. К Монтгомери он относился с удивительной нежностью и преданностью; тот иногда замечал это, ласкал его, называл полушутливыми именами, заставлявшими Млинга скакать от восторга; иногда же он дурно обращался с ним, особенно после нескольких рюмок коньяку, награждал его пинками, забрасывал камнями или зажженными спичками. Но, как бы ни обращался с ним Монтгомери, Млинг больше всего на свете любил быть возле него.

Постепенно я настолько привык к зверолюдям, что тысячи вещей, раньше казавшихся мне дикими и отталкивающими, скоро сделались обыкновенными и естествен-

ными. Вероятно, окружающая обстановка на все накладывает свой отпечаток. Монтгомери и Моро были слишком необычайные и своеобразные люди, чтобы я мог сохранить в их обществе представление о человеке. Когда я видел, как один из неуклюжих человеко-быков, разгружавших баркас, тяжело ступая, шагал среди кустов, то невольно старался вспомнить: чем же отличается он от настоящего крестьянина, плетущегося домой после отупляющего труда? Когда я встречал полулисицу-полумедведицу с подвижным лукавым лицом, удивительно похожим на человеческое благодаря своей хитрости, мне казалось, что я уже раньше встречал ее в каком-то городе.

Конечно, по временам зверь проявлялся без всякого сомнения. Я видел, например, уродливое существо, похожее на сгорбленного дикаря, сидевшее на корточках у входа в одну из берлог; иногда оно вытягивало руки и принималось зевать, неожиданно открывая при этом острые, как бритвы, резцы и сильные, блестящие, как ножи, клыки. Или же, взглянув неожиданно смело в глаза какому-нибудь гибкому, закутанному в белое женственному созданию, встреченному на узкой тропинке, я видел вдруг (содрогаясь от отвращения), что глаза ее похожи на щелки, или же, скользнув по ней взглядом, замечал изогнутый ноготь, которым она придерживала свое безобразное одеяние. Крайне любопытно, хотя я никак не могу себе это объяснить, что эти странные твари — я говорю о существах женского пола — в первое время инстинктивно чувствовали свое отталкивающее безобразие и даже больше, чем обыкновенные люди, следили за своей одеждой.

XVI

ЗВЕРОЛЮДИ УЗНАЮТ ВКУС КРОВИ

Как всякий неопытный писатель, я то и дело уклоняюсь от темы. Позавтракав с Монтгомери, мы пошли пройтись по острову, посмотреть на дымящуюся трещину и на горячий источник, в воды которого я попал накануне. У нас обоих были хлысты и заряженные револьверы. Когда мы шли через густые заросли, до нас донесся писк кролика. Мы остановились и прислушались,

но, не услышав больше ничего, продолжали путь, вскоре совершенно забыв об этом. Монтгомери указал мне на нескольких маленьких розовых существ с длинными задними ногами, которые прыгали среди кустов. Он сказал, что эти существа Моро сделал из потомства зверолюдей. Вначале он думал, что эти существа могут служить для пищи, но они пожирали своих детенышей, так что из этого ничего не вышло. Я уже видел несколько таких существ: одного — во время ночного бегства от леопардо-человека, а другого — накануне, когда за мной гнался Моро. Случайно один из них, удирая от нас, попал в яму от вырванного с корнем дерева. Прежде чем он успел выбраться, нам удалось поймать его. Он визжал, шипел, как кошка, царапался, отчаянно брыкался задними ногами, пытался даже укусить нас, но зубы его были слишком слабы и способны лишь слабо ущипнуть кожу. Это существо показалось мне довольно привлекательным, и так как Монтгомери подтвердил, что оно никогда не портит землю рытьем нор и очень чистоплотно в своих привычках, я решил, что оно с успехом могло бы заменить обыкновенных кроликов в загородных парках.

Дальше мы увидели дерево, кора с которого была содрана длинными полосами.

Монтгомери указал мне на него.

— «Не обдирать когтями кору с деревьев — это Закон»,— сказал он.— Только вот многие ли из них исполняют это!

Вскоре, насколько помню, мы встретили сатиро- и обезьяно-человека. Сатира Моро сделал, вспомнив все, что знал о древности,— у него было козлиное лицо грубо еврейского типа, неприятный блеющий голос и ноги, какие принято изображать у черта. Когда мы проходили мимо, он глодал какие-то стручки. Оба они приветствовали Монтгомери.

— Здравствуй, второй с хлыстом! — сказали они.

— Теперь есть еще третий с хлыстом,— сказал Монтгомери,— запомните это хорошенько!

— Разве его не сделали? — спросил обезьяно-человек.— Он сказал, что его сделали.

Сатиро-человек с любопытством посмотрел на меня.

— Третий с хлыстом, он плакал и шел в море, у него худое, бледное лицо.

— У него тонкий, длинный хлыст,— прибавил Монтгомери.

— Вчера он был в крови и плакал,— сказал сатир.— У вас никогда не идет кровь, и вы не плачете. У господина никогда не идет кровь, и он никогда не плачет.

— Ах ты, бродяга! — сказал Монтгомери.— Берегись, не то сам будешь в крови и будешь плакать.

— У него пять пальцев; он человек с пятью пальцами, как и я,— сказал обезьяно-человек.

— Пойдемте, Прендик,— сказал Монтгомери, взяв меня за руку, и мы пошли дальше.

Сатир и обезьяно-человек стояли, следя за нами и переговариваясь.

— Он молчит,— говорит сатир.— А у людей есть голоса.

— Вчера он просил меня дать ему поесть,— сказал обезьяно-человек.— Он не знал, где достать.

Больше я ничего не расслышал, до меня донесся только смех сатира.

На обратном пути мы набрели на мертвого кролика. Красное тельце несчастного создания было растерзано на куски, ребра ободраны до костей, мясо с хребта кто-то явно обгрыз.

Увидев это, Монтгомери остановился.

— Боже мой! — сказал он, нагнувшись и подняв несколько раздробленных позвонков, чтобы получше рассмотреть их.— Боже мой,— повторил он,— что это?

— Кто-нибудь из ваших хищников вспомнил свои старые привычки,— сказал я, помолчав.— Эти позвонки прокушены насквозь.

Монтгомери стоял, не сводя глаз с позвонков, бледный, с перекошенным ртом.

— Плохо дело,— сказал он.

— Я уже видел нечто в этом роде,— заметил я,— в первый же день.

— Черт побери! Что же именно?

— Кролика с оторванной головой.

— В первый день?

— Да, в первый день. В кустарнике, за оградой, когда я ушел вечером из дому. Голова у него была оторвана.

Он протяжно свистнул.

— Более того, я догадываюсь, кто это сделал. Это, конечно, только догадка. Прежде чем набрести на того кролика, я видел, как один урод пил из ручья.

— Лакал воду?

— Да.

— «Не лакать воду языком — это Закон». Хорошо же они его исполняют, когда Моро нет поблизости!

— Он же потом гнался за мной.

— Ясное дело,— сказал Монтгомери,— все хищники таковы. Убив жертву, они пьют. Вкус крови, вот в чем все дело. А каков он был с виду? Узнали бы вы его?

Стоя над мертвым кроликом, он озирался вокруг, всматриваясь в глубину зарослей, где таилась опасность.

— Он отведал,— сказал Монтгомери.

Вынув револьвер и убедившись, что он заряжен, Монтгомери снова спрятал его в карман. Затем он принялся теребить свою отвисшую губу.

— Мне кажется, я узнал бы этого урода. Я оглушил его камнем. У него должна была остаться изрядная шишка на голове.

— Но ведь нужно доказать, что это он загрыз кролика,— сказал Монтгомери.— Жалею, что привез их сюда.

Я хотел было идти дальше, но он все стоял в нерешительности над кроликом. Заметив это, я отошел подальше в сторону.

— Идемте,— позвал я его.

Он мгновенно вышел из задумчивости и направился ко мне.

— Видите ли,— сказал он, понизив голос,— им внушили, что нельзя есть ничего бегающего по земле. Если кто-нибудь из них случайно вкусил крови...

Некоторое время мы шли молча.

— Удивляюсь, как это могло случиться? — сказал он, обращаясь сам к себе.—Вчера я совершил глупость,— добавил он, помолчав.— Мой слуга... Я показал ему, как свежевать и жарить кролика. И странное дело... Я видел, как он облизывал пальцы... Раньше я ничего такого за ним не замечал. Мы должны положить этому конец. Надо обо всем рассказать Моро.

На обратном пути к дому он только об этом и думал.

Моро отнесся к происшедшему еще серьезнее Монтгомери, и страх их невольно передался мне.

— Нужно принять меры,— сказал Моро.— Лично у меня нет ни малейшего сомнения, что виновник — леопардо-человек. Но как это доказать? Очень жаль, Монтгомери, что вы не оставили свои гастрономические наклонности при себе; можно было отлично обойтись без таких провоцирующих новшеств. А теперь мы рискуем попасть в переплет.

— Я был ослом,— сознался Монтгомери.— Но дело сделано. Помните, вы сами велели мне купить кроликов?

— Надо сразу этим заняться,— сказал Моро.— Если что-нибудь случится, Млинг сумеет защитить себя?

— Я вовсе не так уверен в Млинге, а ведь я как будто достаточно хорошо его знаю.

В тот же день Моро, Монтгомери, я и Млинг отправились на другой конец острова, к хижинам. Все были вооружены. Млинг нес небольшой топор, которым он обыкновенно рубил дрова, и несколько мотков проволоки. У Моро через плечо висел большой пастушеский рог.

— Вы увидите собрание зверолюдей,— сказал мне Монтгомери.— Это — любопытное зрелище.

Моро за всю дорогу не произнес ни слова, и его решительное седобородое лицо было угрюмо.

Мы перебрались через овраг, по которому протекал горячий ручей, и, пройдя извилистой тропинкой сквозь тростники, добрались до большой равнины, покрытой густым желтоватым слоем. Это, по-видимому, была сера. Вдали, за отмелью, блестел океан. Мы остановились у большого естественного амфитеатра. Моро протрубил в рог, и звуки его нарушили тишину тропического полдня. Легкие у Моро, по-видимому, были здоровые. Звуки становились все оглушительней, и со всех сторон их подхватывало эхо.

— Уф! — сказал Моро, опуская рог.

В тростниках послышался шорох, и из густых зеленых зарослей на болоте, по которому я бежал накануне, раздались голоса. Затем с трех или четырех сторон желтой равнины показались нелепые фигуры спешивших к нам зверолюдей.

Меня снова охватил ужас, когда я увидел, как один за другим неуклюже появлялись эти чудовища из-за деревьев и тростников, ковыляя по горячей пыли.

Но Моро и Монтгомери смотрели на это довольно хладнокровно, и я невольно держался рядом с ними. Первым прибежал сатир, какой-то совсем нереальный, несмотря на отбрасываемую им тень и летевшую из-под копыт пыль. Потом появилось из чащи новое страшилище — смесь лошади и носорога,— оно и сейчас на ходу жевало солому; вслед за ним появилась женщина-свинья и обе женщины-волчихи, потом ведьма, полулиса-полумедведица, со своим заостренным красным лицом и красивыми глазами, а за ней остальные. Все страшно торопились. Подходя, они низко кланялись Моро и, не обращая внимания друг на друга, пели слова второй части Закона: «Его рука поражает. Его рука исцеляет»... И так далее..

Подойдя шагов на тридцать, они остановились, опустились на землю и принялись посыпать головы пылью. Представьте только себе эту картину! Мы трое, одетые в синие одежды, и безобразный темнолицый слуга стояли под высоким, залитым солнцем небом, окруженные этими павшими ниц, размахивавшими руками страшилищами, одни из которых были совершенно похожи на людей, кроме еле уловимого отличия в выражении лиц и в жестах, другие — какие-то калеки и, наконец, третьи — до того обезображенные, что они походили на болезненные видения из ужасных кошмаров, а позади с одной стороны, колеблющийся тростник, с другой — густые пальмы, отделявшие нас от оврага с его пещерами, а к северу — туманная даль Тихого океана.

— Шестьдесят два, шестьдесят три,— считал Моро.— Недостает четверых!

— Не вижу леопардо-человека,— сказал я.

Моро снова протрубил в рог, и при звуке его все зверолюди стали корчиться и ползать по земле.

И вот из камышей, украдкой, пригибаясь и стараясь за спиной Моро присоединиться к остальным, появился леопардо-человек. Я увидел шишку у него на лбу. Последним появился маленький обезьяно-человек. Остальные, уставшие ползать в пыли, бросали на него злобные взгляды.

— Довольно,— решительно произнес Моро, и вся звериная братия, усевшись на землю, прекратила славословия.

— Где глашатай Закона? — спросил Моро, и косматое страшилище склонилось до самой земли.

— Говори,— сказал Моро, и тотчас все собрание, преклонив колени, раскачиваясь из стороны в сторону и подбрасывая в воздух куски серы сначала правой рукой, а потом левой, снова принялось распевать свою удивительную литанию.

Когда они дошли до слов: «Не есть ни мяса, ни рыбы — это Закон»,— Моро поднял тонкую белую руку.

— Довольно! — крикнул он, и сразу воцарилась мертвая тишина.

Мне кажется, все они знали и боялись предстоящего. Взгляд мой пробегал по их странным лицам. Видя, как они дрожат, какой ужас застыл в их глазах, я удивился самому себе, принявшему их некогда за людей.

— Этот запрет был нарушен,— сказал Моро.

— Нет спасения,— произнесло безликое косматое чудище.

— Нет спасения,— повторило за ним все собрание зверолюдей.

— Кто нарушил Закон? — крикнул Моро, обводя глазами их лица и щелкая хлыстом.

Я заметил, что у гиено-свиньи, так же как и у леопардо-человека, был смущенный вид. Моро замолчал, глядя в упор на существа, которые пресмыкались пред ним, помня испытанные ими нестерпимые страдания.

— Кто нарушил Закон? — повторил Моро громовым голосом.

— Горе тому, кто нарушает Закон! — пропел глашатай Закона.

Моро посмотрел прямо в глаза леопардо-человека таким взглядом, как будто хотел заглянуть в самую глубину его души.

— Тот, кто нарушает Закон...— начал Моро с оттенком торжества, отведя глаза от своей жертвы и повернувшись к остальным.

— ...возвращается в Дом страдания! — подхватили все хором.— Возвращается в Дом страдания, о господин!

— В Дом страдания, в Дом страдания! — заболтал обезьяно-человек, как будто эта мысль была ему очень приятна.

— Ты слышишь? — сказал Моро, поворачиваясь к преступнику.— Друзья... Эй!

Он не договорил, так как леопардо-человек, избавившись от гипноза его взгляда, вскочил с горящими глазами и, обнажив хищные, сверкающие клыки, бросился на своего мучителя. Я убежден, что только безумный и невыносимый ужас мог быть причиной такого нападения. Все шестьдесят чудовищ с лишним вскочили. Я выхватил револьвер. Человек и его творение столкнулись. Я увидел, как от удара леопардо-человека Моро пошатнулся. Вокруг раздавались дикие крики и завывания.

Все завертелось вихрем. С минуту я думал, что поднялся общий бунт.

Разъяренное лицо леопардо-человека мелькнуло предо мной — его преследовал Млинг. Я увидел, как сверкали желтые глаза гиено-свиньи,— казалось, она готова была кинуться на меня. А из-за ее сутулых плеч горели глаза сатира. Я услышал выстрел Моро и увидел вспышку, озарившую возбужденную толпу. Вся она колыхнулась, увлекая меня за собой. И через мгновение я уже мчался среди дико вопившей толпы вслед за леопардо-человеком.

Вот все, что я помню. Я видел, как леопардо-человек ударил Моро, а потом все завертелось вокруг меня, и я бежал со всех ног.

Млинг был впереди, преследуя беглеца по пятам. За ним, высунув языки, большими прыжками бежали женщины-волчихи. Визжа от возбуждения, люди-свиньи и оба человеко-быка в своих белых одеждах скакали за ними. Следом бежал Моро, окруженный толпой зверолюдей. Его широкополую соломенную шляпу сорвал ветер, в руке он сжимал револьвер, и его длинные седые волосы развевались. Гиено-свинья держалась рядом со мной, украдкой посматривая на меня своими хищными глазами. Остальные с криком и шумом следовали за нами.

Леопардо-человек продирался сквозь высокие тростники, которые, качаясь, хлестали по лицу Млинга. Все

остальные, добежав до тростника, бросились по их следам. Так мы бежали через тростник, вероятно, с четверть мили, а потом очутились в густом лесу, где двигаться было очень трудно, хотя бежали мы большой толпой: ветки стегали нас по лицу, цепкие лианы хватали за шею или обвивались вокруг ног, колючки рвали одежду и царапали тело.

— Он пробежал здесь на четвереньках,— задыхаясь, проговорил Моро, оказавшийся теперь впереди меня.

— Нет спасения,— сказал волко-медведь, возбужденный погоней, смеясь мне прямо в лицо.

Мы снова очутились среди скал и увидели беглеца: он удирал на четвереньках и рычал на нас, оборачиваясь через плечо. В ответ на это рычание раздался восторженный вой волчьей братии. На беглеце все еще была одежда, и издалека лицо его казалось человеческим, но поступь была кошачья, а быстрые движения лопаток выдавали преследуемого зверя. Он перепрыгнул через какие-то колючие кусты с желтоватыми цветами и скрылся из виду. Млинг был почти у кустов.

Большинство из нас уже не могло бежать так быстро и замедлило шаг. Когда мы проходили по открытому месту, я увидел, как сильно растянулись преследователи. Гиено-свинья все еще бежала рядом со мной, не сводя с меня глаз, и по временам насмешливо хрюкала.

Леопардо-человек, добравшись до скал и заметив, что так он попадет на мыс, где крался за мной в первый вечер моего прибытия, повернул обратно в кустарник. Но Монтгомери, заметив этот маневр, заставил его отступить.

Так, задыхаясь, спотыкаясь о камни, исцарапанный колючками, продираясь сквозь тростники и папоротники, я помогал преследовать леопардо-человека, который нарушил Закон, а гиено-свинья, дико смеясь, бежала рядом со мной. Я шатался, голова моя кружилась, сердце бешено стучало, я изнемогал, но не терял остальных из виду, так как иначе я остался бы один на один с этим ужасным чудовищем. И я продолжал бежать, несмотря на свою бесконечную усталость и полуденную жару.

Наконец пыл погони начал угасать. Мы загнали несчастного на край острова. Моро с хлыстом в руке выстроил нас в неровную шеренгу, и мы медленно двига-

лись, перекликаясь друг с другом и стягивая кольцо вокруг своей жертвы.

Она притаилась, бесшумная и невидимая, в том самом кустарнике, где я спасался от нее во время полночной погони.

— Осторожно,— кричал Моро,— осторожно!

А мы тем временем охватывали кустарник и окружали беглеца.

— Остерегайтесь нападения! — послышался из-за чащи голос Монтгомери.

Я был на склоне холма, над кустарником. Монтгомери и Моро внизу обшаривали берег. Мы медленно продвигались среди переплетенных ветвей и листьев. Беглец не шевелился.

— Возвращается в Дом страдания, в Дом страдания, в Дом страдания! — раздавался где-то шагах в двадцати голос обезьяно-человека.

Услышав это, я простил несчастному тот страх, который он заставил меня пережить. Я услышал, как справа от меня затрещали ветки и сучья под тяжелыми шагами лошади-носорога. И вдруг сквозь густо переплетенную зелень в полутьме пышной растительности я увидел преследуемого. Я остановился. Он весь съежился, обернувшись через плечо, его блестящие зеленые глаза смотрели на меня.

Вам это может показаться странным и противоречивым — я не могу этого объяснить,— но теперь, видя существо в истинно звериной позе, со сверкающими глазами, с его не вполне человеческим лицом, перекошенным от ужаса, я снова почувствовал в нем что-то человеческое. Еще одно мгновение — и остальные преследователи увидят и схватят его, чтобы еще раз подвергнуть ужаснейшим пыткам в Доме страдания.

Я решительно выхватил револьвер, прицелился ему прямо между глаз, в которых застыл ужас, и выстрелил.

В это время гиено-свинья тоже увидела его и, пронзительно завизжав, вонзила зубы в его шею. Зеленая чаща вокруг меня заколыхалась и затрещала, так как зверолюди всей толпой кинулись туда один за другим.

— Не убивайте его, Прендик! — кричал Моро.— Не убивайте!

Я увидел, как он нагнулся, пробираясь среди папоротников.

Через мгновение он уже отогнал гиено-свинью ударом хлыста и вместе с Монтгомери осаживал от все еще трепетавшего тела возбужденную, кровожадную толпу, среди которой особенно напирал Млинг.

Косматое страшилище подошло к трупу, проскользнув у меня под рукой, и стало нюхать воздух. Остальные в пылу звериного восторга толкали меня, чтобы пробраться поближе.

— Черт вас побери, Прендик! — сказал Моро.— Он был мне нужен.

— Очень жаль,— отозвался я, хотя в действительности нисколько не сожалел о сделанном.— Это был мгновенный порыв.

Я чувствовал себя совсем больным от возбуждения и усталости. Повернув назад, я растолкал толпу и один пошел вверх по склону к самой возвышенной части мыса. Я услышал, как Моро громко отдал распоряжения, и трое закутанных в белое человеко-быков поволокли жертву к воде.

Мне было нетрудно остаться одному. Звеpолюди проявили чисто человеческое любопытство по отношению к мертвому и валили за ними густой толпой, сопя и ворча. Человеко-быки тащили его вниз, к берегу. Я направился к мысу и смотрел, как они, вырисовываясь темными силуэтами на фоне вечернего неба, волокли к морю тяжелое тело, и, как нахлынувшая волна, в моем уме промелькнула мысль о страшной бесцельности событий, происходящих на острове. На берегу среди скал стояли обезьяно-человек, гиено-свинья и несколько других зверолюдей, окружив Монтгомери и Моро. Все они были еще сильно возбуждены и шумно выражали свою преданность Закону. Но я был глубоко убежден, что гиено-свинья была тоже причастна к убийству кроликов. Меня охватила странная уверенность, что, несмотря на всю нелепость и необычайность форм, я видел перед собою в миниатюре человеческую жизнь с ее переплетением инстинктов, разума и случайности. Погиб не просто человек, а леопардо-человек. Вот и вся разница.

Бедные твари! Передо мною раскрывался весь ужас жестокости Моро. До сих пор я не думал о тех страда-

ниях и страхе, которые испытывали эти несчастные животные после того, как выходили из рук Моро. Я содрогался, только воображая их мучения за оградой, но теперь это казалось мне не главным. Раньше они были животными, их инстинкты были приспособлены к окружающим условиям, и они были счастливы, насколько могут быть счастливы живые существа. Теперь же они были скованы узами человеческих условностей, жили в страхе, который никогда не умирал, ограниченные Законом, которого не могли понять; эта пародия на человеческую жизнь начиналась с мучений и была долгой внутренней борьбой, бесконечно долгим страхом перед Моро. И для чего? Эта бессмысленность возмущала меня.

Будь у Моро какая-нибудь понятная мне цель, я мог бы, по крайней мере, сочувствовать ему. Я вовсе не так уж разборчив в средствах. Я даже многое простил бы ему, будь мотивом его поступков ненависть. Но он был так спокоен, так беспечен! Его любопытство, его дикие, бесцельные исследования увлекали его, и вот новое существо выбрасывалось в жизнь на несколько лет, чтобы бороться, ошибаться, страдать и в конце концов умереть мучительной смертью. Они были несчастны: врожденная животная ненависть побуждала их преследовать друг друга; Закон удерживал их от короткой борьбы и решительного конца, к которому приводит прирожденная вражда между собой.

В те дни мой страх перед зверолюдьми уступил место страху перед Моро. Я впал в болезненное состояние, долгое и мучительное, в какой-то безумный страх, который оставил прочные следы в моем мозгу. Признаться, я потерял веру в разумность мироздания, когда увидел, что возможны бессмысленные страдания, царившие на этом острове. Слепая, безжалостная машина, казалось, выкраивала, придавала форму живым существам, и я, Моро (своей страстью к исследованию), Монтгомери (своей страстью к пьянству), зверолюди со своими инстинктами и ограниченным умом — все мы вертелись и дробились между ее безжалостных, непрерывно движущихся колес. Но это душевное состояние пришло не сразу... Мне даже кажется, что, рассказывая об этом, я забегаю вперед.

XVII

КАТАСТРОФА

Прошло полтора месяца, и я перестал испытывать что-либо, кроме неприязни и отвращения, к ужасным опытам Моро. Моим единственным желанием было уйти от творца этих ужасных карикатур на мой образ и подобие, вернуться к приятному и нормальному общению с людьми. Люди, с которыми я был теперь разлучен, стали представляться мне идиллически добродетельными и прекрасными. Моя дружба с Монтгомери не удалась. Его долгая обособленность от людей, тайная склонность к пьянству, явная симпатия к зверолюдям — все это отталкивало меня от него. Несколько раз я отказывался сопровождать его к ним. Я избегал общения с ними, как только мог. Большую часть времени я проводил на берегу, тщетно ожидая появления какого-нибудь спасительного корабля, пока, наконец, над нами не разразилось ужасное бедствие, совершенно изменившее положение вещей на острове.

Это случилось месяца через два после моего прибытия, а может быть, и больше, не знаю, потому что не вел счет времени. Катастрофа произошла неожиданно. Случилась она рано утром, помнится, около шести часов. Я рано встал и позавтракал, так как меня разбудил шум — зверолюди таскали дрова за ограду.

Позавтракав, я вышел к открытым воротам и стоял там, куря сигарету и наслаждаясь свежестью раннего утра. Вскоре из-за ограды вышел Моро и поздоровался со мной. Он прошел мимо меня, и я услышал, как у меня за спиной щелкнул замок, когда он отпирал свою лабораторию. Я уже до такой степени привык к ужасу, царившему на острове, что без малейшего волнения слушал, как жертва Моро — пума начала стонать под пыткой. Она встретила своего мучителя пронзительным криком, точь-в-точь походившим на крик разъяренной женщины.

А потом что-то случилось. До сих пор не знаю хорошенько, в чем было дело. Я услышал позади себя резкий крик, звук падения и, обернувшись, увидел надвигавшееся на меня ужаснейшее лицо, не человеческое

и не звериное, а какое-то адское: темное, все изборожденное красными рубцами, сплошь усеянное каплями крови, и на нем сверкали глаза, лишенные век. Я поднял руку, прикрываясь от удара, и упал головой вперед, чувствуя, что сломал руку, а огромное страшилище, обмотанное корпией, с развевающимися кровавыми бинтами, перескочило через меня и исчезло. Я покатился вниз, к берегу, попытался сесть и упал прямо на сломанную руку. А потом появился Моро. Его большое бледное лицо казалось еще ужаснее от крови, струившейся по лбу. В руке он держал револьвер. Он едва взглянул на меня и тотчас же бросился в погоню за пумой.

Я ощупал руку и сел на землю. Вдали большими скачками мчалась по берегу забинтованная фигура, а следом за ней Моро. Она обернулась, увидела его и неожиданно повернула в кустарник. С каждым скачком она уходила от него все дальше. Я увидел, как она нырнула в кусты, а Моро, бежавший ей наперерез, выстрелил. Он промахнулся, и она исчезла. А вслед за ней и он исчез в зеленой чаще.

Я смотрел им вслед, но тут боль в руке так усилилась, что я, шатаясь, со стоном вскочил на ноги.

На пороге показался Монтгомери, одетый, с револьвером в руке.

— Боже мой, Прендик! — воскликнул он, не замечая, что я покалечен.— Эта тварь сбежала! Вырвала из стены крюки! Видели вы их? — Но тут, заметив, что я держусь за руку, быстро спросил: — Что с вами?

— Я стоял в дверях,— ответил я.

Он подошел и ощупал мою руку.

— У вас кровь на блузе,— сказал он, закатывая мне рукав.

Он сунул револьвер в карман, снова ощупал мою руку и повел меня в дом.

— У вас рука сломана,— сказал он и добавил: — Расскажите подробно, как это случилось?

Я рассказал ему все, что видел, отрывистыми фразами, прерываемыми стонами, а он тем временем ловко и быстро перевязал мне руку. Подвесив ее на перевязь через плечо, он отошел и посмотрел на меня.

— Так будет хорошо,— сказал он.— Но что же дальше?

Он задумался. Потом вышел и запер ворота. Некоторое время его не было.

Меня больше всего заботила моя рука. Все происшедшее казалось мне лишь одним из многих ужасных событий, происходивших на острове. Я уселся в шезлонг и, должен сознаться, от всей души проклинал остров. Боль в руке, сначала тупая, стала острой и жгучей, а Монтгомери все еще где-то пропадал.

Вернулся он бледный, нижняя губа у него отвисла более обыкновенного.

— Моро как сквозь землю провалился,—сказал он.— Наверное, ему понадобится моя помощь.— Он уставился на меня своими пустыми глазами.— Сильный зверь,— сказал он,— крюки вырваны из стены.

Он подошел к окну, потом к двери и снова повернулся ко мне.

— Пойду искать его,— сказал он.— Вот, возьмите револьвер. По правде говоря, я очень встревожен.

Он вынул револьвер, положил его рядом со мной на стол и вышел, оставив меня в сильном беспокойстве. Я недолго просидел в комнате после его ухода. Держа в руке револьвер, я подошел к двери.

Вокруг царила мертвая тишина. Не чувствовалось ни дуновения ветерка, море блестело, как зеркало, небо было безоблачно, берег пустынен. Я дрожал от тревоги и лихорадки, эта тишина меня удручала.

Я стал что-то насвистывать, но у меня ничего не вышло. Я снова выругался, во второй раз за это утро, подошел к углу ограды и стал всматриваться в зеленый кустарник, который поглотил Моро и Монтгомери. Когда они вернутся? Что с ними будет?

Далеко на берегу показалось маленькое серое существо, добежало до воды и принялось плескаться. Я стал шагать от двери до угла ограды, взад и вперед, как часовой. Один раз я остановился, услышав вдали голос Монтгомери: «Ау! Моро!»

Рука моя теперь болела меньше, но вся горела. Меня лихорадило, хотелось пить. Тень моя становилась все короче. Я наблюдал за видневшимся вдалеке серым су-

ществом, пока оно не исчезло. Неужели Моро и Монтгомери никогда не вернутся? Три морские птицы затеяли драку из-за какого-то выброшенного морем на берег сокровища.

Потом где-то очень далеко за оградой раздался револьверный выстрел. Воцарилась долгая тишина, а затем раздался второй выстрел, я услышал дикий крик где-то вблизи, и снова наступила зловещая тишина. Мое воображение работало вовсю, рисуя ужасные картины. Еще один выстрел раздался совсем близко.

Я кинулся к углу ограды и увидел Монтгомери, он был весь красный, растрепанный, с разорванной штаниной. На его лице был написан ужас. За ним, волоча ноги, шел Млинг, вокруг челюстей которого виднелись какие-то зловещие темные пятна.

— Он вернулся? — спросил Монтгомери.

— Моро? — переспросил я.— Нет.

— Господи боже! — Монтгомери с трудом переводил дыхание.— Войдем в комнату,— сказал он, взяв меня за руку.— Они совсем остервенели. Бегают, как угорелые. Что могло случиться? Ума не приложу. Сейчас, вот только отдышусь. Нет ли коньяку?

Он, прихрамывая, вошел в комнату и опустился в шезлонг.

Млинг улегся на землю за дверью, громко дыша, как это делают собаки. Я дал Монтгомери коньяку с водой. Он сидел, глядя куда-то в пустоту, но понемногу пришел в себя. Через несколько минут он рассказал мне, что произошло.

Сначала он шел по их следам. Это было не трудно благодаря помятым и поломанным кустам, белым клочьям бинтов пумы и многочисленным пятнам крови на листьях. Однако он потерял след на каменистой почве за ручьем, где я раньше видел пьющего леопардо-человека, и пошел наугад на запад, зовя Моро. К нему присоединился Млинг, у которого был маленький топор. Млинг ничего не знал об истории с пумой, он рубил дрова и услышал крики хозяина. Они пошли вместе, продолжая звать Моро. По дороге им попались двое зверолюдей, которые, притаившись, смотрели на них сквозь кустарник с таким странным видом, что Монтгомери обеспокоился. Он кликнул их, но они виновато убежали.

Тогда он перестал звать Моро и, бесцельно побродив некоторое время, решился заглянуть в хижины.

Он нашел ущелье пустым.

С каждой минутой все больше беспокоясь, он тихо вернулся назад. Он встретил двух свино-людей, которых я в первый день видел танцующими, губы у них были в крови и дрожали от возбуждения. Они с треском ломились сквозь папоротники и, увидев его, остановились со злобным видом. Он не без тайного страха щелкнул хлыстом, и они тотчас же набросились на него. До сих пор ни один зверочеловек не осмеливался сделать это. Одному он прострелил голову, а Млинг набросился на другого, и они, схватившись, покатились по земле. Млинг подмял врага под себя и вцепился зубами ему в горло, а Монтгомери тем временем пристрелил его.

Он с трудом заставил Млинга следовать за собой. Они поспешили обратно ко мне. По дороге Млинг неожиданно кинулся в кустарник и выволок оттуда небольшого оцелото-человека, тоже запачканного кровью и хромавшего из-за раны на ноге. Он отбежал на несколько шагов, а потом, повернувшись, вдруг кинулся на них. Монтгомери, как мне показалось, без особенной нужды застрелил его.

— Что же это такое? — спросил я.

Он покачал головой и снова принялся за коньяк.

XVIII

МЫ НАХОДИМ МОРО

Увидев, что Монтгомери осушил третий стакан коньяку, я решил остановить его. Он был уже совсем пьян. Я сказал, что с Моро, должно быть, случилась серьезная беда, иначе он вернулся бы, и мы должны отправиться на поиски. Монтгомери принялся было слабо возражать мне, но в конце концов согласился. Мы подкрепились едой, и все трое отправились в путь.

Вероятно, это объясняется напряжением, охватившим меня в то время, но до сих пор я с необычайной ясностью вспоминаю наши скитания среди знойной тишины тропического полдня. Млинг шел впереди, сгорбившись, его уродливая черная голова быстро поворачива-

лась, посматривая то в одну, то в другую сторону. Он был безоружен. Свой топор он потерял при встрече со свино-людьми. Зубы уже послужили ему оружием, когда дело дошло до схватки. Монтгомери следовал за ним, пошатываясь, засунув руки в карманы, понурив голову. Он был в состоянии пьяного раздражения, сердясь на меня за то, что я отнял у него коньяк. Моя левая рука была на перевязи — счастье, что это была левая рука,— а в правой я держал револьвер.

Мы пошли по узкой тропинке среди дикой роскошной растительности, подвигаясь на северо-запад. Вдруг Млинг остановился и замер, выжидая. Монтгомери чуть не налетел на него и тоже остановился. Напрягая слух, мы услышали звуки голосов, шум, приближавшиеся шаги.

— Он умер,— говорил какой-то низкий дрожащий голос.

— Не умер, не умер,— бормотал другой.

— Мы видели, мы видели,— заговорило хором несколько других голосов.

— Э-эй! — крикнул вдруг Монтгомери.— Эй, вы!

— Черт бы вас побрал,— добавил я, сжимая револьвер.

Наступило молчание, потом в густой зелени послышался треск, и со всех сторон показались лица, странные лица, с новым, необычайным выражением. Млинг зарычал. Я увидел обезьяно-человека — еще раньше я узнал его по голосу — и двух закутанных в белое темнолицых существ, которых видел в баркасе. С ними были оба пятнистых существа и то самое ужасное, сгорбленное чудовище, которое вещало Закон, с лицом, заросшим серебристыми волосами, с нахмуренными седыми бровями и косматыми клочьями, торчавшими посреди его покатого лба; огромное, безликое, оно с любопытством посматривало на нас из-за зелени своими странными красными глазами.

Некоторое время все молчали. Потом Монтгомери спросил:

— Кто... сказал, что он умер?

Обезьяно-человек с виноватым видом посмотрел на косматое чудовище.

— Он умер,— сказало страшилище.— Они видели.

Во всяком случае, этих нам нечего было бояться. Казалось, все они были полны страха и удивления.

— Где он? — спросил Монтгомери.

— Там,— указало седое чудовище.

— Есть ли теперь Закон? — подхватил обезьяно-человек.

— Должны ли мы исполнять его веления?

— Правда ли, что он умер?

— Есть ли теперь Закон? — повторил человек в белом.

— Есть ли теперь Закон, ты, второй с бичом? Он умер,— сказало косматое чудовище.

Все они глядели на нас.

— Прендик,— сказал Монтгомери, взглянув на меня своими тусклыми глазами.— Все ясно: он умер.

Я стоял позади него. Теперь мне становилось ясно, что́ с ним происходит. Вдруг я шагнул вперед и громко сказал:

— Дети Закона, он не умер.

Млинг посмотрел на меня своими острыми глазами.

— Он переменил свой образ, переменил свое тело,— продолжал я,— и некоторое время вы не увидите его. Он там,— я указал на небо,— и оттуда он смотрит на вас. Вы не можете его видеть. Но он может видеть вас. Бойтесь Закона!

Я посмотрел на них в упор. Они колебались.

— Он велик, он добр,— сказал обезьяно-человек, пугливо глядя наверх сквозь густую листву.

— А то существо? — спросил я.

— Существо, которое было в крови и бежало с криком и стонами, оно тоже умерло,— сказало седое чудовище, не сводя с меня глаз.

— Вот это хорошо,— проворчал Монтгомери.

— Второй с хлыстом...— начало седое чудовище.

— Ну? — спросил я.

— Сказал, что он умер.

Но Монтгомери не был все же настолько пьян, чтобы не понять, отчего я отрицал смерть Моро.

— Нет, не умер,— медленно сказал он.— Вовсе не умер. Не более, чем я.

— Некоторые,— сказал я,— нарушили Закон. Они должны умереть. Некоторые уже умерли. Покажи нам

теперь, где лежит его бывшее тело, которое он оставил, так как оно больше не нужно ему.

— Оно вон там, о человек, ходивший в море,— сказало косматое чудовище.

Они показали нам путь, мы отправились сквозь густые папоротники, лианы и деревья на северо-запад. Послышался крик, треск сучьев, и маленькое розовое создание промчалось мимо нас.

За ним по пятам гналось покрытое кровью мохнатое существо, которое с разбегу бежало прямо на нас. Волосатое чудовище отпрыгнуло в сторону; Млинг с рычанием набросился на врага, но был отброшен; Монтгомери выстрелил, промахнулся, пригнул голову, прикрываясь руками, и приготовился бежать. Я тоже выстрелил, но кровожадное существо все бежало на нас. Я выстрелил еще раз в упор в его безобразное лицо. Огненная вспышка хлестнула по нему. Все его лицо превратилось в кровавую рану; но все же оно, проскочив мимо меня, налетело на Монтгомери и, повалив его, поволокло за собой по земле в своей предсмертной агонии.

Я очутился перед Млингом, мертвым зверем и распростертым на земле человеком. Монтгомери медленно приподнялся и с недоумением уставился на окровавленное тело, лежавшее рядом с ним. Это зрелище почти совсем отрезвило его. Он с трудом встал на ноги. В это время седое чудовище осторожно пробиралось обратно к нам среди деревьев.

— Смотри,— сказал я, указывая на убитого.— Разве не существует Закон? Вот что происходит, когда Закон нарушают.

Чудовище посмотрело на убитого.

— Он посылает огонь, который убивает,— сказало оно своим хриплым голосом, повторяя слова Закона.

Остальные столпились вокруг и тоже смотрели.

В конце концов мы почти добрались до западной оконечности острова. Там мы нашли обглоданное и искалеченное тело пумы с раздробленной пулей лопаткой и, шагах в двадцати от него, то, что искали... Моро лежал лицом вниз на полянке, вытоптанной среди тростников: одна его рука была почти оторвана, на седых волосах запеклась кровь. Голова его была разбита цепями пумы. Поломанные тростники были окроплены кровью.

Револьвера мы не нашли. Монтгомери перевернул тело на спину.

Отдыхая время от времени, мы понесли его с помощью семи зверолюдей — так как он был очень тяжел — обратно к дому. Темнело. Два раза мы слышали совсем близко, как невидимые существа кричали и выли, а один раз показалось розовое ленивцеподобное существо, уставилось на нас и снова исчезло. Но нападения больше не было. У ворот зверолюди остановились, с нами вошел только Млинг. Мы внесли искалеченное тело Моро во двор, положили его на груду хвороста и заперли за собой ворота.

Потом мы пошли в лабораторию и уничтожили всех бывших там живых существ.

XIX
ПРАЗДНИК МОНТГОМЕРИ

Покончив с этим делом, умывшись и поев, мы с Монтгомери пошли в мою маленькую комнату и начали в первый раз серьезно обсуждать свое положение. Близилась полночь. Монтгомери был почти трезв, но соображал с трудом. Он всегда находился под влиянием Моро. Не думаю, чтобы ему когда-либо приходила в голову мысль, что Моро может умереть. Эта смерть была для него неожиданным ударом, разрушившим тот образ жизни, к которому он привык более чем за десять лет, проведенных на острове. Он говорил как-то неопределенно, уклончиво отвечал на мои вопросы, пускался в общие рассуждения.

— Как глупо устроен мир,— разглагольствовал он.— Жизнь — такая бессмыслица! У меня вообще жизни не было. Интересно, когда же она наконец начнется! Шестнадцать лет я мучился под надзором нянек и учителей, исполняя их милую волю, пять лет в Лондоне без устали зубрил медицину, голодал, жил в жалкой квартире, носил жалкую одежду, предавался жалким порокам, совершил однажды глупость, потому что был набитым дураком, и очутился на этом собачьем острове. Десять лет проторчал здесь! И чего ради, Прендик? Разве мы мыльные пузыри, выдуваемые ребенком?

Нелегко было прекратить эти разглагольствования.

— Мы должны подумать, как унести отсюда ноги,— сказал я.

— А что толку? Ведь я изгнанник. Куда мне деваться? Вам-то хорошо, Прендик. Бедный старина Моро! Мы не можем бросить его здесь, чтобы они обглодали его косточки. А ведь к тому идет... И потом, что будет с бедными тварями, которые ни в чем не повинны?

— Ладно,— сказал я.— Обсудим это завтра. По-моему, нужно сложить костер и сжечь его тело вместе с остальными трупами... А что, собственно, может случиться с этими тварями?

— Не знаю. Скорей всего те, которые были сделаны из хищников, рано или поздно озверевают. Но мы не можем их всех истребить, правда? А ведь ваша человечность, пожалуй, подсказала бы именно такой выход?.. Но они изменятся. Несомненно, изменятся.

Он продолжал молоть всякий вздор, покуда я не потерял терпения.

— Черт вас побери! — воскликнул он в ответ на какое-то мое резкое замечание.— Разве вы не видите, что мое положение хуже вашего?

Он встал и пошел за коньяком.

— Пейте,— сказал он, вернувшись.— Пейте, вы, здравомыслящий, бледнолицый безбожник с лицом святого.

— Не буду! — злобно сказал я, уселся и глядел на его освещенное желтоватым светом лампы лицо, покуда он не напился до состояния болтливого опьянения.

Помню, что я испытывал бесконечную усталость. Снова расчувствовавшись, он выступил в защиту зверолюдей и Млинга. Млинг, по его словам, был единственным существом, которое любило его. И вдруг ему пришла в голову неожиданная мысль.

— Будь я проклят! — сказал он, пошатываясь, вскочил на ноги и схватил бутылку с коньяком.

Каким-то чутьем я понял, что он собирался сделать.

— Я не позволю вам напоить это животное,— сказал я, преграждая ему путь.

— Животное! — воскликнул он.— Сами вы животное! Он будет пить не хуже всякого другого. Прочь с дороги, Прендик!

— Ради бога...— начал я.

— Прочь!..— завопил он, неожиданно выхватив револьвер.

— Отлично,— сказал я, отойдя в сторону, и уже готов был напасть на него сзади, когда он взялся за задвижку, но удержался, вспомнив про свою сломанную руку.— Вы сами превратились в животное, вот и ступайте к ним.

Он распахнул дверь и оглянулся на меня, освещенный с одной стороны желтоватым светом лампы, а с другой — бледным светом луны. Его глазницы казались черными пятнами под густыми бровями.

— Вы, Прендик, напыщенный дурак, совершенный осел! Вечно вы чего-то боитесь и что-то воображаете. Дело идет к концу. Завтра мне придется перерезать себе горло. Но сегодня вечером я устрою себе премиленький праздник.

Он повернулся и вышел.

— Млинг! — крикнул он.— Млинг, старый дружище!

Три смутные фигуры, освещенные серебристым светом луны, двигались вдали по темному берегу. Одна из них была в белой одежде, остальные две, шедшие позади, казались черными пятнами. Они остановились, глядя в сторону дома. Потом я увидел сгорбленного Млинга, который выбежал из-за угла.

— Пейте! — кричал Монтгомери.— Пейте, звери! Пейте и становитесь людьми... Черт возьми, я умнее всех! Моро забыл это. Наступило последнее испытание. Пейте, говорю вам! — И, размахивая бутылкой, он быстрой рысцой побежал на запад вместе с Млингом, который последовал за ним впереди трех смутных фигур.

Я вышел на порог. Их было уже трудно разглядеть в неверном лунном свете, но вот Монтгомери остановился. Я видел, как он поил коньяком Млинга, а потом все пять фигур слились в один сплошной клубок.

— Пойте,— услышал я возглас Монтгомери.— Пойте все вместе: «Черт побери Прендика!» Вот хорошо! Ну, теперь еще раз: «Черт побери Прендика!»

Черный клубок разделился на пять отдельных фигур, и они медленно удалились по залитому лунным светом берегу. Каждый вопил на свой собственный лад, выкрикивая по моему адресу всякие ругательства и давая таким образом выход своему пьяному восторгу.

Вскоре я услышал вдалеке голос Монтгомери, командовавшего: «Направо марш!» С криками и завываниями они исчезли в темноте среди прибрежных деревьев. Мало-помалу голоса их затихли.

Снова воцарилось мирное великолепие ночи. Луна уже склонялась к западу. Было полнолуние, и она ярко сияла, плывя по безоблачному небу. У моих ног лежала тень ограды, она была шириной в ярд, черная, как смола. Море на востоке казалось мутно-серым и таинственным, а между ним и тенью стены искрился и блестел серый песок (он состоял из частиц вулканического стекла и кристаллических пород). Казалось, весь берег был усыпан бриллиантами. Позади меня желтоватым огнем горела керосиновая лампа.

Я закрыл дверь, запер ее и пошел за ограду, где лежал Моро рядом со своими последними жертвами: гончими собаками, ламой и еще несколькими несчастными животными. Крупные черты его лица были спокойны, несмотря на то, что он принял ужасную смерть, суровые глаза смотрели вверх, на бледный лик луны. Я присел на край сточной трубы и, не сводя глаз с этой мрачной груды тел, на которых серебристый свет луны чередовался со зловещими тенями, стал обдумывать свое положение.

Утром я положу в лодку еды и, предав огню эти тела, снова пущусь в открытый океан. Я чувствовал, что Монтгомери все равно погиб; он действительно стал близок по духу к этим зверолюдям и не мог бы жить с обыкновенными людьми.

Не знаю, сколько времени просидел я в раздумье. Вероятно, прошло не меньше часа. Потом мои размышления были прерваны — где-то поблизости появился Монтгомери. Я услышал разноголосые крики, удалявшиеся в сторону берега, ликующие вопли, гиканье и завывание. Толпа, видимо, остановилась у самого берега. Гвалт усилился, потом затих. Я услышал тяжелые удары и треск раскалываемого дерева, но тогда это не обеспокоило меня. Послышалось нестройное пение.

Я снова начал обдумывать пути спасения. Я встал, взял лампу и пошел в сарай осмотреть несколько бочонков, которые там видел. Потом меня заинтересовало содержимое жестянок, и я открыл одну. Тут мне по-

казалось, что я вижу какую-то красную фигуру. Я быстро обернулся.

Позади меня был двор, где полосы лунного света чередовались с густой темнотой. Посреди двора возвышалась куча дров и хвороста, на которой рядом со своими искалеченными жертвами лежал Моро. Казалось, они обхватили друг друга в последней борьбе. Раны Моро зияли, черные, как ночь, а запекшаяся кровь лежала на песке темными пятнами. Потом, еще не понимая, в чем дело, я увидел дрожащий красноватый свет, перебросившийся на противоположную стену. Я по ошибке принял его за отражение вспышки лампы у меня в комнате и снова занялся осмотром провианта в сарае. Я рылся там, действуя здоровой рукой, находя то одно, то другое и откладывая в сторону все нужное, чтобы на другой день погрузить в лодку. Двигался я с трудом, а время летело быстро. Скоро забрезжил рассвет.

Пение на берегу сменилось шумом, затем началось снова и неожиданно перешло в возню. Я услышал крики: «Еще, еще!» Потом снова шум, как будто там затеяли ссору, и вдруг — пронзительный крик. Шум сразу настолько изменился, что я не мог не обратить на это внимания. Я вышел на двор и прислушался. И вот, подобно стальному ножу, всю эту сумятицу прорезал револьверный выстрел.

Я кинулся через свою комнату к маленькой двери. Тут я услыхал, как у меня за спиной несколько ящиков покатились на пол сарая и с треском разбились вдребезги. Но я не обратил на это внимания. Я распахнул дверь и выглянул наружу.

На берегу, у пристани, горел костер, взметая снопы искр в смутно белевшее рассветное небо. Вокруг него копошились темные фигуры. Я услышал голос Монтгомери, который звал меня, и тотчас пустился бежать к костру с револьвером в руке. Я увидел, как низко, почти по самой земле, полоснуло пламя револьверного выстрела. Значит, Монтгомери упал. Я крикнул изо всех сил и выстрелил в воздух.

Кто-то закричал: «Господин!» Черный барахтающийся клубок распался, огонь в костре вспыхнул и погас. Толпа зверолюдей в панике разбежалась по берегу. Сгоряча я выстрелил им вслед, когда они исчезали между

кустов. Потом я повернулся к черным грудам, оставшимся на песке.

Монтгомери лежал на спине, а сверху на него навалилось косматое чудовище. Оно было мертво, но все еще сжимало горло Монтгомери своими кривыми когтями. Рядом с ним, ничком, совершенно спокойный, лежал Млинг. Шея его была прокушена, а в руке зажато горлышко разбитой бутылки из-под коньяка. Еще двое лежали около костра, один неподвижно, другой по временам медленно, со стоном приподнимал голову и снова ронял ее.

Я обхватил косматое чудовище и оттащил его от Монтгомери; его когти еще цеплялись за одежду. Монтгомери весь посинел и еле дышал. Я побрызгал ему в лицо морской водой, а под голову вместо подушки подложил свою свернутую куртку. Млинг был мертв. Раненый — это был человеко-волк с серым бородатым лицом — лежал грудью на еще тлевших углях костра; несчастный был так ужасно обожжен и изранен, что я из сострадания выстрелом размозжил ему череп. Второй был один из закутанных в белое человеко-быков. Он тоже был мертв.

Остальные звери-люди исчезли с берега. Я снова подошел к Монтгомери и опустился рядом с ним на колени, проклиная себя за незнание медицины.

Костер потух, и только угли, перемешанные с золой, еще тлели. Я с изумлением подумал, откуда Монтгомери достал дрова. Тем временем рассвело. Небо светлело, луна становилась бледной и призрачной на голубом небе. Восток окрасился алым заревом.

Вдруг позади себя я услышал грохот и шипение. Оглянувшись, я с криком ужаса вскочил на ноги. Огромные клубы черного дыма поднимались навстречу восходящему солнцу, и сквозь их вихревой мрак прорывались кровавые языки пламени. А потом занялась соломенная крыша. Я увидел, как огненные языки начали лизать солому. Пламя вырвалось и из окна моей комнаты.

Я сразу понял, что случилось. Мне вспомнился недавний треск. Бросившись на помощь к Монтгомери, я опрокинул лампу.

Было ясно, что мне не удастся спасти ничего. Я вспомнил свой план и решил взглянуть на две лодки, вытащенные на берег. Но их не было! Два топора валялись на

песке, вокруг были разбросаны щепки и куски дерева, и пепел костра темнел и дымился в лучах рассвета. Монтгомери сжег лодки, чтобы отомстить за себя и помешать мне вернуться в общество людей.

Внезапное бешенство охватило меня. Мне захотелось размозжить ему голову, беспомощно лежавшую у моих ног. Вдруг его рука шевельнулась так слабо и жалко, что злоба моя утихла. Он застонал и на миг открыл глаза.

Я опустился на колени и приподнял его голову. Он снова открыл глаза, безмолвно глядя на разгорающийся день. Наши взгляды встретились. Он опустил веки.

— Жаль,— с усилием произнес он. Казалось, он пытался собраться с мыслями.— Конец,— прошептал он,— конец этой дурацкой вселенной... Что за бессмыслица...

Я молча слушал. Голова его беспомощно поникла. Я подумал, что глоток воды мог бы оживить его, но под рукой не было ни воды, ни посудины, чтобы ее принести. Тело его вдруг как будто стало тяжелее. Я весь похолодел.

Я нагнулся к его лицу, просунул руку в разрез его блузы. Он был мертв. И в эту самую минуту полоса яркого света блеснула на востоке за мысом, разливаясь по небу и заставляя море ослепительно сверкать. Солнечный свет как бы ореолом окружил его лицо с заострившимися после смерти чертами.

Я осторожно опустил его голову на грубую подушку, сделанную мною для него, и встал на ноги. Передо мной расстилался сверкающий простор океана, где я страдал от ужасного одиночества; позади в лучах рассвета лежал молчаливый остров, населенный зверолюдьми, теперь безмолвными и невидимыми. Дом со всеми припасами горел, ярко вспыхивая, с треском и грохотом. Густые клубы дыма ползли мимо меня по берегу, проплывая над отдаленными вершинами деревьев, к хижинам в ущелье. Около меня лежали обуглившиеся остатки лодок и пять мертвых тел.

Но вот из-за кустарников показалось трое зверолюдей, сгорбленных, с неуклюже висевшими уродливыми руками, выдающимися вперед лицами и настороженными враждебными глазами. Они нерешительно приближались ко мне.

XX
ОДИН СРЕДИ ЗВЕРОЛЮДЕЙ

Я стоял перед ними, читая свою судьбу в их глазах, совершенно один, со сломанной рукой. В кармане у меня был револьвер, в котором недоставало трех патронов. Среди разбросанных по берегу обломков лежало два топора, которыми изрубили лодки. Позади плескались волны.

У меня не оставалось иного оружия для защиты, кроме собственного мужества. Я смело взглянул на приближающихся чудовищ. Они избегали моего взгляда, их трепетавшие ноздри принюхивались к телам, лежавшим на берегу. Я сделал несколько шагов, поднял запачканный кровью хлыст, лежавший около тела человеко-волка, и щелкнул им.

Они остановились, не сводя с меня глаз.

— Кланяйтесь,— сказал я.— На колени!

Они остановились в нерешительности. Один из них встал на колени. Я, хотя душа у меня, как говорится, ушла в пятки, повторил свой приказ и подошел к ним еще ближе.

Снова один опустился на колени, за ним двое остальных. Тогда я направился к мертвым телам, повернув лицо к трем коленопреклоненным зверолюдям, как делает актер, когда пересекает сцену, обратив лицо к публике.

— Они нарушили Закон,— сказал я, наступив ногой на тело глашатая Закона.— И были убиты. Даже сам глашатай Закона; даже второй, с хлыстом. Закон велик! Приблизьтесь и смотрите.

— Нет спасения,— сказал один из них, приближаясь и поглядывая на меня.

— Нет спасения,— сказал я.— Поэтому слушайте и повинуйтесь.

Они встали, вопросительно переглядываясь.

— Ни с места,— сказал я.

Я поднял оба топора, повесил их на свою перевязь, перевернул Монтгомери, взял его револьвер, заряженный еще двумя пулями, и, нагнувшись, нашарил в его карманах с полдюжины патронов.

— Возьмите его,— сказал я, разгибаясь и указывая хлыстом на тело Монтгомери.—Унесите и бросьте в море.

Они подошли к телу Монтгомери, видимо, все еще страшась его, но еще более напуганные щелканьем моего окровавленного хлыста, и робко, после того, как я прикрикнул на них и несколько раз щелкнул хлыстом, осторожно подняли его, понесли вниз к морю и с плеском вошли в ослепительно сверкавшие волны.

— Дальше,— сказал я,— дальше! Отнесите его от берега.

Они вошли в воду по грудь и остановились, глядя на меня.

— Бросайте,— сказал я. И тело Монтгомери с всплеском исчезло. Что-то сжало мне сердце.— Хорошо,— сказал я дрожащим голосом.

Они со страхом поспешили обратно к берегу, оставляя за собой в серебристых волнах длинные черные полосы. У самого берега они остановились, глядя назад в море и как будто ожидая, что вот-вот оттуда появится Монтгомери и потребует отмщения.

— Теперь вот этих,— сказал я, указывая на остальные тела.

Они, тщательно избегая приближаться к тому месту, где бросили тело Монтгомери, отнесли трупы зверолюдей вдоль по берегу на сотню шагов, только тогда вошли в воду и бросили там трупы своих четырех собратьев.

Глядя, как они бросали в воду изувеченные останки Млинга, я услышал за собой негромкие шаги и, быстро обернувшись, увидел совсем близко гиено-свинью. Пригнув голову, она устремила на меня сверкающие глаза, ее уродливые руки были стиснуты в кулаки и прижаты к бокам. Когда я оглянулся, она остановилась и слегка отвернула голову.

Мгновение мы стояли друг против друга. Я бросил хлыст и нашарил в кармане револьвер, решив при первом же удобном случае убить эту тварь, самую опасную из всех оставшихся теперь на острове. Это может показаться вероломством, но так я решил. Она была для меня вдвое страшнее любого из зверолюдей. Я знал, что, пока она жива, мне постоянно угрожает опасность.

Несколько секунд я собирался с духом, потом крикнул:

— Кланяйся, на колени!

Она зарычала, сверкая зубами.

— Кто ты такой, чтоб я...

Я судорожным рывком выхватил револьвер, прицелился и выстрелил.

Я услышал ее визг, увидел, как она отскочила в сторону, и, поняв, что промахнулся, большим пальцем снова взвел курок. Но она уже умчалась далеко, прыгая из стороны в сторону, и я не хотел тратить зря еще один патрон. Время от времени она оборачивалась, глядя на меня через плечо. Пробежав по берегу, она исчезла в клубах густого дыма, по-прежнему тянувшегося от горящей ограды. Некоторое время я смотрел ей вслед. Потом снова повернулся к трем послушным существам и махнул рукой, чтобы они бросили в воду тело, которое все еще держали. Потом я вернулся к тому месту у костра, где лежали трупы, и засыпал песком все темные пятна крови.

Отпустив своих трех помощников, я отправился в рощу над берегом. В руке я держал револьвер, а хлыст с топором засунул за перевязь. Мне хотелось остаться одному, обдумать положение, в котором я очутился.

Самое ужасное — я начал сознавать это только теперь — заключалось в том, что на всем острове не осталось больше ни одного уголка, где я мог бы отдохнуть и поспать в безопасности. Я очень окреп за свое пребывание здесь, но все еще нервничал и уставал от всякого напряжения. Я чувствовал, что придется переселиться на другой конец острова и жить вместе со зверолюдьми, заручившись их доверием. Но сделать это у меня не хватало сил. Я вернулся к берегу и, пройдя на восток, мимо горящего дома, направился к узкой полосе кораллового рифа. Здесь я мог спокойно подумать, сидя спиной к морю и лицом к острову на случай неожиданного нападения. Так я сидел, упершись подбородком в колени, солнце палило меня, в душе рос страх, и я думал, как мне дотянуть до часа избавления (если это избавление вообще когда-нибудь придет). Я старался хладнокровно оценивать положение, но это мне удавалось с трудом.

Я попытался понять причину отчаяния Монтгомери. «Они изменятся,— сказал он,— несомненно изменятся». А Моро, что говорил Моро? «В них снова просыпаются упорные звериные инстинкты...» Потом я стал думать о гиено-свинье. Я был уверен, что если не убью ее, то она

убьет меня. Глашатай Закона был мертв — это усугубляло несчастье. Они знали теперь, что мы, с хлыстами, так же смертны, как и они...

Быть может, они уже глядят на меня из зеленой чащи папоротников и пальм, поджидая, чтобы я приблизился к ним на расстояние прыжка? Быть может, они замышляют что-то против меня? Что рассказала им гиено-свинья? Мое воображение увлекало меня все глубже в трясину необоснованных опасений.

Мои мысли были прерваны криками морских птиц, слетавшихся к чему-то черному, выброшенному волнами на берег недалеко от бывшей ограды. Я знал, что это было, но у меня не хватило сил пойти и отогнать их. Я пошел по берегу в другую сторону, намереваясь обогнуть восточную оконечность острова и выйти к ущелью с хижинами, миновав предполагаемые засады в лесу.

Пройдя около полумили по берегу, я увидел одного из трех помогавших мне зверолюдей, который вышел мне навстречу из прибрежного кустарника. Я был так взвинчен собственным воображением, что тотчас выхватил револьвер. Миролюбивые жесты приближающегося существа не успокоили меня. Оно подходило нерешительно.

— Прочь! — крикнул я.

В его раболепной позе было что-то собачье. Он отошел на несколько шагов, совершенно как собака, которую гонят домой, и остановился, умоляюще глядя на меня преданными глазами.

— Прочь! — повторил я.— Не подходи!

— Значит, мне нельзя подойти? — спросил он.

— Нет. Прочь! — сказал я и щелкнул хлыстом. Потом, взяв хлыст в зубы, нагнулся за камнем, и он в испуге убежал.

В одиночестве обогнув остров, я дошел до ущелья и, прячась в высокой траве, окаймлявшей здесь берег моря, стал наблюдать за зверолюдьми, стараясь определить по их виду, насколько повлияла на них смерть Моро и Монтгомери, а также уничтожение Дома страдания. Теперь я понимаю, каким глупым было мое малодушие. Прояви я такое же мужество, как на рассвете, не дай ему потонуть в унылых размышлениях, я мог бы захватить скипетр Моро и править звериным наро-

дом. Но я упустил случай и очутился всего лишь в положении старшего среди них.

Около полудня некоторые из них вышли и, сидя на корточках, грелись на горячем песке. Повелительный голос голода и жажды заглушил мой страх. Я вышел из травы и с револьвером в руке направился к сидящим фигурам. Одна из них, женщина-волчица, повернула голову и пристально поглядела на меня, а за ней и все остальные. Никто и не подумал встать и приветствовать меня. Я был слишком слаб и измучен, чтобы настаивать на этом при таком скоплении зверолюдей, и упустил благоприятную минуту.

— Я хочу есть,— сказал я почти виновато и подошел ближе.

— Еда в хижинах,— сонно сказал быко-боров, отворачиваясь от меня.

Я прошел мимо них и спустился в мрак и зловоние почти пустынного ущелья. В пустой хижине я нашел несколько плодов и с наслаждением их съел, а потом, забаррикадировав вход грязными, полусгнившими ветками и прутьями, улегся лицом к нему, сжимая в руке револьвер. Усталость последних тридцати часов вступила в свои права, и я погрузился в чуткий сон, рассчитывая, что сооруженная мною непрочная баррикада произведет все же достаточно шума, если ее станут ломать, и меня не захватят врасплох.

XXI
ЗВЕРОЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ПРЕЖНЕМУ СОСТОЯНИЮ

Так я стал одним из зверолюдей на острове доктора Моро. Когда я проснулся, было уже темно. Забинтованная рука сильно болела. Я сел, не понимая, где нахожусь. За стеной раздавались чьи-то грубые голоса. Я увидел, что баррикада моя снята и вход открыт. Револьвер по-прежнему был у меня в руке.

Я услыхал чье-то дыхание и увидел съежившуюся фигуру совсем рядом с собой. Я замер, стараясь рассмотреть, что это за существо. Оно зашевелилось как-то бесконечно медленно. И вдруг что-то мягкое, теплое и влажное скользнуло у меня по руке.

Я задрожал и отдернул руку. Крик ужаса замер у меня на губах. Но тут я сообразил, что случилось, и удержался от выстрела.

— Кто это? — спросил я сиплым шепотом, все еще держа револьвер наготове.

— Я, господин.

— Кто ты?

— Они говорят, что теперь больше нет господина. Но я знаю, знаю. Я относил тела в море, тела тех, которых ты убил. Я твой раб, господин.

— Ты тот, которого я встретил на берегу?

— Да, господин.

Существо это было, очевидно, вполне преданным, так как могло свободно напасть на меня, пока я спал.

— Хорошо,— сказал я, протягивая ему руку для поцелуя-лизка. Я начал понимать, почему он здесь, и мужество вернулось ко мне.

— Где остальные? — спросил я.

— Они сумасшедшие, они дураки,— ответил собако-человек.— Они там разговаривают между собой. Они говорят: «Господин умер. Второй, тоже с хлыстом, умер, а тот, ходивший в море, такой же, как и мы. Нет больше ни господина, ни хлыстов, ни Дома страдания. Всему этому пришел конец. Мы любим Закон и будем соблюдать его, но теперь навсегда исчезло страдание, господин и хлысты». Так говорят они. Но я знаю, господин, я знаю.

Я ощупью нашел в темноте собако-человека и погладил его по голове.

— Хорошо,— снова повторил я.

— Скоро ли ты убьешь их всех? — спросил он.

— Скоро,— ответил я,— убью всех, но нужно подождать несколько дней, пока кое-что произойдет. Все они, кроме тех, кого мы пощадим, будут убиты.

— Господин убивает, кого захочет,— произнес собако-человек с удовлетворением в голосе.

— И чтобы прегрешения их возросли,— продолжал я,— пускай живут в своем безумии до тех пор, пока не пробьет их час. Пусть они не знают, что я господин.

— Воля господина священна,— сказал собако-человек, по-собачьи сметливо поняв меня.

— Но один уже согрешил,— сказал я.— Его я убью, как только увижу. Когда я скажу тебе: «Это он»,— сразу бросайся на него. А теперь я пойду к остальным.

На мгновение вокруг стало совсем темно: это собако-человек, выходя, загородил отверстие. Я последовал за ним и остановился почти на том же месте, где когда-то услыхал шаги гнавшегося за мной Моро и собачий лай. Но теперь была ночь, в вонючем ущелье царил мрак, а позади, там, где был тогда зеленый, залитый солнцем откос, пылал костер, вокруг которого двигались сгорбленные, уродливые фигуры. А еще дальше темнела лесная чаща, отороченная поверху черным кружевом листвы. Над ущельем всходила луна, и дым, вечно струившийся из вулканических трещин, резкой чертой пересекал ее лик.

— Иди рядом,—сказал я собако-человеку, желая подбодрить себя, и мы стали бок о бок спускаться по узкой тропинке, не обращая внимания на какие-то фигуры, выглядывавшие из берлог.

Никто из сидевших у костра не выказал ни малейшего намерения приветствовать меня. Большинство нарочно не замечало меня. Я оглянулся, отыскивая глазами гиено-свинью, но ее не было. Всего тут было около двадцати зверолюдей, и они, сидя на корточках, смотрели в огонь или разговаривали друг с другом.

— Он умер, он умер, господин умер,— послышался справа от меня голос обезьяно-человека.— И Дом страдания — нет больше Дома страдания.

— Он не умер,—произнес я громким голосом,— он и сейчас следит за вами.

Это ошеломило их. Двадцать пар глаз устремились на меня.

— Дом страдания исчез,— продолжал я,— но он снова появится. Вы не можете больше видеть господина, но он сверху слышит вас.

— Правда, правда,— подтвердил собако-человек.

Мои слова привели их в замешательство. Животное может быть свирепым или хитрым, но один только человек умеет лгать.

— Человек с завязанной рукой говорит странные вещи,— сказал один из зверолюдей.

— Говорю вам, это так,—сказал я.— Господин и Дом страдания вернутся снова. Горе тому, кто нарушит Закон.

Они с недоумением переглядывались. А я с напускным равнодушием принялся лениво постукивать по земле топором. Я заметил, что они смотрели на глубокие следы, которые топор оставлял в дерне.

Потом сатиро-человек высказал сомнение в моих словах, и я ответил ему. Тогда возразило одно из пятнистых существ, и разгорелся оживленный спор. С каждой минутой я все больше убеждался в том, что пока мне ничто не грозит. Я теперь говорил без умолку, не останавливаясь, так же, как говорил вначале от сильного волнения. Через час мне удалось убедить нескольких зверолюдей в правоте своих слов, а в сердцах остальных заронить сомнение. Все это время я зорко осматривался, искал, нет ли где моего врага — гиено-свиньи, но она не показывалась. Изредка я вздрагивал от какого-нибудь подозрительного движения, но чувствовал себя гораздо спокойнее. Луна уже закатывалась, и зверолюди один за другим принялись зевать, показывая при свете потухающего костра неровные зубы, а затем стали расходиться по своим берлогам. Я, боясь тишины и мрака, пошел с ними, зная, что когда их много, я в большей безопасности, чем наедине с одним из них, все равно с кем.

Таким образом, начался самый долгий период моей жизни на острове доктора Моро. Но с этого вечера и до самого последнего дня произошел только один случай, о котором необходимо рассказать, все остальное же состояло из бесчисленных мелочей и неприятностей. Так что я не стану подробно описывать все это, а расскажу лишь о главном событии за те десять месяцев, которые я провел бок о бок с этими полулюдьми, полузверями. Многое еще осталось в моей памяти, о чем я мог бы рассказать, многое такое, что я дал бы отрубить себе правую руку, лишь бы это забыть. Но эти подробности здесь излишни. Оглядываясь назад, я с удивлением вспоминаю, как быстро я усвоил нравы этих чудовищ и снова приобрел уверенность в себе. Конечно, бывали и ссоры, я теперь еще мог бы показать следы укусов, но в общем они быстро прониклись уважением к моему искусству бросать камни и ударам моего топора. А преданность че-

ловека-сенбернара была для меня драгоценна. Я увидел, что степень их уважения зависела главным образом от умения наносить раны. И, говоря искренне, без хвастовства, я пользовался среди них привилегированным положением. Некоторые, получившие от меня в подарок недурные шрамы, были ко мне настроены враждебно, но злобу свою проявляли главным образом гримасами, да и то за моей спиной, на почтительном расстоянии.

Гиено-свинья меня избегала, но я был всегда начеку. Мой неразлучный собако-человек страстно ненавидел и боялся ее. Этот страх еще больше привязывал его ко мне. Скоро для меня стало очевидным, что гиено-свинья узнала вкус крови и пошла по стопам леопардо-человека. Где-то в лесу она устроила себе берлогу и поселилась в одиночестве. Я попробовал устроить на нее облаву, но мне недоставало авторитета, чтобы объединить их всех. Я не раз пытался подойти к берлоге и напасть на гиено-свинью врасплох, но она была осторожна и, увидев или почуяв меня, тотчас скрывалась. Устраивая засады, она подстерегала меня и моих союзников на всех лесных тропинках. Собако-человек почти не отходил от меня.

В первый месяц звериный люд вел себя вполне по-человечески в сравнении с тем, что было дальше, и я даже удостаивал своей дружбой, кроме собако-человека, нескольких из них. Маленькое ленивцеподобное существо проявляло ко мне странную привязанность и всюду следовало за мной. А вот обезьяно-человек надоел мне до смерти. Он утверждал, что, поскольку у него пять пальцев, он мне равен, и вечно болтал, тараторя самый невообразимый вздор. Только одно забавляло меня в нем: он обладал необычайной способностью выдумывать новые слова. Мне кажется, он думал, что истинное назначение человеческой речи состоит в бессмысленной болтовне. Эти бессмысленные слова он называл «большими мыслями» в отличие от «маленьких мыслей», под которыми подразумевались нормальные, обыденные вещи. Когда я говорил что-нибудь непонятное для него, это ему ужасно нравилось, он просил меня повторить, заучивал сказанное наизусть и уходил, повторяя, путая и переставляя слова, а потом говорил это всем своим более или менее добродушным собратьям. Ко всему, что было

просто и понятно, он относился с презрением. Я придумал специально для него несколько забавных «больших мыслей». Теперь он кажется мне самым глупым существом, какое я видел в жизни; он удивительнейшим образом развил в себе чисто человеческую глупость, не потеряв при этом ни одной сотой доли прирожденной обезьяньей глупости.

Так было в первые недели моей жизни в среде зверолюдей. В это время они следовали обычаям, установленным Законом, и вели себя благопристойно. Правда, один раз я нашел еще одного кролика, растерзанного — я убежден в этом — гиено-свиньей; но это было все. Но к маю я ясно заметил растущую разницу в их говоре и манере держать себя, все большую невнятность, нежелание разговаривать. Обезьяно-человек болтал даже больше обычного, но его болтовня становилась все менее понятной, все более обезьяньей. Остальные, казалось, потеряли дар слова, но еще понимали то, что я говорил им. Можете ли вы себе представить, как ясный и понятный язык постепенно стал туманиться, терять форму и смысл, снова превращаться в пустое нагромождение звуков? Держаться прямо им также становилось все трудней и трудней. Хотя они, видимо, стыдились этого, но по временам я видел, как то один, то другой бежал на четвереньках, уже совершенно неспособный ходить на двух ногах. Руки у них стали еще более неловкие; они лакали воду, по-звериному грызли еду, с каждым днем становились все грубее. Я видел собственными глазами проявление того, что Моро называл «упорными звериными инстинктами». Они быстро возвращались к своему прежнему состоянию.

Некоторые из них — я с изумлением заметил, что по большей части это были существа женского пола, — стали пренебрегать приличием, правда, пока еще втайне. Другие открыто посягали на установленную Законом моногамию. Было ясно, что Закон терял свою силу. Мне неприятно рассказывать об этом. Мой собако-человек незаметно снова превратился в собаку; с каждым днем он немел, чаще ходил на четвереньках, обрастал шерстью. Мне трудно было уследить за постепенным перерождением моего постоянного спутника в крадущегося рядом со мной пса. Так как нечистоплотность и беспорядок

среди звериного люда возрастали с каждым днем и берлога, которая всегда была неприятной, стала совсем омерзительной, я решил покинуть ее и построил себе шалаш внутри черных развалин ограды Моро. Смутные воспоминания о страданиях делали это место самым безопасным убежищем.

Нет никакой возможности подробно описать каждый шаг падения этих тварей, рассказать, как с каждым днем исчезало их сходство с людьми; как они перестали одеваться, их обнаженные тела стали покрываться шерстью, лбы зарастать, а лица вытягиваться вперед; как та почти человеческая дружба, которую я позволил себе с некоторыми из них в первый месяц, стала для меня одним из ужаснейших воспоминаний.

Перемена совершалась медленно и неуклонно. Она происходила без резкого перехода. Я продолжал свободно ходить среди них, так как не было толчка, от которого прорвались бы наружу звериные свойства их натуры, которые с каждым днем вытесняли все человеческое. Но я начинал опасаться, что толчок этот вот-вот произойдет. Мой сенбернар провожал меня до ограды и стерег мой сон, так что я мог спать относительно спокойно. Маленькое ленивцеподобное существо стало пугливым и покинуло меня, вернувшись к своему естественному образу жизни на ветвях деревьев. Мы находились как раз в состоянии того равновесия, которое устанавливают в клетках укротители зверей и демонстрируют его под названием «счастливого семейства», но сам укротитель ушел навсегда.

Конечно, эти существа не опустились до уровня тех животных, которых читатель видел в зоологическом саду,— они не превратились в обыкновенных медведей, волков, тигров, быков, свиней и обезьян. Во всех оставалось что-то странное; каждый из них был помесью; в одном, быть может, преобладали медвежьи черты, в другом — кошачьи, в третьем — бычьи, но каждый был помесью двух или больше животных, и сквозь особенности каждого проглядывали некие общезвериные черты. Теперь меня уже поражали проявлявшиеся у них порой проблески человеческих черт: внезапное возвращение дара речи, неожиданная ловкость передних конечностей, жалкая попытка держаться на двух ногах.

Я, по-видимому, тоже странным образом переменился. Одежда висела на мне желтыми лохмотьями, и сквозь дыры просвечивала загорелая кожа. Волосы так отросли, что их приходилось заплетать в косички. Еще и теперь мне говорят, что глаза мои обладают каким-то странным блеском, они всегда настороженны.

Сначала я проводил весь день на южном берегу острова, ожидая, не появится ли корабль, надеясь и моля об этом бога. Прошел почти год со времени моего прибытия на остров, и я рассчитывал на возвращение «Ипекакуаны», но она больше не появлялась. Я пять раз видел паруса и три раза дым, но никто не проходил вблизи острова. У меня всегда была наготове куча хвороста для костра, но, зная вулканическое происхождение острова, моряки, без сомнения, принимали дым за испарения из расселин.

Только в сентябре или даже в октябре я стал подумывать о сооружении плота. К этому времени рука моя зажила, и я мог работать обеими руками. Сначала беспомощность моя была ужасающей. Я никогда в жизни не плотничал и потому целыми днями возился в лесу, рубил и скреплял деревья. У меня не было веревок, и я не знал, из чего их сделать. Ни одна из многочисленных лиан не была достаточно гибкой и прочной для этой цели, а изобрести я с моими обрывками научных знаний ничего не мог. Более двух недель я рылся среди обугленных развалин дома и даже на берегу, где были сожжены лодки, в поисках гвоздей или еще каких-нибудь случайно уцелевших металлических предметов, которые могли бы мне пригодиться. По временам за мною наблюдал кто-нибудь из зверолюдей, но, как только я окликал его, он исчезал. Наступила пора дождей, что очень замедлило мою работу, но в конце концов плот был готов.

Я был в восторге. Но по своей непрактичности, из-за которой я страдал всю жизнь, я построил плот на расстоянии мили от берега, и, когда я тащил его к морю, он развалился на куски. Быть может, это было и к лучшему, хуже было бы, если б я спустил его на воду. Но в то время я так остро почувствовал свою неудачу, что несколько дней в каком-то отупении бродил по берегу, глядя на воду и думая о смерти.



«ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»



«ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»

Но все же я не хотел умирать. А потом случилось событие, которое показало все безумие моей медлительности, так как каждый новый день приносил с собой все большую опасность со стороны окружавших меня чудовищ. Однажды я лежал в тени у остатков ограды, смотря на море, как вдруг прикосновение чего-то холодного к пяткам заставило меня вздрогнуть. Привскочив, я увидел перед собой ленивцеподобное существо. Оно давно уже разучилось говорить и быстро двигаться, гладкая шерсть его с каждым днем становилась все гуще и гуще, а кривые лапки, вооруженные когтями, все толще. Оно издало жалобный звук и, увидев, что привлекло мое внимание, сделало несколько шагов к кустарникам и оглянулось на меня.

В первую минуту я не понял, чего оно от меня хотело, но потом сообразил, что оно звало меня за собой. День был жаркий, и я поплелся за ним до деревьев. Оно вскарабкалось наверх, так как свободнее двигалось по свисавшим с деревьев лианам, чем по земле.

И вот в лесу я увидел ужасное зрелище. На земле лежал мертвый сенбернар, а гиено-свинья припала к нему, охватив его тело своими безобразными лапами, и грызла его, урча от наслаждения. Когда я приблизился, она подняла на меня сверкающие глаза; дрожащие губы обнажили окровавленные клыки, и она угрожающе зарычала. Она не была ни испугана, ни смущена; в ней не осталось ничего человеческого. Я сделал еще шаг, остановился, вынул револьвер. Наконец-то я очутился лицом к лицу с врагом.

Она не сделала никакой попытки к бегству. Но уши ее встали, шерсть ощетинилась, все тело сжалось. Я прицелился ей меж глаз и выстрелил. Она бросилась на меня, сбила с ног, как кеглю, и ударила по лицу своей безобразной рукой. Но, не рассчитав, она перескочила через меня. Я очутился у нее под ногами, но, к счастью, выстрел мой попал в цель. Это был предсмертный прыжок. Выкарабкавшись из-под отвратительной тяжести, я встал, весь дрожа. Опасность, во всяком случае, миновала. Но я знал, что события только начинаются.

Я сжег оба трупа на костре. Теперь я ясно видел, что меня ждет неминуемая смерть, если я не покину остров. Все зверолюди, за исключением нескольких, покинули

ущелье и сообразно со своими наклонностями устроили себе в лесу берлоги. Лишь немногие из них выходили днем; большинство спало, и со стороны остров мог показаться совершенно безлюдным, но ночью воздух оглашался отвратительным воем и рычанием. Я даже думал убить их всех: расставить западни или просто перерезать ножом. Будь у меня достаточно патронов, я ни на минуту не поколебался бы перестрелять всех. Опасных хищников осталось не более двадцати; самые кровожадные из них были уже мертвы. После смерти моего бедного сенбернара я начал дремать днем, чтобы ночью быть настороже. Я перестроил свое жилище, сделав такой узкий вход, что каждый, кто попытался бы войти, неизбежно должен был поднять шум. Кроме того, зверолюди разучились добывать огонь и стали снова бояться его. Я опять начал усердно собирать стволы и ветки, чтобы сделать новый плот.

У меня на пути возникали тысячи затруднений. Я вообще очень неловкий и неумелый человек, и учился я, когда в школе еще не ввели обучение ручному труду, но в конце концов большую часть нужных для плота материалов я нашел или чем-либо заменил и на этот раз позаботился о прочности. Единственным непреодолимым препятствием было отсутствие посудины для воды, необходимой мне в скитаниях по этой глухой части океана. Я сделал бы себе глиняный горшок, но на острове не было глины. Долго бродил я по берегу, ломая себе голову, как преодолеть это последнее затруднение. Порой меня охватывало бешенство, и я, чтобы дать выход раздражению, рубил в щепки какое-нибудь несчастное дерево. Однако ничего придумать не мог.

Но вот настал день, чудесный день, полный восторга. Я увидел на юго-западе небольшое судно, похожее на шхуну, и немедленно зажег большой костер. Я стоял около огня, обдаваемый жаром, а сверху меня палило полуденное солнце. Целый день я не пил и не ел, только следил за этим судном, и у меня кружилась от голода голова. Зверолюди подходили, смотрели на меня, удивлялись и снова уходили. Наступила ночь, а судно было все еще далеко; мрак поглотил его, и я трудился всю ночь, поддерживая костер, а вокруг удивленно светились в темноте глаза. На рассвете судно подошло бли-

же, и я определил, что это маленькая грязная парусная шлюпка. Мои глаза устали. Я смотрел и не мог поверить. В шлюпке было двое людей: один — на носу, другой — на руле. Но сама шлюпка шла как-то странно. Она не плыла по ветру — ее просто несло течением.

Когда совсем рассвело, я принялся махать остатками своей блузы, но люди в шлюпке не замечали меня и продолжали сидеть. Я бросился на самый конец мыса, размахивал руками и кричал. Ответа не было, и лодка продолжала плыть без цели, медленно приближаясь к заливу. Вдруг из нее вылетела большая белая птица, но ни один из сидевших там людей не пошевелился и не обратил на это внимания. Птица описала круг в воздухе и улетела, взмахивая своими сильными крыльями.

Тогда я перестал кричать, сел на землю и, подперев рукой подбородок, стал смотреть вдаль. Шлюпка плыла медленно, направляясь к западу. Я мог бы доплыть до нее, но какой-то холодный смутный страх удерживал меня. Днем ее приливом прибило к берегу, и она очутилась в сотне шагов к западу от развалин ограды.

Люди, сидевшие в ней, были мертвы, они умерли так давно, что рассыпались в прах, когда я перевернул шлюпку на бок и вытащил их оттуда. У одного на голове была копна рыжих волос, как у капитана «Ипекакуаны», и на дне лодки валялась грязная белая фуражка. Пока я стоял около шлюпки, трое зверолюдей вышли украдкой из-за кустов и приблизились ко мне, втягивая ноздрями воздух. Меня охватило отвращение. Я оттолкнул шлюпку от берега и вскарабкался в нее. На берег вышли два волка, у которых раздувались ноздри и сверкали глаза, а третьим был ужасный, неописуемый зверь — помесь медведя и быка.

Когда я увидел, как они, рыча друг на друга и сверкая зубами, подкрадываются к злополучным человеческим останкам, отвращение сменилось ужасом. Я повернулся к ним спиной, спустил парус и принялся грести, чтобы выйти в море. Я не мог заставить себя оглянуться назад.

Эту ночь я провел между рифом и островом, а на следующее утро добрался кружным путем до ручья и наполнил водой пустой бочонок, который нашел в шлюпке. Затем, собрав остатки терпения, я нарвал плодов, а по-

том подстерег и убил тремя последними патронами двух кроликов.

Шлюпку я оставил привязанной к рифу, боясь, как бы ее не уничтожили чудовища.

XXII

НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Вечером я сел в шлюпку и вышел в открытый океан, подгоняемый легким юго-западным ветром. Остров становился все меньше и меньше, тонкая струя дыма таяла на фоне заката. Вокруг меня расстилался океан, и вскоре темный клочок земли скрылся из глаз. Свет дня понемногу как бы стекал с неба, и передо мной раскрывалась голубая необъятная бездна, днем скрытая солнечным блеском вместе с плавающими в ней мириадами светил. Молчало море, молчало небо; я был один среди безмолвия и мрака.

Три дня носило меня по морю. Я старался есть и пить как можно меньше, размышлял о своих приключениях и не очень стремился снова увидеть людей. На мне висели какие-то лохмотья, грязные волосы были всклокочены. Без сомнения, когда меня подобрали, то сочли за сумасшедшего. Как ни странно, но я не чувствовал ни малейшего желания вернуться к людям. Я был рад только, что распростился навсегда с омерзительной жизнью среди чудовищ. На третий день меня подобрал бриг, шедший из Апии в Сан-Франциско. Ни капитан, ни его помощник не поверили моему рассказу, решив, что я сошел с ума от одиночества и страха перед смертью. Опасаясь, как бы остальные не подумали то же самое, я удержался от дальнейших рассказов, объявив, что не помню решительно ничего, что случилось со мной со дня гибели «Леди Вейн» и до того времени, как меня подобрал бриг, то есть за целый год.

Мне пришлось действовать с крайней осмотрительностью, чтобы рассеять подозрения в безумии. Меня преследовали воспоминания о Законе, о двух мертвых моряках, о засадах в темном лесу, о теле, найденном в тростнике. И как это ни странно, но с возвращением к людям вместо доверия и симпатии, которых следовало бы ожидать, во мне возросли неуверенность и страх, ко-

торые я испытывал на острове. Никто не поверил мне, но я относился к людям почти так же странно, как относился раньше к принявшим человеческий облик зверям. Возможно, я заразился их дикостью.

Говорят, что страх—это болезнь, и я могу это подтвердить, ибо несколько лет во мне жил страх, который, вероятно, испытывает еще не совсем укрощенный львенок. Моя болезнь приобрела самый странный характер. Я не мог убедить себя, что мужчины и женщины, которых я встречал, не были зверьми в человеческом облике, которые пока еще внешне похожи на людей, но скоро снова начнут изменяться и проявлять свои звериные инстинкты. Я доверился одному очень способному человеку, специалисту по нервным болезням, который лично знал Моро, и он как будто отчасти поверил моему рассказу. Он очень помог мне.

Я вовсе не рассчитываю на то, что ужасные картины, виденные на острове, когда-нибудь совершенно изгладятся из моей памяти, но все же они теперь ушли в глубину моего сознания, они далеки, как облачка, и кажутся нереальными; но иногда эти облачка разрастаются, закрывают все небо. И тогда я оглядываюсь на окружающих людей, дрожа от страха. Одни лица кажутся мне спокойными и ясными, другие—мрачными и угрожающими, третьи—переменчивыми, неискренними; ни в одном из людских лиц нет той разумной уверенности, которая отличает человеческое существо. Мне кажется, что под внешней оболочкой скрывается зверь, и передо мной вскоре снова разыграется тот ужас, который я видел на острове, только еще в большем масштабе. Я знаю, что все это моя фантазия, что мужчины и женщины, которые окружают меня, действительно мужчины и женщины, они останутся такими всегда— разумными созданиями, полными добрых стремлений и человечности, освободившимися от инстинкта, они не рабы какого-то фантастического Закона и совершенно не похожи на зверолюдей. Но все же я избегаю их, избегаю любопытных взглядов, расспросов и помощи, стремлюсь уйти, чтобы быть одному.

Вот почему я живу близ большой холмистой равнины и могу бежать туда, когда мрак окутывает мою душу. И как хорошо бывает там под безоблачным небом!

Когда я жил в Лондоне, чувство ужаса было почти невыносимо. Я нигде не мог укрыться от людей: их голоса проникали сквозь окна; запертые двери были непрочной защитой. Я выходил на улицу, чтобы переломить себя, и мне казалось, что женщины, как кошки, мяукали мне вслед; кровожадные мужчины бросали на меня алчные взгляды; истомленные, бледные рабочие с усталыми глазами шли мимо меня быстрой поступью, похожие на раненых, истекающих кровью животных; странные, сгорбленные и мрачные, они бормотали что-то про себя, и, не замечая ничего этого, шли, болтая, как обезьянки, дети. Если я заходил в какую-нибудь церковь, мне казалось (так сильна была моя болезнь), что и тут священник бормотал «большие мысли», точь-в-точь как это делал обезьяно-человек; если же я попадал в библиотеку, склоненные над книгами люди, казалось мне, подкарауливали добычу. Особенно отвратительны для меня были бледные, бессмысленные лица людей в поездах и автобусах; эти люди казались мне мертвецами, и я не решался никуда ехать, пока не находил совершенно пустой вагон. Мне казалось, что даже я сам не разумное человеческое существо, а бедное больное животное, терзаемое какой-то странной болезнью, которая заставляет его бродить одного, подобно заблудшей овце.

Но, слава богу, это состояние овладевает мною теперь все реже. Я удалился от шума городов и людской толпы, провожу дни среди мудрых книг, этих широких окон, открывающихся в жизнь и освещенных светлой душой тех, которые их написали. Я редко вижу незнакомых людей и веду самый скромный образ жизни. Все свое время я посвящаю чтению и химическим опытам, а в ясные ночи изучаю астрономию. В сверкающих мириадах небесных светил — не знаю, как и почему — я нахожу успокоение. И мне кажется, что все человеческое, что есть в нас, должно найти утешение и надежду в вечных всеобъемлющих законах мироздания, а никак не в обыденных житейских заботах, горестях и страстях. Я надеюсь, иначе я не мог бы жить. Итак, в надежде и одиночестве я кончаю свой рассказ.

Эдвард Прендик

1896

Человек-невидимка

ГЛАВА I

ПОЯВЛЕНИЕ НЕЗНАКОМЦА

Незнакомец появился в начале февраля; в тот морозный день бушевали ветер и вьюга — последняя вьюга в этом году; однако он пришел с железнодорожной станции Брэмблхерст пешком; в руке, обтянутой толстой перчаткой, он держал небольшой черный саквояж. Он был закутан с головы до пят; широкие поля фетровой шляпы скрывали все лицо, виднелся только блестящий кончик носа; плечи и грудь были в снегу, так же как и саквояж. Он вошел в трактир «Кучер и кони», еле передвигая ноги от холода и усталости, и бросил саквояж на пол.

— Огня! — крикнул он.— Во имя человеколюбия! Комнату и огня!

Стряхнув с себя снег, он последовал за миссис Холл в приемную, чтобы договориться об условиях. Разговор был короткий. Бросив ей два соверена, незнакомец поселился в трактире.

Миссис Холл затопила камин и покинула гостя, чтобы собственноручно приготовить ему поесть. Заполучить в Айпинге зимой постояльца, да еще такого, который не торгуется,— это была неслыханная удача, и миссис Холл решила показать себя достойной счастливого случая, выпавшего ей на долю.

Когда ветчина поджарилась, а Милли, вечно сонная служанка, выслушала несколько уничтожающих замечаний, что, видимо, должно было подстегнуть ее энергию, миссис Холл отнесла в комнату приезжего скатерть, посуду и стаканы, после чего стала с особым шиком сервировать стол. Огонь весело трещал в камине, но приезжий, к величайшему ее удивлению, до сих пор не снял шляпы

и пальто; он стоял спиной к ней, глядя в окно на падающий снег. Руки его, все еще в перчатках, были заложены за спину, и он, казалось, о чем-то глубоко задумался. Хозяйка заметила, что снег у него на плечах растаял и вода капает на ковер.

— Позвольте, мистер, ваше пальто и шляпу,— обратилась она к нему,— я отнесу их на кухню и повешу сушить.

— Не надо,— ответил он, не оборачиваясь.

Она решила, что ослышалась, и уже готова была повторить свою просьбу.

Но тут незнакомец повернул голову и посмотрел на нее через плечо.

— Я предпочитаю не снимать их,— заявил он.

При этом хозяйка заметила, что на нем большие синие очки-консервы и что у него густые бакенбарды, скрывающие лицо.

— Хорошо, мистер,— сказала она,— как вам будет угодно. Комната сейчас нагреется.

Незнакомец ничего не ответил и снова повернулся к ней спиной. Видя, что разговор не клеится, миссис Холл торопливо накрыла на стол и вышла из комнаты. Когда она вернулась, он все так же стоял у окна, подобно каменному изваянию, сгорбленный, с поднятым воротником и низко опущенными полями шляпы, скрывавшими лицо и уши. Поставив на стол яичницу с ветчиной, она почти крикнула:

— Завтрак подан, мистер!

— Благодарю вас,— ответил он тотчас же, но не двинулся с места, пока она не закрыла за собой дверь. Тогда он круто повернулся и подошел к столу.

— Ох, уж эта девчонка! — сказала миссис Холл.— А я и забыла про нее! Вот канительщица! — Взявшись сама растирать горчицу, она отпустила несколько колкостей по адресу Милли за ее необычайную медлительность. Сама она успела поджарить яичницу с ветчиной, накрыть на стол, сделать все, что нужно, а Милли — хороша помощница! — оставила гостя без горчицы. А ведь он только приехал и хочет, видно, здесь пожить. Поворчав, миссис Холл наполнила горчичницу и, поставив ее не без торжественности на черный с золотом чайный поднос, понесла к постояльцу.

Она постучала и тут же вошла. Незнакомец сделал быстрое движение, и она едва успела увидеть что-то белое, мелькнувшее под столом. Он, очевидно, что-то подбирал с полу. Она поставила горчицу на стол и при этом заметила, что пальто и шляпа гостя лежат на стуле у камина, а на стальной решетке стоит пара мокрых башмаков. Решетка, конечно, заржавеет. Миссис Холл решительно приблизилась к камину и заявила тоном, не допускающим возражений:

— Теперь, я думаю, можно взять ваши вещи и просушить.

— Оставьте шляпу,— сказал приезжий сдавленным голосом. Обернувшись, она увидела, что он сидит выпрямившись и смотрит на нее.

С минуту она стояла, вытаращив глаза, потеряв от удивления дар речи.

Нижнюю часть лица он прикрывал чем-то белым, по-видимому, салфеткой, которую привез с собой, так что ни его рта, ни подбородка не было видно. Потому-то голос и прозвучал так глухо. Но не это поразило миссис Холл. Лоб незнакомца от самого края синих очков был обмотан белым бинтом, а другой бинт закрывал уши, так что неприкрытым оставался только розовый острый нос. Нос был такой же розовый и блестящий, как в ту минуту, когда незнакомец появился впервые. Одет он был в коричневую бархатную куртку; высокий темный воротник, подшитый белым полотном, был поднят. Густые черные волосы, выбиваясь в беспорядке из-под перекрещенных бинтов, торчали пучками и придавали незнакомцу чрезвычайно странный вид. Его закутанная и забинтованная голова так поразила миссис Холл, что от неожиданности она остолбенела.

Он не отнял салфетки от лица и, по-прежнему придерживая ее рукой в коричневой перчатке, смотрел на хозяйку сквозь непроницаемые синие стекла.

— Оставьте шляпу,— снова невнятно сказал он сквозь салфетку.

Миссис Холл, оправившись от испуга, положила шляпу обратно на стул.

— Я не знала, сударь...— начала она,— что вы...— И смущенно замолчала.

— Благодарю вас,— сухо сказал он, многозначительно поглядывая на дверь.

— Я сейчас все высушу,— сказала она и вышла, унося с собой платье. В дверях она снова посмотрела на его забинтованную голову и синие очки; он все еще прикрывал рот салфеткой. Закрывая за собой дверь, она вся дрожала, и на лице ее было написано смятение.— В жизни своей...— прошептала она.— Ну и ну! — Она тихо вернулась на кухню и даже не спросила Милли, чего она там возится.

Незнакомец между тем внимательно прислушивался к удаляющимся шагам хозяйки. Прежде чем отложить салфетку и снова приняться за еду, он испытующе посмотрел на окно. Проглотив кусок, он опять, уже с подозрением, посмотрел на окно, потом встал и, держа салфетку в руке, спустил штору до белой занавески, прикрывавшей нижнюю часть окна. Комната погрузилась в полумрак. Несколько успокоенный, он вернулся к столу и продолжал завтрак.

— Бедняга, он расшибся, или ему сделали операцию, или еще что-нибудь,— сказала миссис Холл.— Весь перевязанный, даже смотреть страшно.

Она подбросила угля в печку, придвинула подставку для сушки платья и разложила на ней пальто приезжего.

— А очки! Да что говорить, водолаз какой-то, а не человек.— Она повесила на подставку шарф.— А лицо прикрывает тряпкой! И говорит сквозь нее!.. Может быть, у него рот тоже болит? — Тут она обернулась, видимо, внезапно вспомнив о чем-то.— Боже милостивый! — воскликнула она.— Милли! Неужели блинчики еще не готовы?

Когда миссис Холл вошла в гостиную, чтобы убрать со стола, она нашла новое подтверждение своей догадке, что рот незнакомца изуродован или искалечен несчастным случаем: незнакомец курил трубку и все время, пока она была в комнате, ни разу не приподнял шелковый платок, которым была обвязана нижняя часть его лица, и не взял мундштук в рот. А ведь он вовсе не забыл про свою трубку: миссис Холл заметила, что он поглядывает на тлеющий понапрасну табак. Он сидел в углу, спиной к опущенной шторе; подкрепившись и со-

гревшись, он, очевидно, почувствовал себя лучше и говорил уже не так отрывисто и раздраженно. В красноватом отблеске огня его огромные очки как будто ожили.

— На станции Брэмблхерст,— сказал он,— у меня остался кой-какой багаж. Нельзя ли послать за ним? — Выслушав ответ, он вежливо наклонил забинтованную голову.— Значит, только завтра? — сказал он.— Неужели нельзя раньше? — И очень огорчился, когда она ответила, что нельзя.— Никак нельзя? — переспросил он.— Быть может, все-таки найдется кто-нибудь, кто съездил бы с повозкой на станцию?

Миссис Холл охотно отвечала на все вопросы, надеясь таким образом вовлечь его в беседу.

— Дорога к станции очень крутая,— сказала она и, пользуясь случаем, добавила: — В прошлом году на этой дороге опрокинулся экипаж. Седок и кучер оба убились насмерть. Долго ли до беды? Одна минута — и готово, не правда ли, мистер?

Но гостя не так-то легко было втянуть в разговор.

— Правда,— сказал он, спокойно глядя на нее сквозь непроницаемые очки.

— А потом когда еще поправишься, правда? Вот, к примеру сказать, мой племянник Том порезал себе руку косой — косил, знаете, споткнулся и порезал,— так, поверите ли, три месяца ходил с перевязанной рукой. С тех пор я ужас как боюсь этих кос.

— Это не удивительно,— сказал приезжий.

— Одно время мы даже думали, ему придется сделать операцию, так ему было худо.

Приезжий отрывисто засмеялся, словно залаял.

— Так ему было худо? — повторил он.

— Да, мистер. И это было вовсе не смешно для тех, кому приходилось с ним возиться. Вот хоть бы и мне, мистер, потому что сестра все нянчилась со своими малышами. Только и знай завязывай да развязывай ему руку, так что, ежели позволите...

— Дайте мне, пожалуйста, спички,— вдруг прервал он ее.— Моя трубка погасла.

Миссис Холл замолчала. Несомненно, с его стороны несколько грубо прерывать ее таким образом. С минуту она сердито смотрела на него, но, вспомнив про два соверена, пошла за спичками.

— Благодарю,— коротко сказал он, когда она положила спички на стол, и, повернувшись к ней спиной, стал снова глядеть в окно. Очевидно, разговор о бинтах и операциях был ему неприятен. Она решила не возвращаться к этой теме. Нелюбезность незнакомца рассердила ее, и Милли пришлось это почувствовать на себе.

Приезжий оставался в гостиной до четырех часов, не давая решительно никакого повода зайти к нему. Почти все это время там было очень тихо, вероятно, он сидел у догорающего камина и курил трубку, а может быть, просто дремал.

Однако если бы кто-нибудь внимательно прислушался, то мог бы услышать, как он поворошил угли, а потом минут пять расхаживал по комнате и разговаривал сам с собой. Потом он снова сел, и под ним скрипнуло кресло.

ГЛАВА II

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ МИСТЕРА ТЕДДИ ХЕНФРИ

В четыре часа, когда уже почти стемнело и миссис Холл собралась с духом заглянуть к постояльцу и спросить, не хочет ли он чаю, в трактир вошел Тедди Хенфри, часовщик.

— Что за скверная погода, миссис Холл! — сказал он.— А я еще в легких башмаках.

Снег за окном валил все гуще.

Миссис Холл согласилась, что погода ужасная, и вдруг, увидев чемоданчик с инструментами, просияла.

— Знаете что, мистер Хенфри, раз вы уже здесь, взгляните, пожалуйтса, на часы в гостиной. Идут они хорошо и бьют как следует, но часовая стрелка как остановилась на шести часах, так ни за что не хочет сдвинуться с места.

Она провела часовщика до двери гостиной, постучала и вошла.

Приезжий — как она успела заметить, открывая дверь,— сидел в кресле у камина и, казалось, дремал: его забинтованная голова склонилась к плечу. Комнату освещал красный отблеск пламени; стекла очков сверкали, как сигнальные огни на железной дороге, а лицо оста-

валось в тени; последние блики зимнего дня пробивались в комнату сквозь приоткрытую дверь. Миссис Холл все показалось красноватым, причудливым и неясным, тем более, что она еще была ослеплена светом лампы, которую только что зажгла над стойкой в распивочной. На секунду ей показалось, что у постояльца чудовищный, широко раскрытый рот, пересекающий все лицо. Видение было мгновенное — белая забинтованная голова, огромные очки вместо глаз и под ними широкий, разинутый, как бы зевающий рот. Но вот спящий пошевельнулся, выпрямился в кресле и поднял руку. Миссис Холл распахнула дверь настежь, в комнате стало светлее; теперь она получше рассмотрела его и увидела, что лицо у него прикрыто шарфом, так же, как раньше салфеткой. И она решила, что все это ей только померещилось, было игрой теней.

— Не разрешите ли, мистер, часовщику осмотреть часы? — сказала она, приходя в себя.

— Осмотреть часы? — спросил он, сонно озираясь. Потом, как бы очнувшись, добавил: — Пожалуйста!

Миссис Холл пошла за лампой, а он встал с кресла и потянулся. Появилась лампа, и мистер Тедди Хенфри, войдя в комнату, очутился лицом к лицу с забинтованным человеком. Он был, по его собственному выражению, «огорошен».

— Добрый вечер,— сказал незнакомец, глядя на него, «как морской рак», по выражению Тедди,— на такое сравнение его навели, очевидно, темные очки.

— Надеюсь, я вас на обеспокою? — сказал мистер Хенфри.

— Нисколько,— ответил приезжий.— Хотя я думал,— прибавил он, обращаясь к миссис Холл,— что эта комната отведена мне для личного пользования.

— Я полагала, сударь,— сказала хозяйка,— что вы не будете возражать, если часы...

Она хотела добавить: «починят»,— но осеклась.

— Конечно,— прервал он ее.— Правда, вообще я предпочитаю оставаться один и не люблю, когда меня беспокоят. Но я рад, что часы будут починены,— продолжал он, видя, что мистер Хенфри остановился в нерешительности. Он уже хотел извиниться и уйти, но слова приезжего успокоили его.

Незнакомец повернулся спиной к камину и заложил руки за спину.

— Когда часы починят, я выпью чаю,— заявил он.— Но не раньше.

Миссис Холл уже собиралась выйти из комнаты — на этот раз она не делала никаких попыток завязать разговор, не желая, чтобы ее грубо оборвали в присутствии мистера Хенфри,— как вдруг незнакомец спросил, позаботилась ли она о доставке его багажа. Она сказала, что говорила об этом с почтальоном и что багаж будет доставлен завтра утром.

— Вы уверены, что раньше его невозможно доставить? — спросил он.

— Уверена,— ответила она довольно холодно.

— Мне следовало сразу сказать вам, кто я такой, но я до того промерз и устал, что еле ворочал языком. Я, видите ли, исследователь...

— Ах, вот как,— проговорила миссис Холл, на которую эти слова произвели сильнейшее впечатление.

— Багаж мой состоит из всевозможных приборов и аппаратов.

— Очень даже полезные вещи,— вставила миссис Холл.

— И я с нетерпением жду возможности продолжать свои исследования.

— Это понятно, мистер.

— Приехать в Айпинг,— продолжал он медленно, как видно, тщательно подбирая слова,— меня побудило... м-м... стремление к тишине и покою. Я не хочу, чтобы меня тревожили во время моих занятий. Кроме того, несчастный случай...

«Так я и думала»,— заметила про себя миссис Холл.

— ...вынуждает меня к уединению. Дело в том, что мои глаза иногда до того слабеют и начинают так мучительно болеть, что приходится запираться в темной комнате на целые часы. Это случается время от времени. Сейчас этого, конечно, нет. Но когда у меня приступ, малейшее беспокойство, появление чужого человека заставляют меня мучительно страдать... Я думаю, лучше предупредить вас об этом заранее.

— Конечно, мистер,— сказала миссис Холл.— Осмелюсь спросить вас...

— Это все, что я хотел сказать вам,— прервал ее приезжий тоном, не допускавшим возражения.

Миссис Холл замолчала и решила отложить расспросы и изъявления сочувствия до более удобного случая.

Хозяйка удалилась, а приезжий остался стоять перед камином, свирепо глядя на мистера Хенфри, чинившего часы (так по крайней мере говорил потом сам мистер Хенфри). Часовщик поставил лампу возле себя, и зеленый абажур отбрасывал яркий свет на его руки и на части механизма, оставляя почти всю комнату в тени. Когда он поднимал голову, перед глазами у него плавали разноцветные пятна. Будучи от природы человеком любопытным, мистер Хенфри вынул механизм, в чем не было решительно никакой надобности, надеясь затянуть работу и, кто знает, быть может, даже вовлечь незнакомца в разговор. Но тот стоял молча, не двигаясь с места. Он стоял так тихо, что это начало действовать мистеру Хенфри на нервы. Ему показалось даже, что он один в комнате, но, подняв глаза, перед которыми сразу поплыли зеленые пятна, он увидел в сером полумраке неподвижную фигуру с забинтованной головой и выпуклыми синими очками. Это было до того жутко, что мистер Хенфри с минуту стоял неподвижно, глядя на незнакомца. Потом опустил глаза. Какая неловкость! Надо бы заговорить о чем-нибудь. Не сказать ли, что погода не по сезону холодная?

Он снова поднял глаза, как бы прицеливаясь.

— Погода...— начал он.

— Скоро вы кончите и уйдете? — сказал неподвижный человек, видимо, еле сдерживая ярость.— Вам только и надо было сделать, что прикрепить часовую стрелку к оси, а вы тут возитесь без толку.

— Сейчас, мистер... одну минутку... Я упустил из виду...— И мистер Хенфри, быстро закончив работу, удалился, сильно, однако, раздосадованный.

— Черт подери! — ворчал Хенфри про себя, шагая сквозь мокрый снегопад.— Надо же когда-нибудь проверить часы... Скажите, пожалуйста, и посмотреть-то на него нельзя. Черт знает что!.. Видно, нельзя. Он так забинтован и закутан, как будто полиция его разыскивает.

Дойдя до угла, он увидел Холла, недавно женившегося на хозяйке трактира «Кучер и кони», где остановился

незнакомец. Холл возвращался со станции Сиддербридж, куда возил в айпингском омнибусе случайных пассажиров. По тому, как он правил, было ясно, что Холл малость «хватил» в Сиддербридже.

— Как поживаешь, Тедди? — окликнул он Хенфри, поравнявшись с ним.

— У вас остановился какой-то подозрительный малый,— сказал Тедди.

Холл, радуясь случаю поговорить, натянул вожжи.

— Что такое? — спросил он.

— У вас в трактире остановился какой-то подозрительный малый,— повторил Тедди.— Ей-богу...— И он стал с живостью описывать Холлу странного гостя.— С виду ни дать ни взять ряженый. Будь это мой дом, я бы, конечно, предпочел знать в лицо своего постояльца,— сказал он.— Но женщины всегда доверчивы, когда дело касается незнакомых мужчин. Он поселился у вас, Холл, и даже не сказал своей фамилии.

— Неужели? — спросил Холл, не отличавшийся быстротой соображения.

— Да,— подтвердил Тедди.— Он заплатил за неделю вперед. Значит, кто бы он там ни был, вам нельзя будет отделаться от него раньше, чем через неделю. И он говорит, у него куча багажа, который доставят завтра. Будем надеяться, что это не ящики с камнями.

Тут он рассказал, как какой-то приезжий с пустыми чемоданами надул его тетку в Хастингсе. В общем, разговор с Тедди возбудил в Холле какое-то смутное подозрение.

— Ну, трогай, старуха! — прикрикнул Холл на свою лошадь.— Надо будет навести порядок.

А Тедди, облегчив душу, пошел своей дорогой уже в лучшем настроении.

Однако вместо того, чтобы наводить порядок, Холлу по возвращении домой пришлось выслушать множество упреков за то, что он так долго пробыл в Сиддербридже, а на свои робкие вопросы о новом постояльце он получил резкие, но уклончивые ответы. Но все же семена подозрения, зароненные часовщиком в душу Холла, дали ростки.

— Вы, бабы, ничего не смыслите,— сказал мистер

Холл, решив при первом же удобном случае разузнать подробней, кто такой приезжий.

И после того как постоялец ушел в свою спальню — это было около половины десятого,— мистер Холл с весьма вызывающим видом вошел в гостиную и стал внимательно оглядывать мебель, как бы желая показать этим, что тут хозяин он, а не приезжий; он презрительно взглянул на лист бумаги с математическими выкладками, который оставил незнакомец. Ложась спать, мистер Холл посоветовал жене внимательно присмотреться, что за багаж завтра доставят постояльцу.

— Не суйся не в свое дело,— оборвала его миссис Холл.— Смотри лучше за собой, а я без тебя управлюсь.

Она тем более сердилась на мужа, что приезжий действительно был какой-то странный, и в душе она сама беспокоилась. Ночью она вдруг проснулась, увидев во сне огромные глазастые головы, похожие на брюквы, которые тянулись к ней на длинных шеях. Но, будучи женщиной рассудительной, она подавила свой страх, повернулась на другой бок и снова уснула.

ГЛАВА III

ТЫСЯЧА И ОДНА БУТЫЛКА

Итак, девятого февраля, когда только начиналась оттепель, неведомо откуда появился в Айпинге странный незнакомец. На следующий день в слякоть и распутицу его багаж доставили в трактир. И багаж этот оказался не совсем обычным. Оба чемодана, правда, ничем не отличались от тех, какие обычно бывают у путешественников; но, кроме них, прибыл ящик с книгами — большими, толстыми книгами, причем некоторые были не напечатаны, а написаны чрезвычайно неразборчивым почерком — и с дюжину, если не больше, корзин, ящиков и коробок, в которых лежали какие-то предметы, завернутые в солому; Холл, не преминувший поворошить солому, решил, что это бутылки. В то время как Холл оживленно болтал с Фиренсайдом, возницей, собираясь помочь ему перенести багаж в дом, в дверях показался незнакомец в низко надвинутой шляпе, в пальто, перчат-

ках и шарфе. Он вышел из дому и даже не взглянул на собаку Фиренсайда, лениво обнюхивавшую ноги Холла.

— Несите ящики в комнату,— сказал он.— Я и так уж заждался.

С этими словами он спустился с крыльца и подошел к задку подводы, собираясь собственноручно унести небольшую корзину.

Завидев его, собака Фиренсайда злобно зарычала и ощетинилась; когда же он спустился с крыльца, она подскочила и вцепилась ему в руку.

— Куш! — крикнул Холл, вздрагивая, так как всегда побаивался собак, а Фиренсайд заорал:

— Ложись! — и схватился за кнут.

Они видели, как зубы собаки скользнули по руке незнакомца, услышали звук пинка, собака подпрыгнула и вцепилась в ногу незнакомца, после чего раздался треск разрываемых брюк. В это время кончик кнута Фиренсайда настиг собаку, и она, заскулив от обиды и боли, спряталась под повозку. Все это произошло за какие-нибудь полминуты. Никто не говорил, все кричали. Незнакомец быстро взглянул на разорванную перчатку и штанину, сделал движение, будто хотел нагнуться, затем повернулся и бегом взбежал на крыльцо. Они услышали, как он торопливо прошел по коридору и застучал каблуками по деревянной лестнице, которая вела в его комнату.

— Ах ты, тварь эдакая! — выругался Фиренсайд, слезая на землю с кнутом в руке, в то время как собака зорко следила за ним из-за колес.— Иди сюда! — крикнул Фиренсайд.— Не то хуже будет!

Холл стоял в смятении, разинув рот.

— Она укусила его,— заговорил он.— Пойду посмотрю, что с ним.— И он зашагал вслед за незнакомцем. В коридоре он встретил жену и сказал ей: — Постояльца искусала собака Фиренсайда.

Он поднялся по лестнице. Дверь незнакомца была приоткрыта, он распахнул ее и вошел в комнату без особых церемоний, спеша выразить свое сочувствие.

Штора была спущена, и в комнате царил полумрак. Холл успел заметить что-то в высшей степени странное, похожее на руку без кисти, занесенную над ним, и лицо, состоявшее из трех больших расплывчатых пятен на белом фоне, очень похожее на бледный цветок анютиных

глазок. Потом сильный толчок в грудь отбросил его в коридор, дверь захлопнулась перед самым его носом, и он услышал, как щелкнул ключ в замке. Все это произошло так быстро, что Холл ничего не успел сообразить. Мелькание каких-то смутных теней, толчок, боль в груди. И вот он стоит на темной площадке перед дверью, спрашивая себя, что же это он такое видел.

Немного погодя он присоединился к кучке людей, собравшейся на улице перед трактиром. Здесь был и Фиренсайд, который уже второй раз рассказывал всю историю с самого начала, и миссис Холл, твердившая, что его собака не имеет никакого права кусать ее постояльцев; тут же стоял и Хакстерс, владелец лавки напротив, сильно заинтересованный происшествием, и Сэнди Уоджерс, кузнец, слушавший Фиренсайда с глубокомысленным видом. Сбежались и женщины и дети, каждый изрекал какую-нибудь глупость, вроде: «Попробовала бы она меня укусить», «Нельзя держать таких собак» и так далее.

Мистер Холл глядел на них с крыльца, прислушивался к их разговорам, и ему уже начало казаться, что ничего необычайного он там, наверху, увидеть не мог. Да ему и слов не хватило бы, чтобы описать свои впечатления.

— Он сказал, что ему ничего не нужно,— только и ответил он на вопрос жены.— Пожалуй, надо внести багаж.

— Лучше бы сразу прижечь,— сказал мистер Хакстерс,— в особенности если получилось воспаление.

— Я пристрелила бы ее,— сказала одна из женщин.

Вдруг собака снова зарычала.

— Давайте вещи,— послышался сердитый голос, и на пороге появился незнакомец, закутанный, с поднятым воротником и в низко надвинутой шляпе.— Чем скорее вы внесете их, тем лучше,— продолжал он. По свидетельству одного из очевидцев, он успел переменить перчатки и брюки.

— Сильно она вас искусала, сударь? — спросил Фиренсайд.— Очень это мне неприятно, что моя собака...

— Пустяки,— ответил незнакомец.— Даже следа никакого нет. Поторопитесь-ка лучше с вещами!

Тут он, по утверждению мистера Холла, выругался вполголоса.

Как только первую корзину внесли по его указанию в гостиную, незнакомец нетерпеливо принялся ее распаковывать, без зазрения совести разбрасывая солому по ковру миссис Холл. Он начал вытаскивать из корзины бутылки — маленькие пузатые пузырьки с порошками, небольшие узкие бутылки с окрашенной в разные цвета или прозрачной жидкостью, изогнутые склянки с надписью «яд», круглые бутылки с тонкими горлышками, большие бутылки из зеленого и белого стекла, бутылки со стеклянными пробками и с вытравленными на них надписями, бутылки с притертыми пробками, бутылки с деревянными затычками, бутылки из-под вина и прованского масла. Все эти бутылки он расставил рядами на комоде, на каминной доске, на столе, на подоконнике, на полу, на этажерке — всюду. В брэмблхерстской аптеке не набралось бы и половины такой уймы бутылок. Получилось внушительное зрелище. Он распаковывал корзину за корзиной, и во всех были бутылки. Наконец все ящики и корзины опустели, а на столе выросла гора соломы; кроме бутылок, в корзинах оказалось еще немало пробирок и тщательно упакованные весы.

Распаковав корзины, незнакомец отошел к окну и немедля принялся за работу, не обращая ни малейшего внимания на кучу соломы, на потухший камин, на ящик с книгами, оставшийся на улице, на чемоданы и остальной багаж, который был уже внесен наверх.

Когда миссис Холл подала ему обед, он был совсем поглощен своей работой, которая заключалась в том, что он вливал по каплям жидкости из бутылок в пробирки, и даже не заметил ее присутствия. И только когда она убрала солому и поставила поднос на стол, быть может, несколько более шумно, чем обычно, так как ее взволновало плачевное состояние ковра, он быстро взглянул в ее сторону и тотчас отвернулся. Она успела заметить, что он был без очков: они лежали возле него на столе, и ей показалось, что его глазные впадины необычайно глубоки. Он надел очки, повернулся и посмотрел ей в лицо. Она собиралась уже высказать свое недовольство по поводу соломы на полу, но он предупредил ее:

— Я просил бы вас не входить в комнату без стука,— сказал он с необычайным раздражением, которое, видимо, легко вспыхивало в нем по малейшему поводу.

— Я постучалась, но, должно быть...

— Быть может, вы и стучали. Но во время моих исследований — исследований чрезвычайно важных и необходимых — малейшее беспокойство, скрип двери... Я попросил бы вас...

— Конечно, мистер. Если вам угодно, вы можете запирать дверь на ключ. В любое время.

— Очень удачная мысль! — сказал незнакомец.

— Но эта солома, сударь... Осмелюсь заметить...

— Не надо! Если солома вас беспокоит, поставьте ее в счет.— И он пробормотал про себя что-то очень похожее на ругательство.

Он стоял перед хозяйкой с воинственным и раздраженным видом, держа в одной руке бутылку, а в другой пробирку, и весь его облик был так странен, что миссис Холл смутилась. Но она была особа решительная.

— В таком случае,— заявила она,— я бы хотела знать, сколько вы полагаете...

— Шиллинг. Поставьте шиллинг. Я думаю, этого достаточно?

— Хорошо, пусть будет так,— сказала миссис Холл, принимаясь накрывать на стол. — Конечно, если вы согласны...

Незнакомец отвернулся и сел спиной к ней.

До самого вечера он работал, запершись на ключ и, как уверяла миссис Холл, почти в полной тишине. Только один раз послышался стук и звон стекла, как будто кто-то толкнул стол и с размаху швырнул на пол бутылку, а затем раздались торопливые шаги по ковру. Опасаясь, уж не случилось ли чего-нибудь, хозяйка подошла к двери и, не стуча, стала прислушиваться.

— Ничего не выйдет! — кричал он в ярости.— Не выйдет! Триста тысяч, четыреста тысяч! Это необъятно! Обманут! Вся жизнь уйдет на это! Терпение! Легко сказать! Дурак, дурак!

Тут кто-то вошел в трактир, послышались тяжелые шаги, и миссис Холл должна была волей-неволей отойти от двери, не дослушав.

Когда она вернулась, в комнате снова было совсем

тихо, если не считать слабого скрипа кресла и случайного позвякивания бутылок. Очевидно, незнакомец снова принялся за работу.

Когда она принесла чай, то увидела в углу комнаты, под зеркалом, разбитые бутылки и золотистое небрежно вытертое пятно. Она обратила на это его внимание.

— Поставьте все это в счет,— огрызнулся он. — И, ради бога, не мешайте мне. Если я причиняю вам какой-нибудь убыток, ставьте в счет.— И он снова принялся делать пометки в лежавшей перед ним тетради...

— Знаете, что я вам скажу? — таинственно начал Фиренсайд. Разговор происходил вечером того же дня в пивной.

— Ну? — спросил Тедди Хенфри.

— Этот человек, которого укусила моя собака... Ну, так вот: он чернокожий. По крайней мере ноги у него черные. Я это заметил, когда собака порвала ему штаны и перчатку. Можно было ожидать, что сквозь дыры будет видно розовое тело, правда? Ну, а на самом деле ничего подобного. Одна только чернота. Верно вам говорю: он так же черен, как моя шляпа.

— Господи помилуй! — воскликнул Хенфри.— Вот тебе на! А ведь нос-то у него самый что ни на есть розовый.

— Так-то оно так,— сказал Фиренсайд.— Это верно. Только вот что я тебе скажу, Тедди. Малый этот пегий: где черный, а где белый, пятнами. И он этого стыдится. Он вроде какой-нибудь помеси, а масти, вместо того чтобы перемешаться, пошли пятнами. Я и раньше слышал о таких случаях. А у лошадей это бывает сплошь и рядом — спроси кого хочешь.

ГЛАВА IV

МИСТЕР КАСС ИНТЕРВЬЮИРУЕТ НЕЗНАКОМЦА

Я так подробно изложил обстоятельства, сопровождавшие приезд незнакомца в Айпинг, для того, чтобы читателю стало понятно всеобщее любопытство, вызванное его появлением. Что же касается его пребывания там до знаменательного дня клубного праздника, то на

этом, за исключением двух странных происшествий, можно почти не останавливаться. Иногда у него бывали столкновения с миссис Холл на хозяйственной почве, из которых постоялец всегда выходил победителем, тотчас же предлагая дополнительную плату, и так продолжалось до конца апреля, когда у него стали обнаруживаться первые признаки безденежья.

Холл недолюбливал его и при всяком удобном случае повторял, что надо от него избавиться, но неприязнь эта выражалась главным образом в том, что Холл старался по возможности избегать встреч с постояльцем.

— Потерпи до лета,—урезонивала его миссис Холл.— Начнут съезжаться художники, тогда посмотрим. Он, конечно, нахал, не спорю, но зато аккуратно платит по счетам, этого у него отнять нельзя, что ни толкуй.

Постоялец в церковь не ходил и не делал никакого различия между воскресеньем и буднями, даже одевался и то всегда одинаково. Работал он, по мнению миссис Холл, весьма нерегулярно. В иные дни он спускался в гостиную с раннего утра и работал подолгу. В другие же вставал поздно, расхаживал по комнате, целыми часами громко ворчал, курил или дремал в кресле у камина. Сношений с внешним миром у него не было никаких. Настроение его по-прежнему оставалось чрезвычайно неровным: по большей части он вел себя как человек до крайности раздражительный, а несколько раз у него были припадки бешеной ярости, и он швырял, рвал и ломал все, что попадалось под руку. Казалось, он постоянно находился в чрезвычайном возбуждении. Он все чаще разговаривал вполголоса с самим собой, но миссис Холл ничего не могла понять, хотя усердно подслушивала.

Днем он редко выходил из дому, но в сумерки гулял, закутанный так, что его лица нельзя было увидеть— все равно, было ли на дворе холодно или тепло, и выбирал для прогулок самые уединенные тропинки, затененные деревьями или огражденные насыпью. Его темные очки и страшное забинтованное лицо под широкополой шляпой иногда пугали в темноте возвращавшихся домой рабочих; а Тедди Хенфри однажды, выйдя, пошатываясь, из трактира «Красный камзол» в половине де-

сятого вечера, чуть не умер со страху, увидев похожую на череп голову незнакомца (тот гулял со шляпой в руке). Детям, увидевшим его в сумерках, ночью снились страшные сны. Мальчишки терпеть его не могли, и он их тоже, трудно сказать, кто кого больше не любил, но, во всяком случае, неприязнь была взаимная и очень острая.

Нет ничего удивительного, что человек такой поразительной наружности и такого странного поведения доставлял жителям Айпинга обильную пищу для разговоров. Относительно его занятий мнения расходились. Миссис Холл в этом деле была весьма щепетильна. На вопрос, что он делает, она обыкновенно отвечала с большой торжественностью, что он занимается «экспериментальными исследованиями», — эти слова она произносила очень медленно и осторожно, точно боясь оступиться. Когда же ее спрашивали, что это означает, она говорила с оттенком некоторого превосходства, что это известно всякому образованному человеку, и поясняла: «Он делает разные открытия». С ее постояльцем произошел несчастный случай, рассказывала она, руки и лицо его потеряли свой естественный цвет, а так как он человек весьма чувствительный, то старается не показываться в таком виде на людях.

Но за спиной миссис Холл распространялся упорный слух, что ее постоялец—преступник, который скрывается от правосудия и старается с помощью своего удивительного наряда сбить с толку полицию. Впервые эта догадка зародилась в голове мистера Тедди Хенфри. Впрочем, ни о каком сколько-нибудь громком преступлении, которое имело бы место за последние недели, не было известно. Поэтому мистер Гоулд, школьный учитель, несколько видоизменил эту догадку: по его мнению, постоялец миссис Холл был анархист, занимающийся изготовлением взрывчатых веществ, и он решил посвятить свое свободное время слежке за незнакомцем. Слежка заключалась главным образом в том, что при встречах с незнакомцем мистер Гоулд упорно глядел на него и расспрашивал о нем людей, которые никогда его не видели. Тем не менее мистеру Гоулду не удалось ничего узнать.

Было много сторонников версии, выдвинутой Фиренсайдом, что незнакомец пегий или что-нибудь в этом роде. Так, например, Сайлас Дэрган не раз говорил, что

если бы незнакомец решился показывать себя на ярмарках, то нажил бы состояние, и даже ссылался на известный из библии случай с человеком, зарывшим свой талант в землю. Другие считали, что незнакомец страдает тихим помешательством. Этот взгляд имел то преимущество, что разом объяснял все.

Кроме стойких приверженцев этих основных течений в общественном мнении Айпинга, были люди колеблющиеся и готовые на уступки.

Жители графства Суссекс мало подвержены суеверию, и первые догадки о сверхъестественной природе незнакомца появились лишь после апрельских событий, да и то этому верили одни женщины.

Но каковы бы ни были мнения о незнакомце отдельных жителей Айпинга, неприязнь к нему была всеобщей и единодушной. Его раздражительность, которую мог бы понять горожанин, занимающийся умственным трудом, неприятно поражала уравновешенных суссекских жителей. Яростная жестикуляция, стремительная походка, ночные прогулки, когда он неожиданно в темноте выскакивал из-за угла в самых безлюдных местах, бесцеремонное пресечение всех попыток вовлечь его в беседу, страсть к потемкам, побуждавшая его запирать двери, спускать шторы, тушить свечи и лампы,— кто мог бы примириться с этим? Когда незнакомец проходил по улице, встречные сторонились его, а за его спиной местные шутники, подняв воротники пальто и низко надвинув шляпы, подражали его нервной походке и загадочному поведению. В то время пользовалась популярностью песенка «Человек-призрак». Мисс Стэтчел спела ее на концерте в школе — сбор пошел на покупку ламп для церкви; и после этого, как только на улице появлялся незнакомец, тотчас же кто-нибудь начинал насвистывать — громко или тихо — мотив этой песенки. Даже запоздавшие ребятишки, спеша вечером домой, кричали ему вслед: «Человек-призрак!» — и мчались дальше, замирая от страха и восторга.

Касс, местный врач, сгорал от любопытства. Забинтованная голова вызывала в нем чисто профессиональный интерес; слухи же о тысяче и одной бутылке возбуждали его завистливое почтение. Весь апрель и май он искал случая заговорить с незнакомцем. Наконец

не выдержал и накануне троицы решил пойти к нему, воспользовавшись как предлогом подписным листом в пользу сиделки местной больницы. Он был поражен, узнав, что миссис Холл не знает имени своего постояльца.

— Он назвал себя,— сказала миссис Холл (это утверждение было лишено всякого основания),— но я не расслышала.

Ей неловко было сознаться, что постоялец и не думал называть себя.

Касс постучал в дверь гостиной и вошел. Оттуда послышалась невнятная брань.

— Прошу извинения за то, что вторгаюсь к вам,— проговорил Касс, после чего дверь закрылась, и дальнейшего разговора миссис Холл уже не слышала.

В течение десяти минут до нее долетал только неясный гул голосов; затем раздался возглас удивления, шарканье ног, грохот отброшенного стула, отрывистый смех, быстрые шаги, и на пороге появился Касс, бледный, с вытаращенными глазами. Оставив дверь открытой и не взглянув на хозяйку, он прошел по коридору, спустился с крыльца и быстро зашагал по улице. Шляпу он держал в руке. Миссис Холл зашла за стойку, стараясь заглянуть через открытую дверь в комнату постояльца. Она услышала негромкий смех, потом шаги. Со своего места она не могла видеть его лица. Потом дверь гостиной захлопнулась, и все стихло.

Касс направился прямо к викарию Бантингу.

— Скажите, я сошел с ума? — произнес он отрывисто, едва войдя в скромный кабинет викария.— Похож я на помешанного?

— Что случилось? — спросил викарий, кладя раковину, заменявшую ему пресс-папье, на листы своей очередной проповеди.

— Этот субъект, постоялец Холлов...

— Ну?

— Дайте мне выпить чего-нибудь,— сказал Касс и опустился на стул.

Когда Касс несколько успокоился с помощью стакана дешевого хереса — других напитков у добрейшего викария не бывало,— он стал рассказывать о своей встрече с незнакомцем.

— Вхожу,— начал он задыхающимся голосом,— и прошу подписаться в пользу сиделки. Как только я вошел, он сунул руки в карманы и плюхнулся в кресло. «Вы интересуетесь наукой, как я слышал?» — начал я. «Да»,—ответил он и фыркнул. Все время фыркал. Простудился, должно быть. Да и не мудрено, раз человек так кутается. Я стал распространяться насчет сиделки, а сам озираюсь по сторонам. Повсюду бутылки, химические препараты. Тут же весы, пробирки, и пахнет ночными фиалками. Не угодно ли ему подписаться? «Подумаю»,— говорит. Тут я прямо спросил его, занимается ли он научными изысканиями. «Да»,— говорит. «Длительные изыскания?» Его злость взяла. «Чертовски длительные!» — выпалил он. «Вот как?» — говорю я. Ну, тут и пошло. Он уже раньше весь так и кипел, и мой вопрос был последней каплей. Он получил от кого-то рецепт — чрезвычайно ценный рецепт: для какой цели, этого он не может сказать. «Медицинский?» «Черт побери! А вам какое дело?» Я извинился. Он снисходительно фыркнул, откашлялся и продолжал. Рецепт он прочел. Пять ингредиентов. Положил на стол, отвернулся. Вдруг шорох: бумажку подхватило сквозняком. Каминная труба была открыта. Пламя вспыхнуло, и не успел он оглянуться, как рецепт сгорел и пепел вылетел в трубу. Бросился к камину — поздно. Вот! Тут он безнадежно махнул рукой.

— Ну?

— А руки-то и нет — пустой рукав. «Господи,— подумал я,— вот калека-то. Вероятно, у него деревянная рука, и он ее снял. И все-таки,— подумал я,— тут что-то неладно. Как же это рукав не повиснет, если в нем ничего нет?» А в нем ничего не было, уверяю вас. Совершенно пустой рукав, до самого локтя. Я видел, что рукав пуст, и, кроме того, прореха светилась насквозь. «Боже милосердный!»—воскликнул я. Тогда он замолчал. Уставился своими синими очками сначала на меня, потом на свой рукав.

— Ну?

— И все. Не сказал ни слова, только глянул на меня и быстро засунул рукав в карман. «Я, кажется, остановился на том, как рецепт сгорел?» Он вопросительно кашлянул. «Как это вы, черт возьми, умудряетесь дви-

гать пустым рукавом?» — спросил я. «Пустым рукавом?» «Ну да,— сказал я,— пустым рукавом».

«Так это, по-вашему, пустой рукав? Вы видели, что он пустой?» Он поднялся с кресла. Я тоже встал. Тогда он медленно сделал три шага. Подошел ко мне и стал совсем вплотную. Язвительно фыркнул. Я стоял спокойно, хотя, честное слово, это забинтованное страшилище с круглыми очками хоть кого испугало бы.

«Так вы говорите, рукав пустой?» — сказал он.

«Конечно»,— ответил я. Тогда этот нахал снова уставился на меня своими стеклами. А потом преспокойно вытянул рукав из кармана и протянул его мне, как будто хотел снова показать. Все это он проделал очень медленно. Я посмотрел на рукав. Казалось, прошла целая вечность. «Ну вот,— сказал он, откашлявшись,— в нем ничего нет». Что-то надо было сказать. Мне стало страшно. Я видел весь рукав насквозь. Он вытягивал его медленно-медленно — вот так, пока обшлаг не очутился дюймах в шести от моего лица. Странное это ощущение — видеть, как приближается пустой рукав... А потом...

— Ну?

— Чем-то — мне показалось, большим и указательным пальцами — он потянул меня за нос.

Бантинг засмеялся.

— Но там не было ничего! — сказал Касс, чуть не взвизгнув, когда произносил «ничего». — Хорошо вам смеяться, а я был так ошеломлен, что ударил по обшлагу рукава, повернулся и выбежал из комнаты...

Касс замолчал. В непритворности его испуга нельзя было сомневаться. Он беспомощно повернулся и выпил еще стакан скверного хереса, которым угощал его добрейший викарий.

— Когда я хватил его по рукаву,— сказал он,— то, уверяю вас, я почувствовал, что бью по руке. А руки там не было. И намека на руку не было.

Мистер Бантинг задумался. Потом подозрительно посмотрел на Касса.

— Это в высшей степени любопытная история,— сказал он с весьма глубокомысленным и серьезным видом.— Безусловно, история в высшей степени любопытная,— повторил он еще более внушительно.

ГЛАВА V

КРАЖА СО ВЗЛОМОМ В ДОМЕ ВИКАРИЯ

О краже со взломом в доме викария мы узнали главным образом из рассказов самого викария и его жены. Это случилось перед рассветом в духов день; в этот день айпингский клуб устраивает ежегодные празднества. Миссис Бантинг внезапно проснулась в предрассветной тишине с отчетливым ощущением, что дверь спальни хлопнула. Сначала она решила не будить мужа, а села на кровати и стала прислушиваться. Она явственно различила шлепанье босых ног; словно кто-то вышел из туалетной комнаты и направился по коридору к лестнице. Тогда она как можно осторожнее разбудила мистера Бантинга. Проснувшись и узнав, в чем дело, он решил не зажигать огня, но, надев очки, капот жены и сунув ноги в купальные туфли, вышел на площадку. Он совершенно ясно услышал возню в своем кабинете внизу, потом там кто-то громко чихнул.

Тогда он вернулся в спальню, вооружился самым надежным оружием, какое нашлось,— кочергой и сошел с лестницы, стараясь не шуметь. Миссис Бантинг вышла на площадку.

Было около четырех часов; ночной мрак редел. В прихожей уже брезжил свет, но дверь кабинета зияла черной дырой. В тишине слышен был только слабый скрип ступенек под ногами мистера Бантинга и легкое движение в кабинете. Потом что-то щелкнуло, слышно было, как открылся ящик, зашуршали бумаги. Послышалось ругательство, вспыхнула спичка, и кабинет осветился желтым светом. В это время мистер Бантинг был уже в прихожей и через приотворенную дверь увидел письменный стол, выдвинутый ящик и свечу, горевшую на столе. Но вора ему не было видно. Он стоял в прихожей, не зная, что предпринять, а позади него медленно спускалась с лестницы бледная, перепуганная миссис Бантинг. Одно обстоятельство поддерживало мужество мистера Бантинга: убеждение, что вор принадлежит к числу местных жителей.

Затем они услышали звон монет и поняли, что вор нашел деньги, отложенные на хозяйство,— два фунта полусоверенами и десять шиллингов. Звон монет мгновенно

вывел мистера Бантинга из нерешительности. Крепко сжав в руке кочергу, он ворвался в кабинет; миссис Бантинг следовала за ним по пятам.

— Сдавайся! — яростно крикнул мистер Бантинг и остановился, пораженный: в комнате никого не было.

И все же, вне всякого сомнения, минуту назад здесь кто-то двигался. С полминуты супруги стояли, разинув рты, потом миссис Бантинг заглянула за ширмы, а мистер Бантинг, побуждаемый тем же чувством, посмотрел под стол. Затем миссис Бантинг отдернула оконные занавеси, а мистер Бантинг осмотрел камин и пошарил в трубе кочергой. Миссис Бантинг перерыла корзину для бумаг, а мистер Бантинг открыл ящик с углем. Проделав все это, они в недоумении уставились друг на друга.

— Я готов поклясться...— сказал мистер Бантинг.— А свеча! — воскликнул он.— Кто зажег свечу?

— А ящик! — Сказала миссис Бантинг.— И куда девались деньги?

Она поспешно пошла к дверям.

— В жизни своей ничего подобного...

В коридоре кто-то громко чихнул. Они выбежали из комнаты и тут же услышали, как хлопнула дверь кухни.

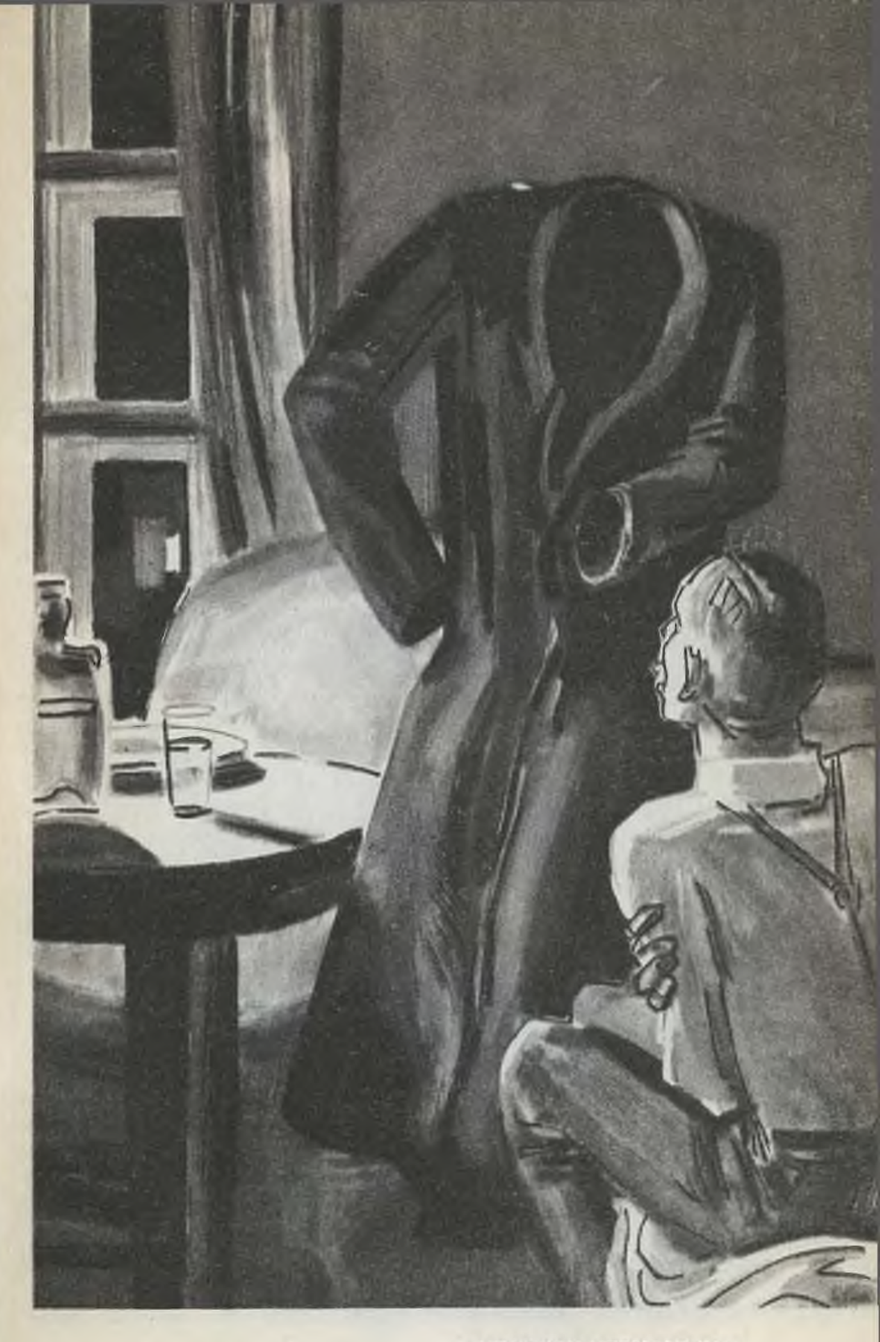
— Принеси свечу,— сказал мистер Бантинг и пошел вперед. Оба ясно слышали стук торопливо отодвигаемых засовов.

Открывая дверь на кухню, мистер Бантинг увидел, что парадная дверь отворяется и в слабом утреннем свете мелькнула темная зелень сада. Но он уверял, что в дверь никто не вышел. Она открылась, а потом со стуком захлопнулась. Пламя свечи, которую несла миссис Бантинг, замигало и вспыхнуло ярче. Прошло несколько минут, прежде чем они вошли в кухню.

Там никого не оказалось. Они снова заперли на засов входную дверь, тщательно обыскали кухню, чулан, буфетную и, наконец, спустились в погреб. Но, несмотря на самые тщательные поиски, они никого не обнаружили.

Утро застало викария и его жену в весьма странном наряде; они все еще сидели в нижнем этаже своего домика при ненужном уже свете догоравшей свечи и терялись в догадках.

— В жизни своей ничего подобного...— в двадцатый раз начал викарий.



«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»



«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

— Дорогой мой, — прервала его миссис Бантинг, — вот идет Сюзи. Пусть она пройдет в кухню, и пойдем оденемся.

ГЛАВА VI
ВЗБЕСИВШАЯСЯ МЕБЕЛЬ

В это же утро, на рассвете духова дня, когда даже служанка Милли еще спала, мистер и миссис Холл встали с постели и бесшумно спустились в погреб. Там у них было дело совершенно особого характера, имевшее некоторое отношение к специфической крепости их пива.

Не успели они войти в погреб, как миссис Холл вспомнила, что забыла захватить бутылочку с сарсапарелью, которая стояла у них в спальне. Так как главным знатоком и мастером предстоявшего дела была она, то наверх за бутылкой отправился Холл.

На площадке лестницы он с удивлением заметил, что дверь в комнату постояльца приоткрыта. Пройдя в спальню, он нашел бутылку на указанном женой месте.

Но, возвращаясь обратно в погреб, он заметил, что засовы выходной двери отодвинуты и дверь закрыта просто на щеколду. Осененный внезапной мыслью, он сопоставил это обстоятельство с открытой дверью в комнату постояльца и предположениями мистера Тедди Хенфри. Он ясно помнил, что сам держал свечку, когда миссис Холл задвигала засовы на ночь. Он остановился, пораженный; затем, все еще держа бутылку в руке, снова поднялся наверх и постучал в дверь постояльца. Ответа не последовало. Он постучал еще раз, затем распахнул дверь настежь и вошел в комнату.

Все оказалось так, как он и ожидал. Комната была пуста, постель не тронута. На кресле и на спинке кровати была разбросана одежда незнакомца и его бинты, широкополая шляпа и та торчала на столбике кровати. Это обстоятельство показалось чрезвычайно странным даже не слишком сообразительному Холлу, тем более, что другого платья, насколько он знал, у постояльца не было.

Стоя в недоумении посреди комнаты, он услышал снизу, из погреба, голос своей жены: захлебывающаяся скороговорка и высокие, визгливые ноты, характерные для жителей Западного Суссекса, изобличали крайнее нетерпение.

— Джордж! — кричала она.— Ты нашел, что нужно?

Он повернулся и поспешил к жене.

— Дженни! — крикнул он, нагибаясь над лестницей, ведущей в погреб.— А ведь Хенфри-то прав. Жильца в комнате нет. И засов на парадной двери снят.

Сначала миссис Холл не поняла, о чем речь, но, сообразив, в чем дело, решила сама осмотреть пустую комнату. Холл все еще с бутылкой в руках пошел вперед.

— Его самого нет, а одежда тут,— сказал он.— Где же он шляется голый? Странное дело.

Когда они поднимались по лестнице из погреба, им обоим, как выяснилось впоследствии, почудилось, что кто-то открыл и снова закрыл парадную дверь; но так как они нашли ее закрытой, то в ту минуту они об этом ничего друг другу не сказали. В коридоре миссис Холл опередила своего мужа и взбежала по лестнице первая. В это время на лестнице кто-то чихнул. Холл, отставший от жены на шесть ступенек, подумал, что это она чихает; она же была убеждена, что чихнул он. Поднявшись наверх, она распахнула дверь и стала осматривать комнату незнакомца.

— В жизни своей ничего подобного не видела! — сказала она.

В это время сзади над самым ее ухом кто-то фыркнул, она обернулась и, к величайшему своему удивлению, увидела, что Холл стоит шагах в двенадцати от нее, на верхней ступеньке лестницы. Он сразу же подошел к ней. Она наклонилась и стала ощупывать подушку и белье.

— Холодное,— сказала она.— Его нет уже с час, а то и больше.

Не успела она произнести эти слова, как произошло нечто в высшей степени странное: постельное белье свернулось в узел, который тут же перепрыгнул через спинку кровати. Казалось, чья-то рука скомкала одеяло и простыни и бросила на пол. Вслед за этим шляпа незнакомца соскочила со своего места, описала в воздухе дугу и шлепнулась прямо в лицо миссис Холл. За ней с такой же быстротой полетела с умывальника губка; затем кресло, небрежно сбросив с себя пиджак и брюки постояльца и рассмеявшись сухим смехом, чрезвычайно похожим на смех постояльца, повернулось всеми четырьмя ножками к миссис Холл и, нацелившись, броси-

лось на нее. Она вскрикнула и повернулась к двери, а ножки кресла осторожно, но решительно уперлись в ее спину и вытолкали ее вместе с Холлом из комнаты. Дверь захлопнулась, замок щелкнул. Кресло и кровать, по-видимому, еще поплясали немного, как бы торжествуя победу, а затем все стихло.

Миссис Холл почти без чувств повисла на руках у мужа. Мистеру Холлу с величайшим трудом удалось при помощи Милли, которая успела проснуться от крика и шума, снести ее вниз и дать ей укрепляющих капель.

— Это ду́хи,— сказала миссис Холл, придя наконец в себя.— Я знаю, это духи. Я читала про них в газетах. Столы и стулья начинают прыгать и танцевать...

— Выпей еще немножко, Дженни,— прервал ее Холл.— Это подкрепит тебя.

— Запри дверь,— сказала миссис Холл.— Смотри, не впускай его больше. Я все время подозревала... Как это я не догадалась! Глаз не видно, голова забинтована, и в церковь по воскресеньям не ходит. А сколько бутылок!.. На что порядочному человеку столько бутылок! Он напустил духов в мебель... Моя милая старая мебель! В этом самом кресле любила сидеть моя дорогая матушка, когда я была еще маленькой девочкой. И подумать только, оно поднялось теперь против меня...

— Выпей еще капель, Дженни,— сказал Холл,— у тебя нервы совсем расстроены.

Было уже пять часов, лучи утреннего солнца заливали улицу. Супруги послали Милли разбудить мистера Сэнди Уоджерса, кузнеца, который жил напротив.

— Хозяин вам кланяется,— сказала ему Милли.— И у нас что-то стряслось с мебелью. Может, вы зайдете и поглядите?

Мистер Уоджерс был человек весьма сведущий и смышленый. Он отнесся к рассказу Милли серьезно.

— Это — колдовство, головой ручаюсь, — сказал он.— Такому постояльцу только копыт не хватает.

Он пришел, сильно озабоченный. Мистер и миссис Холл хотели было подняться с ним наверх, но он, по-видимому, с этим не спешил. Он предпочитал продолжать разговор в коридоре. Из табачной лавки Хакстерса вышел приказчик и стал открывать ставни. Его пригласили принять участие в обсуждении случившегося. За ним че-

рез несколько минут подошел, конечно, сам мистер Хакстерс. Англосаксонский парламентский дух проявился здесь полностью: говорили много, но за дело не принимались.

— Установим сначала факты,— настаивал мистер Сэнди Уоджерс.— Обсудим, вполне ли будет правильно с нашей стороны взломать дверь в его комнату? Запертую дверь всегда можно взломать, но раз дверь взломана, ее не сделаешь невзломанной.

Но вдруг, ко всеобщему удивлению, дверь комнаты постояльца открылась сама, и, взглянув наверх, они увидели закутанную фигуру незнакомца, спускавшегося по лестнице и пристально смотревшего на них зловещим взором сквозь свои темно-синие очки. Медленно, деревянной походкой, он спустился с лестницы, прошел по коридору и остановился.

— Смотрите,— сказал он, вытянув палец в перчатке.

Взглянув в указанном направлении, они увидели у самой двери погреба бутылку с сарсапарелью. А незнакомец вошел в гостиную и неожиданно быстро, со злостью захлопнул дверь перед самым их носом.

Никто не произнес ни слова, пока не замер стук захлопнутой двери. Все молча переглядывались.

— Признаюсь, это уже верх...— начал мистер Уоджерс и не докончил фразы.

— Я бы на вашем месте пошел и спросил его, что все это значит,— сказал Уоджерс Холлу.— Я потребовал бы объяснения.

Понадобилось некоторое время, чтобы убедить хозяина решиться на это. Наконец он постучался в дверь, открыл ее и начал:

— Простите...

— Убирайтесь к черту! — крикнул в бешенстве незнакомец.— Затворите дверь!

На этом объяснение и закончилось.

ГЛАВА VII

РАЗОБЛАЧЕНИЕ НЕЗНАКОМЦА

Незнакомец вошел в гостиную около половины шестого утра и оставался там приблизительно до полудня; шторы в комнате были спущены, дверь заперта, и после не-

удачи, постигшей Холла, никто не решался войти туда.

Все это время незнакомец, очевидно, ничего не ел. Три раза он звонил, причем в третий раз долго и сердито, но никто не отозвался.

— Ладно, я ему покажу «убирайтесь к черту»,— ворчала про себя миссис Холл.

Слух о ночном происшествии в доме викария уже успел распространиться, и между обоими событиями усматривали некую связь. Холл в сопровождении Уоджерса отправился к судье мистеру Шэклфорсу, чтобы с ним посоветоваться. Наверх подняться никто не решался. Чем занимался все это время незнакомец, неизвестно. Иногда он нетерпеливо шагал из угла в угол, два раза из его комнаты доносились ругательства, шуршание разрываемой бумаги и звон разбиваемых бутылок.

Кучка испуганных, но сгоравших от любопытства людей все росла. Пришла миссис Хакстерс. Подошли несколько бойких молодых парней, вырядившихся по случаю праздника в черные пиджаки и галстуки из белого пике; они стали задавать нелепые вопросы. Арчи Харкер оказался смелее всех: он пошел во двор и постарался заглянуть под опущенную штору. Разглядеть он не мог ничего, но дал понять, что видит, и еще кое-кто из айпингского молодого поколения присоединился к нему.

День для праздника выдался на славу — теплый и ясный. На деревенской улице появилось с десяток ларьков и тир для стрельбы, а на лужайке перед кузницей стояли три полосатых желто-коричневых фургона, и какие-то люди в живописных костюмах устраивали приспособление для метания кокосовых орехов. Мужчины были в синих свитерах, дамы — в белых передниках и модных шляпах с большими перьями. Уоджер из «Красной лани» и мистер Джэггерс, сапожник, торговавший также подержанными велосипедами, протягивали поперек улицы гирлянду из национальных флагов и королевских штандартов (оставшихся от празднования юбилея королевы Виктории).

А в полутемной гостиной с занавешенными окнами, куда проникал лишь слабый свет, незнакомец, вероятно, голодный и злой, задыхаясь от жары в своих по-

вязках, глядел сквозь темные очки на листок бумаги, позвякивая грязными бутылками, и неистово ругал собравшихся под окном невидимых мальчишек. В углу у камина валялись осколки полдюжины разбитых бутылок, а в воздухе стоял едкий запах хлора. Вот все, что нам известно по рассказам очевидцев, и такой вид имела комната, когда в нее вошли.

Около полудня незнакомец внезапно открыл дверь гостиной и остановился на пороге, пристально глядя на трех-четырех человек, сгрудившихся у стойки.

— Миссис Холл! — крикнул он.

Кто-то нехотя вышел из комнаты позвать хозяйку.

Появилась миссис Холл, несколько запыхавшаяся, но весьма решительная. Мистер Холл еще не вернулся. Она все уже обдумала и явилась с небольшим подносиком в руках, на котором лежал неоплаченный счет.

— Вы хотите уплатить по счету? — спросила она.

— Почему мне не подали завтрака? Почему вы не приготовили мне поесть и не отзывались на звонки? Вы думаете, я могу обходиться без еды?

— А почему вы не уплатили по счету? — возразила миссис Холл.— Вот что я желала бы знать.

— Еще третьего дня я сказал вам, что жду денежного перевода...

— А я еще вчера сказала вам, что не намерена ждать никаких переводов. Нечего ворчать, что завтрак запаздывает, если по счету уже пять дней не плачено.

Постоялец кратко, но энергично выругался.

— Легче, легче! — раздалось из распивочной.

— Я прошу вас, мистер, держать свои ругательства при себе,— сказала миссис Холл.

Постоялец замолчал и стоял на пороге, похожий в своих очках на рассерженного водолаза. Все посетители трактира чувствовали, что перевес на стороне миссис Холл. Дальнейшие слова незнакомца подтвердили это.

— Послушайте, голубушка...— начал он.

— Я вам не голубушка,— сказала миссис Холл.

— Говорю вам, я еще не получил перевода...

— Уж какой там перевод! — сказала миссис Холл.

— Но в кармане у меня...

— Третьего дня вы сказали, что у вас и соверена не наберется.

— Ну, а теперь я нашел побольше.

— Ого! — раздалось из распивочной.

— Хотела бы я знать, где это вы нашли деньги,— сказала миссис Холл.

Это замечание, по-видимому, не понравилось незнакомцу. Он топнул ногой.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он.

— Только то, что я хотела бы знать, откуда у вас деньги,— сказала миссис Холл.— И прежде чем подавать вам счета, готовить завтрак или вообще что-либо делать для вас, я попрошу вас объяснить некоторые вещи, которых я не понимаю и никто не понимает, но которые мы все хотим понять. Я хочу знать, что вы делали наверху с моим креслом; хочу знать, как это ваша комната оказалась пустой и как вы опять туда попали. Мои постояльцы входят и выходят через двери: так у меня заведено; вы же делаете по-другому, и я хочу знать, как вы это делаете. И еще...

Незнакомец вдруг поднял руки, обтянутые перчатками, сжал кулаки, топнул ногой и крикнул: «Стойте!» — так исступленно, что миссис Холл немедленно умолкла.

— Вы не понимаете,— сказал он,— кто я и чем занимаюсь. Я покажу вам. Как бог свят, покажу! — При этих словах он приложил руку к лицу и сейчас же отнял ее. Посреди лица зияла пустая впадина.— Держите,— сказал он и, шагнув к миссис Холл, подал ей что-то. Не сводя глаз с его преобразившегося лица, миссис Холл машинально взяла протянутую ей вещь. Затем, рассмотрев, что это, она громко вскрикнула, уронила ее на пол и попятилась. По полу покатился нос — нос незнакомца, розовый, лоснящийся.

Затем он снял очки, и все вытаращили глаза от удивления. Он снял шляпу и стал яростно срывать бакенбарды и бинты. Они не сразу поддались его усилиям. Все замерли в ужасе.

— О господи! — вымолвил кто-то.

Наконец бинты были сорваны.

То, что предстало взорам присутствующих, превзошло все ожидания. Миссис Холл, стоявшая с разинутым ртом, дико вскрикнула и побежала к дверям. Все вскочили с мест. Ждали ран, уродства, видимого глазом

ужаса, а тут — ничего. Бинты и парик полетели в распивочную, едва не задев стоявших там. Все кинулись прочь с крыльца, натыкаясь друг на друга, ибо на пороге гостиной, выкрикивая бессвязные объяснения, стояла фигура, похожая на человека вплоть до воротника пальто, а выше не было ничего. Решительно ничего!

Жители Айпинга услышали крики и шум, доносившиеся из трактира «Кучер и кони», и увидели, как оттуда стремительно выбегают посетители. Они увидели, как миссис Холл упала и как мистер Тедди Хенфри подпрыгнул, чтобы не споткнуться о нее. Потом они услышали истошный крик Милли, которая, выскочив из кухни на шум, неожиданно наткнулась на безголового незнакомца. Крик сразу оборвался.

После этого все, кто был на улице — продавец сладостей, владелец балагана для метания в цель и его помощник, хозяин качелей, мальчишки и девчонки, деревенские франты, местные красотки, старики в блузах и цыгане в фартуках,— ринулись к трактиру. Не прошло и минуты, как перед заведением миссис Холл собралось человек сорок, толпа быстро росла, все шумели, толкались, орали, вскрикивали, задавали вопросы, строили догадки. Никто никого не слушал, и все говорили сразу — настоящее столпотворение! Несколько человек поддерживали миссис Холл, которую подняли с земли почти без памяти. Среди общего смятения один из очевидцев, стараясь перекричать всех, давал ошеломляющие показания.

— Оборотень!

— Что же он натворил?

— Ранил служанку.

— Кажется, кинулся на них с ножом.

— Не так, как говорится, а в самом деле без головы!

— Говорят вам, нет головы на плечах!

— Пустяки, наверное, какой-нибудь фокус.

— Как снял он бинты...

Стараясь заглянуть в открытую дверь, толпа образовала живой клин, острие которого, направленное в дверь трактира, составляли самые отчаянные смельчаки.

— Он стоит на пороге. Вдруг девушка как вскрикнет, он обернулся, а девушка бежать. Он за ней. Минутное дело — уж он идет обратно, в одной руке — нож, в другой — краюха хлеба. Остановился и будто глядит.

Вот только сейчас. Он вошел в эту самую дверь. Говорят вам: головы у него совсем нет. Приди вы на минуточку раньше, вы бы сами...

В задних рядах произошло движение. Рассказчик замолчал и посторонился, чтобы дать дорогу небольшой процессии, которая с весьма воинственным видом направлялась к дому; во главе ее шел мистер Холл, очень красный, с решительным видом, далее мистер Бобби Джефферс, констебль, и, наконец, мистер Уоджерс, из осторожности державшийся позади. У них был приказ об аресте незнакомца.

Им наперебой сообщали последние новости — один кричал одно, другой — совсем другое.

— С головой он там или без головы,— сказал мистер Джефферс,— а я получил приказ арестовать его, и приказ этот я выполню.

Мистер Холл поднялся на крыльцо, направился прямо к двери гостиной и распахнул ее.

— Констебль,— сказал он,— исполняйте свой долг.

Джефферс вошел первый, за ним — Холл и последним — Уоджерс. В полумраке они разглядели безголовую фигуру с недоеденной коркой хлеба в одной руке и с куском сыра — в другой; обе руки были в перчатках.

— Вот он,— сказал Холл.

— Это еще что? — раздался сердитый возглас из пустого пространства над воротником.

— Таких, как вы, я еще не видывал, сударь,— сказал Джефферс.— Но есть ли у вас голова или нет, в приказе сказано: «Препроводить»,— а долг службы прежде всего...

— Не подходите! — крикнул незнакомец, отступая на шаг.

В одно мгновение он бросил хлеб и сыр на пол, и мистер Холл едва успел вовремя убрать нож со стола. Незнакомец снял левую перчатку и ударил ею Джефферса по лицу. Джефферс сразу, оборвав свои разъяснения относительно смысла приказа, схватил одной рукой кисть невидимой руки, а другой сдавил невидимое горло. Тут он получил здоровый пинок по ноге, заставивший его вскрикнуть, но добычи своей он не выпустил. Холл через стол передал нож Уоджерсу, который действовал, так сказать, в качестве голкипера, а сам хотел по-

мочь Джефферсу. В яростной схватке противники наткнулись на стул, он с грохотом отлетел в сторону, и оба упали на пол.

— Хватайте его за ноги,— прошипел сквозь зубы Джефферс.

Мистер Холл, попытавшийся выполнить его распоряжение, получил сильный удар в грудь и на минуту выбыл из строя, а мистер Уоджерс, видя, что безголовый незнакомец извернулся и начал одолевать Джефферса, попятился с ножом в руках к двери, где столкнулся с мистером Хакстерсом и сиддербриджским извозчиком, спешившими на выручку блюстителю закона и порядка. В это самое время с полки посыпались бутылки, и комната наполнилась едкой вонью.

— Сдаюсь! — крикнул незнакомец, несмотря на то, что подмял под себя Джефферса. Он встал, тяжело дыша, без головы и без рук, ибо во время борьбы стянул обе перчатки.

— Все равно ничего не выйдет,— сказал он, еле переводя дух.

В высшей степени странно было слышать голос, исходивший как бы из пустого пространства, но жители Суссекса — вероятно, самые трезвые люди на свете. Джефферс также встал и вынул из кармана пару наручников. Но тут он остановился в полном недоумении.

— Вот так штука!—сказал он, смутно начиная сознавать несообразность всего происходящего.— Черт возьми! Похоже, что они без надобности.

Незнакомец провел пустым рукавом по пиджаку, и пуговицы, словно по волшебству, расстегнулись. Затем он сказал что-то о своих ногах и нагнулся. По-видимому, он трогал свои башмаки и носки.

— Постойте! — воскликнул вдруг Хакстерс.— Ведь это совсем не человек! Тут только пустая одежда. Посмотрите-ка, можно заглянуть в воротник, и подкладку пиджака видно. Я могу просунуть руку...

С этими словами он протянул руку. Казалось, он наткнулся на что-то в воздухе, ибо тотчас же с криком отдернул ее.

— Я бы вас попросил держать свои пальцы подальше от моих глаз! — раздались из пустоты слова, произнесенные яростным тоном.— Суть в том, что я весь

тут — с головой, руками, ногами и всем прочим, но только я невидимка. Это чрезвычайно неудобно, но ничего не поделаешь. Однако это обстоятельство еще не дает права каждому дураку в Айпинге тыкать в меня руками.

Перед ним стоял, подбоченясь, костюм, весь расстегнутый и свободно висящий на невидимой опоре.

Тем временем с улицы вошли еще несколько мужчин, и в комнате стало людно...

— Что? Невидимка? — сказал Хакстерс, не обращая внимания на оскорбительный тон незнакомца.— Этого же не бывает.

— Это, может быть, странно, но ведь преступного тут ничего нет. На каком основании на меня набрасывается констебль?

— А, это совсем другое дело,— сказал Джефферс.— Правда, здесь темновато, и видеть вас трудно, но у меня есть приказ о вашем аресте, и приказ по всей форме. Вы подлежите аресту не за то, что вы невидимка, а по подозрению в краже со взломом. Неподалеку отсюда был ограблен дом и украдены деньги.

— Ну?

— Некоторые обстоятельства указывают...

— Вздор! — воскликнул Невидимка.

— Надеюсь, что так, сударь. Но я получил приказ.

— Хорошо,— сказал незнакомец,— я пойду с вами. Пойду. Но без наручников.

— Так полагается,— сказал Джефферс.

— Без наручников,— упорствовал незнакомец.

— Нет уж, извините,— сказал Джефферс.

Вдруг фигура Невидимки осела на пол, и, прежде чем кто-либо успел сообразить, что происходит, башмаки, брюки и носки полетели под стол. Затем Невидимка вскочил и сбросил с себя пиджак.

— Стой, стой! — закричал Джефферс, вдруг сообразив, в чем дело. Он схватился за жилетку, та стала сопротивляться; затем оттуда выскочила рубашка, и в руках у Джефферса остался пустой жилет.— Держите его! — крикнул Джефферс.— Стоит ему только раздеться!..

— Держи его! — закричали все и бросились на мелькавшую в воздухе белую рубашку — все, что осталось видимого от незнакомца.

Рукав рубашки нанес Холлу сильнейший удар по ли-

цу, что пресекло его решительную атаку и толкнуло его назад, прямо на Тутсома, причетника; в тот же миг рубашка приподнялась в воздухе, где она стала извиваться, как всякая рубашка, которую снимают через голову. Джефферс крепко ухватился за рукав, но этим только помог снять ее. Что-то из воздуха ударило его в нижнюю челюсть; он тотчас выхватил свою дубинку и, размахнувшись изо всей мочи, ударил Тедди Хенфри прямо по макушке.

— Берегись! — кричали все, наугад рассыпая удары по воздуху.— Держи его! Заприте дверь! Не выпускайте! Я что-то поймал! Вот он!

Началось настоящее вавилонское столпотворение. Тумаки, казалось, сыпались на всех сразу, и мудрый Сэнди Уоджерс, чья сообразительность обострилась благодаря сокрушительному удару, который расквасил ему нос, отворил дверь и первый выбежал из комнаты. Все тотчас же последовали за ним. В дверях началась страшная давка. Удары продолжали сыпаться. Сектанту Фипсу выбили передний зуб, а Генри поранили ушную раковину. Джефферс получил удар в подбородок и, обернувшись, ухватился за что-то невидимое, втиснувшееся в суматохе между ним и Хакстерсом. Он нащупал мускулистую грудь, и в ту же минуту весь клубок борющихся, разгоряченных людей выкатился в коридор.

— Поймал! — крикнул Джефферс, задыхаясь. Не выпуская из рук невидимого врага, весь багровый, со вздувшимися венами, он кружил в толпе, расступавшейся перед этим странным поединком. Наконец все скатились с крыльца на землю. Джефферс закричал придушенным голосом, все еще сжимая в объятиях что-то невидимое и энергично работая коленом, потом зашатался и упал навзничь, грохнувшись затылком о камни. Только тогда он разжал пальцы.

Раздались крики: «Держи его!», «Невидимка!» Какой-то молодой человек не из Айпинга, чьего имени так и не удалось установить, подбежал, схватил что-то, но тут же выпустил из рук и упал на распростертое тело констебля. Посреди улицы вскрикнула едва не сбитая с ног женщина; собака, видимо, получившая пинок, завизжала и с воем кинулась во двор к Хакстерсу. Этим и закончился побег Невидимки. С минуту толпа стояла

изумленная и взволнованная, затем бросилась врассыпную, словно палая листва, развеянная порывом ветра.

Только Джефферс лежал неподвижно, обратив лицо к небу и согнув колени.

ГЛАВА VIII

МИМОХОДОМ

Восьмая глава необычайно коротка. В ней рассказывается о том, как Джиббинс, местный натуралист-любитель, дремал на холмике в полной уверенности, что по крайней мере на две мили окрест нет ни души, и вдруг услышал совсем близко от себя шаги какого-то человека, который кашлял, чихал и отчаянно ругался; обернувшись, он не увидел никого. И тем не менее голос раздавался вполне явственно. Невидимый прохожий продолжал ругаться той отборной и витиеватой бранью, по которой сразу можно узнать образованного человека. Голос поднялся до самых высоких нот, потом стал тише и, наконец, совсем замер, удалившись, как показалось Джиббинсу, по направлению к Эддердину. Последнее громкое чиханье — и все стихло. Джиббинсу ничего не было известно об утренних событиях, но явление это до того поразило и смутило его, что все его философское спокойствие исчезло. Вскочив, он со всей быстротой, на какую был способен, спустился с холма и направился в селение.

ГЛАВА IX

МИСТЕР ТОМАС МАРВЕЛ

Чтобы получить представление о мистере Томасе Марвеле, вы должны вообразить себе человека с толстым дряблым лицом, с широким длинным носом, слюнявым подвижным ртом и растущей вкривь и вкось щетинистой бородой. Он был явно предрасположен к полноте, что было особенно заметно благодаря очень коротким конечностям. Он носил потрепанный шелковый цилиндр; а то, что на самых ответственных частях туалета вместо пуговиц красовались бечевки и ботиночные шнурки, свидетельствовало, что он закоренелый холостяк.

Мистер Томас Марвел сидел, спустив ноги в канаву, у дороги, ведущей к Эддердину, примерно в полутора

милях от Айпинга. На ногах у него не было ничего, кроме рваных носков; вылезшие из дыр большие пальцы ног, широкие и приподнятые, напоминали уши насторожившейся собаки. Неторопливо—он все делал не торопясь—Томас Марвел рассматривал башмаки, которые собирался примерить. Это были очень крепкие башмаки, какие ему давно уже не попадались, но они оказались ему слишком велики; между тем старые башмаки его, вполне подходящие для сухой погоды, не годились для сырой, так как у них была слишком тонка подошва. Мистер Марвел терпеть не мог свободной обуви, но он не выносил и сырости. Собственно говоря, он еще не установил, что ему неприятнее — просторная обувь или сырость,— но день был погожий, других дел не предвиделось, и он решил поразмыслить. Поэтому он поставил на землю все четыре башмака, расположив их в виде живописной группы, и стал смотреть на них. Глядя, как они стоят среди буйно разросшегося репейника, он вдруг решил, что обе пары очень безобразны. Он нисколько не удивился, услыхав позади себя чей-то голос.

— Как-никак обувь,— сказал Голос.

— Это пожертвованная обувь,— сказал мистер Томас Марвел, склонив голову набок и с неудовольствием глядя на башмаки.— И я, черт возьми, не могу даже решить, какая из этих пар хуже.

— Гм...— сказал Голос.

— Я носил обувь и похуже. По правде говоря, мне случалось обходиться и совсем без нее. Но таких наглых уродов, если можно так выразиться, я не носил никогда. Давно уже подыскиваю себе башмаки, потому что мои мне осточертели. Они крепкие, что и говорить. Но человек, который постоянно на ногах, все время видит свои башмаки. И, поверите ли, сколько я ни старался, во всей округе не мог достать других башмаков, кроме этих. Вы только взгляните! А ведь, вообще-то говоря, в здешней округе обувь хорошая. Только мое уж счастье такое. Я лет десять ношу здешнюю обувку. И вот какую дрянь мне подсунули.

— Это отвратительная округа,— сказал Голос,— и народ здесь прескверный.

— Верно ведь? — сказал Томас Марвел.— Ну и обувка! Чтоб она пропала!

С этими словами он через плечо покосился вправо, чтобы посмотреть на обувь собеседника и сравнить ее со своей, но, к величайшему его изумлению, там, где он ожидал увидеть пару башмаков, не оказалось ни башмаков, ни ног. Он посмотрел через левое плечо, но и там не обнаружил ни башмаков, ни ног. Это ошеломило его.

— Где же вы? — спросил Томас Марвел, поворачиваясь на четвереньках. Перед ним расстилалась пустая холмистая равнина, только далекие кусты вереска качались на ветру.

— Пьян я, что ли? — сказал Томас Марвел.— Померещилось мне? Или я сам с собой разговаривал? Что за черт...

— Не пугайтесь,— сказал Голос.

— Оставьте, пожалуйста, ваши шутки! — воскликнул Томас Марвел.— Где вы? «Не пугайтесь»,— скажите на милость!

— Не пугайтесь,— повторил Голос.

— Ты сам сейчас испугаешься, болван ты этакий! — сказал Томас Марвел.— Где ты? Вот я до тебя доберусь.

Молчание.

— Под землей ты, что ли? — спросил Томас Марвел.

Ответа не было. Томас Марвел продолжал стоять в одних носках, в распахнутом пиджаке, и лицо его выражало полное недоумение.

«Фю-ить»,— раздался вдали свист.

— Вот тебе и «фю-ить». Что вы, в самом деле, дурачитесь? — сказал Томас Марвел.

Местность была безлюдная. В какую бы сторону он ни поглядел, никого не было видно. Дорога с глубокими канавами, окаймленная рядами белых придорожных столбов, гладкая и пустынная, тянулась на север и на юг, в безоблачном небе тоже ничего не было заметно, кроме пеночки.

— С нами крестная сила! — воскликнул Томас Марвел, застегивая пиджак.— Все водка проклятая. Так я и знал.

— Это не водка,— сказал Голос.— Не волнуйтесь.

— Ох! — простонал Марвел, побледнев.— Все водка,— беззвучно повторили его губы. Он постоял не-

много, мрачно глядя прямо перед собой, потом стал медленно поворачиваться.— Готов поклясться, что слышал голос,— прошептал он.

— Конечно, слышали.

— Вот опять,— сказал Марвел, закрывая глаза и трагическим жестом хватаясь за голову. Но тут его вдруг взяли за шиворот и так встряхнули, что у него совсем помутилось в голове.

— Брось дурить,— сказал Голос.

— Я рехнулся...— сказал Марвел.— Ничего не поможет. И все из-за проклятых башмаков. Прямо-таки рехнулся! Или это привидение?..

— Ни то, ни другое,— сказал Голос.— Послушай...

— Рехнулся! — повторил Марвел.

— Да погоди же! — сказал Голос, еле сдерживая раздражение.

— Ну? — сказал Марвел, испытывая странное ощущение, как будто кто-то коснулся пальцем его груди.

— Ты думаешь, я тебе только почудился, да?

— А как же иначе? — ответил Томас Марвел, почесывая затылок.

— Отлично,— сказал Голос.— В таком случае я буду швырять в тебя камнями, пока ты не убедишься в противном.

— Да где же ты?

Голос не ответил. Свист — и камень, по-видимому, пущенный из воздуха, пролетел у самого плеча мистера Марвела. Обернувшись, мистер Марвел увидел, как другой камень, описав дугу, взлетел вверх, повис на секунду в воздухе и затем полетел к его ногам с почти неуловимой быстротой. Он был до того поражен, что даже не попробовал увернуться. Камень, ударившись о голый палец ноги, отлетел в канаву. Томас Марвел подскочил и взвыл от боли. Потом кинулся бежать, но споткнулся обо что-то и, перекувырнувшись, очутился в сидячем положении.

— Ну-с, что скажешь теперь? — спросил Голос, и третий камень, описав дугу, взлетел вверх и повис в воздухе над бродягой.— Что я такое? Воображение?

Марвел вместо ответа встал на ноги, но немедленно был снова брошен на землю. С минуту он лежал, не двигаясь.

— Сиди смирно,— сказал Голос,— не то я разобью тебе камнем голову.

— Ну и дела! — сказал мистер Марвел, садясь и потирая ушибленную ногу, но не сводя глаз с камня.— Ничего не понимаю. Камни сами летают. Камни разговаривают. Не кидайся. Сгинь. Мне крышка.

Камень упал на землю.

— Все очень просто,— сказал Голос.— Я невидимка.

— Расскажите что-нибудь поновее,— сказал мистер Марвел, охая и корчась от боли.— Где вы прячетесь, как вы это делаете? Не могу догадаться. Сдаюсь.

— Я невидимка, только и всего. Понимаешь ты или нет? — сказал Голос.

— Да это ясней ясного. И нечего, мистер, злиться. А теперь скажите-ка лучше, как вы прячетесь.

— Я невидимка, в этом вся суть. Пойми ты...

— Но где же вы? — прервал его Марвел.

— Да тут, перед тобой, в пяти шагах.

— Рассказывай! Я не слепой. Еще скажешь, что ты воздух. Я ведь не какой-нибудь неуч...

— Да, я воздух. Ты смотришь сквозь меня.

— Что? И в тебе так-таки ничего нет? Один только болтливый голос и все?

— Я такой же человек, как все, из плоти и крови, мне нужно есть, пить и прикрыть свою нáготу. Но я невидимка. Понятно? Невидимка. Это очень просто. Невидимый человек.

— Настоящий человек?

— Да.

— Ну, если так,— сказал Марвел,— дайте-ка мне руку. Это будет все-таки на что-то похоже... Ох! — воскликнул он вдруг.— Как вы меня напугали! Надо же так вцепиться!

Он ощупал руку, которая стиснула его кисть, затем нерешительно ощупал плечо, мускулистую грудь, бороду. Лицо его выражало крайнее изумление.

— Здорово! — сказал он.— Это почище петушиного боя. Просто поразительно. Я могу увидеть сквозь вас зайца в полумиле отсюда. А вас самого нисколечко не видать... Впрочем...

Тут Марвел стал внимательно всматриваться в пространство, казавшееся пустым.

— Скажите, вы не ели хлеб с сыром? — спросил он, не выпуская невидимой руки.

— Правильно. Эта пища еще не усвоена организмом.

— А-а,— сказал мистер Марвел.— Все-таки это странно

— Право же, это далеко не так странно, как вам кажется.

— Для моего скромного разума это достаточно странно,— сказал Томас Марвел.— Но как вы это устраиваете? Как вам, черт возьми, удается?

— Это слишком длинная история. И кроме того...

— Я просто в себя не могу прийти,— сказал Марвел.

— Я хочу тебе вот что сказать: я нуждаюсь в помощи — меня довели до этого. Я наткнулся на тебя неожиданно. Шел взбешенный, голый, обессиленный. Готов был убить... И я увидел тебя...

— Господи! — вырвалось у Марвела.

— Я подошел к тебе сзади... подумал и пошел дальше...

Лицо мистера Марвела весьма красноречиво выражало его чувства.

— Потом остановился. «Вот,— подумал я,— такой же отверженный, как я. Вот человек, который мне нужен». Я вернулся и направился к тебе. И...

— Господи! — сказал мистер Марвел.— У меня голова идет кругом. Позвольте спросить: как же это так? Невидимка! И какая вам нужна помощь?

— Я хочу, чтобы ты помог мне достать одежду, кров и еще кое-что... Всего этого у меня нет уже давно. Если же ты не хочешь... Но ты поможешь мне, должен помочь!

— Постойте,— сказал Марвел.— Дайте мне собраться с мыслями. Нельзя же так — обухом по голове. И не трогайте меня! Дайте прийти в себя. Ведь вы чуть не перебили мне палец на ноге. Все это так нелепо: пустые холмы, пустое небо. На много миль кругом ничего не видать, кроме красот природы. И вдруг голос. Голос с неба. И камни. И кулак. Ах ты, господи!

— Ну, нечего нюни распускать,— сказал Голос.— Делай лучше то, что я приказываю.

Марвел надул щеки, и глаза его стали совсем круглыми.

— Я остановил свой выбор на тебе,— сказал Голос,— ты единственный человек, если не считать нескольких деревенских дураков, который знает, что на свете есть невидимка. Ты должен мне помочь. Помоги мне, и я многое для тебя сделаю. В руках человека-невидимки большая сила.— Он остановился и громко чихнул.— Но если ты меня выдашь,— продолжал он,— если ты не сделаешь то, что я прикажу...

Он замолчал и крепко стиснул плечо Марвела. Тот взвыл от ужаса.

— Я не собираюсь выдавать вас,— сказал он, стараясь отодвинуться от Невидимки.— Об этом и речи быть не может. С радостью вам помогу. Скажите только, что я должен делать. (Господи!) Все, что пожелаете, я сделаю с величайшим удовольствием.

ГЛАВА X

МИСТЕР МАРВЕЛ В АЙПИНГЕ

После того, как паника немного улеглась, жители Айпинга стали прислушиваться к голосу рассудка. Скептицизм внезапно поднял голову — правда, несколько шаткий, неуверенный, но все же скептицизм. Ведь не верить в существование Невидимки было куда проще, а тех, кто видел, как он рассеялся в воздухе, или почувствовал на себе силу его кулаков, можно было пересчитать по пальцам. К тому же один из очевидцев, мистер Уоджерс, отсутствовал, он заперся у себя в доме и никого не пускал, а Джефферс лежал без чувств в трактире «Кучер и кони». Великие, необычайные идеи, выходящие за пределы опыта, часто имеют меньше власти над людьми, чем малозначительные, но зато вполне конкретные соображения. Айпинг разукрасился флагами, жители разрядились. Ведь к празднику готовились целый месяц, его предвкушали. Вот почему несколько часов спустя даже те, кто верил в существование Невидимки, уже предавались развлечениям, утешая себя мыслью, что он исчез навсегда; что же касается скептиков, то для них Невидимка превратился в забавную шутку. Как бы то ни было, среди тех и других царило необычайное веселье.

На Хайсменском лугу разбили палатку, где миссис

Бантинг и другие дамы приготовляли чай, а вокруг ученики воскресной школы бегали взапуски по траве и играли в разные игры под шумным руководством викария, мисс Касс и мисс Сэкбат. Правда, чувствовалось какое-то легкое беспокойство, но все были настолько благоразумны, что скрывали свой страх. Большим успехом у молодежи пользовался наклонно натянутый канат, по которому, держась за блок, можно было стремглав слететь вниз, на мешок с сеном, лежавший у другого конца веревки. Не меньшим успехом пользовались качели, метание кокосовых орехов и карусель с паровым органом, непрерывно наполнявшим воздух пронзительным запахом масла и не менее пронзительной музыкой. Члены клуба, побывавшие утром в церкви, щеголяли разноцветными значками, а большинство молодых людей разукрасили свои котелки яркими лентами. Старик Флетчер, у которого были несколько суровые представления о праздничном отдыхе, стоял на доске, положенной на два стула, как это можно было видеть сквозь цветы жасмина на подоконнике или через открытую дверь (как кому угодно было смотреть), и белил потолок своей столовой.

Около четырех часов в Айпинге появился незнакомец; он пришел со стороны холмов. Это был невысокий толстый человек в чрезвычайно потрепанном цилиндре, сильно запыхавшийся. Он то втягивал щеки, то надувал их до отказа. Лицо у него было в красных пятнах, выражало страх, и двигался он хотя и быстро, но явно неохотно. Он завернул за угол церкви и направился к трактиру «Кучер и кони». Среди прочих обратил на него внимание и старик Флетчер, который был поражен необычайно взволнованным видом незнакомца и до тех пор смотрел ему вслед, пока известка, набранная на кисть, не затекла ему в рукав.

Незнакомец, по свидетельству хозяина тира, вслух разговаривал сам с собой. То же заметил и мистер Хакстерс. Он остановился у крыльца гостиницы и, по словам мистера Хакстерса, по-видимому, долго колебался, прежде чем решился войти в дом. Наконец он поднялся по ступенькам, повернул, как это успел заметить мистер Хакстерс, налево и открыл дверь в гостиную. Мистер Хакстерс услыхал голоса изнутри, а также оклики из распивочной, указывавшие незнакомцу на его ошибку.

— Не туда! — сказал Холл.

Тогда незнакомец закрыл дверь и вошел в распивочную.

Через несколько минут он снова появился на улице, вытирая губы рукой, с видом спокойного удовлетворения, показавшимся Хакстерсу напускным. Он немного постоял, огляделся, а затем мистер Хакстерс увидел, как он, крадучись, направился к воротам, которые вели во двор, куда выходило окно гостиной. После некоторого колебания незнакомец прислонился к створке ворот, вынул короткую глиняную трубку и стал набивать ее табаком. Руки его дрожали. Наконец он кое-как раскурил трубку и, скрестив руки, начал дымить, приняв позу скучающего человека, чему отнюдь не соответствовали быстрые взгляды, которые он то и дело бросал во двор.

Все это мистер Хакстерс видел из-за жестянок, стоявших в окне табачной лавочки, и странное поведение незнакомца побудило его продолжать наблюдение.

Вдруг незнакомец порывисто выпрямился, сунул трубку в карман и исчез во дворе. Тут мистер Хакстерс, решив, что на его глазах совершается кража, выскочил из-за прилавка и выбежал на улицу, чтобы перехватить вора. В это время незнакомец снова показался в сбитом набекрень цилиндре, держа в одной руке большой узел, завернутый в синюю скатерть, а в другой — три книги, связанные, как выяснилось впоследствии, подтяжками викария. Увидев Хакстерса, он охнул и, круто повернув влево, бросился бежать.

— Держи вора! — крикнул Хакстерс и пустился вдогонку.

Последующие ощущения мистера Хакстерса были сильны, но мимолетны. Он видел, как вор бежал прямо перед ним по направлению к церкви. Он запомнил мелькнувшие впереди флаги и толпу гуляющих, причем только двое или трое оглянулись на его крик.

— Держи вора! — завопил он еще громче.

Но не пробежал он и десяти шагов, как что-то ухватило его за ноги, и вот уже он не бежит, а пулей летит по воздуху! Не успел он опомниться, как уже лежал на земле. Мир рассыпался на миллионы кружащихся искр, и дальнейшие события перестали его интересовать.

ГЛАВА XI

В ТРАКТИРЕ «КУЧЕР И КОНИ»

Чтобы ясно понять все, что произошло в трактире, необходимо вернуться назад, к тому моменту, когда мистер Марвел впервые появился перед окном мистера Хакстерса.

В это самое время в гостиной находились мистер Касс и мистер Бантинг. Они самым серьезным образом обсуждали утренние события и с разрешения мистера Холла тщательно исследовали вещи, принадлежавшие Невидимке. Джефферс несколько оправился от своего падения и ушел домой, сопровождаемый заботливыми друзьями. Разбросанная по полу одежда Невидимки была убрана миссис Холл, и комната приведена в порядок. У окна, на столе, за которым приезжий обыкновенно работал, Касс сразу же наткнулся на три рукописные книги, озаглавленные «Дневник».

— Дневник! — воскликнул Касс, кладя все три книги на стол.— Теперь уж мы, во всяком случае, кое-что узнаем.

Викарий подошел и оперся руками на стол.

— Дневник,— повторил Касс, усаживаясь на стул. Он подложил две книги под третью и открыл верхнюю.— Гм... На заглавном листе никакого названия. Фу ты!.. Цифры. И чертежи.

Викарий обошел стол и заглянул через плечо Касса.

Касс переворачивал страницы одну за другой, и лицо его выражало горькое разочарование.

— Эх-ма! Тут одни цифры, Бантинг!

— Нет ли тут диаграмм?— спросил Бантинг.— Или рисунков, проливающих свет...

— Посмотрите сами,— ответил Касс.— Тут и математика, и по-русски или еще на каком-то таком языке (если судить по буквам), а кое-что написано и по-гречески. Ну, а греческий-то, я думаю, вы уж разберете...

— Конечно,— сказал мистер Бантинг, вынимая очки и протирая их. Он сразу почувствовал себя крайне неловко, ибо от греческого языка в голове у него осталась самая малость.— Да, греческий, конечно, может дать ключ...

— Я сейчас покажу вам место...

— Нет, лучше уж я просмотрю сначала все книги,— сказал мистер Бантинг, все еще протирая очки.— Сначала, Касс, необходимо получить общее представление, а потом уж, знаете, можно будет поискать ключ.

Он кашлянул, медленно надел очки и мысленно пожелал, чтобы что-нибудь случилось и предотвратило его позор. Затем он взял книгу, которую ему передал Касс.

А затем действительно случилось нечто.

Дверь вдруг отворилась.

Касс и викарий вздрогнули от неожиданности, но, подняв глаза, с облегчением увидели красную физиономию под потрепанным цилиндром.

— Распивочная? — прохрипела физиономия, тараща глаза.

— Нет,— ответили в один голос оба джентльмена.

— Это напротив, милейший,— сказал мистер Бантинг.

— И, пожалуйста, закройте дверь,— добавил с раздражением мистер Касс.

— Ладно,— сказал вошедший вполголоса.— Есть! — прохрипел он.— Полный назад! — скомандовал он сам себе, исчезая и закрывая дверь.

— Матрос, наверное,— сказал мистер Бантинг.— Забавный народ. «Полный назад» — слыхали? Это, должно быть, морской термин, означающий выход из комнаты.

— Вероятно, так,— сказал Касс.— Вот только нервы у меня ни к черту. Я даже подскочил, когда дверь вдруг открылась.

Мистер Бантинг снисходительно улыбнулся, словно он сам не подскочил точно так же.

— А теперь,— сказал он со вздохом,— займемся книгами.

— Одну секунду,— сказал Касс, вставая и запирая дверь.— Теперь, я думаю, нам никто не помешает.

В этот миг кто-то фыркнул.

— Одно не подлежит сомнению,— заявил мистер Бантинг, придвигая свое кресло к креслу Касса.— В Айпинге за последние дни имели место какие-то странные события, весьма странные. Я, конечно, не верю в эту нелепую басню о Невидимке...

— Это невероятно,— сказал Касс,— невероятно. Но факт тот, что я видел... да, да, я заглянул в рукав...

— Но вы уверены... верно ли, что вы видели? Быть может, там было зеркало... Ведь вызвать оптический обман очень легко. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь настоящего фокусника...

— Не будем спорить,— сказал Касс.— Ведь мы уже обо всем этом толковали. Обратимся к книгам... Ага, вот это, по-моему, написано по-гречески. Ну, конечно, это греческие буквы.

Он указал на середину страницы. Мистер Бантинг слегка покраснел и склонился над книгой: с его очками, очевидно, опять что-то случилось. Его познания в греческом языке были весьма слабы, но он полагал, что все прихожане считают его знатоком и греческого и древнееврейского. И вот... Неужели сознаться в своем невежестве? Или сочинить что-нибудь? Вдруг он почувствовал какое-то странное прикосновение к своему затылку. Он попробовал поднять голову, но встретил непреодолимое препятствие.

Он испытывал непонятное ощущение тяжести, как будто чья-то крепкая рука пригибала его книзу, так что подбородок коснулся стола.

— Не шевелитесь, милейшие,— раздался шепот,— или я размозжу вам головы.

Он взглянул в лицо Касса, близко придвинувшееся к нему, и увидел на нем отражение собственного испуга и безмерного изумления.

— Я очень сожалею, что приходится принимать крутые меры,— сказал Голос,— но это неизбежно.

— С каких это пор вы научились залезать в частные записи исследователей? — сказал Голос, и два подбородка одновременно ударились о стол, а две пары челюстей одновременно щелкнули.

— С каких это пор вы научились вторгаться в комнату человека, попавшего в беду? — И снова удар по столу и щелканье зубов.

— Куда вы дели мое платье?

— А теперь слушайте,— сказал Голос.— Окна закрыты, а из дверного замка я вынул ключ. Человек я очень сильный, и под рукой у меня кочерга, не говоря уж о том, что я невидим. Не подлежит ни малейшему сомнению, что, если б я только захотел, мне не стоило бы никакого труда убить вас обоих и преспокойно удалиться.

Понятно? Так вот. Обещаете ли вы не делать глупостей и исполнить все, что я вам прикажу, если я вас не трону?

Викарий и доктор посмотрели друг на друга, и доктор скорчил гримасу.

— Обещаем,— сказал викарий.

— Обещаем,— сказал доктор.

Тогда Невидимка выпустил их, и они выпрямились. Лица у обоих были очень красные, и они усиленно вертели головами.

— Попрошу вас оставаться на местах,— сказал Невидимка.— Видите, вот кочерга. Когда я вошел в эту комнату,— продолжал он, по очереди поднося кочергу к носу своих собеседников,— я не ожидал встретить здесь людей. И, кроме того, я надеялся найти, кроме своих книг, еще платье. Где оно?.. Нет, нет, не вставайте. Я вижу: его унесли отсюда. Хотя дни теперь стоят достаточно теплые для того, чтобы невидимка мог ходить нагишом, по вечерам все же довольно прохладно. Поэтому я нуждаюсь в одежде и в некоторых других вещах. Кроме того, мне нужны эти три книги.

ГЛАВА XII

НЕВИДИМКА ПРИХОДИТ В ЯРОСТЬ

Здесь необходимо снова прервать наш рассказ ввиду весьма тягостного обстоятельства, о котором сейчас пойдет речь. Пока в гостиной происходило все описанное выше и пока мистер Хакстерс наблюдал за Марвелом, курившим трубку у ворот, ярдах в двенадцати от него, в распивочной, стояли мистер Холл и мистер Хенфри; озадаченные, они обсуждали единственную айпингскую злобу дня.

Вдруг раздался сильный удар в дверь гостиной, оттуда донесся пронзительный крик, потом все смолкло.

— Эй! — воскликнул Тедди Хенфри.

— Эй! — раздалось в распивочной.

Мистер Холл усваивал происходящее медленно, но верно.

— Там что-то неладно,— сказал он, выходя из-за стойки и направляясь к двери гостиной.

Он и Тедди вместе подошли к двери с напряженным вниманием на лицах. Взгляд у них был задумчивый.

— Что-то неладно,— сказал Холл, и Хенфри кивнул головой в знак согласия.

На них пахнуло тяжелым запахом химикалиев, а из комнаты послышался приглушенный разговор, очень быстрый и тихий.

— Что у вас там? — быстро спросил Холл, постучав в дверь.

Приглушенный разговор круто оборвался, на минуту наступило полное молчание, потом снова послышался громкий шепот, после чего раздался крик: «Нет, нет, не надо!» Затем поднялась возня, послышался стук падающего стула и шум короткой борьбы. И снова тишина.

— Что за черт! — воскликнул Хенфри вполголоса.

— Что у вас там? — снова поспешно спросил мистер Холл.

Викарий ответил каким-то странным, прерывающимся голосом:

— Все в порядке. Пожалуйста, не мешайте.

— Странно! — сказал Хенфри.

— Странно! — сказал Холл.

— Просят не мешать,— сказал Хенфри.

— Слышал,— сказал Холл.

— И кто-то фыркнул,— добавил Хенфри.

Они продолжали стоять у дверей, прислушиваясь. Разговор в гостиной возобновился, такой же приглушенный и быстрый.

— Я не могу,— раздался голос мистера Бантинга.— Говорю вам, я не хочу.

— Что такое? — спросил Хенфри.

— Говорит, что не хочет,— сказал Холл.— Кому это он — нам, что ли?

— Возмутительно! — послышался голос мистера Бантинга.

— Возмутительно,— повторил мистер Хенфри.— Я ясно это слышал.

— А кто сейчас говорит?

— Вероятно, мистер Касс,— сказал Холл.— Вы что-нибудь разбираете?

Они помолчали. Разговор за дверью становился все невнятней и загадочней.

— Кажется, скатерть сдирают со стола,— сказал Холл.

За стойкой появилась хозяйка. Холл стал знаками внушать ей, чтобы она не шумела и подошла к ним. Это сейчас же пробудило в его супруге дух противоречия.

— Чего это ты там стоишь и слушаешь? — спросила она.— Другого дела у тебя нет, да еще в праздничный день?

Холл пытался объясниться жестами и мимикой, но миссис Холл не желала понимать. Она упорно повышала голос. Тогда Холл и Хенфри, сильно смущенные, на цыпочках подошли к стойке и объяснили ей, в чем дело.

Сначала она вообще отказалась признать что-либо необыкновенное в том, что услышала. Потом потребовала, чтобы Холл замолчал и говорил один Хенфри. Она была склонна считать все это пустяками,— может, они просто передвигали мебель.

— Я слышал, как он сказал «возмутительно», ясно слышал,— твердил Холл.

— И я слышал, миссис Холл,— сказал Хенфри.

— Так это или нет...— начала миссис Холл.

— Тсс! — прервал ее Хенфри.— Слышите — окно?

— Какое окно? — спросила миссис Холл.

— В гостиной,— ответил Хенфри.

Все замолчали, напряженно прислушиваясь. Невидящий взор миссис Холл был устремлен на светлый прямоугольник трактирной двери, на белую дорогу и фасад лавки Хакстерса, залитый июньским солнцем. Вдруг дверь лавки распахнулась и появился сам Хакстерс, размахивая руками, с вытаращенными от волнения глазами

— Держи вора! — крикнул он и бросился бежать наискось к воротам трактира, где и исчез.

В ту же секунду из гостиной донесся громкий шум и хлопанье затворяемого окна.

Холл, Хенфри и все бывшие в распивочной гурьбой выбежали на улицу. Они увидели, как кто-то быстро кинулся за угол по направлению к проселочной дороге и как мистер Хакстерс совершил в воздухе сложный прыжок, закончившийся падением. Толпа гуляющих застыла в изумлении, несколько человек подбежали к нему.

Мистер Хакстерс был без сознания, как определил склонившийся над ним Хенфри. А Холл с двумя работ-

никами из трактира добежал до угла, выкрикивая что-то нечленораздельное, и они увидели, как Марвел исчез за углом церковной ограды. Они, должно быть, решили, что это и есть Невидимка, внезапно сделавшийся видимым, и пустились вдогонку. Но не успел Холл пробежать и десяти шагов, как, громко вскрикнув от изумления, отлетел в сторону и, ухватившись за одного из работников, грохнулся вместе с ним наземь. Он был сбит с ног, совсем как на футбольном поле сбивают игрока. Второй работник обернулся и, решив, что Холл просто оступился, продолжал преследование один; но тут и он свалился так же, как Хакстерс. В это время первый работник, успевший встать на ноги, получил сбоку такой удар, которым можно было бы свалить быка.

Он упал, и в эту минуту из-за угла показались люди, прибежавшие с лужайки, где происходило гулянье. Впереди всех бежал владелец тира, рослый мужчина в синей фуфайке. Он очень удивился, увидев, что на дороге нет никого, кроме трех человек, нелепо барахтающихся на земле. В ту же секунду с его ногой что-то случилось, он растянулся во всю длину и откатился в сторону, прямо под ноги следовавшего за ним брата и компаньона, отчего и тот распластался на земле. Все бежавшие следом спотыкались о них, падали кучей, валясь друг на друга, и осыпали их отборной руганью.

Когда Холл, Хенфри и работники выбежали из трактира, миссис Холл, наученная долголетним опытом, осталась сидеть за кассой. Вдруг дверь гостиной распахнулась, оттуда выскочил мистер Касс и, даже не взглянув на нее, сбежал с крыльца и понесся за угол дома.

— Держите его! — кричал он.— Не давайте ему выпустить из рук узел! Пока он держит этот узел, его можно видеть!

О существовании Марвела никто не подозревал, так как Невидимка передал тому книги и узел во дворе. Вид у мистера Касса был сердитый и решительный, но в костюме его кое-чего не хватало; по правде говоря, все одеяние его состояло из чего-то вроде легкой белой юбочки, которая могла бы сойти за одежду разве только в Греции.

— Держите его! — вопил он.— Он унес мои брюки! И всю одежду викария!

— Я сейчас доберусь до него! — крикнул он Хенфри,

пробегая мимо распростертого на земле Хакстерса и огибая угол, чтобы присоединиться к толпе, гнавшейся за Невидимкой, но тут же был сшиблен с ног и шлепнулся на дорогу в самом неприглядном виде. Кто-то тяжело наступил ему на руку. Он взвыл от боли, попытался встать на ноги, снова был сшиблен, упал на четвереньки и, наконец, убедился, что участвует не в погоне, а в бегстве. Все бежали обратно. Он снова поднялся, но получил здоровый удар по уху. Шатаясь, он повернул к трактиру, перескочив через забытого всеми Хакстерса, который к тому времени уже очнулся и сидел посреди дороги.

Поднимаясь на крыльцо трактира, мистер Касс вдруг услышал позади себя звук громкой оплеухи и яростный крик боли, покрывший разноголосый гам. Он узнал голос Невидимки. Тот кричал так, словно его привела в бешенство неожиданная острая боль.

Мистер Касс кинулся в гостиную.

— Бантинг, он возвращается! — крикнул он, врываясь в комнату.— Спасайтесь! Он сошел с ума!

Мистер Бантинг стоял у окна и мастерил себе костюм из каминного коврика и листа «Западносуррейской газеты».

— Кто возвращается? — спросил он и так вздрогнул, что чуть не растерял весь свой костюм.

— Невидимка! — ответил Касс и подбежал к окну.— Надо убираться отсюда. Он дерется, как безумный. Прямо как безумный!

Через секунду он был уже на дворе.

— Господи, помилуй! — в ужасе воскликнул Бантинг, не зная, на что решиться.

Но тут из коридора трактира донесся шум борьбы, и это положило конец его колебаниям. Он вылез в окно, наскоро приладил свой костюм и пустился бежать по улице со всей скоростью, на которую только были способны его толстые, короткие ножки.

Начиная с той минуты, как послышался разъяренный крик Невидимки и мистер Бантинг пустился бежать, уже невозможно установить последовательность в ходе айпингских событий. Быть может, первоначально Неви-

димка хотел только прикрыть отступление Марвела с платьем и книгами. Но так как он вообще не отличался кротким нравом, да еще случайно угодивший в него удар окончательно вывел его из себя, он стал сыпать ударами направо и налево, колотить всех, кто попадался под руку.

Представьте себе улицу, заполненную бегущими людьми, хлопанье дверей и драку из-за укромных местечек, куда можно было бы спрятаться. Представьте себе, как подействовала эта буря на неустойчивое равновесие доски, положенной на два стула в столовой старика Флетчера, и какая за этим последовала катастрофа. Представьте себе перепуганную парочку, застигнутую бедствием на качелях. А потом буря пронеслась, и айпингская улица, разукрашенная флагами и гирляндами, опустела; один только Невидимка продолжал бушевать среди раскиданных по земле кокосовых орехов, опрокинутых парусиновых щитов и разбросанных сластей с лотка торговца. Отовсюду доносился стук закрываемых ставней и задвигаемых засовов, и только кое-где, выдавая присутствие людей, мелькал сквозь щелку вытаращенный глаз под испуганно приподнятой бровью.

Невидимка некоторое время забавлялся тем, что бил окна в трактире «Кучер и кони», затем просунул уличный фонарь в окно гостиной миссис Грогрем. Он же, вероятно, перерезал телеграфный провод за домиком Хиггинса на Эддердинской дороге. А затем, пользуясь своим необыкновенным свойством, бесследно исчез, и в Айпинге о нем больше не было ни слуху ни духу. Он скрылся навсегда.

Но прошло добрых два часа, прежде чем первые смельчаки решились вновь выйти на пустынную айпингскую улицу.

ГЛАВА XIII

МИСТЕР МАРВЕЛ ХОДАТАЙСТВУЕТ ОБ ОТСТАВКЕ

Когда начало смеркаться и жители Айпинга стали боязливо выползать из домов, поглядывая на печальные следы побоища, разыгравшегося в праздничный день, по дороге в Брэмблхерст за буковой рощей тяжело шагал коренастый человек в потрепанном цилиндре. Он нес

три книги, перетянутые чем-то вроде эластичной ленты, и какие-то вещи, завязанные в голубую скатерть. Его багровое лицо выражало уныние и усталость, а в походке была какая-то судорожная торопливость. Его подгонял чей-то голос, и он то и дело корчился от прикосновения невидимых рук.

— Если ты опять удерешь,— сказал Голос,— если ты опять вздумаешь удирать...

— Господи! — простонал Марвел.— И так уж живого места на плече не осталось.

— Я тебя убью, честное слово,— продолжал Голос.

— Я и не думал удирать,— сказал Марвел, чуть не плача.— Клянусь вам. Я просто не знал, где нужно сворачивать, только и всего. И откуда я мог это знать? Мне и так досталось по первое число.

— И достанется еще больше, если ты не будешь слушаться,— сказал Голос, и Марвел сразу замолчал. Он надул щеки, и глаза его красноречиво выражали глубокое отчаяние.

— Хватит с меня, что эти ослы узнали мою тайну, а тут ты еще вздумал улизнуть с моими книгами. Счастье их, что они вовремя попрятались. Иначе... Никто не знал, что я невидим. А теперь что мне делать?

— А мне-то что делать? — пробормотал Марвел.

— Все теперь известно. В газеты еще попадет! Все будут теперь искать меня, будут настороже...— Голос крепко выругался и замолк.

Отчаяние на лице Марвела усугубилось, и он замедлил шаг.

— Ну, пошевеливайся,— сказал Голос.

Промежутки между красными пятнами на лице Марвела посерели.

— Не урони книги, болван,— сердито сказал Голос.— Одним словом,— продолжал он,— мне придется воспользоваться тобой... Правда, орудие неважное, но у меня выбора нет.

— Я жалкое орудие,— сказал Марвел.

— Это верно,— сказал Голос.

— Я самое скверное орудие, какое только вы могли избрать,— сказал Марвел.— Я слабосильный,— продолжал он.— Я очень слабый,— повторил он, не дождавшись ответа.

— Разве?

— И сердце у меня слабое. Ваше поручение я выполнил. Но, уверяю вас, мне казалось, что я вот-вот упаду.

— Да?

— У меня храбрости и силы такой нет, какие вам нужны.

— Я тебя подбодрю.

— Лучше уж не надо! Я не хочу испортить вам все дело, но это может случиться. Вдруг я струхну или растеряюсь...

— Уж постарайся, чтобы этого не случилось,— сказал Голос спокойно, но твердо.

— Лучше уж помереть,— сказал Марвел.— И ведь это несправедливо,— продолжал он.— Согласитесь сами... Мне кажется, я имею право...

— Вперед! — сказал Голос.

Марвел прибавил шагу, и некоторое время они шли молча.

— Очень тяжелая работа,— сказал Марвел.

Это замечание не возымело никакого действия. Тогда он решил начать с другого конца.

— А что мне это дает? — заговорил он снова тоном горькой обиды.

— Довольно! — гаркнул Голос.— Я тебя обеспечу. Только делай, что тебе велят. Ты отлично справишься. Хоть ты и дурак, а справишься...

— Говорю вам, мистер, я неподходящий человек для этого. Я не хочу вам противоречить, но это так...

— Заткнись, а не то опять начну выкручивать тебе руку,— сказал Невидимка.— Ты мешаешь мне думать.

Впереди сквозь деревья блеснули два пятна желтого света, и в сумраке стали видны очертания квадратной колокольни.

— Я буду держать руку у тебя на плече,— сказал Голос,— пока мы не пройдем через деревню. Ступай прямо и не вздумай дурить. А то будет худо.

— Знаю,— ответил со вздохом Марвел,— это-то я хорошо знаю.

Жалкая фигура в потрепанном цилиндре прошла со своей ношей по деревенской улице мимо освещенных окон и скрылась во мраке за околицей.

ГЛАВА XIV

В ПОРТ-СТОУ

На следующий день в десять часов утра Марвел, небритый, грязный, растрепанный, сидел на скамье у входа в трактирчик в предместье Порт-Стоу; руки он засунул в карманы, и вид у него был крайне усталый, расстроенный и тревожный. Рядом с ним лежали книги, связанные уже веревкой. Узел был оставлен в лесу за Брэмблхерстом в связи с переменой в планах Невидимки. Марвел сидел на скамье, и, хотя никто не обращал на него ни малейшего внимания, волнение его все усиливалось. Руки его то и дело беспокойно шарили по многочисленным карманам.

После того как он просидел так добрый час, из трактира вышел пожилой матрос с газетой в руках и присел рядом с Марвелом.

— Хороший денек,— сказал матрос.

Марвел стал испуганно озираться.

— Превосходный,— подтвердил он.

— Погода как раз по сезону,— продолжал матрос тоном, не допускавшим возражений.

— Вот именно,— согласился Марвел.

Матрос вынул зубочистку и несколько минут был занят исключительно ею. А между тем взгляд его был устремлен на Марвела и внимательно изучал запыленную фигуру и лежавшие рядом книги. Когда матрос подходил к Марвелу, ему показалось, что у того в кармане звенели деньги. Его поразило несоответствие между внешним видом Марвела и этим позвякиванием. И он заговорил о том, что владело его воображением.

— Книги? — спросил он вдруг, усердно орудуя зубочисткой.

Марвел вздрогнул и посмотрел на связку, лежавшую рядом.

— Да,— сказал он,— да-да, это книги.

— Удивительные вещи можно найти в книгах,— продолжал матрос.

— Совершенно с вами согласен,— сказал Марвел.

— И не только в книгах,— заметил матрос.

— Правильно,— подтвердил Марвел. Он взглянул на своего собеседника, затем огляделся по сторонам.

— Вот, к примеру сказать, удивительные вещи иногда пишут в газетах,— начал снова матрос.

— Н-да, бывает.

— Вот и в этой газете,— сказал матрос.

— А! — сказал мистер Марвел.

— Вот здесь,— продолжал матрос, не сводя с Марвела упорного и серьезного взгляда,— напечатано про Невидимку.

Марвел скривил рот и почесал щеку, чувствуя, что у него покраснели уши.

— Чего только не выдумают! — сказал он слабым голосом.— Где это, в Австралии или в Америке?

— Ничего подобного,— возразил матрос, — здесь.

— Господи! — воскликнул Марвел, вздрогнув.

— То есть не то чтобы совсем здесь,— пояснил матрос, к величайшему облегчению мистера Марвела,— не на этом самом месте, где мы сейчас сидим, но поблизости.

— Невидимка,— сказал Марвел.— Ну, а что он делает?

— Все,— сказал моряк, внимательно разглядывая Марвела.— Все что угодно,— добавил он.

— Я уже четыре дня не видал газет,— заметил Марвел.

— Сперва он объявился в Айпинге,— сказал матрос.

— Вот как? — сказал Марвел.

— Там он объявился в первый раз,— продолжал матрос,— а откуда он взялся, этого, видно, никто не знает. Вот: «Необыкновенное происшествие в Айпинге». И в газете сказано, что все это точно и достоверно.

— Господи! — воскликнул Марвел.

— Да уж и впрямь удивительная история. И викарий и доктор утверждают, что видели его совершенно ясно... то есть, вернее говоря, не видели. Тут пишут, что он жил в трактире «Кучер и кони», и, видно, никто сперва не подозревал о его несчастье, а потом в трактире случилась драка, и у него с головы сорвали бинты. Тогда-то и заметили, что голова у него невидимая. Тут сказано, что его сразу же хотели схватить, да ему удалось сбросить с себя остальную одежду и скрыться. Правда, ему пришлось выдержать отчаянную борьбу, во время которой он нанес серьезные ранения достойному и почтенному

констеблю мистеру Джефферсу. Вот как тут сказано. Все начистоту, а? Имена названы полностью, и все такое.

— Господи! — проговорил Марвел, беспокойно оглядываясь по сторонам и пытаясь ощупью сосчитать деньги в карманах; ему пришла в голову странная и весьма любопытная мысль.— Как все это удивительно! — сказал он.

— Правда ведь? Просто необычайно. Никогда в жизни не слыхал о невидимках. Да что говорить: в наше время порой слышишь о таких вещах, что...

— И это все, что он сделал? — спросил Марвел как можно непринужденнее.

— А этого разве мало? — сказал матрос.

— Он не вернулся в Айпинг? — спросил Марвел.— Просто скрылся, и все?

— Все,— сказал матрос.— Мало вам?

— Что вы, более чем достаточно,— проговорил Марвел.

— Еще бы не достаточно,— сказал моряк,— еще бы...

— А товарищей у него не было? Ничего не пишут об этом? — с тревогой спросил Марвел.

— Неужто вам мало одного такого молодца? — спросил матрос.— Нет, слава тебе господи, он был один.— Матрос хмуро покачал головой.— Даже подумать тошно, что он тут где-то околачивается! Он на свободе, и, как пишут в газете, по некоторым данным, вполне можно предположить, что он направился в Порт-Стоу. А мы как раз тут! Это уж вам не американское чудо какое-нибудь. Вы подумайте только, что он может тут натворить! Вдруг он выпьет лишнего и вздумает броситься на вас? А если захочет грабить, кто ему помешает? Он может грабить, он может укокошить человека, может красть, может пройти сквозь полицейскую заставу так же легко, как мы с вами можем удрать от слепого. Еще легче! Слепые, говорят, замечательно хорошо слышат. А если он увидал винцо, которое ему пришлось бы по вкусу...

— Да, конечно, положение его очень выгодное,— сказал Марвел.— И...

— Правильно,— сказал матрос,— очень выгодное. В течение всего этого разговора Марвел не переста-

вал напряженно оглядываться по сторонам, прислушиваясь к едва слышным шагам и стараясь заметить неуловимые движения. Он, по-видимому, готов был принять какое-то важное решение.

Кашлянув в руку, он еще раз оглянулся, прислушался, потом наклонился к матросу и, понизив голос, сказал:

— Факт тот, что я случайно кое-что знаю об этом Невидимке. Из частных источников.

— Ого! — воскликнул матрос.— Вы?

— Да,— сказал Марвел.— Я.

— Вот как! — сказал матрос.— А разрешите спросить...

— Вы будете удивлены,— сказал Марвел, прикрывая рот рукой.— Это изумительно.

— Еще бы! — сказал матрос.

— Дело в том...— начал Марвел доверительным тоном. Но вдруг выражение его лица, как по волшебству, изменилось.— Ой! — простонал он и тяжело заворочался на скамье; лицо его искривилось от боли.— Ой-ой-ой! — простонал он опять.

— Что с вами? — участливо спросил матрос.

— Зубы болят,— сказал Марвел и приложил руку к щеке. Потом быстро взял книги.— Мне, пожалуй, пора,— сказал он и начал как-то странно ерзать по скамейке, удаляясь от своего собеседника.

— Но вы же собирались рассказать мне про Невидимку,— запротестовал матрос.

Марвел остановился в нерешительности.

— Утка,— сказал Голос.

— Это утка,— повторил Марвел.

— Да ведь в газете написано...— возразил матрос.

— Просто утка,— сказал Марвел.— Я знаю, кто все это выдумал. Никакого нет Невидимки. Враки.

— Как же так? Ведь в газете...

— Все враки от начала и до конца,— решительно заявил Марвел.

Матрос встал с газетой в руках и выпучил глаза. Марвел судорожно оглядывался кругом.

— Постойте,— сказал матрос медленно и раздельно.— Вы хотите сказать...

— Да,— сказал Марвел.

— Так какого же черта вы сидели и слушали, что я

болтаю? Чего же вы молчали, когда я перед вами тут дурака валял? А?

Марвел надул щеки. Матрос вдруг побагровел и сжал кулаки.

— Я тут, может, десять минут сижу и размазываю эту историю, а ты, толстомордый болван, невежа ты этакий, не мог...

— Пожалуйста, перестаньте ругаться,— сказал Марвел.

— Ругаться! Погоди-ка...

— Идем! — сказал Голос.

Марвела вдруг приподняло, завертело, и он зашагал какой-то странной, дергающейся походкой.

— Убирайся, покуда цел,— сказал матрос.

— Это мне-то убираться? — сказал Марвел. Он отступал какой-то неровной, торопливой походкой, почти скачками. Потом что-то забормотал виноватым и вместе с тем обиженным тоном.

— Старый дурак,— сказал матрос; широко расставив ноги и подбоченясь, он глядел вслед удалявшемуся Марвелу.— Вот она, газета, тут все сказано. Я тебе покажу, нахал этакий! Меня не проведешь!

Марвел ответил что-то бессвязное; потом он скрылся за поворотом, а матрос все стоял посреди дороги, пока тележка мясника не заставила его отойти. Тогда он повернул к Порт-Стоу.

— Сколько дураков на свете! — проворчал он.— Видно, хотел подшутить надо мной. Вот осел! Да ведь это в газете напечатано...

Вскоре ему пришлось услышать еще об одном удивительном событии, которое произошло совсем рядом. Это было видение «пригоршни денег» (ни больше, ни меньше), путешествовавшей без видимых посредников вдоль стены на углу Сент-Майклс-Лейн. Свидетелем этого поразительного зрелища в то самое утро оказался другой матрос. Он, конечно, попытался схватить деньги, но был тут же сшиблен с ног, а когда вскочил, деньги упорхнули, как бабочка. Наш матрос склонен был, по его собственным словам, многому поверить, но это было уж слишком. Впоследствии он, однако, изменил свое мнение.

История о летающих деньгах была вполне достоверна. В этот день по всей округе, даже из великолепного

филиала лондонского банка, из касс трактиров и лавок — по случаю теплой погоды двери везде были открыты настежь — деньги спокойно и ловко выскакивали пригоршнями и пачками и летали по стенам и закоулкам, быстро ускользая от взоров приближающихся людей. Свое таинственное путешествие деньги заканчивали — хотя никто этого не проследил — в карманах беспокойного человека в потрепанном цилиндре, сидевшего у дверей трактира в предместье Порт-Стоу.

ГЛАВА XV

БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Ранним вечером доктор Кемп сидел в своем кабинете, в башенке дома, стоявшего на холме, откуда открывался вид на Бэрдок. Это была небольшая уютная комната с тремя окнами — на север, запад и юг, со множеством полок, уставленных книгами и научными журналами, и с массивным письменным столом; у северного окна стоял столик с микроскопом, стекляшками, всякого рода мелкими приборами, культурами бацилл и бутылочками, содержавшими реактивы. Лампа в кабинете была уже зажжена, хотя лучи заходящего солнца еще ярко освещали небо; шторы были подняты, так как не приходилось опасаться, что кто-нибудь вздумает заглянуть в окно. Доктор Кемп был высокий, стройный молодой человек с льняными волосами и светлыми, почти белыми усами. Работе, которой он был сейчас занят, доктор придавал большое значение, рассчитывая попасть благодаря ей в члены Королевского научного общества.

Случайно подняв глаза от работы, он увидел пламенеющий закат над холмом против окна. С минуту, быть может, рассеянно прикусив кончик ручки, он любовался золотым сиянием над вершиной холма; затем внимание его привлекла маленькая черная фигурка, двигавшаяся по холму к его дому. Это был низенький человечек в цилиндре, и бежал он с такой быстротой, что ноги его так и мелькали в воздухе.

«Еще один осел,—подумал доктор Кемп.— Вроде того, который налетел на меня сегодня утром с криком: «Невидимка идет!» Не понимаю, что творится с людьми. Можно подумать, что мы живем в тринадцатом веке».

Он встал, подошел к окну и стал смотреть на холм, окутанный сумраком, и на темную фигуру бегущего человека.

— Видно, он отчаянно торопится,— сказал доктор Кемп,— но от этого что-то мало толку. Он бежит так тяжело, как будто карманы у него набиты свинцом. Ходу, сэр, ходу! — сказал доктор Кемп.

Через минуту одна из вилл на склоне холма со стороны Бэрдока скрыла бегущего из виду. Но через минуту он снова показался в просвете между виллами, потом опять скрылся и опять показался, и так три раза, пока не исчез окончательно.

— Ослы! — сказал доктор Кемп и, отвернувшись от окна, снова направился к письменному столу.

Но те, кому случилось быть в это время на дороге и видеть вблизи бегущего человека, видеть выражение дикого ужаса на его мокром от пота лице, не разделяли презрительного скептицизма доктора. Человек бежал, и от него при этом исходил звон, как от туго набитого кошелька, который бросают то туда, то сюда. Он не оглядывался ни направо, ни налево, он смотрел испуганными глазами прямо перед собой, туда, где у подножия холма один за другим вспыхивали фонари и толпился народ. Его уродливая нижняя челюсть отвисла, на губах выступила пена, дышал он хрипло и громко. Все прохожие останавливались, начинали оглядывать дорогу и с беспокойством расспрашивали друг друга, чем может быть вызвано столь поспешное бегство.

Вдруг в отдалении, на вершине холма, собака, резвившаяся на дороге, завизжала, кинулась в подворотню, и, пока прохожие недоумевали, мимо них пронеслось что-то: не то ветер, не то шлепанье ног, не то звук тяжелого дыхания.

Люди закричали. Люди шарахнулись в сторону. С воплем кинулись под гору. Их крики уже раздавались на улице, когда Марвел был еще на середине холма. Добежав до дому, они лихорадочно запирали за собой двери и, еле переводя дух, сообщали страшную весть. Марвел слышал хлопанье дверей и бежал из последних сил.

Ужас пронесся мимо него, опередил его и в одно мгновение охватил весь город.

«Невидимка идет! Невидимка!..»

ГЛАВА XVI

В КАБАЧКЕ «ВЕСЕЛЫЕ КРИКЕТИСТЫ»

Кабачок «Веселые крикетисты» находится у самого подножия холма, там, где начинается линия конки. Хозяин кабачка, опершись толстыми красными руками о стойку, разговаривал о лошадях с худосочным извозчиком, а чернобородый человек, одетый в серое, уплетал сухари с сыром, потягивал вино и беседовал с полисменом, только что сменившимся с дежурства. Судя по акценту, это был американец.

— Что это за крики? — сказал извозчик, вдруг прервав разговор и стараясь поверх грязной, желтой занавески на низеньком окне кабачка рассмотреть тянувшуюся вверх по холму дорогу. Кто-то пробежал по улице мимо дверей.

— Уж не пожар ли? — сказал хозяин.

Послышались приближающиеся шаги; кто-то тяжело бежал. С шумом распахнулась дверь, и в комнату влетел Марвел, плачущий, растрепанный, без шляпы, с разорванным воротником. Судорожно обернувшись, он попытался закрыть дверь, но ему помешал ремень, которым она была привязана к стене.

— Идет! — завизжал Марвел не своим голосом.— Он идет, Невидимка! Гонится за мной! Ради бога... Спасите! Спасите! Спасите!

— Закройте дверь,— сказал полисмен.— Кто идет? В чем дело? — Он подошел к двери, отцепил ремень, и дверь захлопнулась. Американец закрыл вторую дверь.

— Пустите меня за стойку,— сказал Марвел, дрожа и плача, но крепко прижимая к себе книги.— Пустите меня. Спрячьте где-нибудь. Говорят вам, он гонится за мной. Я сбежал от него. Он сказал, что убьет меня. И убьет.

— Вам нечего бояться,— сказал чернобородый.— Двери заперты. А в чем дело?

— Спрячьте меня,—повторил Марвел и вдруг взвизгнул от страха: дверь затряслась от сильного удара, потом снаружи послышался торопливый стук и крики:

— Эй!— закричал полицейский.— Кто там?

Марвел, как безумный, заметался по комнате в поисках выхода.

— Он убьет меня! — кричал он.— У него нож! Ради бога!

— Вот,— сказал хозяин,— идите сюда.— И он откинул стойку.

Марвел бросился к нему. Стук в дверь возобновился.

— Не открывайте!— закричал Марвел.— Пожалуйста, не открывайте! Куда мне спрятаться?

— Так это, значит, Невидимка? — спросил чернобородый, заложив одну руку за спину.— Я думаю, пора уж и посмотреть на него.

Вдруг окно кабачка разлетелось вдребезги, и снаружи послышались крики и беготня. Полисмен, встав на скамейку и высунув голову в окно, старался разглядеть, что делается у дверей. Потом слез и сказал, озадаченно подняв брови:

— Это он.

Хозяин постоял перед дверью в соседнюю комнату, где заперли Марвела, поглядел на разбитое окно и подошел к своим посетителям.

Все вдруг затихло.

— Жаль, что у меня нет при себе дубинки,— сказал полисмен, нерешительно подходя к двери.— Как откроем дверь, так он сейчас и войдет. Ничем его не остановишь.

— А вы не очень торопитесь открывать дверь,— боязливо сказал худосочный извозчик.

— Отодвиньте засов,—сказал чернобородый.—Пусть только войдет...— И он показал револьвер, который держал в руке.

— Это не годится,— сказал полицейский,— может выйти убийство.

— Я знаю, в какой стране нахожусь,— возразил чернобородый.— Я буду целиться в ноги. Отодвиньте засов.

— А если вы угодите мне в спину? — сказал хозяин, выглядывая из-под занавески в окно.

— Ладно,— бросил чернобородый и, нагнувшись, сам отодвинул засов, держа револьвер наготове. Хозяин, извозчик и полисмен повернулись лицом к двери.

— Войдите,— негромко сказал чернобородый, отступая на шаг и глядя на открытую дверь; револьвер он держал за спиной. Но никто не вошел, и дверь не открылась. Когда минут пять спустя другой извозчик осто-

рожно заглянул в кабачок, то все они еще стояли в выжидательных позах, а из соседней комнаты выглядывала бледная, испуганная физиономия.

— Все ли двери в доме заперты? — спросил Марвел.— Он где-нибудь тут, вынюхивает. Ведь он хитер, как черт.

— Боже мой! — воскликнул хозяин.— А задняя дверь! Вы тут посторожите. Вот ведь...— Он беспомощно огляделся. Дверь в соседнюю комнату захлопнулась, и ключ щелкнул в замке.— Дверь во двор и отдельный ход! Дверь во двор...

Он выбежал из комнаты.

Через минуту он вернулся с кухонным ножом в руках.

— Дверь во двор открыта! — сказал он, и его толстая нижняя губа отвисла.

— Может, он уже в доме? — сказал первый извозчик.

— В кухне его нет,— сказал хозяин.— Там две служанки, и я по всей кухне прошел вот с этим ножом, ни одного уголка не пропустил. Они тоже говорят, что он не входил. Они ничего не заметили...

— Вы заперли дверь? — спросил первый извозчик.

— Не маленький, слава богу,— ответил хозяин.

Чернобородый спрятал револьвер. Но в ту же секунду хлопнула откидная доска стойки, загремела задвижка, громко затрещал замок, и дверь в соседнюю комнату распахнулась настежь. Они услышали, как Марвел взвизгнул, точно пойманный заяц, и кинулись за стойку к нему на помощь. Чернобородый выстрелил, зеркало в соседней комнате треснуло, осколки со звоном разлетелись по полу.

Вбежав в комнату, хозяин увидел, что Марвел корчится и барахтается перед дверью, которая вела через кухню во двор. Пока хозяин стоял в нерешительности, дверь открылась и Марвела втащили в кухню. Оттуда послышались крики и грохот падающих кастрюль. Марвел, нагнув голову, упирался, но его все же дотащили до двери во двор. Засов отодвинулся.

Полисмен, протиснувшись мимо хозяина, вбежал на кухню, сопровождаемый одним из извозчиков, и схватил кисть невидимой руки, которая держала за шиворот Марвела, но тут же получил удар в лицо, пошатнулся

и отступил. Дверь раскрылась, и Марвел сделал отчаянную попытку спрятаться за ней. В это время извозчик что-то схватил.

— Я держу его! — закричал извозчик. Красные руки хозяина вцепились в невидимое.

— Поймал! — крикнул он.

Марвел, выпущенный из невидимых рук, упал на пол и попытался проползти между ногами боровшихся людей. Борьба сосредоточилась у двери. Впервые раздался голос Невидимки — он громко вскрикнул, так как полисмен наступил ему на ногу. Затем послышалось яростное рычание, и Невидимка заработал кулаками, точно цепами. Извозчик вдруг взвыл и скрючился, получив удар под ложечку. Дверь, которая вела в комнаты, захлопнулась и прикрыла отступление Марвела. Люди топтались в тесной кухне, пока вдруг не заметили, что борются с пустотой.

— Куда он сбежал? — крикнул чернобородый.

— Сюда,— сказал полисмен, выходя во двор и останавливаясь.

Кусок черепицы пролетел над его ухом и упал на кухонный стол, уставленный посудой.

— Я ему покажу! — крикнул чернобородый.

Над плечом полисмена блеснула сталь, и в сумрак, в ту сторону, откуда была брошена черепица, вылетели одна за другой пять пуль. Стреляя, чернобородый описывал рукой дугу по горизонтали так, что выстрелы веером ложились по тесному дворику.

Наступила тишина.

— Пять пуль,— сказал чернобородый.— Это красиво! Козырная игра! Дайте-ка фонарь и пойдемте искать тело.

ГЛАВА XVII

ГОСТЬ ДОКТОРА КЕМПА

Доктор Кемп продолжал писать в своем кабинете, пока звук выстрелов не привлек его внимания. «Паф-паф-паф»,— щелкали они один за другим.

— Ого! — воскликнул доктор, снова прикусив ручку и прислушиваясь.— Кто это в Бэрдоке палит из револьвера? Что еще эти ослы выдумали?

Он подошел к южному окну, открыл его и, высунувшись, стал вглядываться в ночной город — сеть освещенных окон, газовых фонарей и витрин с черными промежутками крыш и дворов.

— Как будто там, под холмом, у «Крикетистов», собралась толпа,— сказал он, всматриваясь. Затем взгляд его устремился туда, где светились огни судов и пристань,— небольшое, ярко освещенное строение сверкало, точно желтый алмаз. Молодой месяц всходил к западу от холма, а звезды сияли, почти как под тропиками.

Минут через пять, в течение которых мысль его уносилась к социальным условиям будущего и блуждала в дебрях беспредельных времен, доктор Кемп вздохнул, опустил окно и вернулся к письменному столу.

Приблизительно через час после этого у входной двери позвонили. С тех пор как доктор Кемп услышал выстрелы, работа его шла вяло, он то и дело отвлекался и задумывался. Когда раздался звонок, он оставил работу и прислушался. Он слышал, как прислуга пошла открывать двери, и ждал ее шагов на лестнице, но она не пришла.

— Кто бы это мог быть? — сказал доктор Кемп.

Он попытался снова приняться за работу, но это ему не удавалось. Тогда он встал, вышел из кабинета и спустился по лестнице на площадку. Там он позвонил и, когда в холле, внизу, появилась горничная, спросил ее, перегнувшись через перила:

— Письмо принесли?

— Нет, случайный звонок, сэр,—ответила горничная.

«Я что-то нервничаю сегодня»,— сказал Кемп про себя.

Он вернулся в кабинет, решительно принялся за работу и через несколько минут был уже весь поглощен ею. Тишину в комнате нарушало лишь тиканье часов да поскрипывание пера, бегавшего по бумаге в самом центре светлого круга, отбрасываемого лампой на стол.

Было два часа ночи, когда доктор Кемп решил, что на сегодня хватит. Он встал, зевнул и спустился вниз, в свою спальню. Он снял уже пиджак и жилет, как вдруг почувствовал, что ему хочется пить. Взяв свечу, он спустился в столовую, чтобы поискать там содовой воды и виски.

Научные занятия сделали доктора Кемпа весьма наблюдательным; возвращаясь из столовой, он заметил темное пятно на линолеуме, возле циновки, у самой лестницы. Он поднялся уже наверх, как вдруг задал себе вопрос, откуда могло появиться это пятно. Это была, очевидно, подсознательная мысль. Но как бы то ни было, он вернулся в холл, поставил сифон и виски на столик и, нагнувшись, стал рассматривать пятно. Без особого удивления он убедился, что оно липкое и темно-красное, совсем как подсыхающая кровь.

Прихватив сифон и бутылку с виски, он поднялся наверх, внимательно глядя по сторонам и пытаясь объяснить себе, откуда могло появиться кровавое пятно. На площадке он остановился и в изумлении уставился на дверь своей комнаты: ручка двери была в крови.

Он взглянул на свою руку. Она была совершенно чиста, и тут он вспомнил, что, когда вышел из кабинета, дверь в его спальню была открыта, следовательно, он к ручке совсем не прикасался. Он твердым шагом вошел в спальню. Лицо у него было совершенно спокойное, разве только несколько более решительное, чем обыкновенно. Взгляд его, внимательно осмотрев комнату, упал на кровать. На одеяле темнела лужа крови, простыня была разорвана. Войдя в комнату в первый раз, он этого не заметил, так как направился прямо к туалетному столику. В одном месте постель была смята, как будто кто-то только что сидел на ней.

Тут ему почудилось, что чей-то голос негромко воскликнул: «Боже мой! Да ведь это Кемп!» Но доктор Кемп не верил в таинственные голоса.

Он стоял и смотрел на смятую постель. Должно быть, ему просто послышалось? Он снова огляделся, но не заметил ничего подозрительного, кроме смятой и запачканной кровью постели. Тут он ясно услышал какое-то движение в углу комнаты, возле умывальника. В душе всякого человека, даже самого просвещенного, гнездятся какие-то неуловимые остатки суеверия. Жуткое чувство охватило доктора Кемпа. Он затворил дверь спальни, подошел к комоду и поставил на него сифон. Вдруг он вздрогнул: в воздухе между ним и умывальником висела окровавленная повязка.

Пораженный, он стал вглядываться. Повязка была

пустая, аккуратно сделанная, но совершенно пустая. Он хотел подойти и схватить ее, но чье-то прикосновение остановило его, и он совсем рядом услыхал голос:

— Кемп!

— А? — сказал Кемп, разинув рот.

— Не пугайтесь,— продолжал Голос.— Я Невидимка.

Кемп некоторое время молча глядел на повязку.

— Невидимка? — сказал он наконец.

— Невидимка,— повторил Голос.

Кемпу сразу вспомнилась история, которую он так усердно высмеивал еще сегодня утром. Но в эту минуту он, по-видимому, не очень испугался и удивился. Только впоследствии он мог дать себе отчет в своих чувствах.

— Я считал, что все это выдумка,— сказал он. При этом у него в голове вертелись доводы, которые он приводил утром.— Вы в повязке? — спросил он.

— Да,— ответил Невидимка.

— О! — взволнованно сказал Кемп.— Вот так штука! — Но тут же спохватился.— Вздор. Фокус какой-нибудь.— Он быстро шагнул вперед, и рука его, протянутая к повязке, встретила невидимые пальцы.

При этом прикосновении он отпрянул и изменился в лице.

— Ради бога, Кемп, не пугайтесь. Мне так нужна помощь! Постойте!

Невидимая рука схватила Кемпа за локоть. Кемп ударил по ней.

— Кемп! — крикнул Голос.— Кемп, успокойтесь! — И рука Невидимки еще крепче сжала его локоть.

Бешеное желание высвободиться овладело Кемпом. Перевязанная рука вцепилась ему в плечо, и вдруг Кемп был сшиблен с ног и брошен навзничь на кровать. Он открыл рот, чтобы крикнуть, но в ту же секунду край простыни очутился у него между зубами. Невидимка держал его крепко, но руки у Кемпа были свободны, и он неистово колотил ими куда попало.

— Будьте благоразумны,— сказал Невидимка, который, несмотря на сыпавшиеся на него удары, крепко держал Кемпа.— Ради бога, не выводите меня из терпения. Лежите смирно, болван вы этакий! — проревел Невидимка в самое ухо Кемпа.

Еще с минуту Кемп продолжал барахтаться, потом затих.

— Если вы крикнете, я размозжу вам голову,— сказал Невидимка, вынимая простыню изо рта Кемпа.— Я Невидимка. Это не выдумка и не фокус. Я действительно Невидимка. И мне нужна ваша помощь. Я не причиню вам никакого вреда, если вы не будете вести себя, как обалделый мужлан. Неужели вы меня не помните, Кемп? Я Гриффин, мы же вместе учились в университете.

— Дайте мне встать,— сказал Кемп.— Я никуда не убегу. И дайте мне минуту посидеть спокойно.

Он сел на кровати и пощупал затылок.

— Я Гриффин, учился в университете вместе с вами. Я сделал себя невидимым. Я самый обыкновенный человек, которого вы знали, но только невидимый.

— Гриффин? — переспросил Кемп.

— Да, Гриффин,— ответил Голос.— В университете я был на курс моложе вас, белокурый, почти альбинос, шести футов росту и широкоплечий, с розовым лицом и красными глазами. Получил награду за работу по химии.

— Ничего не понимаю,— сказал Кемп,— в голове у меня совсем помутилось. При чем тут Гриффин?

— Гриффин — это я.

Кемп задумался.

— Это ужасно,— сказал он.— Но какая чертовщина может сделать человека невидимым?

— Никакой чертовщины. Это вполне логичный и довольно несложный процесс...

— Это ужасно,— сказал Кемп.— Каким образом?

— Да, ужасно. Но я ранен, мне больно, и я устал. О господи, Кемп, будьте мужчиной! Отнеситесь к этому спокойно. Дайте мне поесть и напиться, а пока что я присяду.

Кемп глядел на повязку, двигавшуюся по комнате; затем он увидел, как плетеное кресло протащилось по полу и остановилось возле кровати. Оно затрещало, и сиденье опустилось на четверть дюйма. Кемп протер глаза и снова пощупал затылок.

— Это почище всяких привидений,— сказал он и глупо рассмеялся.

— Вот так-то лучше. Слава богу, вы становитесь благоразумным.

— Или глупею,—сказал Кемп и снова протер глаза.— Дайте мне виски. Я еле дышу.

— Этого я бы не сказал. Где вы? Если я встану, то не наткнусь на вас? Ага, вы тут. Ладно. Виски?.. Пожалуйста. Куда же мне подать его вам?

Кресло затрещало, и Кемп почувствовал, что стакан берут у него из рук. Он выпустил его не без усилия, невольно опасаясь, что стакан разобьется. Стакан повис в воздухе, дюймах в двадцати над креслом. Кемп глядел на стакан в полном недоумении.

— Это... Ну, конечно, это гипноз... Вы, должно быть, внушили мне, что вы невидимы.

— Чушь! — сказал Голос.

— Но ведь это — безумие!

— Выслушайте меня.

— Только сегодня я привел неоспоримые доказательства,— начал Кемп,— что невидимость...

— Плюньте на все доказательства,— прервал его Голос.— Я умираю с голоду, и для человека, совершенно раздетого, здесь довольно прохладно.

— Он чувствует голод!— сказал Кемп.

Стакан виски опрокинулся.

— Да,— сказал Невидимка, со стуком отставляя стакан.— Нет ли у вас халата?

Кемп пробормотал что-то вполголоса и, подойдя к платяному шкафу, вынул оттуда темно-красный халат.

— Подойдет?— спросил он.

Халат взяли у него из рук. С минуту он висел неподвижно в воздухе, затем как-то странно заколыхался, вытянулся во всю длину и, застегнувшись на все пуговицы, опустился в кресло.

— Хорошо бы кальсоны, носки и туфли,— отрывисто произнес Невидимка.— И поесть.

— Все что угодно. Но со мной в жизни не случалось ничего более нелепого.

Кемп достал из комода вещи, которые просил Невидимка, и спустился в кладовку. Он вернулся с холодными котлетами и хлебом и, пододвинув небольшой столик, расставил все это перед гостем.

— Обойдусь и без ножа,— сказал Невидимка, и котлета повисла в воздухе; послышалось чавканье.

— Я всегда предпочитал сперва одеться, а потом уже есть,— сказал Невидимка с набитым ртом, жадно глотая хлеб с котлетой.— Странная прихоть!

— Рука, по-видимому, действует? — сказал Кемп.

— Будьте спокойны,— сказал Невидимка.

— И все-таки как это странно!..

— Вот именно. Но самое странное то, что я попал именно к вам, когда мне понадобилась перевязка. Это моя первая удача! Впрочем, я все равно решил переночевать в этом доме. Вам не отвертеться! Страшно неудобно, что кровь мою видно, правда? Целая лужа натекла. Должно быть, она становится видимой по мере свертывания. Мне удалось изменить лишь живую ткань, я невидим, только пока жив... Уж три часа, как я здесь.

— Но как вы это сделали? — начал Кемп раздраженно.— Черт знает что! Вся эта история от начала до конца — сплошная нелепость.

— Напрасно вы так думаете,— сказал Невидимка.— Все это совершенно разумно.

Он протянул руку и взял бутылку с виски. Кемп с изумлением глядел на халат, поглощавший виски. Свет свечи, проходя сквозь дырку на правом плече халата, образовал светлый треугольник.

— Что это были за выстрелы? — спросил Кемп.— Отчего началась пальба?

— Там был один дурак, мой случайный компаньон, черт бы его побрал, который хотел украсть мои деньги. И украл-таки.

— Тоже невидимка?

— Нет.

— Ну, а дальше что?

— Нельзя ли мне еще чего-нибудь поесть, а? Потом я все расскажу по порядку. Я голоден, и рука болит. А вы хотите, чтобы я вам рассказывал!

Кемп встал.

— Значит, это не вы стреляли? — спросил он.

— Нет,— ответил гость.— Стрелял наобум какой-то идиот, которого я прежде никогда и в глаза не видел. Они перепугались. Меня все пугаются. Черт бы их побрал! Но вот что, Кемп, я есть хочу.

— Пойду поищу, нет ли внизу еще чего-нибудь съестного,— сказал Кемп.— Боюсь, что найдется не много.

Покончив с едой — а поел он основательно,— Невидимка попросил сигару. Он жадно откусил кончик, прежде чем Кемп успел разыскать нож, и выругался, когда снаружи отстал листок табака. Странно было видеть, как он курил: рот, горло, зев и ноздри проступали, словно слепок, сделанный из клубящегося дыма.

— Славная штука табак! — сказал он, глубоко затянувшись.— Мне повезло, что я попал к вам, Кемп. Вы должны помочь мне. Подумать только, в нужный момент я натолкнулся на вас! Я в отчаянном положении. Я был как помешанный. Чего только я не перенес! Но теперь у нас дело пойдет. Уж поверьте...

Он выпил еще виски с содовой. Кемп встал, осмотрелся и принес из соседней комнаты еще стакан для себя.

— Все это дико... но, пожалуй, я тоже выпью.

— Вы почти не изменились, Кемп, за эти двенадцать лет. Блондины мало меняются. Все такой же хладнокровный и методичный... Я должен вам все объяснить. Мы будем работать вместе!

— Но как это вам удалось?—спросил Кемп.—Как вы стали таким?

— Ради бога, дайте мне спокойно покурить. Потом я вам все расскажу.

Но в эту ночь он не рассказал ничего. У него разболелась рука, его стало лихорадить, он очень ослабел. Ему все время мерещилась погоня на холме и драка возле кабачка. Он начал было рассказывать, но сразу отвлекся. Он бессвязно говорил о Марвеле, судорожно затягивался, и в голосе его слышалось раздражение. Кемп старался извлечь из его рассказа все, что мог.

— Он меня боялся... Я видел, что он меня боится,— снова и снова повторял Невидимка.— Он хотел удрать от меня, только об этом и думал. Какого я дурака свалял! Ах, негодяй! Надо было убить его...

— Где вы достали деньги? — вдруг спросил Кемп.

Невидимка помолчал.

— Сегодня я не могу вам сказать,— ответил он.

Он вдруг застонал и сгорбился, схватившись невидимыми руками за невидимую голову.

— Кемп,— сказал он,— я не сплю уже третьи сутки, за все это время мне удалось вздремнуть час-другой, не больше. Я должен выспаться.

— Хорошо,— сказал Кемп.— Располагайтесь тут, в моей комнате.

— Но разве мне можно спать? Если я засну, он удерет. Эх! Ладно, все равно!

— Рана серьезная? — отрывисто спросил Кемп.

— Пустяки, царапина. Господи, как спать хочется!

— Так ложитесь.

Невидимка, казалось, смотрел на Кемпа.

— У меня нет ни малейшего желания быть пойманным моими ближними,— медленно проговорил он.

Кемп вздрогнул.

— Ох и дурак же я!— воскликнул Невидимка, ударив кулаком по столу.— Сам подал вам эту мысль.

ГЛАВА XVIII

НЕВИДИМКА СПИТ

Несмотря на усталость и рану, Невидимка все же не положился на слово Кемпа, что на свободу его не будет никаких посягательств. Он осмотрел оба окна спальни, поднял шторы и открыл ставни, чтобы убедиться, что в случае надобности этим путем можно бежать. За окнами стояла мирная ночная тишина. Над холмами висел месяц. Затем Невидимка осмотрел замок спальни и двери уборной и ванной, чтобы убедиться, что и отсюда он может ускользнуть. Наконец он заявил, что удовлетворен. Он стоял перед камином, и Кемп услышал звук зевка.

— Мне очень жаль,— сказал Невидимка,— что я не могу сейчас рассказать вам обо всем, что я сделал. Но я положительно выбился из сил. Это нелепо, спору нет. Это чудовищно. Но верьте мне, Кемп, это вполне возможно. Я сделал открытие. Я думал сохранить его в тайне. Но это немыслимо. Мне необходим помощник. А вы... Чего только мы не сможем сделать!.. Впрочем, оставим все это до завтра. Теперь, Кемп, я должен заснуть, иначе я умру.

Кемп стоял посреди комнаты, глядя на безголовый халат.

— Ладно, я оставлю вас,— сказал он.— Но это невероятно. Еще два таких факта, переворачивающих вверх дном все мои теории, и я сойду с ума. И все же, по-видимому, это так! Не надо ли вам еще чего-нибудь?

— Только чтоб вы пожелали мне спокойной ночи,— сказал Гриффин.

— Спокойной ночи,— сказал Кемп и пожал невидимую руку.

Он боком пошел к двери. Вдруг халат быстро приблизился к нему.

— Помните,— произнес Невидимка.— Никаких попыток поймать или задержать меня. Не то...

Кемп слегка изменился в лице.

— Ведь я, кажется, дал вам слово,— сказал он.

Кемп вышел, тихонько притворил за собой дверь, и ключ немедленно щелкнул в замке. Пока Кемп стоял, не двигаясь, с выражением покорного удивления на лице, раздались быстрые шаги, и дверь ванной также оказалась запертой. Кемп хлопнул себя рукой по лбу.

— Сплю я, что ли? Весь мир сошел с ума, или это я помешался? — Он засмеялся и потрогал запертую дверь.— Изгнан из собственной спальни — и кем? Призраком. Вопиющая нелепость!

Он подошел к верхней ступеньке лестницы, оглянулся и снова посмотрел на запертые двери.

— Неоспоримый факт,— произнес он, дотрагиваясь до слегка ноющего затылка.— Да, неоспоримый факт. Но...— Он безнадежно покачал головой, повернулся и спустился вниз.

Он зажег лампу в столовой, взял сигару и начал шагать по комнате, то бормоча что-то бессвязное, то громко споря сам с собой.

— Невидимка! — сказал он.— Может ли быть невидимое существо? В море — да. Там таких существ тысячи, миллионы! Все крохотные науплиусы и торнарии, все микроорганизмы... а медузы! В море невидимых существ больше, чем видимых! Прежде я никогда об этом не думал... А в прудах! Все эти крохотные организмы, живущие в прудах,— кусочки бесцветной, прозрачной слизи... Но в воздухе? Нет! Это невозможно. А впрочем, поче-

му бы и нет? Будь человек сделан из стекла — и то он был бы видим.

Кемп глубоко задумался. Три сигары обратились в белый пепел, рассыпанный по ковру, прежде чем он заговорил снова. Или, вернее, вскрикнул. Затем он вышел из комнаты, прошел в свою приемную и зажег там газовый рожок. Комната была небольшая. Так как доктор Кемп не занимался практикой, там лежали газеты. Утренний номер, развернутый, валялся на столе. Он схватил газету, быстро просмотрел ее и начал читать сообщение о «Необычайном происшествии в Айпинге», с таким усердием пересказанное Марвелу матросом в Порт-Стоу. Кемп быстро пробежал эти строки.

— Закутан! — воскликнул он.— Переодет! Скрывает свою тайну. По-видимому, никто не знал о его злоключениях! Что у него, черт возьми, на уме?— Он бросил газету и пошарил глазами по столу.— Ага!— сказал он и схватил «Сент-Джемс газетт», которая была еще не развернута.— Сейчас узнаем всю правду,— сказал он и развернул газету. В глаза ему бросились два столбца. «Целая деревня в Суссексе сошла с ума!» — гласил заголовок.— Боже милостивый! — воскликнул Кемп, жадно читая скептический отчет о вчерашних событиях в Айпинге, описанных нами выше. Заметке предшествовало сообщение, перепечатанное из утренней газеты.

Кемп перечитал все сначала. «Бежал по улице, рассыпая удары направо и налево. Джефферс в бессознательном состоянии. Мистер Хакстерс получил серьезные увечья и не может ничего сообщить из того, что видел. Тяжкое оскорбление, нанесенное викарию. Женщина заболела от страха. Окна перебиты. Вся эта необычайная история, вероятно, выдумка, но так хороша, что ее нельзя не напечатать».

Кемп выронил газету и тупо уставился в одну точку.

— Вероятно, выдумка!— повторил он.

Потом схватил газету и еще раз перечел все от начала до конца.

— Но откуда взялся бродяга? Какого черта он гнался за бродягой?

Кемп бессильно опустился в хирургическое кресло.

— Он не только невидимка,— сказал он,— но и помешанный! У него мания убийства!..

Когда взошла заря и бледные лучи ее смешались в столовой со светом газового рожка и сигарным дымом, Кемп все еще шагал из угла в угол, стараясь понять непостижимое.

Он был слишком взволнован, чтобы думать о сне. Заспанные слуги, застав его утром в таком виде, подумали, что на него плохо подействовали усиленные занятия. Он отдал необычайное, но совершенно ясное распоряжение сервировать завтрак на двоих в кабинете наверху, а затем уйти вниз и больше наверху не показываться. Он продолжал шагать по столовой, пока не подали утреннюю газету. О Невидимке говорилось многословно, но новым было только очень бестолковое сообщение о вчерашних событиях в кабачке «Веселые крикетисты». Тут Кемпу впервые попалось упоминание о Марвеле. «Он силой держал меня при себе целые сутки»,— заявил Марвел. Отчет об айпингских событиях был дополнен некоторыми мелкими фактами, в частности упоминалось о повреждении телеграфного провода. Но во всех этих сообщениях не было ничего, что проливало бы свет на взаимоотношения между Невидимкой и бродягой, ибо мистер Марвел умолчал о трех книгах и о деньгах, которыми были набиты его карманы. Скептического тона как не бывало, и целая армия репортеров уже принялась за тщательное расследование.

Кемп внимательно прочел все сообщение до последней строчки и послал горничную купить все утренние газеты, какие только она сможет достать. Потом он жадно прочитал и их.

— Он невидим!— сказал Кемп.— И если судить по газетам, то ярость его переходит в помешательство. Чего только он не натворит! Чего только не натворит! Ведь он там, наверху, и свободен, как ветер. Что мне делать? Можно ли назвать предательством, если я... Нет!

Он подошел к маленькому, заваленному бумагами столику в углу и начал писать записку. Написав несколько строк, он разорвал ее и написал другую. Перечел и задумался. Потом взял конверт и написал адрес: «Полковнику Эдаю, Порт-Бэрдок».

Невидимка проснулся как раз в ту минуту, когда Кемп запечатывал письмо. Он проснулся в дурном на-

строении, и Кемп, который чутко прислушивался ко всем звукам, услышал яростное шлепанье ног в спальне наверху. Затем раздался стук упавшего стула и звон разбитого стакана. Кемп поспешил наверх и нетерпеливо постучал в дверь спальни.

ГЛАВА XIX

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

— Что случилось? — спросил Кемп, когда Невидимка впустил его в комнату.

— Да ничего,— ответил он.

— А шум почему?

— Припадок раздражительности,— сказал Невидимка.— Забыл про свою руку, а она болит.

— Вы, по-видимому, подвержены такого рода вспышкам?

— Да.

Кемп прошел через комнату и подобрал осколки разбитого стакана.

— Про вас теперь все известно,— сказал Кемп.—Все, что случилось в Айпинге и внизу, в кабачке. Мир узнал о своем невидимом гражданине. Но никто не знает, что вы тут.

Невидимка выругался.

— Тайна раскрыта,— продолжал Кемп.— Ведь это была тайна, я полагаю? Не знаю, что вы намерены делать, но, разумеется, я готов помочь вам.

Невидимка сел на кровать.

— Наверху сервирован завтрак,— сказал Кемп, стараясь говорить непринужденным тоном, и с удовольствием заметил, что его странный гость охотно встал при этих словах. Кемп повел его по узкой лестнице наверх.

— Прежде чем мы с вами что-либо предпримем,— сказал Кемп,— я хотел бы узнать поподробней, как это вы стали невидимым.

И, бросив быстрый, беспокойный взгляд в окно, Кемп уселся с видом человека, которому предстоит долгая и основательная беседа. У него снова промелькнула мысль, что все происходящее — нелепость, бред, но мысль эта сейчас же исчезла, как только он взглянул на Гриффина: безголовый, безрукий халат сидел за столом и выти-

рал невидимые губы чудом державшейся в воздухе салфеткой.

— Это очень просто и вполне вероятно,— сказал Гриффин, отложив в сторону салфетку и подперев невидимую голову невидимой рукой.

— Для вас, конечно, но...— Кемп засмеялся.

— Ну да, и мне это, конечно, сначала казалось волшебством, но теперь... Боже милостивый! Нам предстоят великие дела. Впервые эта идея возникла у меня в Чезилстоу.

— В Чезилстоу?

— Я переехал туда из Лондона. Вы знаете, я ведь бросил медицину и занялся физикой. Не знали? Ну так вот. Меня увлекла проблема света.

— А-а!..

— Оптическая непроницаемость! Весь этот вопрос — сплошная сеть загадок, сквозь нее лишь смутно просвечивает неуловимое решение. А мне тогда было всего двадцать два года, и я был энтузиаст, вот я и сказал себе: «Этому вопросу я посвящу свою жизнь. Тут есть над чем поработать». Вы ведь знаете, каким бываешь дураком в двадцать два года.

— Неизвестно, быть может, мы теперь еще глупее,— заметил Кемп.

— Как будто знание может удовлетворить человека! Но я принялся за дело и работал как каторжный. Прошло полгода усиленного труда и раздумий — и вот сквозь туманную завесу блеснул ослепительный свет. Я нашел общий закон пигментов и преломлений света — формулу, геометрическое выражение, включающее четыре измерения. Дураки, обыкновенные люди, даже обыкновенные математики и не подозревают, какое значение может иметь для изучающего молекулярную физику общее выражение. В книгах — в тех книгах, которые украл этот бродяга,— есть чудеса, магические числа! Но это не был еще метод, это была идея, которая могла навести на метод. А при помощи этого метода оказалось бы возможным, не изменяя свойств материи — за исключением цвета в некоторых случаях — свести коэффициент преломления некоторых веществ, твердых или жидких, к коэффициенту преломления воздуха.

Кемп присвистнул.

— Это любопытно. Но все же мне не совсем ясно... Я понимаю, что таким путем вы могли бы испортить драгоценный камень, но сделать человека невидимым, до этого еще далеко.

— Безусловно,— сказал Гриффин.— Однако подумайте: видимость зависит от того, как видимое тело реагирует на свет. Давайте уж я начну с азов, тогда вы лучше поймете дальнейшее. Вы прекрасно знаете, что тела либо поглощают свет, либо отражают, либо преломляют его, или, может быть, все вместе. Если тело не отражает, не преломляет и не поглощает света, то оно не может быть видимо само по себе. Так, например, вы видите непрозрачный красный ящик только потому, что он поглощает некоторую долю света и отражает остальное, а именно — все красные лучи. Если бы ящик не поглощал некоторой доли света, а отражал бы его весь, то он был бы блестящим белым. Вспомните серебро! Алмазный ящик не поглощал бы много света, и вместе с тем его поверхность отражала бы мало света, но в отдельных местах, в зависимости от расположения плоскостей, свет отражался и преломлялся бы, и мы видели бы блестящую паутину сверкающих отражений и прозрачных плоскостей, нечто вроде светового скелета. Стеклянный ящик не так блестящ и не столь отчетливо видим, как алмазный, потому что в нем меньше отражений и преломлений. Понятно? Под известным углом зрения такой ящик будет прозрачным; некоторые сорта стекла более видимы, чем другие; хрустальный ящик блестел бы сильнее, чем ящик из обыкновенного оконного стекла. Ящик из очень тонкого обыкновенного стекла было бы очень трудно различить при плохом освещении, потому что он не поглощает почти никаких лучей и отражает и преломляет совсем мало света. Если вы положите кусок обыкновенного стекла в воду или, еще лучше, в какую-нибудь жидкость, более плотную, чем вода, то вы стекла почти совсем не увидите, потому что свет, переходя из воды в стекло, преломляется и отражается очень слабо и вообще не подвергается почти никакому воздействию. Стекло в таком случае столь же невидимо, как струи углекислоты или водорода в воздухе. И по той же причине.

— Да,— сказал Кемп,— все это ясно. В таких вещах теперь разбирается каждый школьник.

— А вот еще один факт, в котором разберется всякий школьник. Если разбить кусок стекла и мелко истолочь его, он станет гораздо более заметным в воздухе и превратится в белый непрозрачный порошок. Это происходит потому, что превращение стекла в порошок увеличивает число плоскостей преломления и отражения. В стеклянной пластинке имеется всего две поверхности, в порошке же каждая крупинка представляет собой плоскость преломления и отражения света, и сквозь порошок света проходит очень мало. Но если белый стеклянный порошок высыпать в воду, то он почти совершенно исчезает. Стеклянный порошок и вода имеют почти одинаковый коэффициент преломления, и свет, переходя из одной среды в другую, почти не преломляется и не отражается. Вы делаете стекло невидимым, помещая его в жидкость с приблизительно таким же коэффициентом преломления; всякая прозрачная вещь делается невидимой, если поместить ее в среду, обладающую одинаковым с ней коэффициентом преломления. И если вы чуточку подумаете, то поймете, что стеклянный порошок можно сделать невидимым и в воздухе, если только удастся довести коэффициент преломления света в нем до коэффициента преломления света в воздухе. Ибо в таком случае при переходе света из воздуха в порошок он не будет ни отражаться, ни преломляться.

— Все это так,— сказал Кемп.— Но ведь человек — не стеклянный порошок!

— Нет,— сказал Гриффин.— Он прозрачнее.

— Ерунда!

— И это говорит врач! Как легко все забывается! Неужели за десять лет вы успели перезабыть все, что знали из физики? А вы подумайте, сколько существует прозрачных веществ, которые вовсе не кажутся прозрачными. Бумага, например, состоит из прозрачных волокон, и если она представляется нам белой и непрозрачной, то это происходит по той же самой причине, по которой нам кажется белым и непрозрачным толченое стекло. Промаслите белую бумагу, заполните все поры между частицами бумаги маслом так, чтобы преломление и отражение света происходило только на поверхности, и бумага сделается такой же прозрачной, как стекло. И не только бумага, но и волокна хлопка, льна, шер-

сти, дерева, а также — заметьте это, Кемп! — и кости, мышцы, волосы, ногти и нервы. Одним словом, весь человеческий организм состоит из прозрачных бесцветных тканей, за исключением красных кровяных шариков и темного пигмента волос; вот как мало нужно, чтобы мы могли видеть друг друга. По большей части ткани живого существа не менее прозрачны, чем вода.

— Верно, верно,— воскликнул Кемп,— только сегодня ночью я думал о морских личинках и медузах!

— Вот-вот! Теперь вы меня поняли! И все это я знал и продумал уже через год после отъезда из Лондона, шесть лет назад. Но я ни с кем не поделился своими мыслями. Мне пришлось работать в очень тяжелых условиях. Оливер, мой профессор, был мужлан в науке, человек, падкий до чужих идей,— он вечно за мной шпионил! Вы ведь знаете, какое жульничество царит в научном мире. Я не хотел публиковать свое открытие и делиться с ним славой. Я продолжал работать и все ближе подходил к превращению своей теоретической формулы в эксперимент, в реальный опыт. Я никому не сообщал о своих работах, хотел ослепить мир своим открытием и сразу стать знаменитым. Я занялся вопросом о пигментах, чтобы заполнить некоторые пробелы. И вдруг, по чистой случайности, сделал открытие в области физиологии.

— Да?

— Вам известно красное вещество, окрашивающее кровь. Так вот: оно может стать белым, бесцветным, сохраняя в то же время все свои свойства!

У Кемпа вырвался возглас изумления.

Невидимка встал и зашагал по тесному кабинету.

— Вы поражены, я понимаю. Помню ту ночь. Было очень поздно — днем мешали работать безграмотные студенты, смотревшие на меня, разинув рот, и я иной раз засиживался до утра. Открытие это осенило меня внезапно, оно появилось во всем своем блеске и завершенности. Я был один, в лаборатории царила тишина, вверху ярко горели лампы. В знаменательные минуты своей жизни я всегда оказываюсь один. «Можно сделать животное — его ткань — прозрачным! Можно сделать его невидимым! Все, кроме пигментов. Я могу стать невидимкой!» — сказал я, вдруг осознав, что значит быть альбиносом, обладая таким знанием. Я был ошеломлен. Я бро-

сил фильтрование, которым был занят, и подошел к большому окну. «Я могу стать невидимкой»,— повторял я, глядя в усеянное звездами небо.

Сделать это — значит превзойти магию и волшебство. И я, свободный от всяких сомнений, стал рисовать себе великолепную картину того, что может дать человеку невидимость: таинственность, могущество, свободу. Оборотной стороны медали я не видел. Подумайте только! Я, жалкий, нищий ассистент, обучающий дураков в провинциальном колледже, могу сделаться всемогущим. Скажите сами, Кемп, вот если бы вы... Всякий, поверьте, ухватился бы за такое открытие. Я работал еще три года, и за каждым препятствием, которое я с таким трудом преодолевал, возникало новое! Какая бездна мелочей, и к тому же ни минуты покоя! Этот провинциальный профессор вечно подглядывает за тобой! Зудит и зудит: «Когда же вы наконец опубликуете свою работу?» А студенты, а нужда! Три года такой жизни... Три года я работал, скрываясь, в непрестанной тревоге и наконец понял, что закончить мой опыт невозможно... невозможно...

— Почему? — спросил Кемп.

— Деньги...— ответил Невидимка и стал глядеть в окно.

Вдруг он резко обернулся.

— Тогда я ограбил своего старика, ограбил родного отца... Деньги были чужие, и он застрелился.

ГЛАВА XX

В ДОМЕ НА ГРЕЙТ-ПОРТЛЕНД-СТРИТ

С минуту Кемп сидел молча, глядя в спину стоявшей у окна безголовой фигуры. Потом вздрогнул, пораженный какой-то мыслью, встал, взял Невидимку за руку и отвел от окна.

— Вы устали,— сказал он.— Я сижу, а вы все время ходите. Сядьте в мое кресло.

Сам он сел между Гриффином и ближайшим окном.

Гриффин опустился в кресло, помолчал немного, затем опять быстро заговорил:

— Когда это случилось, я уже расстался с коллед-

жем в Чезилстоу. Это было в декабре прошлого года. Я снял комнату в Лондоне, большую комнату без мебели в огромном запущенном доме, в глухом квартале на Грейт-Портленд-стрит. Комната скоро заполнилась всевозможными аппаратами, которые я купил на отцовские деньги, и я продолжал работу, успешно подвигаясь к цели. Я был как человек, выбравшийся из густой чащи и неожиданно втянутый в какую-то нелепую трагедию. Я поехал на похороны отца. Я весь был поглощен своими опытами и палец о палец не ударил, чтобы спасти его репутацию. Помню похороны, дешевый гроб, убогую процессию, поднимавшуюся по склону холма, холодный, пронизывающий ветер... старый университетский товарищ отца совершил над ним последний обряд — жалкий, черный, скрюченный старик, страдавший насморком.

Помню, я возвращался с кладбища в опустевший дом по местечку, которое некогда было деревней, а теперь, на скорую руку перестроенное и залатанное, стало безобразным подобием города. Все дороги, по какой ни пойди, вели на изрытые окрестные поля и обрывались среди груд щебня и густых сорняков. Помню, как я шагал по скользкому блестящему тротуару — мрачная черная фигура — и какое странное чувство отчужденности я испытывал в этом ханжеском, торгашеском городишке.

Смерть отца ничуть меня не огорчила. Он казался мне жертвой своей собственной глупой чувствительности. Всеобщее лицемерие требовало моего присутствия на похоронах, в действительности же это меня мало касалось.

Но, идя по главной улице, я припомнил на миг свое прошлое. Я увидел девушку, которую знал десять лет назад. Наши глаза встретились...

Сам не знаю, почему я вернулся и заговорил с ней. Она оказалась самым заурядным существом.

Все мое пребывание на старом пепелище было как сон. Я не чувствовал тогда, что я одинок, что я перешел из живого мира в пустыню. Я сознавал, что потерял интерес к окружающему, но приписывал это общей пустоте жизни. Вернуться в свою комнату значило для меня вновь обрести подлинную действительность. Здесь было все то, что я знал и любил: аппараты, подготовленные опыты. Почти все препятствия были уже преодолены, оставалось лишь обдумать некоторые детали.

Когда-нибудь, Кемп, я опишу вам все эти сложнейшие процессы. Не станем сейчас входить в подробности. По большей части, за исключением некоторых сведений, которые я предпочитаю хранить в памяти, все это записано шифром в тех книгах, которые утащил бродяга. Мы должны изловить его. Мы должны вернуть эти книги. Главная задача заключалась в том, чтобы поместить прозрачный предмет, коэффициент преломления которого требовалось понизить, между двумя светоизлучающими центрами эфирной вибрации,— о ней я расскажу вам после. Нет, это не рентгеновские лучи. Не знаю, описывал ли кто-нибудь те лучи, о которых я говорю. Но они существуют, это несомненно. Я пользовался двумя небольшими динамо-машинами, которые приводил в движение при помощи дешевого газового двигателя. Первый свой опыт я проделал над куском белой шерстяной материи. До чего же странно было видеть, как эта белая мягкая материя постепенно таяла, как струя пара, и затем совершенно исчезла!

Мне не верилось, что я это сделал. Я сунул руку в пустоту и нащупал материю, столь же плотную, как и раньше. Я нечаянно дернул ее, и она упала на пол. Я не сразу ее нашел.

А потом я проделал следующий опыт. Я услышал у себя за спиной мяуканье, обернулся и увидел на водосточной трубе за окном белую кошку, тощую и ужасно грязную. Меня словно осенило. «Все готово для тебя»,— сказал я, подошел к окну, открыл его и ласково позвал кошку. Она вошла в комнату, мурлыча,— бедняга, она чуть не подыхала от голода, и я дал ей молока. Вся моя провизия хранилась в буфете, в углу. Вылакав молоко, кошка стала разгуливать по комнате, обнюхивая все углы,— очевидно, она решила, что здесь будет ее новый дом. Невидимая тряпка несколько встревожила ее — слышали бы вы, как она зафыркала! Я устроил ее очень удобно на своей складной кровати. Угостил маслом, чтобы она дала вымыть себя.

— И вы подвергли ее опыту?

— Да. Но напоить кошку снадобьями — это не шутка, Кемп! И опыт мой не совсем удался.

— Не совсем?

— По двум пунктам. Во-первых, когти, а во-вторых,

пигмент — забыл его название — на задней стенке глаза у кошек, помните?

— Tapetum.

— Вот именно, tapetum. Этот пигмент не исчезал. После того, как я ввел ей средство для обесцвечивания крови и проделал над ней разные другие процедуры, я дал ей опиума и вместе с подушкой, на которой она спала, поместил ее у аппарата. И потом, когда все обесцветилось и исчезло, остались два небольших пятна — ее глаза.

— Любопытно!

— Я не могу этого объяснить. Конечно, она была забинтована и связана, и я не боялся, что она убежит, но она проснулась, когда превращение еще не совсем закончилось, стала жалобно мяукать, и тут раздался стук в дверь. Стучала старуха, жившая внизу и подозревавшая меня в том, что я занимаюсь вивисекцией,— пьяница, у которой на свете ничего и никого не было, кроме этой кошки. Я поспешил прибегнуть к помощи хлороформа. Кошка замолчала, и я приоткрыл дверь. «Это у вас кошка мяукала? — спросила она.— Уж не моя ли?» «Вы ошиблись, здесь нет никакой кошки»,— ответил я очень любезно. Она не очень-то мне поверила и попыталась заглянуть в комнату. Должно быть, странной ей показалась моя комната: голые стены, окна без занавесей, складная кровать, газовый двигатель в действии, свечение аппарата и слабый дурманящий запах хлороформа. Удовлетворившись этим, она отправилась восвояси.

— Сколько времени нужно на это? — спросил Кемп.

— На опыт с кошкой ушло часа три-четыре. Последними исчезли кости, сухожилия и жир, а также кончики окрашенных волосков шерсти. Но, как я уже сказал, радужное вещество на задней стенке глаза не исчезло.

Когда я закончил опыт, уже наступила ночь; ничего не было видно, кроме туманных пятен на месте глаз и когтей. Я остановил двигатель, нащупал и погладил кошку, которая еще не очнулась, и, развязав ее, оставил спать на невидимой подушке, а сам, чувствуя смертельную усталость, лег в постель. Но уснуть я не мог. В голове проносились смутные, бессвязные мысли. Снова и снова перебирал я все подробности только что произве-

денного опыта или же забывался лихорадочным сном, и мне казалось, что все окружающее становится смутным, расплывается, и, наконец, сама земля исчезает у меня из-под ног, и я проваливаюсь, падаю куда-то, как бывает только в кошмаре... Около двух часов ночи кошка проснулась и стала бегать по комнате, жалобно мяукая. Я пытался успокоить ее ласковыми словами, а потом решил выгнать. Помню, как я был потрясен, когда зажег спичку,— я увидел два круглых светящихся глаза и вокруг них — ничего. Я хотел дать ей молока, но его не оказалось. А она все не успокаивалась, села у самых дверей и продолжала мяукать. Я старался поймать ее, чтобы выпустить из окна, но она не давалась в руки и все исчезала. То тут, то там в разных концах комнаты раздавалось ее мяуканье. Наконец я открыл окно и стал метаться по комнате. Вероятно, она испугалась и выскочила в окно. Больше я ее не видел и не слышал.

Потом, бог весть почему, я стал вспоминать похороны отца, холодный ветер, дувший на склоне холма... Так продолжалось до самого рассвета. Чувствуя, что мне не заснуть, я встал и, заперев за собой дверь, отправился бродить по тихим утренним улицам.

— Неужели вы думаете, что и сейчас по свету гуляет невидимая кошка? — спросил Кемп.

— Если только ее не убили,— ответил Невидимка.— А почему бы и нет?

— Почему бы и нет? — повторил Кемп и извинился: — Простите, что я прервал вас.

— Вероятно, ее убили,— сказал Невидимка.— Четыре дня спустя она была еще жива — это я знаю точно: она, очевидно, сидела под забором на Грейт-Тичфилд-стрит, там собралась толпа зевак, старавшихся понять, откуда слышится мяуканье.

С минуту он молчал, потом снова быстро заговорил:

— Я очень ясно помню это утро. Я, вероятно, прошел всю Грейт-Портленд-стрит. Помню казармы на Олбэни-стрит и выезжавших оттуда кавалеристов. В конце концов я очутился на вершине Примроуз-Хилл; я чувствовал себя совсем больным. Был солнечный январский день; в тот год снег еще не выпал и погода стояла ясная, морозная. Я устало размышлял, стараясь охватить положение, наметить план действий.

Я с удивлением убедился, что теперь, когда я почти достиг заветной цели, это совсем меня не радует. Я был слишком утомлен; от страшного напряжения почти четырехлетней непрерывной работы все мои чувства притупились. Мной овладела апатия, и я тщетно пытался вернуть горение первых дней работы, вернуть то страстное стремление к открытиям, которое дало мне силу хладнокровно погубить старика отца. Я потерял интерес ко всему. Но я понимал, что это — преходящее состояние, вызванное переутомлением и бессонницей, и что если не лекарства, так отдых вернет мне прежнюю энергию.

Ясно я сознавал только одно: дело необходимо довести до конца. Навязчивая идея все еще владела мной. И сделать это надо как можно скорей, ведь я уже истратил почти все деньги. Я оглянулся кругом, посмотрел на играющих детей и следивших за ними нянек и начал думать о тех фантастических преимуществах, которыми может пользоваться невидимый человек. Я вернулся домой, немного поел, принял большую дозу стрихнина и лег спать, не раздеваясь, на неубранной постели. Стрихнин, Кемп,— замечательное укрепляющее средство, он не дает человеку упасть духом.

— Дьявольская штука,— сказал Кемп.— Он превращает вас в этакого первобытного дикаря.

— Я проснулся, ощущая прилив сил, но и какое-то раздражение. Вам знакомо это состояние?

— Знакомо.

— Кто-то постучал в дверь. Это был домохозяин, пришедший с угрозами и расспросами, старый польский еврей, в длинном сером сюртуке и стоптанных туфлях. Я ночью мучил кошку, уверял он; старуха, очевидно, успела уже все разболтать. Он требовал, чтобы я объяснил ему, в чем дело. Вивисекция строго запрещена законом, ответственность может пасть и на него. Я утверждал, что никакой кошки у меня не было. Тогда он заявил, что запах газа от двигателя чувствуется по всему дому. С этим я, конечно, согласился. Он все вертелся вокруг меня, стараясь прошмыгнуть в комнату, заглядывая туда сквозь свои очки в серебряной оправе, и вдруг меня охватил страх, как бы он не проник в мою тайну. Я поспешил встать между ним и аппаратом, но это только подстегну-

ло его любопытство. Чем я занимаюсь? Почему я всегда один и скрываюсь от людей? Не занимаюсь ли я чем-нибудь преступным? Не опасно ли это? Ведь я ничего не плачу, кроме обычной квартирной платы. Его дом всегда пользовался хорошей репутацией, в то время как соседние дома этим похвастать не могут. Наконец я потерял терпение. Попросил его убраться. Он запротестовал, что-то бормотал про свое право входить ко мне, когда ему угодно. Еще секунда — и я схватил его за шиворот... Что-то с треском порвалось, и он пулей вылетел в коридор. Я захлопнул за ним дверь, запер ее на ключ и, весь дрожа, опустился на стул.

Хозяин еще некоторое время шумел за дверью, но я не обращал на него внимания, и он скоро ушел.

Это происшествие принудило меня к решительным действиям. Я не знал ни того, что он намерен делать, ни что он вправе сделать. Переезд на новую квартиру означал бы задержку в моей работе, а денег у меня в банке осталось всего двадцать фунтов. Нет, никакой проволочки я не мог допустить. Исчезнуть! Искушение было неодолимо. Но тогда начнется следствие, комнату мою разграбят...

Одна мысль о том, что работу мою могут предать огласке или прервать в тот момент, когда она почти закончена, привела меня в ярость и вернула мне энергию. Я поспешно вышел со своими тремя томами заметок и чековой книжкой — теперь все это находится у того бродяги — и отправил их из ближайшего почтового отделения в контору хранения писем и посылок на Грейт-Портленд-стрит. Я постарался выйти из дому как можно тише. Вернувшись, я увидел, что мой домохозяин не спеша поднимается по лестнице,— он, очевидно, слышал, как я запирал дверь. Вы бы расхохотались, если б увидели, как он шарахнулся, когда я догнал его на площадке. Он бросил на меня испепеляющий взгляд, но я пробежал мимо него и влетел к себе в комнату, хлопнув дверью так, что весь дом задрожал. Я слышал, как он, шаркая туфлями, доплелся до моей двери, немного постоял перед ней, потом спустился вниз. Я немедленно стал готовиться к опыту.

Все было сделано в течение этого вечера и ночи. В то время когда я еще находился под одурманивающим

действием снадобий, принятых мной для обесцвечения крови, кто-то стал стучаться в дверь. Потом стук прекратился, шаги начали удаляться, но вот снова приблизились, и стук в дверь повторился. Кто-то попытался что-то просунуть под дверь—какую-то синюю бумажку. Терпение мое лопнуло, я вскочил, подошел к двери и распахнул ее настежь. «Ну, что еще там?» — спросил я.

Это оказался хозяин, он принес мне повестку о выселении или что-то в этом роде. Он протянул мне бумагу, но, по-видимому, его чем-то удивили мои руки, и он взглянул мне в лицо.

С минуту он стоял, разинув рот, потом выкрикнул что-то нечленораздельное, уронил свечу и бумагу и, спотыкаясь, бросился бежать по темному коридору к лестнице. Я закрыл дверь, запер ее на ключ и подошел к зеркалу. Тогда я понял его ужас. Лицо у меня было белое, как мрамор.

Но я не ожидал, что мне придется так сильно страдать. Это было ужасно. Вся ночь прошла в страшных мучениях, тошноте и обмороках. Я стискивал зубы, все тело горело, как в огне, но я лежал неподвижно, точно мертвый. Тогда-то я понял, почему кошка так мяукала, пока я не захлороформировал ее. К счастью, я жил один, без прислуги. Были минуты, когда я плакал, стонал, разговаривал сам с собой. Но я все вытерпел... Я потерял сознание и очнулся только среди ночи, совсем ослабевший.

Боли я уже не чувствовал. Я решил, что умираю, но отнесся к этому совершенно равнодушно. Никогда не забуду этого рассвета, не забуду жути, охватившей меня при виде моих рук, словно сделанных из дымчатого стекла и постепенно, по мере наступления дня, становившихся все прозрачнее и тоньше, так что я мог видеть сквозь них все предметы, в беспорядке разбросанные по комнате, хотя и закрывал свои прозрачные веки. Тело мое сделалось как бы стеклянным, кости и артерии постепенно бледнели, исчезали: последними исчезли тонкие нити нервов. Я скрипел зубами, но выдержал до конца... И вот остались только мертвенно-белые кончики ногтей и бурое пятно какой-то кислоты на пальце.

С большим трудом поднялся я с постели. Сначала я чувствовал себя беспомощным, как грудной младенец, ступая ногами, которых не видел. Я был очень слаб и

голоден. Подойдя к зеркалу, перед которым я обыкновенно брился, я увидел пустоту, в которой еле-еле можно было еще различить туманные следы пигмента на сетчатой оболочке глаз. Я схватился за край стола и прижался лбом к зеркалу.

Только отчаянным напряжением воли я заставил себя вернуться к аппарату и закончить процесс.

Я проспал все утро, закрыв лицо простыней, чтобы защитить глаза от света; около полудня меня снова разбудил стук в дверь. Силы вернулись ко мне. Я сел, прислушался и услышал шепот. Я вскочил и принялся без шума разбирать аппарат, рассовывая отдельные части его по разным углам, чтобы невозможно было догадаться об его устройстве. Снова раздался стук, и послышались голоса — сначала голос хозяина, а потом еще два, незнакомые. Чтобы выиграть время, я ответил им. Мне попались под руку невидимая тряпка и подушка, и я выбросил их через окно на соседнюю крышу. Когда я открывал окно, дверь оглушительно затрещала. По-видимому, кто-то налег на нее плечом, надеясь высадить замок. Но крепкие засовы, приделанные мной за несколько дней до этого, не поддавались. Однако это встревожило и возмутило меня. Весь дрожа, я стал торопливо заканчивать свои приготовления.

Я собрал в кучу валявшиеся на полу черновики записей, немного соломы, оберточную бумагу и тому подобный хлам и открыл газ. В дверь посыпались тяжелые и частые удары. Я никак не мог найти спички. В бешенстве я стал колотить по стене кулаком. Я снова завернул газовый рожок, вылез из окна на соседнюю крышу, очень тихо опустил раму и сел — в полной безопасности, невидимый, но дрожа от гнева и нетерпения. Я видел, как от двери оторвали доску, затем отбили скобы засовов и в комнату вошли хозяин и два его пасынка — два дюжих парня двадцати трех и двадцати четырех лет. Следом за ними семенила старая ведьма, жившая внизу.

Можете себе представить их изумление, когда они нашли комнату пустой. Один из парней сразу подбежал к окну, открыл его и стал оглядываться кругом. Его толстогубая бородатая физиономия с выпученными глазами была от меня на расстоянии фута. Меня так и подмывало хватить кулаком по этой глупой роже, но я сдержал-

ся. Он глядел прямо сквозь меня, как и все остальные, которые подошли к нему. Старик вернулся в комнату и заглянул под кровать, а потом все они бросились к буфету. Затем они стали горячо обсуждать происшествие, мешая еврейский жаргон с жаргоном лондонских предместий. Они пришли к заключению, что я вовсе не отвечал на стук и что им это только почудилось. Мой гнев уступил место чувству необычайного торжества: я сидел за окном и спокойно следил за этими четырьмя людьми — старуха тоже вошла в комнату, по-кошачьи подозрительно озираясь, — пытавшимися разрешить загадку моего поведения.

Старик, насколько я мог понять его двуязычный жаргон, соглашался со старухой, что я занимаюсь вивисекцией. Пасынки возражали на ломаном английском языке, утверждая, что я электротехник, и в доказательство ссылались на динамо-машины и излучающие аппараты. Они все побаивались моего возвращения, хотя, как я узнал впоследствии, заперли наружную дверь. Старуха шарила в буфете и под кроватью, а один из моих соседей по квартире, уличный разносчик, живший вместе с мясником в комнате напротив, появился на площадке лестницы. Его также пригласили в мою комнату и наговорили ему невесть что.

Мне пришло в голову, что если мои аппараты попадут в руки наблюдательного и толкового специалиста, то они слишком многое откроют ему; поэтому, улучив минуту, я влез в комнату, разъединил динамо-машины и разбил оба аппарата. До чего же они переполошились! Затем, пока они старались объяснить себе это, я выскользнул из комнаты и тихонько спустился вниз.

Я вошел в гостиную и стал ожидать их возвращения; вскоре они пришли, все еще обсуждая происшествие и стараясь найти ему объяснение. Они были несколько разочарованы, не найдя никаких «ужасов», и в то же время сильно смущены, не зная, насколько законно они действовали по отношению ко мне. Как только они спустились вниз, я снова пробрался к себе в комнату, захватив коробку спичек, зажег бумагу и мусор, придвинул к огню стулья и кровать, при помощи гуттаперчевой трубки подвел к пламени газ и простился с комнатой.

— Вы подожгли дом?! — воскликнул Кемп.

— Да. Это было единственное средство замести следы, а дом, безусловно, был застрахован... Я осторожно отодвинул засов наружной двери и вышел на улицу. Я был невидим и еще только начинал сознавать, какие преимущества это давало мне. Сотни самых дерзких и фантастических планов возникали в моем мозгу, и от сознания полной безнаказанности кружилась голова.

ГЛАВА XXI

НА ОКСФОРД-СТРИТ

Спускаясь в первый раз по лестнице, я натолкнулся на неожиданное затруднение: ходить, не видя своих ног, оказалось делом нелегким, несколько раз я даже споткнулся. Кроме того, я ощутил какую-то непривычную неловкость, когда взялся за дверной засов. Однако, перестав глядеть на землю, я скоро научился сносно ходить по ровному месту.

Настроение у меня, как я уже сказал, было восторженное. Я чувствовал себя точно зрячий в городе слепых, расхаживающий в мягких туфлях и бесшумных одеждах. Меня все время подмывало подшучивать над людьми, пугать их, хлопать по плечу, сбивать с них шляпы и вообще упиваться необычайным преимуществом своего положения.

Но едва я очутился на Портленд-стрит (я жил рядом с большим мануфактурным магазином), как услышал звон и почувствовал сильный толчок в спину. Обернувшись, я увидел человека, несшего корзину сифонов с содовой водой и в изумлении глядевшего на свою ношу. Удар был очень чувствительный, но человек этот выглядел так комично, что я громко расхохотался. «В корзине черт сидит»,— сказал я и неожиданно выхватил ее у него из рук. Он покорно выпустил ее, и я поднял корзину на воздух.

Но тут какой-то болван извозчик, стоявший в дверях пивной, подскочил и хотел схватить корзину, и его протянутая рука угодила мне под ухо, причинив мучительную боль. Я выпустил корзину, которая с треском и звоном упала у ног извозчика, и только среди крика и топота выбежавших из лавок людей, среди остановившихся

экипажей сообразил, что я наделал. Проклиная свое безумие, я прислонился к окну лавки и стал выжидать случая незаметно выбраться из сутолоки. Еще минута — и меня втянули бы в толпу, где мое присутствие неминуемо было бы обнаружено. Я толкнул мальчишку из мясной лавки, к счастью, не заметившего, что его толкнула пустота, и спрятался за пролеткой извозчика. Не знаю, как они распутали эту историю. Я перебежал улицу, на которой, к счастью, не оказалось экипажей, и, напуганный разыгравшимся скандалом, торопливо шел, не разбирая дороги, пока не попал на Оксфорд-стрит, где в вечерние часы всегда полно народу.

Я пытался слиться с потоком людей, но толпа была слишком густа, и через минуту мне стали наступать на пятки. Тогда я спустился в водосточную канаву. Мне было больно ступать босиком, и через минуту оглоблей ехавшей мимо кареты мне угодило под лопатку, по тому самому месту, которое уже ушибли корзиной. Я кое-как уклонился от кареты, судорожным движением избежал столкновения с детской коляской и очутился позади какой-то пролетки. Счастливая мысль спасла меня: я пошел следом за медленно двигавшейся пролеткой, не отставая от нее ни на шаг. Мое приключение, принявшее столь неожиданный оборот, начинало пугать меня. И я дрожал не только от страха, но и от холода. В этот ясный январский день я был совершенно голый, а тонкий слой грязи на мостовой почти замерз. Как это ни глупо, но я не сообразил, что — прозрачный или нет — я все же подвержен действию погоды и простуде.

Тут мне пришла в голову блестящая мысль. Я забежал вперед и сел в пролетку. Дрожа от холода, испуганный, с первыми признаками насморка, с ушибами и ссадинами на спине, все сильнее дававшими себя чувствовать, я медленно ехал по Оксфорд-стрит и дальше, по Тотенхем Корт-роуд. Настроение мое совершенно не походило на то, с каким десять минут назад я вышел из дому. Вот она, моя невидимость! Меня занимала только одна мысль: как выбраться из скверного положения, в какое я попал?

Мы тащились мимо книжной лавки Мьюди; тут какая-то высокая женщина, нагруженная пачкой книг в желтых обложках, окликнула моего извозчика, и я

едва успел выскочить, чуть не попав при этом под вагон конки. Я направился к Блумсбери-сквер, намереваясь свернуть за музеем к северу, чтобы добраться до малолюдных кварталов. Я окоченел, и нелепость моего положения так угнетала меня, что я всхлипывал на ходу. На углу Блумсбери-сквер из конторы Фармацевтического общества выбежала белая собачонка и немедленно погналась за мной, обнюхивая землю.

Раньше мне никогда не приходило в голову, что для собаки нос то же, что для человека глаза. Собаки чуют носом движения человека, подобно тому как люди видят их глазами. Мерзкая тварь стала лаять и прыгать вокруг меня, слишком ясно показывая, что она осведомлена о моем присутствии. Я пересек Грейт-Рассел-стрит, все время оглядываясь через плечо, и, только углубившись в Монтегю-стрит, заметил, что̀ движется мне навстречу.

До меня донеслись громкие звуки музыки, и я увидел большую толпу, шедшую со стороны Рассел-сквер,— красные куртки, а впереди знамя Армии спасения. Я не надеялся пробраться незаметно сквозь такую толпу, запрудившую улицу, а повернуть назад, уйти еще дальше на окраину я боялся. Поэтому я тут же принял решение: быстро взбежал на крыльцо белого дома, прямо напротив ограды музея, и остановился в ожидании, пока пройдет толпа. К счастью, собачонка, заслышав музыку, перестала лаять, постояла немного в нерешительности и, поджав хвост, побежала назад, к Блумсбери-сквер.

Толпа приближалась, во все горло распевая гимн, показавшийся мне ироническим намеком: «Когда мы узрим его лик?» Она тянулась мимо меня бесконечно. «Бум, бум, бум»,— гремел барабан, и я не сразу заметил, что два мальчугана остановились возле меня. «Глянь-ка»,— сказал один. «А что?» — спросил другой. «Следы. Да босиком. Как будто кто по грязи шлепал».

Я поглядел вниз и увидел, что мальчишки, выпучив глаза, рассматривают грязные следы, оставленные мной на свежевыбеленных ступеньках. Прохожие немилосердно толкали их, но они, увлеченные своим открытием, продолжали стоять возле меня. «Бум, бум, бум, когда, бум, узрим мы, бум, его лик, бум, бум...» «Верно тебе говорю, кто-то взошел босиком на это крыльцо,— сказал один.— А вниз не спускался, и из ноги кровь шла».

Шествие уже скрывалось из глаз. «Гляди, Тед, гляди!» — крикнул младший из глазастых сыщиков в крайнем изумлении, указывая прямо на мои ноги. Я взглянул вниз и сразу увидел смутное очертание своих ног, обрисованное кромкой грязи. На минуту я остолбенел.

«Ах, черт! — воскликнул старший.— Вот так штука! Точно привидение, ей-богу!» После некоторого колебания он подошел ко мне поближе и протянул руку. Какой-то человек сразу остановился, чтобы посмотреть, что это он ловит, потом подошла девушка. Еще секунда — и мальчишка коснулся бы меня. Тут я сообразил, как мне поступить. Шагнув вперед — мальчик с криком отскочил в сторону,— я быстро перелез через ограду на крыльцо соседнего дома. Но младший мальчуган уловил мое движение, и прежде чем я успел спуститься на тротуар, он оправился от минутного замешательства и стал кричать, что ноги перескочили через ограду.

Все бросились туда и увидели, как на нижней ступеньке и на тротуаре с быстротой молнии появляются новые следы.

«В чем дело?» — спросил кто-то. «Ноги! Глядите. Бегут ноги!»

Весь народ на улице, кроме моих трех преследователей, спешил за Армией спасения, и этот поток задерживал не только меня, но и погоню. Со всех сторон сыпались вопросы и раздавались возгласы изумления. Сбив с ног какого-то юношу, я пустился бежать вокруг Рассел-сквер, а человек шесть или семь изумленных прохожих мчались по моему следу. Объясняться, к счастью, им было некогда, а то вся толпа, наверное, кинулась бы за мной.

Дважды я огибал углы, трижды перебегал через улицу и возвращался назад той же дорогой. Ноги мои согрелись, высохли и уже не оставляли мокрых следов. Наконец, улучив минуту, я начисто вытер ноги руками и таким образом окончательно скрылся. Последнее, что я видел из погони, были человек десять, сбившиеся кучкой и с безграничным недоумением разглядывавшие медленно высыхавший отпечаток ноги, угодившей в лужу на Тэвисток-сквер,— единственный отпечаток, столь же необъяснимый, как тот, на который наткнулся Робинзон Крузо.

Это бегство до некоторой степени согрело меня, и я стал пробираться по лабиринту малолюдных улочек и переулков уже в более бодром настроении. Спину ломило, под ухом ныло от удара, нанесенного извозчиком, кожа была расцарапана его ногтями, ноги сильно болели, и из-за пореза на ступне я прихрамывал. Ко мне приблизился какой-то слепой, но я вовремя заметил его и шарахнулся в сторону, опасаясь его тонкого слуха. Несколько раз я случайно сталкивался с прохожими; они останавливались в недоумении, оглушенные неизвестно откуда раздававшейся бранью. А потом я почувствовал на лице что-то мягкое, и площадь стала покрываться тонким слоем снега. Я, очевидно, простудился и не мог удержаться, чтобы время от времени не чихнуть. А каждая собака, которая попадалась мне на пути и начинала, вытянув морду, с любопытством обнюхивать мои ноги, внушала мне ужас.

Потом мимо меня с криком пробежал человек, за ним другой, третий, а через минуту целая толпа взрослых и детей стала обгонять меня. Они спешили на пожар и бежали по направлению к моему дому. Заглянув в переулок, я увидел густое облако дыма, поднимавшееся над крышами и телефонными проводами. Я не сомневался, что это горит моя квартира; вся моя одежда, аппараты, все мое имущество осталось там, за исключением чековой книжки и трех томов заметок, которые ждали меня на Грейт-Портленд-стрит. Я сжег свои корабли — вернее верного! Весь дом пылал.

Невидимка умолк и задумался. Кемп тревожно посмотрел в окно.

— Ну? — сказал он.— Продолжайте.

ГЛАВА XXII

В УНИВЕРСАЛЬНОМ МАГАЗИНЕ

— Итак, в январе, в снег и метель,— а стоило снегу покрыть меня, и я был бы обнаружен!—усталый, простуженный, с ломотой во всем теле, невыразимо несчастный и все еще лишь наполовину убежденный в преимуществах своей невидимости, начал я новую жизнь, на которую сам себя обрек. У меня не было ни пристанища, ни средств к существованию, не было ни одного человека

во всем мире, которому я мог бы довериться. Раскрыть тайну значило бы отказаться от своих широких планов на будущее: меня просто стали бы показывать как диковинку. Тем не менее я чуть было не решил подойти к какому-нибудь прохожему и отдаться на его милость. Но я слишком хорошо понимал, какой ужас и какую бесчеловечную жестокость возбудила бы такая попытка. Пока что мне было не до новых планов. Я старался только укрыться от снега, закутаться и согреться — тогда можно было бы подумать и о будущем. Но даже для меня, человека-невидимки, ряды запертых лондонских домов были неприступны.

Только одно видел я тогда отчетливо перед собой: холод, бесприютность и страдания предстоящей ночи среди снежной вьюги. И вдруг меня осенила блестящая мысль. Я свернул на улицу, ведущую от Гауэр-стрит к Тотенхем Корт-роуд, и очутился перед огромным магазином «Omnium»,— вы знаете его, там торгуют решительно всем: мясом, бакалеей, бельем, мебелью, платьем, даже картинами. Это скорее гигантский лабиринт всевозможных лавок, чем один магазин. Я надеялся, что двери магазина будут открыты, но они были закрыты. Пока я стоял перед входом, подъехал экипаж, и швейцар в ливрее, с надписью «Omnium» на фуражке, распахнул дверь. Мне удалось проскользнуть внутрь, и, пройдя первое помещение — это был отдел лент, перчаток, чулок и тому подобного,— я попал в более обширное помещение, где продавались корзины и плетеная мебель.

Однако я не чувствовал себя в полной безопасности, так как тут все время толклись покупатели. Я стал бродить по магазину, пока не попал в огромный отдел на верхнем этаже, который весь был заставлен кроватями. Здесь я наконец нашел себе приют на огромной куче тюфяков. В магазине уже зажгли огонь, было очень тепло; я решил остаться в своем убежище и, внимательно следя за приказчиками и покупателями, расхаживавшими по мебельному отделу, стал дожидаться часа, когда магазин закроют. «Когда все уйдут,— думал я,— я добуду себе и пищу и платье, обойду весь магазин, узнаю его запасы и, пожалуй, даже посплю на одной из кроватей». Этот план казался мне осуществимым. Я хотел достать платье, чтобы превратиться в закутанную, но

все же не возбуждающую особых подозрений фигуру, раздобыть денег, получить свои книги из почтовой конторы, снять где-нибудь комнату и разработать план использования тех преимуществ над моими ближними, которые давала мне моя невидимость.

Время закрытия магазина наступило довольно скоро; с тех пор, как я забрался на груду тюфяков, прошло не больше часа, и вот я заметил, что шторы на окнах спущены, а последних покупателей выпроваживают. Потом множество проворных молодых людей принялись с необыкновенной быстротой убирать товары, лежавшие в беспорядке на прилавках. Когда толпа стала редеть, я оставил свое логово и осторожно пробрался поближе к центральным отделам магазина. Меня поразила быстрота, с какой целая армия юношей и девушек убирала все, что было выставлено днем для продажи. Все картонки, ткани, гирлянды кружев, ящики со сладостями в кондитерском отделении, всевозможные предметы, разложенные на прилавках,— все это убиралось, сворачивалось и складывалось на хранение, а то, чего нельзя было убрать и спрятать, прикрывалось чехлами из какой-то грубой материи вроде парусины. Наконец все стулья были нагромождены на прилавки, на полу не осталось ничего. Окончив свое дело, молодые люди поспешили уйти с выражением такой радости на лице, какой я никогда еще не видел у приказчиков. Потом появилась орава подростков с опилками, ведрами и щетками. Мне приходилось то и дело увертываться от них, но все же опилки попадали мне на ноги. Разгуливая по темным, опустевшим помещениям, я еще довольно долго слышал шарканье щеток. Наконец через час с лишним после закрытия магазина я услышал, что запирают двери. Воцарилась тишина, и я очутился один в огромном лабиринте отделений и коридоров. Было очень тихо: помню, как, проходя мимо одного из выходов на Тотенхем Корт-роуд, я услышал стук шагов прохожих.

Прежде всего я направился в отдел, где видел чулки и перчатки. Было темно, и я еле разыскал спички в ящике небольшой конторки. Но еще нужно было добыть свечку. Пришлось стаскивать покрышки и шарить по ящикам и коробкам, но в конце концов я все же нашел то, что искал; свечи лежали в ящике, на котором была надпись:

«Шерстяные панталоны и фуфайки». Потом я взял носки и толстый шерстяной шарф, после чего направился в отделение готового платья, где взял брюки, мягкую куртку, пальто и широкополую шляпу вроде тех, что носят священники. Я снова почувствовал себя человеком и прежде всего подумал о еде.

На верхнем этаже оказалась закусочная, и там я нашел холодное мясо. В кофейнике осталось немного кофе, я зажег газ и подогрел его. В общем, я устроился недурно. Затем я отправился на поиски одеяла — в конце концов мне пришлось удовлетвориться ворохом пуховых перин — и попал в кондитерский отдел, где нашел целую груду шоколада и засахаренных фруктов, которыми чуть не объелся, и несколько бутылок бургундского. А рядом помещался отдел игрушек, которые навели меня на блестящую мысль: я нашел несколько искусственных носов — знаете, из папье-маше — и тут же подумал о темных очках. К сожалению, здесь не оказалось оптического отдела. Но ведь нос был для меня очень важен; сперва я подумывал даже о гриме. Раздобыв себе искусственный нос, я начал мечтать о париках, масках и прочем. Наконец я заснул на куче перин, где было очень тепло и удобно.

Еще ни разу, с тех пор как со мной произошла эта необычайная перемена, я не чувствовал себя так хорошо, как в тот вечер, засыпая. Я находился в состоянии полной безмятежности и был настроен весьма оптимистически. Я надеялся, что утром незаметно выберусь из магазина, одевшись и закутав лицо белым шарфом; затем куплю на украденные мною деньги очки, и таким образом экипировка моя будет закончена. Ночью мне снились вперемежку все удивительные происшествия, которые случились со мной за последние несколько дней. Я видел бранящегося еврея-домохозяина, его недоумевающих пасынков, сморщенное лицо старухи, справляющейся о своей кошке. Я снова испытывал странное ощущение при виде исчезнувшей белой ткани. Затем мне представился родной городок и простуженный старичок викарий, шамкающий над могилой моего отца: «Из земли взят и в землю отыдешь»...

«И ты»,— сказал чей-то голос, и вдруг меня потащили к могиле. Я вырывался, кричал, умолял могильщиков,

но они стояли неподвижно и слушали отпевание; старичок викарий тоже, не останавливаясь, монотонно читал молитвы и прерывал свое чтение лишь чиханьем. Я сознавал, что меня не видят и не слышат и что я во власти одолевших меня сил. Несмотря на мое отчаянное сопротивление, меня бросили в могилу, и я, падая, ударился о гроб, а сверху меня стали засыпать землей. Никто не замечал меня, никто не подозревал о моем существовании. Я стал судорожно барахтаться — и проснулся.

Бледная лондонская заря уже занималась; сквозь щели между оконными шторами проникал холодный серый свет. Я сел и долго не мог сообразить, что это за огромное помещение с железными столбами, с прилавками, грудами свернутых материй, кучей одеял и подушек. Затем вспомнил все и услышал чьи-то голоса.

Издали, из комнаты, где было светлее, так как шторы там были уже подняты, ко мне приближались двое. Я вскочил, соображая, куда скрыться, и это движение выдало им мое присутствие. Я думал, что они успели заметить только проворно удаляющуюся фигуру. «Кто тут?» — крикнул один. «Стой!» — закричал другой. Я свернул за угол и столкнулся с тощим парнишкой лет пятнадцати. Не забудьте, что я был фигурой без лица! Он взвизгнул, а я сшиб его с ног, бросился дальше, свернул еще за угол, и тут у меня мелькнула счастливая мысль: я распластался за прилавком. Еще минута — и я услышал шаги бегущих людей, отовсюду раздались крики: «Двери заприте, двери!», «Что случилось?» — и со всех сторон посыпались советы, как изловить меня.

Я лежал на полу, перепуганный насмерть. Как это ни странно, в ту минуту мне не пришло в голову, что надо раздеться, а между тем это было бы самое простое. Я решил уйти одетый, и эта мысль, вероятно, завладела мной. А потом по длинному проходу между прилавками разнесся крик: «Вот он!»

Я вскочил, схватил с прилавка стул и пустил им в болвана, который первый крикнул это, потом побежал, наткнулся за углом на другого, отшвырнул его и бросился вверх по лестнице. Он удержался на ногах и с улюлюканьем погнался за мной. На верху лестницы были на-

громождены кучи этих пестрых расписных посудин, знаете?

— Горшки для цветов,— подсказал Кемп.

— Вот, вот, цветочные горшки. На верхней ступеньке я остановился, обернулся, выхватил из кучи один горшок и швырнул его в голову подбежавшего болвана. Вся куча горшков рухнула, раздались крики, и со всех сторон стали сбегаться служащие. Я со всех ног кинулся в закусочную. Но там был какой-то человек в белом, вроде повара, и он тоже погнался за мной. Я сделал последний отчаянный поворот и очутился в отделе ламп и скобяных товаров. Я забежал за прилавок и стал поджидать повара. Как только он появился впереди погони, я пустил в него лампой. Он упал, а я, скорчившись за прилавком, начал поспешно сбрасывать с себя одежду. Куртка, брюки, башмаки — все это удалось скинуть довольно быстро, но эти проклятые фуфайки пристают к телу, как собственная кожа. Повар лежал неподвижно по другую сторону прилавка, оглушенный ударом или перепуганный до потери сознания, но я слышал топот, погоня приближалась, и я должен был снова спасаться бегством, точно кролик, выгнанный из кустов.

«Сюда, полисмен»! —крикнул кто-то. Я снова очутился в мебельном отделе, в конце которого стоял целый лес платяных шкафов. Я забрался в самую гущу, лег на пол и, извиваясь, как угорь, освободился наконец от фуфайки. Когда из-за угла появились полисмен и трое служащих, я стоял уже голый, задыхаясь и дрожа от страха. Они набросились на жилетку и кальсоны, уцепились за брюки. «Он бросил свою добычу,— сказал один из приказчиков.— Наверняка он где-нибудь здесь».

Но они меня не нашли.

Я стоял, глядя, как они ищут меня, и проклинал судьбу за свою неудачу, ибо одежды я все-таки лишился. Потом я отправился в закусочную, выпил немного молока и, сев у камина, стал обдумывать свое положение.

Вскоре пришли два приказчика и стали горячо обсуждать происшествие. Какой вздор они мололи! Я услышал сильно преувеличенный рассказ о произведенных мною опустошениях и всевозможные догадки о том, куда я подевался. Потом я снова стал обдумывать план

действий. Стащить что-нибудь в магазине теперь, после всей этой суматохи, было совершенно невозможно. Я спустился в склад посмотреть, не удастся ли упаковать и как-нибудь отправить оттуда сверток, но не понял их системы контроля. Около одиннадцати часов я решил, что в магазине оставаться бессмысленно, и так как снег растаял и было теплей, чем накануне, вышел на улицу. Я был в отчаянии от своей неудачи, а относительно будущего планы мои были самые смутные.

ГЛАВА XXIII

НА ДРУРИ-ЛЕЙН

— Теперь вы можете себе представить,— продолжал Невидимка,— как невыгодно было мое положение. У меня не было ни крова, ни одежды. Одеться — значило отказаться от всех моих преимуществ, превратиться в нечто странное и страшное. Я ничего не ел, так как принимать пищу, то есть наполнять себя непрозрачным веществом, значило бы стать безобразно видимым.

— Об этом я не подумал,— сказал Кемп.

— Да и я тоже. А снег открыл мне глаза на другие опасности. Я не мог выходить на улицу, когда шел снег: он облеплял меня и таким образом выдавал. Дождь тоже выдавал бы мое присутствие, очерчивая меня водяным контуром и превращая в поблескивающую фигуру человека — в пузырь. А туман? При тумане я тоже превращался бы в мутный пузырь, во влажный облик человека. Кроме того, бродя по улицам при лондонском климате, я пачкал ноги, и на коже оседали сажа и пыль. Я не знал, скоро ли грязь выдаст меня. Но я ясно понимал, что это время не за горами, поскольку речь шла о Лондоне. Я направился к трущобам в районе Грейт-Портленд-стрит и очутился в конце улицы, где жил прежде. Я не пошел этой дорогой, потому что перед еще дымившимися развалинами дома, который я поджег, стояла густая толпа. Мне необходимо было достать платье. Я не знал, чем прикрыть лицо. Тут мне бросилась в глаза одна из тех лавчонок, где продается все: газеты, сласти, игрушки, канцелярские принадлежности, елочные украшения и так далее; в витрине я увидел це-

лую выставку масок и носов. Это снова навело меня на ту же мысль, что и вид игрушек в «Omnium». Я повернул назад уже с определенной целью и, избегая многолюдных улиц, направился к глухим кварталам к северу от Стрэнда: я вспомнил, что где-то в этих местах торгуют своими изделиями несколько театральных костюмеров.

День был холодный, дул пронзительный северный ветер. Я шел быстро, чтобы на меня не натыкались сзади. Каждый перекресток представлял для меня опасность, за каждым прохожим я должен был зорко следить. В конце Бедфорд-стрит какой-то человек, мимо которого я проходил, неожиданно повернулся и, налетев на меня, сшиб меня на мостовую, где я едва не попал под колеса пролетки. Оказавшиеся поблизости извозчики решили, что с ним случилось что-то вроде удара. Это столкновение так подействовало на меня, что я зашел на рынок Ковент-Гарден и там сел в уголок, возле лотка с фиалками, задыхаясь и дрожа от страха. Я, видно, сильно простудился и вынужден был вскоре уйти, чтобы не привлечь внимания своим чиханьем.

Наконец я достиг цели своих поисков,—это была грязная, засиженная мухами лавчонка в переулке близ Друри-Лейн, где в окне были выставлены театральные костюмы, поддельные драгоценности, парики, туфли, домино и фотографии актеров. Лавка была старинная, низкая и темная, а над нею высились еще четыре этажа мрачного, угрюмого дома. Я заглянул в окно и, не увидев никого в лавке, вошел. Звякнул колокольчик. Я оставил дверь открытой, а сам шмыгнул мимо манекена и спрятался в углу за большим трюмо. С минуту никто не появлялся. Потом я услышал в лавке чьи-то тяжелые шаги.

Я успел уже составить план действий. Я предполагал пробраться в дом, спрятаться где-нибудь наверху, дождаться удобной минуты и, когда все стихнет, подобрать себе парик, маску, очки и костюм, а там незаметно выскользнуть на улицу, может быть, в весьма нелепом, но все же правдоподобном виде. Между прочим, я надеялся унести и деньги, какие попадутся под руку.

Хозяин лавки был маленький тощий горбун с нахмуренным лбом, длинными неловкими руками и очень

короткими кривыми ногами. По-видимому, мой приход оторвал его от еды. Он оглядел лавку, ожидание на его лице сменилось сначала изумлением, а потом гневом, когда он увидел, что в лавке никого нет. «Черт бы побрал этих мальчишек!»—проворчал он. Потом вышел на улицу и огляделся. Через минуту он вернулся, с досадой захлопнул дверь ногой и, бормоча что-то про себя, ушел внутрь дома.

Я выбрался из своего убежища, чтобы последовать за ним, но, услышав мое движение, он остановился как вкопанный. Остановился и я, пораженный тонкостью его слуха. Он захлопнул дверь перед самым моим носом.

Я стоял в нерешительности. Вдруг я снова услышал его быстрые шаги, и дверь опять открылась. Он стал оглядывать лавку: как видно, его подозрения еще не рассеялись окончательно. Затем, все так же что-то бормоча, он осмотрел с обеих сторон прилавок, заглянул под стоявшую в лавке мебель. После этого он остановился, опасливо озираясь. Так как он оставил дверь открытой, я шмыгнул в соседнюю комнату.

Это была странная каморка, убого обставленная, с грудой масок в углу. На столе стоял остывший завтрак. Поверьте, Кемп, мне было нелегко стоять там, вдыхая запах кофе, и смотреть, как он принялся за еду. А ел он очень неаппетитно. В комнате было три двери, из которых одна вела наверх, обе другие — вниз, но все они были закрыты. Я не мог выйти из комнаты, пока он был там, не мог даже двинуться с места из-за его дьявольской чуткости, а в спину мне дуло. Два раза я чуть было не чихнул.

Ощущения мои были необычны и интересны, но вместе с тем я чувствовал невыносимую усталость и насилу дождался, пока он кончил свой завтрак. Наконец он насытился, поставил свою жалкую посуду на черный жестяной поднос, на котором стоял кофейник, и, собрав крошки с запятнанной горчицей скатерти, двинулся с подносом к двери. Так как руки его были заняты, он не мог закрыть за собой дверь, что ему, видимо, хотелось сделать. Никогда в жизни не видел человека, который так любил бы затворять двери! Я последовал за ним в подвал, в грязную, темную кухню. Там я имел удовольствие видеть, как он мыл посуду, а затем, не ожидая никако-

го толка от моего пребывания внизу, где мои босые ноги вдобавок стыли на каменном полу, я вернулся наверх и сел в его кресло у камина. Так как огонь угасал, то я, не подумав, подбросил углей. Этот шум немедленно привлек хозяина, он прибежал в волнении и начал обшаривать комнату, причем один раз чуть не задел меня. Но и этот тщательный осмотр, по-видимому, мало удовлетворил его. Он остановился в дверях и, прежде чем спуститься вниз, еще раз внимательно оглядел всю комнату.

Я просидел в маленькой гостиной целую вечность. Наконец он вернулся и открыл дверь наверх. Мне удалось проскользнуть вслед за ним.

На лестнице он вдруг остановился, так что я чуть не наскочил на него. Он стоял, повернув голову, глядя мне прямо в лицо и внимательно прислушиваясь. «Готов поклясться...» — сказал он. Длинной волосатой рукой он пощипывал нижнюю губу. Взгляд его скользил по лестнице. Что-то пробурчав, он стал подниматься наверх.

Уже взявшись за ручку двери, он снова остановился с выражением того же сердитого недоумения на лице. Он явно улавливал шорох моих движений. Этот человек, по-видимому, обладал исключительно тонким слухом. Вдруг им овладело бешенство. «Если кто-нибудь забрался в дом!..» — закричал он, крепко выругавшись, и, не докончив угрозы, сунул руку в карман. Не найдя там того, что искал, он шумно бросился мимо меня вниз. Но я за ним не последовал, а уселся на верхней ступеньке лестницы и стал ждать его возвращения.

Вскоре он появился снова, все еще что-то бормоча. Он открыл дверь, но прежде чем я успел войти, захлопнул ее перед моим носом.

Я решил осмотреть дом и потратил на это некоторое время, стараясь двигаться как можно тише. Дом был совсем ветхий, до того сырой, что обои отстали от стен, и полный крыс. Почти все дверные ручки поворачивались очень туго, и я боялся их трогать. Некоторые комнаты были совсем без мебели, а другие завалены театральным хламом, купленным, если судить по его внешнему виду, из вторых рук. В комнате рядом со спальней я нашел ворох старого платья. Я стал нетерпеливо рыться в нем и, увлекшись, забыл о тонком слухе хозяина. Я

услышал крадущиеся шаги и поднял голову как раз вовремя: хозяин появился на пороге со старым револьвером в руке и уставился на развороченную кучу платья. Я стоял, не шевелясь, все время, пока он с разинутым ртом подозрительно оглядывал комнату. «Должно быть, это она,— пробормотал он.— Черт бы ее побрал!» Он бесшумно закрыл дверь и сейчас же запер ее на ключ. Я услышал его удаляющиеся шаги. И вдруг я понял, что заперт. В первую минуту я растерялся. Прошел от двери к окну и обратно, остановился, не зная, что делать. Меня охватило бешенство. Но я решил прежде всего осмотреть платье, и первая же моя попытка стащить узел с верхней полки снова привлекла хозяина. Он явился еще более мрачный, чем раньше. На этот раз он коснулся меня, отскочил и, пораженный, остановился, разинув рот, посреди комнаты.

Вскоре он несколько успокоился. «Крысы»,— сказал он вполголоса, приложив палец к губам. Он явно был несколько испуган. Я бесшумно вышел из комнаты, но при этом скрипнула половица. Тогда этот дьявол стал ходить по всему дому с револьвером наготове, запирая подряд все двери и пряча ключи в карман. Сообразив, что он задумал, я пришел в такую ярость, что чуть было не упустил удобный случай. Я теперь точно знал, что он один во всем доме. Поэтому я без всяких церемоний хватил его по голове.

— Хватили по голове?!—воскликнул Кемп.

— Да, оглушил его, когда он шел вниз. Ударил стулом, который стоял на площадке лестницы; он покатился вниз, как мешок со старой обувью.

— Но, позвольте, простая гуманность...

— Простая гуманность годится для обыкновенных людей. Вы поймите, Кемп, мне во что бы то ни стало нужно было выбраться из этого дома одетым, и так, чтобы он меня не видел. Другого способа я не мог придумать. Потом я заткнул ему рот камзолом эпохи Людовика Четырнадцатого и завязал его в простыню.

— Завязали в простыню?

— Сделал из него нечто вроде узла. Хорошее средство, чтобы напугать этого идиота и лишить его возможности кричать и двигаться, а выбраться из этого узла было не так-то просто. Дорогой Кемп, нечего сидеть и

глазеть на меня, как на убийцу. У него ведь был револьвер. А если бы он увидел меня, то мог бы описать мою наружность...

— Но все же,— сказал Кемп,— в Англии, в наше время... И ведь человек этот был у себя дома, а вы... вы совершали грабеж!

— Грабеж? Черт знает что такое! Вы еще, пожалуй, назовете меня вором. Надеюсь, Кемп, вы не настолько глупы, чтобы плясать под старую дудку. Неужели вы не можете понять, каково мне было?

— Могу. Но каково было ему!— сказал Кемп.

Невидимка быстро вскочил.

— Что вы сказали? — спросил он.

Лицо Кемпа приняло суровое выражение. Он хотел было заговорить, но удержался.

— Впрочем,— сказал он, вдруг меняя тон,— пожалуй, ничего другого вам не оставалось. Ваше положение было безвыходное. А все же...

— Конечно, я был в безвыходном положении, в ужасном положении! Да и горбун довел меня до бешенства: гонялся за мной по всему дому, угрожал своим дурацким револьвером, отпирал и запирал двери... Это было невыносимо! Вы ведь не вините меня, правда? Не вините?

— Я никогда никого не виню,—ответил Кемп.— Это совершенно вышло из моды. Ну, а что вы сделали потом?

— Я был голоден. Внизу я нашел каравай хлеба и немного прогорклого сыра, этого было достаточно, чтобы утолить мой голод. Потом я выпил немного коньяку с водой и прошел мимо завязанного в простыню узла — он лежал не шевелясь—в комнату со старым платьем. Окно этой комнаты, завешенное грязной кружевной занавеской, выходило на улицу. Я осторожно выглянул. День был яркий, ослепительно яркий по сравнению с сумраком угрюмого дома, в котором я находился. Улица была очень оживлена: тележки с фруктами, пролетки, ломовик с кучей ящиков, повозка рыботорговца. У меня зарябило в глазах, и я вернулся к полутемным полкам. Возбуждение мое улеглось, я трезво оценил положение. В комнате стоял слабый запах бензина, употреблявшегося, очевидно, для чистки платья.

Я начал тщательно осматривать комнату за комнатой. Очевидно, горбун уже давно жил в этом доме один.

Любопытная личность... Все, что только могло мне пригодиться, я собрал в комнату, где лежали костюмы, потом стал тщательно отбирать. Я нашел саквояж, который мог оказаться мне очень полезным, пудру, румяна и липкий пластырь.

Сначала я хотел было накрасить и напудрить лицо, чтобы сделать его видимым, но тут же сообразил, что в этом есть большое неудобство: для того, чтобы снова исчезнуть, мне понадобился бы скипидар и некоторые другие средства, не говоря уж о том, что это отнимало бы много времени. Наконец я выбрал маску, слегка карикатурную, но не более, чем многие человеческие лица, темные очки, бакенбарды с проседью и парик. Белья я не нашел, но его можно было приобрести впоследствии, а пока что я закутался в миткалевый плащ и белый кашемировый шарф; носков не было, но башмаки горбуна пришлись почти впору. В кассе оказалось три соверена и на тридцать шиллингов серебра, а взломав шкаф, я нашел восемь фунтов золотом. Снаряженный таким образом, я снова мог выйти на белый свет.

Тут на меня напало сомнение: действительно ли моя наружность правдоподобна? Я внимательно осмотрел себя в маленьком зеркальце, поворачиваясь то так, то этак, проверяя, не упустил ли я чего-нибудь. Нет, как будто все в порядке: фигура, конечно, гротескная, вроде театрального нищего, но общий вид сносный, бывают и такие люди. Немного успокоенный, я сошел с зеркальцем в лавку, опустил занавески и снова осмотрел себя со всех сторон в трюмо.

Несколько минут я собирался с духом, наконец отпер дверь и вышел на улицу, предоставив маленькому горбуну собственными силами выбираться из простыни. Сначала я сворачивал за угол на каждом перекрестке. Мой вид не привлекал ничьего внимания. Казалось, я перешагнул через последнее препятствие.

Он замолчал.

— А горбуна вы так и бросили на произвол судьбы? — спросил Кемп.

— Да,— сказал Невидимка.— Не знаю, что с ним сталось. Вероятно, он развязал простыню, вернее, разорвал ее. Узлы были крепкие.

Он снова замолчал, поднялся и стал смотреть в окно.

— Ну, а потом вы вышли на Стрэнд, и что же дальше?

— О, снова разочарование! Я думал, что мытарства мои кончились. Воображал, что теперь я могу безнаказанно делать все, что вздумается, если только сохраню свою тайну. Так мне казалось. Я мог делать все что угодно, не считаясь с последствиями: стоило только скинуть платье, чтоб исчезнуть. Задержать меня никто не мог. Деньги можно брать где угодно. Я решил задать себе великолепный пир, поселиться в хорошей гостинице и обзавестись новым имуществом. Самоуверенность моя не знала границ, даже вспоминать неприятно, каким я был ослом. Я зашел в ресторан, стал заказывать обед и вдруг сообразил, что, не открыв лица, не могу начать есть. Я заказал обед и вышел взбешенный, сказав официанту, что вернусь через десять минут. Не знаю, приходилось ли вам, Кемп, голодному, как волк, испытывать такое разочарование?

— Такое — никогда, — сказал Кемп, — но я вполне себе это представляю.

— Я готов был убить их, этих кретинов. Наконец, совсем измученный голодом, я зашел в другой ресторан и потребовал отдельную комнату. «Я изуродован,— сказал я.— Получил сильные ранения». Официанты смотрели на меня с любопытством, но расспрашивать, конечно, не смели, и я, наконец, пообедал. Сервировка оставляла желать лучшего, но я вполне насытился и, затянувшись сигарой, стал обдумывать, как быть дальше. На дворе начиналась вьюга.

Чем больше я думал, Кемп, тем яснее понимал, как беспомощен и нелеп невидимый человек в сыром и холодном климате, в огромном цивилизованном городе. До моего безумного опыта мне рисовались всевозможные преимущества. Теперь же я не видел ничего хорошего. Я перебрал в уме все, чего может желать человек. Правда, невидимость позволяла многого достигнуть, но не позволяла мне пользоваться достигнутым. Честолюбие? Но что в высоком звании, если обладатель его принужден скрываться? Какой толк в любви женщины, если она должна быть Далилой? Меня не интересует ни политика, ни сомнительная популярность, ни филантропия, ни спорт. Что же мне оставалось? Чего ради я обратился в

запеленатую тайну, в закутанную и забинтованную пародию на человека?

Он умолк и, казалось, посмотрел в окно.

— А как же вы очутились в Айпинге? — спросил Кемп, чтобы не дать оборваться разговору.

— Я поехал туда работать. У меня тогда мелькнула смутная надежда. Теперь эта мысль созрела. Вернуться в прежнее состояние. Вернуться, когда мне это понадобится, когда я невидимкой сделаю все, что хочу. Об этом-то прежде всего мне и надо поговорить с вами.

— Вы поехали прямо в Айпинг?

— Да. Получил свои заметки и чековую книжку, приобрел белье и все необходимое, заказал реактивы, при помощи которых хотел осуществить свою мысль (как только получу книги, покажу вам все вычисления), и поехал. Боже, что за метель была и как трудно было уберечь проклятый картонный нос, чтобы он не размок от снега!

— Если судить по газетам, — сказал Кемп, — третьего дня, когда вас обнаружили, вы немного...

— Да, немного... Укокошил я этого болвана полисмена?

— Нет, — сказал Кемп, — говорят, он выздоравливает.

— Ну, значит ему повезло. Я совсем взбесился. Вот дураки! Чего они пристали ко мне? Ну, а этот остолоп лавочник?

— Смертных случаев не предвидится, — сказал Кемп.

— Что касается моего бродяги, — сказал Невидимка, зловеще посмеиваясь, — то это еще неизвестно. Ей-богу, Кемп, вам с вашим характером не понять, что такое бешенство! Работаешь долгие годы, придумываешь, строишь планы, и потом какой-нибудь безмозглый, тупой идиот становится тебе поперек дороги! Дураки всех сортов, какие только существуют на свете, старались помешать мне. Если так будет продолжаться, я взбешусь окончательно и начну крошить их направо и налево. Из-за них теперь все стало в тысячу раз трудней.

— В самом деле, положение незавидное, — сухо обронил Кемп.

ГЛАВА XXIV

НЕУДАВШИЙСЯ ПЛАН

— Ну,—сказал Кемп, покосившись на окно,— что же мы теперь будем делать?

Он придвинулся ближе к Невидимке, чтобы заслонить от него троих людей, невероятно медленно, как казалось Кемпу, подымавшихся по холму.

— Что вы собирались делать в Порт-Бэрдоке? У вас есть какой-нибудь план?

— Я хотел удрать за границу. Но, встретив вас, я переменил намерение. Так как стало теплей, и мне легче быть невидимым, я думал, что лучше всего мне двинуться на юг. Ведь тайна моя раскрыта, и здесь все будут искать закутанного человека в маске. А отсюда есть пароходное сообщение с Францией. Я думаю, что можно рискнуть переправиться туда на каком-нибудь пароходе. А из Франции я мог бы по железной дороге поехать в Испанию или даже в Алжир. Это было бы нетрудно. Там можно круглый год оставаться невидимкой. Бродягу этого я превратил бы в подвижной склад моих денег и книг, пока не устроился бы с пересылкой того и другого по почте.

— Понятно.

— И вдруг этому скоту вздумалось поживиться моим имуществом! Он украл мои книги, Кемп! Мои книги! Попадись он мне только!..

— Первым делом надо отобрать у него книги.

— Да где же он? Разве вы знаете?

— Он заперт в городском полицейском управлении, в самой глухой тюремной камере, какая только там нашлась: сам об этом попросил.

— Негодяй! — вырвалось у Невидимки.

— Это несколько нарушает ваши планы.

— Нужно добыть книги, они необходимы.

— Конечно,—согласился Кемп, прислушиваясь к шагам на дворе.— Конечно, книги непременно надо добыть. Но это будет нетрудно, если только он не узнает, что их требуют для вас.

— Верно,—сказал Невидимка и задумался.

Кемп безуспешно пытался поддержать разговор, но тут Невидимка заговорил сам:

— Теперь, когда я очутился у вас, Кемп, все мои планы меняются. Вы человек, способный понять меня. Еще можно сделать многое, очень многое, несмотря на потерю книг, на огласку, несмотря на все, что случилось и что я перенес... Вы никому не говорили обо мне? — спросил он вдруг.

Кемп на мгновение замялся.

— Ведь я обещал,— сказал он.

— Никому? — повторил Гриффин.

— Ни единой душе.

— Ну, тогда...— Невидимка встал и, сунув руки в карманы, зашагал по комнате.— Да, это была ошибка, Кемп, огромная ошибка, что я взялся один за это дело. Напрасно потрачены силы, время, возможности. Один... Удивительно, как беспомощен человек, когда он один! Мелкая кража, потасовка — и все.

Я нуждаюсь в пристанище, Кемп, мне нужен человек, который помог бы мне, спрятал бы меня, мне нужно место, где я мог бы спокойно, не возбуждая ничьих подозрений, есть, спать и отдыхать. Словом, мне нужен сообщник. Тогда возможно все. До сих пор я действовал наобум. Теперь мы обсудим все те выгоды, которые дает невидимость, и все трудности. Заниматься подслушиванием и тому подобным — толку мало: тебя тоже слышно. Воровать это помогает, но не очень. Хоть поймать меня трудно, но, поймав, ничего не стоит засадить в тюрьму. Невидимость полезна, когда надо бежать или, наоборот, подкрадываться. Значит, она хороша при убийстве. Как бы человек ни был вооружен, я легко могу выбрать наименее защищенное место, ударить, спрятаться и удрать как и куда пожелаю.

Кемп погладил усы. Кажется, кто-то движется внизу.

— Мы должны заняться убийствами, Кемп.

— Заняться убийствами,— повторил Кемп.— Я слушаю вас, Гриффин, но это не значит, что я соглашаюсь с вами. Зачем мы должны убивать?

— Не бессмысленно убивать, а разумно отнимать жизнь. Дело обстоит следующим образом: они знают, что существует Невидимка, знают не хуже нас с вами. И этот Невидимка, Кемп, должен установить царство террора. Вы изумлены, конечно. Но я говорю не шутя: царство террора. Невидимка должен захватить какой-нибудь го-

род, хотя бы этот ваш Бэрдок, терроризировать население и подчинить своей воле всех и каждого. Он издает свои приказы. Осуществить это можно тысячью способов, скажем, подсовывать под двери листки бумаги. И кто дерзнет ослушаться, будет убит, так же как и его заступники.

— Гм,— пробормотал Кемп, прислушиваясь больше к скрипу отворявшейся внизу двери, чем к словам Гриффина.— Я думаю, Гриффин,— сказал он, стараясь казаться внимательным,— что положение вашего сообщника оказалось бы не из легких.

— Никто не будет знать, что он мой сообщник,—горячо возразил Невидимка и вдруг остановился.— Стойте, что там такое?

— Ничего,— сказал Кемп и вдруг заговорил громко и быстро: — Я не могу согласиться с вами, Гриффин. Поймите же, не могу. К чему вести заведомо проигранную игру? Разве это может дать вам счастье? Не уподобляйтесь одинокому волку. Опубликуйте ваше открытие; если не хотите рассказать о нем всему миру, то доверьте его по крайней мере своей стране. Подумайте, чего вы могли бы добиться с миллионом помощников...

Невидимка прервал Кемпа.

— Шаги на лестнице,— прошептал он, подняв руку.

— Не может быть,— сказал Кемп.

— Сейчас посмотрим.

И Невидимка шагнул к двери. После секундного колебания Кемп бросился ему наперерез. Невидимка, вздрогнув, остановился.

— Предатель! — крикнул Голос, и халат расстегнулся. Бросившись в кресло, Невидимка начал раздеваться. Кемп сделал несколько торопливых шагов к двери, и сейчас же Невидимка — ног его уже не было видно — с криком вскочил. Кемп распахнул дверь настежь.

Снизу отчетливо донеслись голоса и топот бегущих ног.

Кемп оттолкнул Невидимку, выскочил в коридор и захлопнул дверь. Ключ заранее был вставлен снаружи. Еще мгновение — и Гриффин очутился бы в кабинете один под замком. Но помешала случайность. Наспех вставленный утром ключ от толчка выскочил и со стуком упал на ковер.

Кемп помертвел. Схватившись обеими руками за ручку, он изо всех сил старался удержать дверь. Несколько мгновений ему это удавалось. Потом дверь приоткрылась дюймов на шесть, он ее снова быстро прихлопнул. В другой раз она рывком открылась на фут, и в щель стал протискиваться халат. Невидимые пальцы схватили Кемпа за горло, и ему пришлось выпустить ручку двери, чтобы защищаться. Он был оттеснен, опрокинут и с силой отброшен в угол площадки. Пустой халат упал на него.

На лестнице стоял полковник Эдай, начальник бэрдокской полиции, которому Кемп написал письмо. Он с ужасом глядел на неожиданно появившегося Кемпа и на болтающиеся в воздухе пустые предметы одежды. Он видел, как Кемп был опрокинут, как он с трудом поднялся, сделал шаг вперед и опять рухнул на пол.

И вдруг его самого что-то ударило. Удар из пустоты! Будто на него навалилась огромная тяжесть. Чьи-то пальцы сдавили ему горло, чье-то колено ударило его в пах, и он кубарем скатился с лестницы. Невидимая нога наступила ему на спину, кто-то зашлепал по лестнице босыми ногами; внизу, в прихожей, оба полицейских вскрикнули и побежали, входная дверь с шумом захлопнулась.

Полковник Эдай приподнялся и сел, бессмысленно озираясь. Сверху, пошатываясь, сходил Кемп, растрепанный и перепачканный; щека у него побелела от удара, из разбитой губы текла кровь, в руках он держал халат и другие части туалета.

— Удрал! — крикнул Кемп.— Плохо дело. Удрал!

ГЛАВА XXV

ОХОТА НА НЕВИДИМКУ

Сначала Эдай ничего не мог понять из бессвязного рассказа Кемпа. Они оба стояли на лестнице, и Кемп все еще держал в руках одежду, оставшуюся от Гриффина. Наконец Эдай начал понимать суть происшедшего.

— Он помешанный,— торопливо говорил Кемп,— это не человек, а зверь. Думает только о себе. Он не считается ни с чем, кроме собственной выгоды и безопасности. Я его выслушал сегодня — это злобный эгоист... Пока

он только калечил людей. Но он будет убивать, если мы его не схватим. Он вызовет панику. Он ни перед чем не остановится. И он теперь на воле, обезумевший от ярости!

— Ясно одно: его надо поймать,— сказал Эдай.

— Но как? — воскликнул Кемп и вдруг разразился потоком слов:— Надо сейчас же принять меры. Надо всех поднять на ноги, чтобы Гриффин не ушел из этих мест. Иначе он будет колесить по стране, калечить и убивать людей. Он мечтает о царстве террора! Понимаете ли вы: террора! Вы должны установить надзор на железных дорогах, на шоссе, на судах. Вызовите войска. Единственная надежда на то, что он не уйдет, пока не достанет своих заметок, которые очень ценит. Я вам потом объясню. У вас в полицейском управлении сидит некий Марвел...

— Знаю,— сказал Эдай.— Книги, да. Но ведь этот бродяга...

— Не сознается, что книги у него. Но Невидимка уверен, что Марвел их спрятал. А главное, надо не давать Невидимке ни есть, ни спать. Днем и ночью люди должны бодрствовать, сторожить, чтобы он не мог достать никакой еды. Все должно быть на запоре. Все дома на запор! Дай бог, чтобы были холода и дожди! Все от мала до велика должны участвовать в охоте! Поймите, Эдай, его надо поймать во что бы то ни стало! Иначе нам грозят неисчислимые бедствия, подумать и то страшно.

— Так мы и будем действовать,— сказал Эдай.— Сейчас же пойду и возьмусь за дело. А может, и вы пойдете со мной? Пойдемте! Мы устроим военный совет, пригласим Хопса, администрацию железной дороги. Ей-богу, нельзя терять ни минуты... А по дороге расскажете мне все подробно. Что же еще предпринять? Да бросьте вы этот халат!

Через минуту Эдай и Кемп уже были внизу. Дверь была открыта настежь, и двое полицейских все еще глазели в пустоту.

— Сбежал, сэр,— доложил один из них.

— Мы сейчас отправляемся в Центральное управление,— сказал Эдай.— Один из вас пусть найдет извозчика и велит ему догнать нас. Да поворачивайтесь! Итак, Кемп, что же дальше?

— Собак надо,— сказал Кемп.— Найдите собак. Они не видят, но чуют. Найдите собак.

— Хорошо,— согласился Эдай.— Скажу вам по секрету: у тюремного начальства в Холстэде есть человек, который держит ищеек. Итак, собаки. Дальше.

— Не забудьте,— сказал Кемп,— что пища, поглощенная им, видна. Она видна, пока не усвоится организмом. Значит, после еды он должен прятаться. Надо обыскать каждый кустик, каждый уголок. Надо убрать все оружие и все, что может служить оружием. Ему ничего нельзя подолгу носить с собой. А все, чем можно воспользоваться, чтобы нанести удар, нужно спрятать подальше.

— Сделаем и это,— сказал Эдай.— Он от нас не уйдет, дайте срок.

— А по дорогам...— начал Кемп и запнулся.

— Что? — спросил Эдай.

— Насыпать толченого стекла. Это, конечно, жестоко, но если подумать, что он может натворить...

Эдай свистнул:

— Не слишком ли это? Нечестная игра. Впрочем, велю приготовить на случай, если он слишком зарвется.

— Говорю вам, что это уже не человек, а зверь,— сказал Кемп.— Не сомневаюсь, что он осуществит свою мечту о терроре, стоит ему только оправиться после бегства. Мы должны во что бы то ни стало его опередить. Он сам бросил вызов человечеству. Так пусть его кровь падет на его голову!

ГЛАВА XXVI

УБИЙСТВО УИКСТИДА

Невидимка по всем признакам выбежал из дома Кемпа в совершенном бешенстве. Маленький ребенок, игравший у калитки, был поднят на воздух и с такой силой отброшен в сторону, что сломал ножку. После этого Невидимка на несколько часов исчез. Никто так и не узнал, куда он направился и что делал. Но можно легко представить себе, как он бежал в знойный июньский полдень в гору и дальше, по меловым холмам за Порт-

Бэрдоком, кляня свою судьбу, и, наконец, усталый и измученный нашел приют в кустарнике близ Хинтондина, где решил собраться с мыслями и заново обдумать рухнувшие планы борьбы против себе подобных. Скорее всего он сразу же укрылся именно в этих местах, потому что около двух часов пополудни он обнаружил там свое присутствие самым зловещим, трагическим образом.

Каково было тогда его настроение и что он замышлял, можно только догадываться. Несомненно, он был до крайности взбешен предательством Кемпа, и, хотя вполне понятны мотивы, руководившие Кемпом, все же нетрудно представить себе гнев, который должна была вызвать такая неожиданная измена, и даже отчасти оправдать его. Быть может, Невидимку снова охватило то чувство растерянности, которое он испытал во время событий на Оксфорд-стрит: ведь он явно рассчитывал, что Кемп поможет ему осуществить жестокий план—подвергнуть человечество террору. Как бы то ни было, около полудня он исчез, и никто не знает, что он делал до половины третьего. Для человечества это, возможно, и к лучшему, но для него самого такое бездействие оказалось роковым.

В эти два с половиной часа за дело принялось множество людей, рассеянных по всей округе. Утром Невидимка был еще просто сказкой, пугалом; в полдень же благодаря сухому, но выразительному воззванию Кемпа он превратился уже в совершенно осязаемого противника, которого надо было ранить, захватить живым или мертвым, и все население с невероятной быстротой стало готовиться к борьбе. Даже в два часа дня Невидимка еще мог бы спастись, забравшись в поезд, но после двух это стало уже невыполнимо. По всем железнодорожным линиям на обширном пространстве между Саутгемптоном, Манчестером, Брайтоном и Хоршэмом пассажирские поезда шли с запертыми дверями, а товарное движение почти прекратилось. В большом круге, радиусом миль в двадцать вокруг Порт-Бэрдока, по дорогам и полям рыскали группы по три-четыре человека с ружьями, дубинками и собаками.

Конные полицейские объезжали окрестные селения, останавливались у каждого дома и предупреждали жителей, чтобы они запирали двери и не выходили без ору-

жия. В три часа закрылись школы, и перепуганные дети тесными кучками бежали домой. Часам к четырем воззвание, составленное Кемпом и подписанное Эдаем, было уже расклеено по всей округе. В нем кратко, но ясно были указаны все меры борьбы: не давать Невидимке есть и спать, быть все время настороже, чтобы принять решительные меры, если где-либо обнаружится его присутствие. Действия властей были так быстры и энергичны, а страх перед ужасной опасностью так силен, что до наступления ночи во всей округе на протяжении нескольких сот квадратных миль было введено осадное положение. И в тот же вечер по всему напуганному и насторожившемуся краю пронесся трепет ужаса: из уст в уста передавали слух, молниеносный и достоверный, об убийстве мистера Уикстида.

Если наше предположение, что Невидимка укрылся в кустарнике близ Хинтондина, правильно, то он, очевидно, вскоре после полудня вышел оттуда с неким намерением, для выполнения которого требовалось оружие. Что это было за намерение, установить нельзя, но оно было. Это, на мой взгляд, неопровержимо; ведь не случайно еще до стычки с Уикстидом Невидимка где-то добыл железный прут.

О подробностях этой стычки мы, разумеется, ничего не знаем. Произошла она на краю песчаного карьера, ярдов за двести от ворот виллы лорда Бэрдока. Все указывает на отчаянную борьбу: утоптанная земля, многочисленные раны Уикстида, его сломанная трость; но трудно себе представить, что могло послужить причиной нападения, кроме мании убийства. Мысль о помешательстве напрашивается сама собой. Мистер Уикстид, управляющий лорда Бэрдока, человек лет сорока пяти, был самым безобидным существом на свете и уж, конечно, никогда первым не напал бы на такого страшного врага. Раны, по-видимому, были нанесены мистеру Уикстиду железным прутом, вытащенным из сломанной ограды. Невидимка остановил этого мирного человека, спокойно направлявшегося домой завтракать, напал на него, быстро сломил его слабое сопротивление, перебил ему руку, повалил беднягу наземь и размозжил ему голову.

Железный прут он, вероятно, вытащил из ограды еще до встречи со своей жертвой,— должно быть, он держал

его уже наготове. Еще две подробности проливают некоторый свет на это происшествие. Во-первых, песчаный карьер находился не совсем на пути мистера Уикстида к дому, а ярдов на двести в сторону. Во-вторых, по свидетельству маленькой девочки, которая возвращалась из школы, покойный какой-то странной походкой «трусил» через поле по направлению к карьеру. По тому, как она это изобразила, можно было заключить, что он словно преследовал что-то движущееся по земле, время от времени замахиваясь тростью. Девочка была последней, кто видел несчастного мистера Уикстида живым. Он шел прямо навстречу смерти; он спустился в ложбинку, и росшие там деревья скрыли от девочки последнюю схватку.

Эти подробности, по крайней мере в глазах пишущего эти строки, делают убийство Уикстида не столь беспричинным. Можно представить себе, что Гриффин прихватил железный прут, конечно, как оружие, но без умысла совершить убийство. Тут мог попасться на дороге Уикстид и увидеть прут, который непонятным образом двигался по воздуху. Нисколько не думая о Невидимке — ведь от этих мест до Порт-Бэрдока десять миль,— он мог последовать за прутом. Весьма вероятно, что он даже и не слыхал о Невидимке. Легко далее допустить, что Невидимка стал потихоньку удаляться, не желая обнаруживать свое присутствие, а Уикстид, возбужденный и заинтересованный, не отставал от странного самодвижущегося предмета и наконец ударил по нему.

Конечно, при обычных обстоятельствах Невидимка мог бы без особого труда уйти от своего уже немолодого преследователя, но положение тела убитого Уикстида дает основание думать, что тот имел несчастье загнать своего противника в угол между густой зарослью крапивы и песчаным карьером. Помня крайнюю раздражительность Невидимки, нетрудно представить себе остальное.

Все это, впрочем, одни догадки. Единственные несомненные факты (ибо на рассказы детей не всегда можно полагаться) — это тело убитого Уикстида и окровавленный железный прут, валявшийся в крапиве. Очевидно, Гриффин бросил прут потому, что, охваченный волнением,

забыл о цели, для которой им вооружился, если вначале такая цель и была. Конечно, он был большой эгоист и человек бесчувственный, но вид жертвы, его первой жертвы, окровавленной и жалкой, распростертой у его ног, мог пробудить в нем забытое раскаяние и на время отвратить его от злодейских намерений.

После убийства мистера Уикстида Невидимка, по-видимому, бежал в сторону холмов. Рассказывают, что два работника на поле у Ферн Боттом слышали вечером какой-то таинственный голос. Кто-то рыдал, смеялся, охал и стонал, а порой громко вскрикивал. Должно быть, жутко было это слушать. Голос пронесся над клеверным полем и замер вдалеке у холмов.

В этот вечер Невидимке, вероятно, пришлось узнать, как быстро воспользовался Кемп его откровенностью. Должно быть, он нашел все двери на замке, бродил по железнодорожным станциям, подкрадывался к гостиницам, без сомнения, прочел расклеенные повсюду воззвания и понял, какой предпринят против него поход. С наступлением вечера по полям разбрелись группы вооруженных людей, и раздавался собачий лай. Эти охотники на человека получили специальные указания, как помогать друг другу в случае схватки с врагом. Но Невидимке удалось избежать встречи с ними. Мы можем отчасти понять его ярость, если вспомним, что он сам сообщил все сведения, которые так беспощадно обращались теперь против него. В этот день по крайней мере он пал духом. Почти целые сутки, если не считать стычки с Уикстидом, он чувствовал себя как затравленный зверь. Ночью ему удалось, вероятно, поесть и поспать, ибо утром к нему снова вернулось присутствие духа: он опять стал сильным, деятельным, хитрым и злобным, был готов к своей последней великой борьбе со всем миром.

ГЛАВА XXVII

В ОСАЖДЕННОМ ДОМЕ

Кемп получил странное послание, написанное карандашом на засаленном клочке бумаги.

«Вы проявили изумительную энергию и сообразительность,— говорилось в письме,— хотя я не представляю

себе, чего вы надеетесь этим достичь. Вы против меня. Весь день вы травили меня, хотели лишить меня отдыха и ночью. Но я насытился вопреки вам, выспался вопреки вам, и игра еще только начинается. Игра только начинается! Мне ничего не остается, как прибегнуть к террору. Настоящим письмом я провозглашаю первый день Террора. Отныне Порт-Бэрдок уже не под властью королевы, передайте это вашему начальнику полиции и его шайке: он под моей властью, под Властью Террора. Нынешний день — первый день первого года новой эры — эры Невидимки. Я — Невидимка Первый. Сначала мое правление будет милосердным. В первый день будет совершена только одна казнь, для острастки, казнь человека по фамилии Кемп. Сегодня смерть настигнет этого человека. Пусть запирается, пусть прячется, пусть окружает себя охраной, пусть оденется в броню, если угодно,— смерть, незримая смерть приближается к нему. Пусть принимает меры предосторожности: тем большее впечатление его смерть произведет на мой народ. Смерть двинется из почтового ящика сегодня в полдень. Письмо будет опущено в ящик перед самым приходом почтальона — и в путь! Игра началась. Смерть надвигается на него. Не помогай ему, народ мой, дабы не постигла смерть и тебя. Сегодня Кемп должен умереть».

Кемп дважды прочел письмо.

— Это не шутки,— сказал он.— Это его голос! И он будет действовать.

Перевернув листок, он увидел на адресе штемпель «Хинтондин» и прозаическую приписку: «Доплатить 2 пенса».

Кемп встал из-за стола, не докончив завтрака,— письмо пришло в два часа дня,— и поднялся в свой кабинет. Он позвонил экономке, велел ей немедленно обойти весь дом, осмотреть все задвижки на окнах и закрыть ставни. Из запертого ящика стола в спальне он вынул небольшой револьвер, тщательно осмотрел его и положил в карман домашней куртки. Затем он написал несколько записок, в том числе и полковнику Эдаю, и поручил служанке отнести их, дав ей при этом точные наставления, как выйти из дому.

— Опасности нет никакой,— сказал он, прибавив про

себя: «Для вас». После этого он некоторое время сидел задумавшись, а потом вернулся к остывшему завтраку.

Он ел рассеянно, погруженный в свои мысли. Потом сильно ударил кулаком по столу.

— Мы его поймаем! — воскликнул он.— И приманкой буду я. Он зарвется.

Кемп поднялся наверх, тщательно закрывая за собой все двери.

— Это игра,— сказал он.— И игра необычайная. Но все шансы на моей стороне, мистер Гриффин, хоть вы невидимы и храбры. Гриффин contra mundum [1].

Он стоял у окна, глядя на залитый солнцем косогор.

— Ведь ему надо добывать себе пищу каждый день. Не завидую ему. А верно ли, что прошлой ночью ему удалось поспать? Где-нибудь под открытым небом, чтобы никто не мог на него наткнуться... Вот если бы вместо этой жары наступили холода и слякоть... А ведь он, быть может, в эту самую минуту наблюдает за мной.

Кемп вплотную подошел к окну и вдруг в испуге отскочил. Что-то с силой ударилось в стену над рамой.

— Однако нервы у меня расходились,— проговорил он про себя, но добрых пять минут не решался подойти к окну.— Воробей, должно быть,— сказал он.

Тут он услыхал звонок у входной двери и поспешил вниз. Он отодвинул засов, повернул ключ, осмотрел цепь, закрепил ее и осторожно приоткрыл дверь, не показываясь сам. Знакомый голос окликнул его. Это был полковник Эдай.

— На вашу служанку напали,— сказал Эдай из-за двери.

— Что?! — воскликнул Кемп.

— У нее отняли вашу записку. Он где-нибудь поблизости. Впустите меня.

Кемп снял цепь, и Эдай кое-как протиснулся в узкую щель чуть приоткрытой двери. Он облегченно вздохнул, когда Кемп снова наложил засов.

— Записку вырвали у нее из рук. Она страшно испугалась. Сейчас она у меня в управлении. С ней истерика. Он где-нибудь поблизости. Что было в записке?

---

[1] Против всего мира (*лат.*).

Кемп выругался.

— И дурак же я! — сказал он.— Мог бы догадаться: ведь отсюда до Хинтондина меньше часу ходьбы. Уже!

— В чем дело? — спросил Эдай.

— Вот взгляните,— сказал Кемп и повел Эдая в кабинет. Он протянул ему письмо Невидимки. Эдай прочел и тихонько свистнул.

— А вы? — спросил он.

— Подстроил ловушку,— сказал Кемп,— и, как дурак, послал план с горничной. Прямо ему в руки.

Эдай терпеливо выслушал проклятия Кемпа.

— Он убежит,— сказал Эдай.

— Ну нет,— возразил Кемп.

Сверху донесся звон разбитого стекла. Эдай заметил маленький револьвер, торчавший из кармана Кемпа.

— Это в кабинете! — сказал Кемп и первый стал подниматься по лестнице. Еще не дойдя до верха, они опять услышали звон.

В кабинете они увидели, что два окна из трех разбиты, пол усеян осколками, а на письменном столе лежит большой булыжник. Оба остановились на пороге, глядя на разрушение. Кемп снова выругался, и в ту же минуту третье окно треснуло, точно выстрелили из пистолета, и на пол со звоном посыпались осколки.

— Зачем это? — сказал Эдай.

— Это начало,— ответил Кемп.

— А влезть сюда нет никакой возможности?

— Даже кошка не влезет,— сказал Кемп.

— Ставен нет?

— Здесь нет. Во всех нижних комнатах... Ого!

Снизу донесся звон стекла и треск досок от сильного удара.

— Это, должно быть... да, это в спальне. Он собирается обработать весь дом. Дурак он. Ставни закрыты, и стекло будет падать наружу. Он изрежет себе ноги.

Еще одно окно разлетелось вдребезги. Кемп и Эдай стояли на площадке, не зная, что делать.

— Вот что,— сказал Эдай,— дайте мне палку или что-нибудь в этом роде; я схожу в управление и велю прислать собак. Тогда мы его поймаем! Они будут здесь через каких-нибудь десять минут...

Еще одно окно разделило участь остальных.

— Нет ли у вас револьвера? — спросил Эдай.

Кемп сунул руку в карман и замялся.

— Нет,— ответил он,— по крайней мере лишнего нет.

— Я принесу его обратно,— сказал Эдай.— Вы ведь в безопасности.

Кемп, пристыженный, отдал револьвер.

— Теперь пойдемте отворять дверь,— сказал Эдай.

Пока они стояли в прихожей, не решаясь подойти к двери, одно из окон в спальне на первом этаже затрещало. Кемп подошел к двери и начал как можно осторожнее отодвигать засов. Лицо его было несколько бледнее обыкновенного.

— Выходите,— сказал Кемп.

Еще секунда, и Эдай был уже на крыльце, а Кемп снова задвинул засов. Эдай помедлил немного: стоять, прислонившись к двери, было все-таки спокойнее. Потом выпрямился и твердо зашагал вниз по ступенькам. Он пересек лужайку и приблизился к калитке. Казалось, по траве пронесся ветерок. Что-то зашевелилось рядом с ним.

— Погодите минутку,— произнес Голос.

Эдай остановился как вкопанный, рука его крепко сжала револьвер.

— В чем дело? — сказал Эдай, бледный и угрюмый; каждый нерв его был напряжен.

— Вы весьма меня обяжете, если вернетесь в дом,— сказал Голос так же угрюмо и напряженно, как Эдай.

— К сожалению, не могу,— сказал Эдай несколько охрипшим голосом и провел языком по пересохшим губам. Голос был, как ему показалось, слева от него. А что, если попытать счастья и выстрелить?

— Куда вы идете? — спросил Голос.

Оба сделали быстрое движение, и в руке Эдая блеснул револьвер.

Но он отказался от своего намерения и задумался.

— Куда я иду — это мое дело,— проговорил он медленно.

Не успел он произнести эти слова, как невидимая рука обхватила его за шею, в спину уперлось колено, и он упал навзничь. Вытащив кое-как револьвер, он выстрелил наугад; в ту же секунду он получил сильный удар

по зубам, и револьвер вырвали у него из рук. Он сделал тщетную попытку ухватиться за ускользнувшую невидимую ногу, попробовал встать и снова упал.

— Проклятье! — воскликнул Эдай.

Голос рассмеялся.

— Я убил бы вас, да жалко тратить пулю,— сказал он.

Эдай увидел футах в шести перед собой дуло повисшего в воздухе револьвера.

— Ну? — сказал Эдай, садясь.

— Встаньте! — приказал Голос.

Эдай встал.

— Смирно! — решительно произнес Голос.— Бросьте все свои затеи. Помните, что я ваше лицо хорошо вижу, а вы меня не видите. Вернитесь в дом.

— Он меня не впустит,— сказал Эдай.

— Очень жаль,— сказал Невидимка.— С вами я не ссорился.

Эдай снова провел языком по губам. Он отвел взгляд от револьвера, увидел вдали море, очень синее и темное в блеске полуденного солнца, шелковистые зеленые холмы, белый скалистый мыс, многолюдный город и вдруг почувствовал, как прекрасна жизнь. Он перевел взгляд на маленький металлический предмет, висевший между небом и землей в шести футах от него.

— Что же мне делать? — мрачно спросил он.

— А мне что делать? — спросил Невидимка.— Вы приведете подмогу. Нет, придется вам вернуться назад.

— Попытаюсь. Если он впустит меня, вы обещаете не врываться за мной в дом?

— С вами я не ссорился,— ответил Голос.

Кемп, выпустив Эдая, поспешил наверх; осторожно ступая по осколкам, подкрался к окну кабинета и глянул вниз. Он увидел Эдая, разговаривающего с Невидимкой.

— Что же он не стреляет? — пробормотал Кемп.

Тут револьвер переместился и засверкал на солнце. Заслонив глаза, Кемп старался проследить движение ослепительного луча.

— Так и есть! — воскликнул он.— Эдай отдал револьвер!

— Обещайте не врываться за мной,— говорил в это время Эдай.— Не увлекайтесь своей удачей. Уступите в чем-нибудь.

— Возвращайтесь в дом. Говорю вам прямо: я ничего не обещаю.

Эдай, видимо, вдруг принял решение. Он повернул к дому и медленно пошел вперед, заложив руки за спину. Кемп с недоумением наблюдал за ним. Револьвер исчез, затем снова сверкнул, снова исчез и появился, маленький блестящий предмет, неотступно следовавший за Эдаем. Дальнейшие события развертывались молниеносно: Эдай прыгнул назад, резко повернулся, хотел схватить револьвер, не поймал его, вскинул руки и упал ничком, а над ним взвилось маленькое синее облачко. Выстрела Кемп не слышал. Эдай сделал несколько судорожных движений, приподнялся, опираясь на руку, снова упал и остался недвижим.

Кемп постоял немного, глядя на безмятежно спокойную позу Эдая. День был жаркий и безветренный, казалось, весь мир замер, только в кустах между домом и калиткой две желтые бабочки гонялись одна за другой. Эдай лежал на лужайке возле калитки. Во всех виллах на холме шторы были спущены, но в маленькой зеленой беседке виднелась белая фигура — по-видимому, старик, который мирно дремал. Кемп внимательно всматривался, пытаясь разглядеть в воздухе револьвер, но он исчез. Взгляд Кемпа вернулся к Эдаю. Игра начиналась всерьез.

Кто-то начал звонить и стучаться в наружную дверь все громче, настойчивей, но прислуга, повинуясь распоряжениям Кемпа, сидела, запершись, по своим комнатам. Наконец все стихло. Кемп посидел немного, прислушиваясь, потом осторожно выглянул по очереди в каждое из трех окон. После этого вышел на лестницу и опять напряженно прислушался. Затем пошел в спальню, вооружился там кочергой и снова отправился проверять внутренние запоры окон в нижнем этаже. Все было прочно и надежно. Он вернулся наверх. Эдай по-прежнему неподвижно лежал у края посыпанной грави-

ем дорожки. По дороге, мимо вилл, шли его служанка и двое полисменов.

Стояла мертвая тишина. Кемпу показалось, что трое людей приближаются очень медленно. Он спрашивал себя, что делает его противник.

Вдруг он вздрогнул. Снизу донесся треск. После некоторого колебания Кемп сошел вниз. Внезапно весь дом огласился тяжелыми ударами и треском расщепляемого дерева. Звенели и лязгали железные задвижки на ставнях. Он повернул ключ, открыл дверь в кухню. Как раз в эту минуту в комнату полетели разрубленные и расщепленные ставни. Кемп остановился, оцепенев от ужаса. Оконная рама, кроме одной перекладины, была еще цела, но от стекла осталась только зубчатая каемка. Ставни были разрублены топором, который теперь со всего размаха ударял по раме и железной решетке, защищавшей окно. Но вдруг топор отскочил в сторону и исчез.

Кемп увидел лежавший на дорожке возле дома револьвер, и тотчас револьвер подпрыгнул. Кемп попятился. Еще секунда — раздался выстрел; щепка, оторванная от захлопнутой Кемпом кухонной двери, пролетела над его головой. Он запер дверь на ключ и сейчас же услышал крики и смех Гриффина. Потом под сокрушительными ударами топора снова затрещало дерево.

Кемп стоял в коридоре, собираясь с мыслями. Через минуту Невидимка будет на кухне. Эта дверь задержит его ненадолго, и тогда...

У наружной двери позвонили. Должно быть, полисмены. Кемп побежал в прихожую, укрепил цепь и отодвинул засов. Только окликнув служанку и услышав ее голос, он снял цепь, все трое гурьбой ввалились в дом, и Кемп снова захлопнул дверь.

— Невидимка! — сказал Кемп.— У него револьвер. Осталось два заряда. Он убил Эдая. Или, во всяком случае, ранил его. Вы не видели его на лужайке? Он там лежит.

— Кто? — спросил один из полицейских.

— Эдай,— сказал Кемп.

— Мы прошли задворками,— сказала служанка.

— Что это за треск? — спросил другой полицейский.

— Он на кухне... или скоро там будет. Он нашел топор...

Вдруг на весь дом раздались удары топора по кухонной двери. Служанка взглянула на дверь, задрожала и попятилась в столовую. Кемп отрывочно объяснял положение. Они услышали, как подалась кухонная дверь.

— Сюда! — крикнул Кемп, быстро вталкивая полисменов в столовую.

— Кочергу! — крикнул Кемп и бросился к камину. Кочергу, которую он принес из спальни, он отдал первому из полисменов, а кочергу из столовой — другому. Вдруг он отскочил назад.

Один из полисменов пригнулся и, вскрикнув, поймал топор кочергой... Револьвер выпустил предпоследний заряд, пробив ценное полотно кисти Сиднея Купера. Второй полисмен ударил своей кочергой по маленькому смертоносному оружию, точно хотел убить осу, и револьвер со стуком упал на пол.

Как только началась схватка, служанка вскрикнула, постояла с минуту у камина и бросилась отворять ставни, вероятно, думая спастись через разбитое окно.

Топор выбрался в коридор и остановился футах в двух от пола. Слышно было тяжелое дыхание Невидимки.

— Вы оба отойдите,— сказал он.— Мне нужен Кемп.

— А нам нужны вы,— сказал первый полисмен и, выступив вперед, ударил кочергой в направлении Голоса. Но Невидимке удалось уклониться от удара, и кочерга попала в стойку для зонтиков.

Полисмен едва устоял на ногах, и в ту же минуту топор стукнул его по голове, смяв каску, словно она была из бумаги, и он кубарем вылетел на кухонную лестницу. Но второй полисмен ударил кочергой позади топора и попал во что-то мягкое. Раздался крик боли, и топор упал на пол. Полисмен ударил опять, но попал в пустоту; потом он наступил ногой на топор и ударил еще раз. Затем, держа кочергу наготове, стал внимательно прислушиваться, стараясь уловить какое-нибудь движение.

Он услышал, как раскрылось окно в столовой и затем раздались быстрые шаги. Товарищ его приподнялся и сел; кровь текла у него по щеке.

— Где он? — спросил раненый.

— Не знаю. Я зацепил его. Стоит где-нибудь в прихожей, если только не шмыгнул мимо тебя. Доктор Кемп! Сэр!..

Никакого ответа.

— Доктор Кемп! — снова позвал полисмен.

Раненый стал медленно подниматься на ноги. Наконец ему это удалось. Вдруг с кухонной лестницы донеслось шлепанье босых ног.

— Гоп! — крикнул первый полисмен и метнул кочергу; она расплющила газовый рожок.

Он пустился было преследовать Невидимку, но потом раздумал и вошел в столовую.

— Доктор Кемп...— начал он и сразу остановился.— Вот так храбрец этот доктор Кемп,— сказал он, обращаясь к заглянувшему через его плечо товарищу.

Окно в столовой было раскрыто настежь. Ни служанки, ни Кемпа.

Свое мнение о докторе Кемпе второй полисмен выразил кратко и энергично.

ГЛАВА XXVIII

ТРАВЛЯ ОХОТНИКА

Мистер Хилас, владелец соседней виллы, спал в своей беседке, когда началась осада дома Кемпа. Мистер Хилас принадлежал к тому упрямому меньшинству, которое ни за что не хотело верить «нелепым россказням о Невидимке». Жена его, однако, слухам верила и не раз впоследствии напоминала об этом мужу. Он вышел погулять по своему саду как ни в чем не бывало, а после обеда по давней привычке прилег. Все время, пока Невидимка бил окна в доме Кемпа, мистер Хилас преспокойно спал, но вдруг проснулся и почувствовал неладное. Он взглянул на дом Кемпа, протер глаза и снова взглянул. Потом он спустил ноги и сел, прислушиваясь. Он помянул черта, но странное видение не исчезло. Дом выглядел так, как будто его бросили с месяц назад после погрома. Все стекла были разбиты, и все окна, кроме окон кабинета на верхнем этаже, были изнутри закрыты ставнями.

— Готов поклясться,— мистер Хилас посмотрел на часы,— что двадцать минут назад все было в порядке.

Вдалеке раздавались мерные удары и звон стекла. А затем, пока он сидел с разинутым ртом, произошло нечто еще более странное. Ставни столовой распахнулись, и служанка в шляпе и пальто появилась в окне, судорожно стараясь поднять раму. Вдруг возле нее появился еще кто-то и стал помогать ей. Доктор Кемп! Еще минута — окно открылось, и служанка вылезла из него; она бросилась бежать и исчезла в кустах. Мистер Хилас встал, нечленораздельными возгласами выражая свое волнение по поводу столь поразительных событий. Он увидел, как Кемп взобрался на подоконник, выпрыгнул в окно и в ту же минуту появился на дорожке, обсаженной кустами; он бежал, пригнувшись, словно прячась от кого-то. Он исчез за кустом, потом показался опять возле изгороди со стороны открытого поля. В один миг он перелез через изгородь и кинулся бежать вниз по косогору, прямо к беседке мистера Хиласа.

— Господи! — воскликнул мистер Хилас, пораженный страшной мыслью.— Это тот мерзавец, Невидимка! Значит, все правда!

Для мистера Хиласа такая мысль означала: немедленно действовать, и кухарка его, наблюдавшая за ним из окна верхнего этажа, с удивлением увидела, как он ринулся к дому со скоростью добрых девяти миль в час.

— Чего это он так испугался? — пробормотала кухарка.— Мчится как угорелый.

Раздалось хлопанье дверей, звон колокольчика и голос мистера Хиласа, оравшего во все горло:

— Заприте двери! Заприте окна! Заприте все! Невидимка идет!

Весь дом тотчас же наполнился криками, шумом и топотом бегущих ног. Мистер Хилас сам побежал закрывать балконные двери, и тут из-за забора показалась голова, плечи и колени Кемпа. Еще минута — и Кемп, перемахнув через грядку спаржи, помчался по теннисной площадке к дому.

— Нельзя,— сказал мистер Хилас, задвигая засов.— Мне очень жаль, если он гонится за вами, но сюда нельзя.

К стеклу прижалось лицо Кемпа, искаженное ужасом. Он стал стучать в балконную дверь и неистово рвать

ручку. Видя, что все напрасно, он пробежал по балкону, спрыгнул в сад и начал стучаться в боковую дверь. Потом выскочил через боковую калитку, обогнул дом и пустился бежать по дороге. И едва успел он скрыться из глаз мистера Хиласа, все время испуганно смотревшего в окно, как грядку спаржи безжалостно смяли невидимые ноги. Тут мистер Хилас помчался по лестнице наверх и дальнейшего хода охоты уже не видел. Но, пробегая мимо окна, он услышал, как хлопнула боковая калитка.

Выскочив на дорогу, Кемп, естественно, побежал под гору. Таким образом, ему пришлось теперь самому совершить тот же пробег, за которым он следил столь критическим взором из окна своего кабинета всего лишь четыре дня тому назад. Для человека, давно не упражнявшегося, Кемп бежал неплохо, и хотя он побледнел и обливался потом, мысль его работала спокойно и трезво. Он несся крупной рысью, и когда попадались неудобные места, неровный булыжник или осколки разбитого стекла, ярко блестевшие на солнце, то бежал прямо по ним, предоставляя невидимым босым ногам своего преследователя избирать путь по собственному усмотрению.

Впервые в жизни Кемп обнаружил, что дорога по холму необычайно длинна и безлюдна и что до окраины города там, у подножия холма, необыкновенно далеко. На свете нет более трудного и медлительного способа передвижения, чем бег. Виллы, дремавшие под полуденным солнцем, по-видимому, были заперты наглухо. Правда, это было сделано по его собственному указанию. Но хоть бы кто-нибудь догадался на всякий случай следить за происходящим! Вдали начал вырисовываться город, море скрылось из виду, внизу были люди. К подножию холма как раз подъезжала конка. А там полицейское управление. Но что это слышно позади, шаги? Ходу!

Люди внизу смотрели на него; несколько человек бросилось бежать. Дыхание Кемпа стало хриплым. Теперь конка была совсем близко, в кабачке «Веселые крикетисты» шумно запирали двери. За конкой были столбы и кучи щебня для дренажных работ. У Кемпа мелькнула мысль вскочить в конку и захлопнуть двери, но он решил, что лучше направиться прямо в полицию. Через минуту

он миновал «Веселых крикетистов» и очутился в конце улицы, среди людей. Кучер конки и его помощник, бросив выпрягать лошадей, смотрели на него разинув рты. Из-за куч щебня выглядывали удивленные землекопы.

Кемп немного замедлил бег, но, услышав за собой быстрый топот своего преследователя, опять поднажал.

— Невидимка! — крикнул он землекопам, неопределенно махнув рукой назад, и, по счастливому наитию, перескочил канаву, так что между ним и Невидимкой очутилось несколько дюжих мужчин. Оставив мысль о полиции, он свернул в переулок, промчался мимо тележки зеленщика, помедлил мгновение у дверей колониальной лавки и побежал по бульвару, который выходил на главную улицу. Дети, игравшие под деревьями, с криком разбежались при его появлении, раскрылось несколько окон, и разгневанные матери что-то кричали ему вслед. Он снова выбежал на Хилл-стрит, ярдов за триста от станции конки, и увидел толпу кричащих и бегущих людей.

Он взглянул вдоль улицы, по направлению к холму. Ярдах в двенадцати от него бежал рослый землекоп, громко бранясь и размахивая лопатой; следом за ним мчался, сжав кулаки, кондуктор конки. За ними бежали еще люди, громко крича и замахиваясь на кого-то. С другой стороны, по направлению к городу, тоже спешили мужчины и женщины, и Кемп увидел, как из одной лавки выскочил человек с палкой в руке.

— Окружайте его! Окружайте! — крикнул кто-то.

Кемп вдруг понял, что положение резко изменилось. Он остановился, переводя дух, и огляделся.

— Он где-то здесь! — крикнул он.— Оцепите...

— Ага! — раздался Голос.

Кемп получил жестокий удар по уху и зашатался; он попытался обернуться к невидимому противнику, но еле устоял на ногах и ударил в пустое пространство. Потом он получил сильный удар в челюсть и свалился на землю. Через секунду в живот ему уперлось колено и две руки яростно схватили его за горло, но одна из них действовала слабее другой. Кемпу удалось сжать кисти рук Невидимки, раздался громкий стон, и вдруг над головой Кемпа взвилась лопата землекопа и с глухим стуком опустилась. На лицо Кемпа что-то кап-

нуло. Руки, державшие его за горло, вдруг ослабели; судорожным усилием он освободился, ухватил обмякшее плечо своего противника и навалился на него, прижимая к земле невидимые локти.

— Я поймал его! — взвизгнул Кемп.— Помогите, помогите! Он здесь. Держите его за ноги!

Секунда — и на место борьбы ринулась вся толпа. Посторонний зритель мог бы подумать, что тут разыгрывается какой-то ожесточенный футбольный матч. После выкриков Кемпа никто уже не сказал ни слова, слышался только стук ударов, топот ног и тяжелое дыхание.

Невидимке удалось нечеловеческим усилием сбросить с себя нескольких противников и подняться на ноги. Кемп вцепился в него, как гончая в оленя, и десятки рук хватали, колотили и рвали невидимое существо. Кондуктор конки поймал его за шею и снова повалил на землю.

Опять образовалась груда барахтающихся тел. Били, нужно сознаться, немилосердно. Вдруг раздался дикий вопль: «Пощадите! Пощадите!» — и быстро замер в придушенном стоне.

— Оставьте его, дурачье! — крикнул Кемп глухим голосом, и толпа подалась назад.— Он ранен, говорят вам. Отойдите!

Наконец удалось немного оттеснить сгрудившихся разгоряченных людей, и все увидели, что доктор Кемп опустился на колени, как бы повиснув дюймах в пятнадцати от земли; он прижимал к земле невидимые руки. Полисмен держал невидимые ноги.

— Не выпускайте его! — крикнул землекоп, размахивая окровавленной лопатой.— Прикидывается!

— Он не прикидывается, — сказал Кемп, становясь на колени возле невидимого тела,— и, кроме того, я держу его крепко.— Лицо у Кемпа было разбито и уже начинало опухать; он говорил с трудом, из губы текла кровь. Он поднял руку и, по-видимому, стал ощупывать лицо лежащего.— Рот весь мокрый,— сказал он и вдруг вскрикнул: — Боже праведный!

Кемп быстро встал и снова опустился на колени возле невидимого существа. Опять началась толкотня и давка, слышался топот подбегавших любопытных. Из всех домов выскакивали люди. Двери «Веселых крикетистов» распахнулись настежь. Говорили мало.

Кемп водил рукой, словно ощупывал пустоту.

— Не дышит,— сказал он.— И сердце не бьется. Бок у него... ох!

Какая-то старуха, выглядывавшая из-под локтя рослого землекопа, вдруг громко вскрикнула.

— Глядите! — сказала она, вытянув морщинистый палец.

И, взглянув в указанном ею направлении, все увидели контур руки, бессильно лежавшей на земле; рука была словно стеклянная, можно было разглядеть все вены и артерии, все кости и нервы. Она теряла прозрачность и мутнела на глазах.

— Ого! — воскликнул констебль. — А вот и ноги показываются.

И так медленно, начиная с рук и ног, постепенно расползаясь по всем членам до жизненных центров, продолжался этот странный переход к видимой телесности. Это напоминало медленное распространение яда. Сперва показывались тонкие белые нервы, образуя как бы слабый контур тела, затем мышцы и кожа, принимавшие сначала вид легкой туманности, но быстро тускневшие и уплотнявшиеся. Вскоре можно было различить разбитую грудь, плечи и смутный абрис изуродованного лица.

Когда наконец толпа расступилась и Кемпу удалось встать на ноги, то взорам всех присутствующих предстало распростертое на земле голое, жалкое, избитое и изувеченное тело человека лет тридцати. Волосы и борода у него были белые, не седые, как у стариков, а белые, как у альбиносов, глаза красные, как гранаты. Пальцы судорожно скрючились, глаза были широко раскрыты, а на лице застыло выражение гнева и отчаяния.

— Закройте ему лицо! — крикнул кто-то.— Ради всего святого, закройте лицо!

Тело накрыли простыней, взятой в кабачке «Веселые крикетисты», и перенесли в дом. Там, на жалкой постели, в убогой, полутемной комнате, среди невежественной, возбужденной толпы, избитый и израненный, преданный и безжалостно затравленный, окончил свой странный и страшный жизненный путь Гриффин — первый из людей, сумевший стать невидимым, Гриффин — даровитый физик, равного которому еще не видел свет.

ЭПИЛОГ

Так кончается повесть о необыкновенном и гибельном эксперименте Невидимки. А если вы хотите узнать о нем побольше, то загляните в маленький трактир возле Порт-Стоу и поговорите с хозяином. Вывеска этого трактира — доска, в одном углу которой изображена шляпа, а в другом — башмаки, а название его такое же, как заглавие этой книги. Хозяин — низенький, толстенький человечек с длинным носом, щетинистыми волосами и багровым лицом. Выпейте побольше, и он не преминет подробно рассказать вам обо всем, что случилось с ним после описанных выше событий, и о том, как суд пытался отобрать найденные при нем деньги.

— Когда они убедились, что нельзя установить, чьи это деньги, то стали говорить — вы только подумайте! — будто со мной надо поступить, как с кладом. Ну, скажите сами, похож я на клад? А потом один господин платил мне по гинее в вечер за то, что я рассказывал эту историю в мюзик-холле.

Если же вы пожелаете сразу остановить поток его воспоминаний, то вам стоит только спросить его, не играли ли роль в этой истории какие-то рукописные книги. Он скажет, что книги действительно были, и начнет клятвенно утверждать, что хотя все почему-то считают, будто они и посейчас находятся у него, это неправда, их у него нет!

— Невидимка сам забрал их у меня, спрятал где-то, еще когда я удрал от него и скрылся в Порт-Стоу. Это все мистер Кемп сочиняет, будто книги у меня.

После этого он всякий раз впадает в задумчивость, украдкой наблюдает за вами, нервно перетирает стаканы и наконец выходит из комнаты.

Он старый холостяк, у него издавна холостяцкие вкусы, и в доме нет ни одной женщины. Всю свою верхнюю одежду, части своего костюма он застегивает при помощи пуговиц — этого требует его положение,— но когда дело доходит до подтяжек и более интимных частей туалета, он все еще прибегает к веревочкам. В деле он не очень предприимчив, но весьма заботится о респектабельности своего заведения. Движения его медлительны, и он склонен к задумчивости. В местечке он слывет ум-

ным человеком, его бережливость внушает всем почтение, а о дорогах Южной Англии он сообщит вам больше сведений, чем любой путеводитель.

А в воскресенье утром — каждое воскресенье в любое время года — и каждый вечер после десяти часов он отправляется в гостиную, прихватив стакан джина, чуть разбавленного водой, после чего тщательно запирает дверь, осматривает шторы и даже заглядывает под стол. Убедившись в полном своем одиночестве, он отпирает шкаф, затем ящик в шкафу, вынимает оттуда три книги в коричневых кожаных переплетах и торжественно кладет их на середину стола. Переплеты истрепаны и покрыты налетом зеленой плесени (ибо однажды эти книги ночевали в канаве), а некоторые страницы совершенно размыты грязной водой. Хозяин садится в кресло, медленно набивает глиняную трубку, не отрывая восхищенного взора от книг. Затем он пододвигает к себе одну из них и начинает изучать ее, переворачивая страницы то от начала к концу, то от конца к началу. Брови его сдвинуты, и губы шевелятся от усилий.

— Шесть, маленькое два сверху, крестик и закорючка. Господи, вот голова была!

Через некоторое время усердие его слабеет, он откидывается на спинку кресла и смотрит сквозь клубы дыма в глубину комнаты, словно видит там нечто недоступное глазу обыкновенных смертных.

— Сколько тут тайн,— говорит он,— удивительных тайн... Эх, доискаться бы только! Уж я бы не так сделал, как он. Я бы... эх! — Он затягивается трубкой.

Тут он погружается в мечту, в неумирающую волшебную мечту его жизни. И, несмотря на все розыски, предпринимаемые неутомимым Кемпом, ни один человек на свете, кроме самого хозяина трактира, не знает, где находятся книги, в которых скрыта тайна невидимости и много других поразительных тайн. И никто этого не узнает до самой его смерти.

1897

Рассказы

РАССКАЗ О XX ВЕКЕ

Для умеющих мыслить

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тому минуло уже не год и не два...

Изобретатель умер на чердаке. Слишком гордый, чтобы принять пособие от прихода, он проел всю свою одежду, отковырял всю штукатурку со стен своего убогого жилища и съел ее до последнего кусочка, обгрыз ногти под корень — и умер.

Он лежал тощий — кожа да кости; при жизни он соблюдал слишком строгую диету, и количество извести в его рационе превышало норму.

Но хотя Изобретатель умер, мысль его продолжала жить.

Ею завладела коммерческая предприимчивость, которой наша страна обязана своим величием, своим местом в авангарде армий прогресса. Владелец ссудной кассы, где Изобретатель за тринадцать шиллингов шесть пенсов заложил свой патент, Исаак Мелуиш (представитель того самого капитала, что составляет опору прогресса), организовал акционерную компанию «Много-будешь-знать-скоро-состаришься» и внедрил изобретение на практике.

Идея состояла в следующем:

Локомотив нового типа. Колеса вращает электриче-

ство от динамо-машины, в свою очередь, приводимой в движение вращением колес. Такая машина, стоит лишь придать ей начальную скорость, приобретает, как легко понять, большую и устойчивую движущую силу. Начальную скорость машина получает действием сжатого воздуха.

Исаак Мелуиш развил эту идею. Он применил ее к метрополитену (в этом и состояло новшество), а потом взял побольше влиятельных лиц и проспектов и так умело все перемешал, что разделить их стало уже невозможно. Когда была начата подписка на акции, замысел окончательно обрел реальную форму.

Столице и окрестностям предстояло силою ума Мелуиша вступить в новую жизнь. А S_2O_3 и SO_2 не будут отныне подрывать здоровье обитателей Лондона. Преобладание получит озон. Больным незачем станет ездить к морю для поправки здоровья. Они будут вместо этого кататься в метрополитене.

Туннели будут иллюминированы и украшены.

Более того, акции компаний, связанных с новым предприятием, взлетят в заоблачные выси и там останутся, подобно пророку Илие.

Августейшие особы приобрели акции и некоторые даже их оплатили.

Открытие решено было отметить национальным праздником. В первом поезде совершат поездку по Малому кольцу почетные пассажиры. Ведущий актер театра «Лицей» (он же единственный владелец) исполнит сразу все роли, какие играл в жизни, и со зрителей не будут спрашивать денег. В Хрустальном дворце состоится банкет для цвета нации, а в Альберт-холле — богослужение разом для всех вероисповеданий...

Приближалось 19 июля 1999 года.

И было во человецех благоволение.

19 июля 1999 года.

Неф Хрустального дворца был ярко освещен и великолепно украшен. Все, кто обладал талантом и красноречием, все преуспевающие и процветающие восседали за банкетным столом. На галереях теснилась посредственность. Это несметное скопище выложило бессчетные полугинеи, дабы иметь счастье увидеть, как едят великие мира сего. Присутствовало девятнадцать епископов во

фраках, четыре принца с переводчиками, двенадцать герцогов, ученая женщина, президент Королевской академии, четырнадцать известных профессоров, среди них — один ученый, семьдесят настоятелей (все как на подбор), президент Материалистического религиозного общества, популярный клоун, тысяча шестьсот четыре владельца оптовых и розничных мануфактурных, шляпных, бакалейных и чаеторговых фирм, депутат парламента (прозревший представитель рабочего класса), почетные директора чуть ли не всей вселенной, двести три биржевых маклера, один занимающий видную должность граф, который некогда сказал нечто весьма остроумное, девять обыкновенных графов с Пиккадилли, тринадцать графов-спортсменов, семнадцать графов-купцов, сто тринадцать банкиров, один профессиональный мошенник, один врач, двенадцать директоров театров, величайший романист Бладсол, один электротехник (из Парижа), сонмы директоров электрических обществ, их дети и внуки, их кузены и кузины, племянники, дяди, родители и друзья, несколько звезд с небосклона юриспруденции, два рекламных агента, сорок один фабрикант патентованных медицинских средств, лорды, пэры, медиум, прорицатель, иностранные музыканты, офицеры, капитаны, гвардейцы и тому подобное.

Говорил великий человек.

До публики на галереях долетало только: «Бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу...»

Сидевшие близко слышали: «...ы шшше недостаточно знаем, где пррримчивость... дерзкие устремления человечества (громкие аплодисменты) в этом вопрррр всиииий с нааaииии... восхождение на недоступные веррр... более того. Пробиваться сквозь них, покорять (бурные аплодисменты) рр ррр рррр (продолжительная овация). Расчет, смелость и ррр бррр...»

Великий человек, кажется, продолжал в том же духе, когда сэру Исааку Мелуишу подали телеграмму. Он взглянул на нее, побледнел, как полотно, и свалился под стол.

* * *

Там мы его и оставим.

А случилось вот что. Почетные пассажиры были в сборе: августейшая особа с телохранителем, премьер-министр, два епископа, несколько популярных актрис, четыре генерала из министерства внутренних дел, различные чужеземцы, лицо, по-видимому, имеющее отношение к военно-морскому ведомству, министр просвещения, сто двадцать четыре паразита, состоящих на государственной службе, один идиот, председатель торговой палаты, мужской костюм, финансисты, второй идиот, лавочники, мошенники, театральные декораторы, еще один идиот, директора и так далее и тому подобное, как уже перечислялось выше. Почетные пассажиры заняли места в поезде. При помощи сжатого воздуха он развил большую скорость. Технический директор с улыбкой обратился к августейшей особе: «С позволения вашей милости мы сначала проедемся по Малому кольцу и посмотрим украшения». Все были веселы и довольны.

Никогда еще так не бросалось в глаза добросовестное стремление августейшей особы испытывать интерес ко всему на свете. Эта особа настаивала, положительно настаивала на том, чтобы технический директор показал ему моторы и подробно все объяснил.

— Все, что вы видели,—отечественного производства,— заключил свои объяснения технический директор, маленький болтливый человечек.— Вам известна превосходная фирма Шульца и Брауна в Пекине. Производство было перенесено туда в 1920 году ввиду дешевизны рабочей силы. Так вот, каждая из этих деталей исключительно прочна и надежна. Сейчас я покажу вам тормозное устройство. Должен заметить, что, согласно первоначальному проекту, в машине предполагалось хранить большой запас сжатого воздуха. Я усовершенствовал эту систему. Сила вращения колес не только запускает динамо, но и нагнетает воздух, предназначенный для следующего пуска. С самого начала и до тех пор, когда машина не остановится навсегда, она действует без всякого притока внешней энергии. К тому же без затрат. Ну, а теперь, поскольку мы заговорили о том, что машина когда-нибудь остановится, я покажу вам тормозное устройство.— И технический директор, улыбнувшись при мысли, что

так удачно сострил, повернулся к машине. Очевидно, он не нашел того, что искал, потому что стал внимательней вглядываться в механизм.— Бэдли,— сказал он, слегка покраснев,— где тормоза?

— Кто их знает! — ответил Бэдли.— Я сперва думал, вот эта ручка тормозная, да только к ней притронулся — она и отвалилась! Видать, гипсовая, для украшения приделана.

На лице технического директора мгновенно сменилась вся гамма цветов, от стронциево-красного до талиево-зеленого.

— Тормозов нет,— сказал он августейшей особе и добавил: — Взгляните на манометр.

Голос его становился все тише и отчетливей, как у человека, пытающегося подавить нахлынувшие чувства.

— Пожалуй, я все уже видел. Благодарю вас,— сказала августейшая особа.—Достаточно. Я желал бы выбраться отсюда, если только это возможно. Для меня такая скорость слишком велика.

— Мы не можем остановиться, ваше величество,— сказал технический директор.— Больше того, судя по манометру, нам остается либо удвоить скорость, либо разлететься на куски. Давление сжатого воздуха все усиливается.

— В этих критических и непредвиденных обстоятельствах,— промолвил его августейший собеседник, смутно припоминая, как полагается говорить на открытии парламента,— нам представляется целесообразным увеличить скорость. И чем скорее, тем лучше.

* * *

Собрание в Хрустальном дворце кончилось полным замешательством, и сидевшие за банкетным столом, отталкивая друг друга, кинулись расхватывать шляпы. Проповедник изрекал в Альберт-Холле свои благоглупости о ниспосланном стране процветании, когда ему подали телеграмму. После этого он продолжал проповедь, но уже на тему: «Суета сует». Тревога медленно ползла из этих двух центров и после выхода вечерних газет охватила всю страну.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Что было делать?

Что можно было сделать?

Следовало бы поднять этот вопрос в парламенте, но сей орган власти нельзя было собрать ввиду отсутствия спикера: он был среди почетных гостей в поезде. Митинг на Трафальгар-сквере, где хотели обсудить этот вопрос, по привычке разогнали, пользуясь новым методом.

А тем временем обреченный поезд, все увеличивая скорость, описывал круг за кругом. Утром двадцатого наступил конец. Между станциями Виктория и Слоун-сквер поезд сошел с рельсов, пробил стену тоннеля и загрохотал по подземной сети газовых, водопроводных и канализационных труб. Потом на какой-то миг наступила зловещая тишина, сразу же нарушенная грохотом валившихся по обе стороны от места катастрофы домов. И вот чудовищный взрыв потряс воздух.

От большинства пассажиров ничего не осталось. Августейшая особа, однако, как ни в чем не бывало приземлилась в Германии. Дельцы-пройдохи осели вредоносным туманом на соседние страны.

1887

ПОХИЩЕННАЯ БАЦИЛЛА*

— Вот это,— сказал бактериолог, кладя стекло под микроскоп,— препарат знаменитой холерной бациллы — холерный микроб.

Мужчина с бледным лицом прильнул глазом к микроскопу. Ему это было явно в новинку, и он прикрыл другой глаз пухлой белой рукой.

— Я почти ничего не вижу,— сказал он.

— Подкрутите винт,— посоветовал бактериолог,— надо, чтобы препарат попал в фокус. Зрение у всех разное. Достаточно самую малость повернуть винт.

— Вот теперь вижу,— сказал посетитель.— Но, вообще-то говоря, тут и смотреть особенно не на что. Какие-то крошечные розовые палочки и точечки. И вот эти крошечные частицы, эти, можно сказать, атомы, способны размножиться и опустошить целый город? Непостижимо!

Он выпрямился и, вынув стеклышко из-под микроскопа, поднес его к окну.

— Их едва можно различить,— сказал он, рассматривая препарат. Потом помолчал немного.— А они живые? Они опасны сейчас?

— Эти подкрашены и убиты,— ответил бактериолог.— Я лично много бы дал, чтобы можно было окрасить и убить все микробы холеры, какие только существуют на свете.

— Надо думать,— с едва уловимой улыбкой заметил бледный мужчина,— что вы едва ли станете держать у себя эти бациллы живыми, способными вызвать болезнь?

---

* Все рассказы датируются по первой книжной публикации *(Прим. ред.)*.

— Напротив, мы вынуждены держать их живыми,— возразил бактериолог.— Вот, например...— Он отошел в угол и взял одну из множества герметически закупоренных пробирок.— Здесь они живые. Таким путем мы выращиваем культуру настоящих, живых болезнетворных бактерий.— Он помолчал немного.— Так сказать, разводим холеру в бутылке.

По лицу бледного мужчины тотчас разлилось еле уловимое удовлетворение.

— Смертельную штуку держите вы у себя,—сказал он, пожирая глазами маленькую пробирку.

Бактериолог заметил болезненное удовольствие на лице посетителя. Этот странный человек, пришедший к нему сегодня с рекомендательным письмом от одного старого друга, заинтересовал бактериолога: он был его прямой противоположностью. Гладкие черные волосы, глубоко посаженные серые глаза, изможденное лицо, порывистые движения, острая заинтересованность, которую временами проявлял посетитель, сильно отличали его от ученых— флегматичных любителей рассуждать, с которыми главным образом и общался бактериолог. А потому, пожалуй, вполне естественно было рассказать этому человеку, на которого производили такое впечатление бактерии, несущие смерть, о том, что составляло их главную силу.

Бактериолог задумчиво держал пробирку в руках.

— Да, здесь сидит под замком эпидемия. Стоит разбить вот такую маленькую пробирку и, вылив ее содержимое в резервуар с питьевой водой, сказать этим крошечным живым частицам, которые можно увидеть, только если их подкрасить и поместить под мощный микроскоп, и которых нельзя распознать ни по запаху, ни по вкусу: «Идите, растите и размножайтесь, наполняйте цистерны!» — и смерть, таинственная, незаметно подкрадывающаяся смерть, быстрая и ужасная, смерть жалкая и исполненная мучений, обрушится на город и пойдет косить направо и налево. Здесь она отторгнет мужа от жены, там — ребенка от матери, здесь — государственного деятеля от его обязанностей, там — труженика от его тягот. Она потечет по водопроводным трубам, прокрадется по улицам, выбирая то тут, то там какой-нибудь дом и карая его обитателей, которые пьют некипяченую

воду; она проникнет в киоски с минеральными водами, проберется в салат вместе с водой, в которой его мыли, притаится в мороженом. Она будет ждать, пока ее выпьет лошадь вместе с пойлом или неосторожный ребенок с водой из уличного бассейна. Она просочится в почву, чтобы затем появиться в родниках, колодцах и в тысячах других самых неожиданных мест. Только выпустите бациллу в водопровод, и прежде чем мы сможем преградить ей путь и снова ее выловить, она опустошит всю столицу.

Он внезапно умолк. Сколько раз ему говорили, что риторика — его слабость.

— Но в таком виде она вполне безопасна, вполне, понимаете?

Мужчина с бледным лицом кивнул. Глаза его сверкали. Он откашлялся.

— Эти анархисты — ничтожества,— сказал он,— глупцы, слепые глупцы: применять бомбы, когда существует такая штука! Я думаю...

Послышался осторожный стук, вернее, легкое поскребывание ногтями. Бактериолог открыл дверь.

— На минутку, дорогой,— шепнула его жена.

Когда он вернулся в лабораторию, посетитель смотрел на часы.

— Бог ты мой, ведь я отнял у вас целый час,—сказал он.— Без двенадцати четыре. А мне нужно было уйти отсюда в половине четвертого. Но ваши препараты настолько интересны... Нет, положительно я ни минуты больше не могу задерживаться! У меня свидание в четыре.

Он вышел из комнаты, рассыпаясь в благодарностях; бактериолог проводил его до входной двери и, глубоко задумавшись, прошел обратно по коридору к себе в лабораторию. Он думал о том, какого происхождения его посетитель. Конечно, этот человек не принадлежит ни к тевтонскому, ни к заурядному латинскому типу. «Во всяком случае, боюсь, что это нездоровый субъект,— сказал себе бактериолог.— Как он пожирал глазами пробирку!» И вдруг тревожная мысль шевельнулась у него в мозгу. Он повернулся к стойке у водяной бани, затем — к письменному столу. Потом быстро ощупал карманы и кинулся к двери. «Возможно, я положил ее на стол в передней»,— пробормотал он.

— Минни! — хрипло крикнул он из передней.

— Да, дорогой! — донесся откуда-то издалека голос.

— Было у меня что-нибудь в руках, дорогая, когда я разговаривал с тобой только что?

Последовала короткая пауза.

— Ничего, дорогой, я это отлично помню, потому что...

— Чтоб он провалился! — воскликнул бактериолог, опрометью бросился к двери и вниз по лестнице на улицу.

Минни, услышав, как с грохотом захлопнулась дверь, подбежала в испуге к окну. В дальнем конце улицы высокий тощий человек садился в кеб. Бактериолог, без шляпы, в ночных туфлях, бежал к нему, неистово жестикулируя. Одна туфля соскочила у него с ноги, но он не остановился, чтобы надеть ее.

«Он совсем сошел с ума! — сказала себе Минни.— А все эта проклятая наука наделала!» И она распахнула окно, собираясь окликнуть мужа. Высокий тощий человек внезапно оглянулся, и, видимо, ему в голову пришла та же мысль о сумасшествии. Он торопливо указал кебмену на бактериолога и быстро сказал что-то; хлопнула закрывающая кеб клеенка, свистнул кнут, зацокали копыта лошадей, и в один миг кеб и бактериолог, ринувшийся вслед за ним, промчались по улице и исчезли за углом.

Минни с минуту еще глядела им вслед, затем отошла от окна. Она была ошеломлена. «Конечно, он человек эксцентричный,—размышляла она.—Но бегать по Лондону, да еще в разгар сезона, в одних носках!..» И вдруг счастливая мысль осенила ее. Она быстро надела шляпку, схватила башмаки мужа, выскочила в переднюю, сняла с вешалки его шляпу и летнее пальто, выбежала на улицу и окликнула кеб, медленно тащившийся мимо.

— Поезжайте прямо, а потом сверните у Хэвлок-Кресчент: надо догнать джентльмена без шляпы, в вельветовой куртке.

— В вельветовой куртке, мэм, и без шляпы. Отлично, мэм.

И кебмен, с самым невозмутимым видом взмахнув кнутом, как будто каждый день ездил по такому адресу, тронул лошадей.

Несколько минут спустя мимо кучки кебменов и зевак, столпившихся у извозчичьей биржи на Хаверсток-

Хилл, промчался во весь опор кеб, запряженный тощей рыжей кобылой.

Они молча проводили его глазами, и, как только он исчез, пошли толки и пересуды.

— Да это же Гарри Хикс. Что это с ним? — промолвил тучный джентльмен по прозванию старина Тутлс.

— Здорово он кнутом работает— со всего плеча,— заметил мальчишка-конюх.

— Ого!—воскликнул старикан Томми Байлс.— А вот еще один сумасшедший. Провалиться мне на месте, если я вру!

— Да это же старый Джордж,— заметил старина Тутлс.— Он и впрямь везет какого-то сумасшедшего, это ты правильно сказал. И как он только из кеба не вывалится! Уж не за Гарри ли Хиксом он гонится?

Группа у извозчичьей биржи оживилась. Раздались голоса: «Валяй, Джордж!», «Вот это скачки!», «Погоняй!», «Шпарь!»...

— А ведет-то все-таки кобыла, во как! — заявил мальчишка-конюх.

— Разрази меня гром!— воскликнул старина Тутлс.— Да вы только посмотрите! Я, кажется, сам сейчас рехнусь! Еще один едет. Все кебмены в Хэмпстеде, видно, спятили сегодня!

— На этот раз баба! — сообщил мальчишка-конюх.

— Она гонится за ним,— заметил старина Тутлс.— Обычно бывает наоборот.

— А что это у нее в руках?

— Похоже, цилиндр.

— Вот потеха! Три против одного за старика Джорджа,— сказал мальчишка-конюх.— А ну, кто еще?

Минни промчалась под гром приветственных криков и рукоплесканий. Это ей не понравилось, но она стерпела и, исполненная сознания своего долга, покатила вниз по Хаверсток-Хилл и дальше по Кэмдентаун-Хайстрит, не спуская глаз с подпрыгивающего зада старика Джорджа, который неизвестно зачем увозил от нее ее блудного мужа.

Человек в первом кебе сидел, забившись в угол и крепко стиснув руки,— в одной из них была зажата маленькая пробирка, содержавшая такие огромные разрушительные возможности. Страх и, как ни странно, ли-

кование переполняли все его существо. Больше всего он боялся, что его поймают прежде, чем он выполнит свое намерение, однако за этим скрывался более смутный, но и более сильный страх перед задуманным им преступлением. Впрочем, его ликование заглушало страх. Ни одному анархисту до него и в голову не приходило подобное. Равашоль, Вайян — все эти выдающиеся личности, чьей славе он завидовал, превратятся в ничто по сравнению с ним. Надо только добраться до водохранилища и разбить пробирку над резервуаром. Как блестяще он задумал все, подделал рекомендательное письмо, проник в лабораторию и как замечательно воспользовался случаем! Мир наконец услышит о нем. Все эти люди, которые издевались над ним, презирали и отвергали его, находя его общество нежелательным, будут наконец считаться с ним! Смерть, смерть, смерть! Они всегда относились к нему, как к ничтожеству. Весь мир был в заговоре против него. Но теперь он их проучит, он им покажет, что значит отталкивать человека. Что это за улица? Ну конечно же, Грейт-Сент-Эндрюс-стрит. А как погоня? Он высунулся из кеба. Бактериолог был в каких-нибудь пятидесяти ярдах позади. Плохо. Его могут задержать. Он пошарил в кармане и нашел полсоверена. Сунул монету через окошко прямо в лицо кебмену.

— Вот вам еще! — крикнул он.— Только бы уйти от них!

Монету выхватили у него из руки.

— Потрафим! — сказал кебмен, и окошечко захлопнулось, а кнут взвился и упал на лоснящийся круп лошади. Кеб качнуло, и анархист, привставший было, чтобы выглянуть в окошко, схватился рукой, державшей пробирку, за клеенку, чтобы не упасть. В ту же секунду стекло хрупкого сосуда хрустнуло, и отколовшаяся половина пробирки звякнула о пол кеба. С проклятием он откинулся на сиденье и мрачно уставился на капли влаги на клеенке.

Его передернуло.

— Что ж! Видимо, я буду первой жертвой. Ну и пусть! Во всяком случае, я буду мучеником, а это уже кое-что. И все-таки это мерзкая смерть. Неужели она в самом деле так мучительна, как говорят?

Внезапно ему пришла в голову новая мысль. Он по-

шарил под ногами. В уцелевшей части пробирки еще сохранилась капля влаги — он выпил ее для полной уверенности. Так оно лучше. Во всяком случае, осечки не будет.

Тут он сообразил, что теперь, собственно, нет нужды убегать от бактериолога. На Веллингтон-стрит он попросил кебмена остановиться и вышел. На подножке он поскользнулся — у него закружилась голова. Как быстро действует этот холерный яд! Забыв о кебе и кебмене, он стоял теперь на тротуаре и, скрестив на груди руки, ждал бактериолога. Что-то трагическое было в его позе. Сознание близкой смерти наложило отпечаток достоинства на весь его облик. Он приветствовал своего преследователя вызывающим смехом.

— Да здравствует анархия! Вы прибыли слишком поздно, мой друг! Я выпил это зелье. Холера на свободе!

Бактериолог, не вылезая из кеба, с любопытством уставился на него сквозь очки.

— Вы выпили это! Вы анархист! Теперь все понятно...

Он хотел еще что-то добавить, но сдержался, пряча улыбку. Он отстегнул клеенку кеба, собираясь выйти. Увидев это, анархист драматически махнул ему рукой на прощание и зашагал по направлению к мосту Ватерлоо, стараясь на ходу задеть как можно больше прохожих своим бациллоносным телом. Бактериолог, провожая его взглядом, не выказал никакого удивления, когда перед ним появилась Минни с его шляпой, башмаками и пальто в руках.

— Очень мило, что ты принесла мои вещи,— сказал он, по-прежнему не сводя взгляда с удаляющейся фигуры анархиста.— Садись-ка лучше в кеб,— прибавил он, все еще глядя вслед анархисту.

Теперь Минни была совершенно убеждена, что муж ее помешался, и, взяв бразды правления в свои руки, велела кебмену везти их домой.

— Надеть башмаки? Конечно, дорогая,— сказал бактериолог, когда кеб начал разворачиваться и темная пошатывающаяся фигура, казавшаяся теперь совсем маленькой, скрылась из глаз. Вдруг какая-то забавная мысль пришла ему в голову, и он рассмеялся.— А ведь дело очень серьезное. Видишь ли, этот человек, кото-

рый приходил к нам, оказался анархистом. Нет, пожалуйста, не падай в обморок, а то я не смогу досказать тебе остальное. Мне захотелось удивить его; не зная, что он анархист, я взял пробирку с этим новым видом бактерии, о которой я тебе рассказывал; она очень заразная: насколько мне известно, это она вызывает голубые пятна на теле у обезьян; ну, я и похвастал, что это азиатская холера. А он возьми да и убеги с ней — хотел отравить воду в Лондоне и, конечно, мог бы наделать уйму неприятностей нашему цивилизованному городу. А теперь он сам проглотил ее. Конечно, я не могу сказать, что произойдет, но ты знаешь, котенок от нее посинел и три щенка — все в пятнах, воробей же стал совсем голубым. Но главная беда в том, что мне придется затратить теперь уйму труда и денег, чтобы приготовить новую культуру.

Надеть пальто в такую жарищу? Зачем? Только потому, что мы можем встретить миссис Джэббер? Но, дорогая моя, ведь миссис Джэббер — это не сквозняк. Почему я должен носить пальто в жаркий день только из-за того, что миссис Джэббер... Ну, хорошо, хорошо...

1895

СТРАУСЫ С МОЛОТКА

— Уж если говорить о ценах на птиц, то мне довелось видеть страуса, который стоил триста фунтов стерлингов,— сказал мастер по набивке чучел, вспоминая свои молодые годы, когда он немало поколесил по свету.— Триста фунтов!

Он поглядел на меня поверх очков.

— А я видел такого, которого за четыреста продать отказались,— заметил я.

— Но ведь у тех птиц не было ничего особенного, это были самые обыкновенные страусы. Даже малость облезлые, потому что сидели на голодном пайке. И не то чтобы на этих птиц был тогда повышенный спрос. Я бы не сказал, чтобы пять страусов на борту судна Ост-Индской компании уж так дорого стоили. Нет, все дело было в том, что один из них проглотил бриллиант.

Пострадавший был не кто иной, как сэр Мохини, падишах — шикарный малый, ну прямо франт с Пиккадилли, сказали бы вы, оглядев его с ног до головы, вернее, с ног до плеч. Потому что выше торчала безобразная черная голова в этаком здоровенном тюрбане, а на тюрбане бриллиант. Чертова птица вдруг как клюнет камешек да и проглотила его, а когда этот тип поднял крик, смекнула, видно, что дело неладно, пошла и смешалась с другими страусами, чтобы сохранить свое инкогнито. Все произошло в одну минуту. Я прибежал туда чуть не раньше всех. Слышу, язычник этот призывает в свидетели всех своих богов, а двое матросов и тот малый, что вез страусов, так и помирают со смеху. Если вдуматься,

так и вправду это ведь не совсем обычный способ терять драгоценности. Тот малый, приставленный к страусам, при самом происшествии не присутствовал и не знал, какая из птиц выкинула эту штуку. Видите, что получилось: камешек-то исчез бесследно. Сказать по правде, я не слишком огорчился. Этот франт начал похваляться своим дурацким бриллиантом, едва успел ступить на борт.

Ну, понятно, весть об этом мигом облетела весь корабль, от кормы до носа. Все стали судачить наперебой, а падишах спустился к себе в каюту чуть не плача. За обедом (падишах всегда, бывало, сидел за отдельным столиком с двумя другими индийцами) капитан слегка проехался на его счет, и это задело падишаха за живое. Он обернулся и начал кричать у меня над ухом. Не покупать же ему этих страусов! Он и так получит свой бриллиант обратно. Он британский подданный и знает свои права. Бриллиант должен быть найден. Вынь да положь! А не то он подаст жалобу в палату лордов.

Но малый, приставленный к страусам, оказался форменной дубиной — в его деревянную башку невозможно было ничего вколотить. Он наотрез отказался подпустить врача к своим страусам. Ему-де приказано кормить их только тем-то и тем-то и ухаживать за ними так-то и так-то, и он в два счета вылетит вон, если будет делать не то и не так. Падишах продолжал настаивать на промывании желудка, хотя, сами понимаете, птицам его делать никак невозможно. Падишах, как все эти несуразные бенгальцы, был начинен всякими там идеями насчет права и закона и все грозился наложить на страусов арест, ну и прочее и тому подобное. Но какой-то старикашка, у которого, по его словам, сын был адвокатом где-то в Лондоне, заявил, что предмет, проглоченный птицей, становится ipso facto[1] частью самой птицы, и потому единственное, что остается падишаху,— это требовать возмещения убытков. Но даже в этом случае ответчик может сослаться на неосторожность пострадавшего. Какое он имел право находиться возле птицы, которая ему не принадлежит?

Тут падишах крепко приуныл, особенно когда почти все нашли эти соображения довольно резонными. Юриста

---

[1] В силу самого факта (*лат.*).

на борту не оказалось, и мы судили и рядили об этом происшествии на все лады. Потом, когда уже миновали Аден, падишах, как видно, пришел к тому же мнению, что и мы, и втихомолку предложил малому, приставленному к страусам, продать ему все пять штук оптом.

На следующее утро за столом во время завтрака поднялся сущий содом. Малый, который был при страусах, не имел, разумеется, никакого права торговать этими птицами и ни за что на свете не пошел бы на это, но он, как видно, дал понять падишаху, что один субъект, по фамилии Поттер, уже сделал ему такое же предложение, и падишах принялся бранить этого Поттера на чем свет стоит. Однако большинство склонялось к тому, что Поттер — малый не промах, и когда тот заявил, что уже телеграфировал из Адена в Лондон, испрашивая согласия на продажу птиц, и в Суэце должен получить ответ, я, признаться, крепко ругнул себя за то, что упустил такой случай.

В Суэце Поттер сделался обладателем страусов, а падишах заплакал — да, заплакал самыми настоящими слезами — и с места в карьер предложил Поттеру за его страусов двести пятьдесят фунтов, то есть на двести с лишним процентов больше, чем уплатил за них сам Поттер. Но Поттер заявил, что пусть его повесят, если он уступит кому-нибудь хоть перышко. Он-де намерен заколоть их всех, одного за другим, и найти бриллиант. Но потом он, должно быть, передумал и пошел на уступки. Это был азартный человек, игрок и малость шулер, и, верно, такая затея — распродажа страусов «с сюрпризом» — пришлась ему по вкусу. Так или иначе, но он шутки ради решил спустить своих птичек поштучно с молотка, заломив для начала по восемьдесят фунтов за каждую, а себе оставить только одного страуса — на счастье.

Надо вам сказать, что бриллиант-то и в самом деле был очень ценный. Среди нас оказался один торговец драгоценностями, маленький такой человечек, еврей, так он с самого начала, как только падишах показал этот камень, оценил его в три-четыре тысячи фунтов, поэтому не удивительно, что эта «лотерея со страусами» имела успех. А я еще накануне разговорился о том о сем с малым, приставленным к страусам, и он как-то невзна-

чай обмолвился, что один страус вроде занемог. Похоже, расстройство желудка, сказал он. Эта птица была приметная — с белым пером в хвосте, и на другой день, когда начался аукцион и первым пошел с молотка именно этот страус, я тут же надбавил еще пять к восьмидесяти пяти, которые сразу дал падишах. Боюсь, однако, что я малость погорячился, слишком поспешил с надбавкой, и остальные, должно быть, смекнули, что мне кое-что известно. А падишах, тот так и вцепился в этого страуса, все надбавлял и надбавлял, прямо как одержимый. Кончилось тем, что еврей купил эту птицу за сто семьдесят пять фунтов. Падишах крикнул: «Сто восемьдесят!», да уж поздно было,— молоток опустился, заявил Поттер. Словом, страус достался торговцу, а он, недолго думая, схватил ружье и пристрелил птицу. Тут Поттер поднял черт знает какой крик — ему хотят сорвать продажу остальных трех, вопил он,— а падишах, конечно, вел себя как форменный идиот. Впрочем, мы все порядком раскипятились. Признаться, я был без памяти рад, когда эту птицу, наконец, выпотрошили и никакого камня в ней не оказалось. Я ведь сам дошел до ста сорока фунтов, надбавляя цену за этого страуса.

Маленький еврей был, как все евреи: он не стал убиваться из-за того, что ему не повезло, но Поттер отказался продолжать аукцион, пока все не примут его условие: товар выдается на руки только по окончании распродажи. Торговец драгоценностями принялся спорить — он доказывал, что тут случай особый. Мнения разделились почти поровну, и аукцион пришлось отложить до утра.

В этот вечер обед у нас прошел оживленно, смею вас уверить, но в конце концов Поттер поставил на своем: ведь всякому было ясно, что так для него меньше риска, а мы как-никак были ему признательны за его изобретательность. Старикашка, у которого сын адвокат, заявил, что он обдумал это дело со всех сторон и ему кажется весьма сомнительным, чтобы, вскрыв птицу и обнаружив в ней бриллиант, можно было не вернуть его законному владельцу. А я, помнится, сказал, что тут пахнет статьей о незаконном присвоении ценных находок, да так оно, в сущности, и было. Разгорелся жаркий спор, и под конец мы решили, что, конечно, глупо уби-

вать птицу на борту парохода. Тут старый джентльмен снова ударился в крючкотворство и принялся доказывать, что аукцион — это лотерея, а лотереи запрещены законом, и потащился жаловаться капитану. Но Поттер заявил, что он просто распродает страусов как самых обыкновенных птиц и знать не знает ни про какие бриллианты и никого ими не соблазняет. Наоборот, он уверен, что никакого бриллианта в этих трех птицах, предназначенных к продаже, нет. По его мнению, бриллиант должен быть в том страусе, которого он оставил себе. Во всяком случае, он очень и очень на это рассчитывает.

Как бы там ни было, на другой день страусы сильно поднялись в цене. Должно быть, цену им набило то, что теперь шансы увеличились на одну пятую. Проклятые создания пошли с молотка в среднем по двести двадцать семь фунтов. И, удивительное дело, ни один из них не достался падишаху, ни один. Он только попусту драл глотку, а в ту минуту, когда надо было надбавлять цену, вдруг начинал кричать, что наложит на страусов арест. Вдобавок Поттер явно ставил ему палки в колеса. Один страус достался тихому, молчаливому чиновнику, другой — маленькому еврею-торговцу, а третьего купили сообща судовые механики. И тут Поттер вдруг начал скулить — зачем он продал этих страусов! Вот, дескать, выбросил на ветер добрую тысячу фунтов, а его страус, верно, пустышка, и всегда-то он, Поттер, остается в дураках. Но когда я пошел потолковать с ним, не уступит ли он мне свой последний шанс, оказалось, что он уже продал своего страуса одному политическому деятелю, который возвращался из Индии, где проводил отпуск, занимаясь изучением общественных и моральных проблем. Этот, последний страус пошел за триста фунтов.

Ну вот, в Бриндизи спустили с парохода трех этих чертовых птиц, хотя старый джентльмен усмотрел в этом нарушение таможенных правил. Там же вслед за страусами сошел на берег и Поттер, а за ним и падишах. Индиец едва не рехнулся, когда увидал, что его сокровище разъезжается, так сказать, в разные стороны. Он все твердил, что добьется наложения ареста (дался же ему этот арест!), и совал свои карточки с адресом всем, кто купил страусов, чтобы знали, куда послать бриллиант. Но никто не желал знать ни имени его, ни ад-

реса и не собирался сообщать своего. Ну и скандал же они подняли на пристани! Потом все разъехались кто куда. А я поплыл дальше, в Саутгемптон, и там, когда сошел на берег, увидел последнего из страусов, того, что купили судовые механики. Эта глупая голенастая птица торчала возле сходней в какой-то клетке, и я подумал, что трудно подобрать более нелепую оправу для драгоценного камня. Если, конечно, бриллиант был там.

Чем все это кончилось? Да тем и кончилось. А впрочем... Да, похоже, что так оно и было. Тут, видите ли, одно обстоятельство проливает некоторый свет на это дело. Неделю спустя по возвращении домой я делал коекакие покупки на Риджент-стрит, и как вы думаете, кого я там встретил? Падишаха и Поттера — прогуливаются себе под ручку, и оба веселые. Если малость вдуматься...

Да, мне это уже приходило в голову. Но только бриллиант был самый что ни на есть настоящий, тут сомневаться не приходится. И падишах тоже, безусловно, важная персона. Я видел его имя в газетах, и не раз. Ну, а вот действительно ли птица проглотила камень — это уж, как говорится, вопрос особый.

1895

ИСКУШЕНИЕ ХЭРРИНГЕЯ

Невозможно установить, действительно ли все это произошло. Я знаю эту историю только со слов художника Р. М. Хэррингея.

По его версии, события развивались так: около десяти часов утра он зашел к себе в мастерскую закончить портрет, над которым работал накануне. Это была голова итальянца-шарманщика, и Хэррингей намеревался, хотя еще не решил окончательно, назвать эту картину «Молитвенный экстаз». Все это не вызывает сомнений, и в его словах звучит безыскусственная правда. Увидя шарманщика, который ждал, что ему бросят из окон монетки, Хэррингей с живостью, присущей талантливым людям, зазвал итальянца к себе в мастерскую.

— Становись на колени! — скомандовал Хэррингей.— Смотри вверх, на эту люстру, как будто ждешь, что оттуда посыплются деньги. И перестань скалить зубы! — продолжал он.— Меня не интересуют твои десны. Старайся выглядеть несчастным.

Теперь, когда прошла ночь, картина показалась ему совершенно неудавшейся.

— Вообще-то неплохо,— сказал себе Хэррингей.— Шея удачно выписана. А все-таки...

Он походил по мастерской, глядя на полотно то с одной, то с другой стороны. Затем выругался... В своем рассказе он не опускал подробностей.

— Картинка, и больше ничего,— пробормотал он.— Портрет какого-то шарманщика. Но живого шарманщика тут нет, как ни жаль. Не умею я почему-то писать

живых людей. Неужели творческое воображение мне изменяет?

И это правда. Творческое воображение действительно ему изменяло.

— Эх, сюда бы кисть истинного мастера! Берешь полотно, краску и создаешь человека, как Адам был создан из красной глины. Ну, а это подобие лица! Да попадись вам оно на улице, вы сказали бы: его делали где-то в мастерской! Любой мальчишка крикнул бы: «Катись восвояси, чего вылез из рамы?» А между тем легонький мазок... Нет, так это оставить нельзя.

Хэррингей подошел к окну и стал спускать штору. Она была из голубого полотна и наматывалась на валик под окном: для того, чтобы лучше осветить мастерскую, ее надо было потянуть вниз. Взяв со стола палитру, кисти и муштабель, Хэррингей вернулся к картине, тронул коричневой краской уголок рта, а затем сосредоточил свое внимание на зрачках. Немного погодя он решил, что для человека, застывшего в напряженном ожидании, подбородок чересчур бесстрастен.

Наконец он отложил кисти в сторону, закурил трубку и стал критически всматриваться, проверяя, насколько продвинулась работа.

— Черт меня побери, да ведь он усмехается! — вскричал Хэррингей; и он до сих пор убежден, что портрет усмехнулся.

Лицо на портрете стало, бесспорно, гораздо живее, но, увы, выражало оно вовсе не то, чего желал художник. Да. Лицо усмехалось, тут не могло быть сомнений.

— «Молитва безбожника»,— решил Хэррингей. — Этак будет и тонко и хитро. Но в таком случае левая бровь недостаточно саркастична.

Он подошел ближе, положил легкий мазок на левую бровь, а заодно сделал рельефнее ушную раковину, чтобы придать образу бóльшую жизненность.

Потом снова стал рассуждать.

— Боюсь, что выражение молитвенного экстаза уже не вернуть,—сказал он себе.— Почему бы не назвать его «Мефистофелем»? Нет, это слишком затасканно. «Друг венецианского дожа» — вот это свежее. Впрочем, ему не пойдет кольчуга, это будет слишком напоминать

наш легендарный Камелот[1]. А что, если облечь его в пурпуровую мантию и окрестить «Член священной коллегии»? Это покажет и юмор автора и его знакомство с историей Италии в средние века. Вот и у Бенвенуто Челлини,— продолжал Хэррингей,— есть портреты, где в одном из углов чуть светится золотая чаша,— очень остроумно! Но чтобы оттенить цвет лица моего итальянца, надо придумать что-то другое.

Хэррингей рассказывал, что он нарочно болтал сам с собой, чтобы заглушить безотчетное и мучительное ощущение страха. Лицо перед ним приобретало, как ни смотреть, все более отталкивающее выражение. И все-таки в нем чувствовалось и жило нечто из плоти и крови, пусть зловещее, но более живое, чем все, что когда-либо выходило из-под его кисти.

— Назову-ка я его «Портрет джентльмена»,— сказал Хэррингей.— Просто «Портрет одного джентльмена».

— Не годится,— пробормотал он, все еще стараясь не падать духом.— Получилось именно то, что у нас принято называть «дурным вкусом». Раньше всего надо убрать усмешку. Если ее уничтожить и блеск в глазах сделать ярче (почему-то я раньше не замечал, какой у него жгучий взгляд), тогда он сможет сойти за... хотя бы за «Страдальца пилигрима». Но только по эту сторону Ла-Манша такое дьявольское лицо успеха иметь не будет.

— В чем-то я погрешил,— заключил он.— Может быть, брови слишком раскосы.— И, опустив штору еще ниже, он снова схватил палитру и кисти.

Лицо на портрете, по-видимому, жило собственной жизнью. Хэррингей не мог доискаться, откуда же в нем такое дьявольское выражение. Это надо было проверить. Брови... Вряд ли причина была в бровях, но на всякий случай он их переделал. Лучше от этого портрет не стал, скорее наоборот, лицо сделалось еще более сатанинским. Углы рта?.. Уф! Саркастическая усмешка превратилась в угрожающе свирепую. Ну что ж, тогда, может быть, этот глаз? Беда, да и только! Хотя художник

[1] Камелот — резиденция легендарного английского короля Артура.

был уверен, что ткнул кисть не в киноварь, а именно в коричневую краску, он все-таки попал в киноварь. Теперь глаз, казалось, повернулся в орбите и засверкал злобным огнем. Тогда в порыве гнева, смешанного, быть может, с храбростью отчаяния, Хэррингей набрал на кисть ярко-красной краски и ударил ею по портрету. И тут случилось нечто очень любопытное и странное, если только это правда.

Этот сатанинский итальянец на портрете закрыл глаза, плотно сжал губы и рукой стер краску с лица.

Затем красный глаз снова открылся с легким звуком, напоминающим чмоканье, и на лице появилась улыбка.

— Какой же вы вспыльчивый! — произнес Портрет.

Хэррингей утверждает, что теперь, когда произошло худшее, к нему вернулось самообладание. Его спасла уверенность, что черти — существа разумные.

— А вы чего все время дергаетесь, гримасничаете и усмехаетесь, пока я вас пишу? — воскликнул он.

— Ничего подобного не было! — ответил Портрет.

— Нет, было,—возразил художник.

— Не выдумывайте, все это делали вы сами! — сказал Портрет.

— Нет, не я!

— Именно вы! — воскликнул Портрет.— И не вздумайте снова заляпать меня краской, потому что я говорю чистую правду. Все утро вы старались придать моему лицу какое-то дурацкое выражение. А между тем вы сами не знаете, какой должна быть ваша картина.

— Прекрасно знаю,— проворчал Хэррингей.

— Нет, не знаете,— повторил Портрет.— Вы никогда не ставите перед собой ясной цели. Каждую работу вы начинаете с самыми смутными намерениями, наобум. Вы уверены только в одном — что создадите нечто прекрасное, возвышенное, может быть, даже трагическое, но при этом полагаетесь на удачу, на счастливый случай. Милый мой, неужели вы думаете, что таким путем можно создать шедевр?

Не следует забывать, что обо всех этих событиях мы знаем только со слов Хэррингея.

— Я буду писать свои картины так, как считаю нужным,— спокойно заявил он.

Эти слова слегка озадачили Портрет.

— Нельзя написать картину без вдохновения,— возразил он.

— Что ж, я вас и писал с вдохновением!

— С вдохновением! — насмешливо процедил Портрет.— Да вам просто взбрело в голову написать картину, когда вы увидели, как шарманщик смотрит на ваши окна! «Молитвенный экстаз»! Ха-ха! На авось вы начали малевать, вот как дело было. И когда я увидел, что вы тут натворили, я и пришел. Решил с вами поговорить.

— Искусство,— продолжал Портрет,— в ваших руках довольно жалкое занятие. Работаете вы вяло. Не знаю почему, но чувствуется, что без души, и, кроме того, вы слишком много знаете. Это вам мешает. В разгаре работы вы спрашиваете себя, не была ли уже раньше написана похожая картина, и...

— Послушайте,— прервал его Хэррингей, ожидавший от дьявола чего-то более увлекательного, чем критические мысли об искусстве.— Вы что, читать мне лекцию собираетесь?

И он набрал на свою кисть из свиной щетины (номер двенадцатый) красной краски.

— Истинный художник,— заявил Портрет,— всегда невежествен. А тот, кто начинает теоретизировать, из художника превращается в критика. Вагнер... Послушайте, для чего вам эта красная краска?

— Я сейчас вас закрашу! — сказал Хэррингей.— Не желаю слушать всякую ерунду. Если вы воображаете, будто я только потому, что профессиональный художник, стану спорить с вами о сущности искусства, вы изволите ошибаться.

— Подождите минуточку! — сказал Портрет с тревогой.— Я хочу сделать вам одно предложение, вполне деловое предложение. Мои слова — сущая правда. Вам не хватает вдохновения. Что ж, я вам помогу. Вы, конечно, слышали о легендах про Кельнский собор и Чертов мост...

— Чепуха!— воскликнул Хэррингей.— Неужели вы воображаете, что я загублю душу ради удовольствия написать хорошую картину, которую все равно потом разругают? Вот вам за это!

Кровь стучала у него в висках. Опасность, по его словам, раззадоривала и придавала мужества. Набрав на кисть красной краски, он залепил ею рот своему созда-

нию. Итальянец в негодовании начал стирать краску и плеваться. И тут, как рассказывал Хэррингей, начался удивительный поединок. Художник замазывал полотно красной краской, а Портрет корчился и старался ее стереть.

— Вы напишете два шедевра,— предложил искуситель.— Две гениальные картины за душу художника из Челси. Согласны?

Хэррингей ответил новым ударом кисти.

В течение нескольких минут было слышно только, как шлепала кисть, как плевался и бранился итальянец. Немало краски попало на руку, которой он защищался, но часто Хэррингей бил без промаха—прямо в лицо.

Но вот кончилась краска на палитре, и противники замерли, запыхавшись и пристально глядя друг другу в глаза. Итальянец был так перепачкан красным, будто вывалялся в крови на бойне. Он едва переводил дыхание и ежился: его щекотала краска, стекавшая ему за воротник. Но все же первый раунд окончился в его пользу, и он упорствовал.

— Подумайте хорошенько,— сказал он.— Два непревзойденных шедевра, и в разных стилях. Каждый не уступает фрескам в соборе, и...

— Придумал! — крикнул Хэррингей и ринулся вон из мастерской, по коридору, в комнату своей жены.

Через минуту он прибежал с малярной кистью и внушительной банкой эмалевой краски, на которой было написано: «Цвет воробьиного яйца».

При виде этого красноглазый искуситель завопил:

— Три шедевра! Непревзойденных! Небывалых!

Хэррингей размахнулся, сплеча хватил кистью наискось по полотну и, набрав еще краски, запечатал ею глаз демона. Послышалось бормотанье: «Четыре шедевра»,— и Портрет стал отплевываться.

Но теперь Хэррингей был хозяином положения и не собирался сдаваться. Быстрые и решительные мазки один за другим ложились на трепещущее полотно, пока, наконец, оно не превратилось в однородную блестящую поверхность «цвета воробьиного яйца». На миг снова показался рот, но он успел только проговорить: «Пять шедев...» — и Хэррингей залил его краской. Потом вдруг

сверкнул злобным негодованием красный глаз, но после этого уже ничто не нарушало однообразия быстро сохнувшей эмалевой глади. Правда, от легкого содрогания полотна краска продолжала еще кое-где пузыриться, но потом улеглась, и полотно замерло в неподвижности.

Тогда Хэррингей (так по крайней мере он рассказывал) сел, закурил трубку, устремил взгляд на покрытое эмалевой краской полотно и попытался разобраться в том, что случилось. Потом он обошел мольберт, чтобы посмотреть на обратную сторону полотна. И тут ему стало досадно, что он не сфотографировал дьявола, прежде чем похоронить его под эмалевой краской.

Таков рассказ Хэррингея, и я за него ответственности на себя не беру. Как вещественное доказательство он показал небольшое полотно, двадцать четыре дюйма на двадцать, сплошь покрытое светло-зеленой эмалевой краской, и добавил к этому свои клятвенные уверения. Кроме того, известно, что Хэррингей не создал ни одного шедевра и, по убеждению своих самых близких друзей, никогда ничего выдающегося не создаст.

1895

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДЕЛАЛ АЛМАЗЫ

Какое-то дело задержало меня на Чэнсери-Лейн до девяти вечера, голова слегка побаливала, и я не был расположен ни развлекаться, ни продолжать работу. Небольшой клочок неба меж каменных громад этого узкого ущелья, где днем бурлит движение, говорил о том, что наступил тихий вечер, и я решил спуститься к набережной — освежиться и дать отдых глазам, наблюдая игру разноцветных огней в струях реки. Без всякого сомнения, здесь лучше всего бывать ночью: в спасительной темноте не видно, как грязна вода, и огни нашего стремительного века — красный, ярко-оранжевый, ядовито-желтый и ослепительно-белый — светятся всевозможными оттенками, от дымчатого до темно-лилового. Сквозь пролеты моста Ватерлоо сотни светящихся точек обозначают изгиб набережной, а над парапетом на фоне звездного неба серой громадой встают башни Уэстминстера. Черная река течет спокойно, лишь изредка всплеск волны нарушает ее безмолвие и колеблет отражение огней, плывущих по ее глади.

— Какая теплая ночь,— произнес рядом со мной чей-то голос.

Я обернулся и увидел профиль человека, облокотившегося о парапет рядом со мной. Лицо у него было тонкое, не лишенное привлекательности, осунувшееся и бледное, а его пальто с поднятым и заколотым булавкой воротником не менее красноречиво, чем, скажем, мундир, говорило о жизни, которую вел этот человек.

Я чувствовал, что, откликнувшись на его замечание, буду вынужден подать ему на ночлежку и чашку кофе.

С любопытством смотрел я на него. Сумеет ли он рассказать мне взамен что-нибудь стоящее, или передо мной обыкновенная бездарность, чурбан, неспособный даже рассказать о себе? Лоб и глаза изобличали в нем человека умного, нижняя губа слегка вздрагивала, и я решился.

— Да, очень теплая,— сказал я,— но нам здесь не слишком тепло.

— Нет, почему же,— возразил он, не отрывая глаз от воды — здесь очень приятно... сейчас по крайней мере. Как хорошо найти в Лондоне такое спокойное местечко,— продолжал он, помолчав.— Весь день занят делами, стремишься добиться своего, выполнить кучу обязанностей и при этом не попасть впросак! Да я просто не знаю, как можно было бы жить, если б не такие вот тихие уголки.

Он говорил не спеша, то и дело умолкая.

— Вам, должно быть, знаком утомительный, повседневный труд, иначе вы не пришли бы сюда. Но вряд ли вы так измотаны и опустошены, как я... Эх! Иной раз мне кажется, что игра не стоит свеч. Хочется махнуть рукой на все: доброе имя, богатство, положение в обществе — и заняться чем-нибудь скромным и незаметным. Но я знаю: стоит мне отказаться от своей мечты, которая отняла у меня столько сил и здоровья, и я буду жалеть об этом до конца дней.

Незнакомец замолчал. Я глядел на него с удивлением. Передо мной стоял человек вконец обнищавший — я таких никогда не видел. Оборванный, грязный, давно не бритый и не чесанный, он, казалось, целую неделю провалялся на помойке. И он говорил мне об утомительных хлопотах, неизбежных при ведении крупных дел. Я чуть было не рассмеялся. То ли он сумасшедший, то ли горько шутит над собственной бедностью.

— Если благородные устремления и высокое положение,— заметил я,— всегда сопряжены с тяжелым трудом и немалыми заботами, то все же они имеют и хорошую сторону. Человек пользуется влиянием, может сде-

лать доброе дело, помочь бедным и слабым; а кроме того, его радует сознание, что...

Моя шутка прозвучала крайне неуместно. Но меня раззадорило явное несоответствие речей незнакомца и его внешности. Еще не договорив, я уже пожалел о сказанном.

Он повернул ко мне свое изможденное, но невозмутимое лицо и сказал:

— Я забылся. Вам, конечно, не понять моих слов.

Какое-то мгновение он словно оценивал меня.

— Все это так нелепо. Вы, конечно, не поверите мне, даже если я вам скажу все, так что вряд ли стоит и рассказывать... Но все же так хочется открыться кому-нибудь... У меня в руках действительно выгодное дело, очень выгодное. Но именно сейчас я в большом затруднении. Дело в том, что я... я делаю алмазы.

— Должно быть, сейчас вы без работы? — спросил я.

— Как надоело мне это вечное недоверие! —нетерпеливо бросил незнакомец и, расстегнув свое драное пальто, достал маленький мешочек, висевший у него на шее. Он извлек из мешочка какой-то темный камешек и подал его мне.

— Сомневаюсь, сможете ли вы определить, что это такое.

За год перед тем мне пришлось изучать некоторые дисциплины для получения ученой степени, поэтому я имел известное представление о физике и минералогии. Камешек походил на неотшлифованный алмаз темной воды, хотя и был слишком велик — почти в сустав моего большого пальца. Взяв его в руки, я увидел, что это правильный восьмигранник с острыми гранями, характерными для большинства драгоценных камней. Достав перочинный нож, я попытался нанести на камешек царапину, но это мне не удалось. Тогда, повернувшись к фонарю, я легонько провел камешком по стеклу своих часов, и на нем остался белый след.

Сильно заинтересованный, я взглянул на своего собеседника.

— В самом деле похоже на алмаз. Но в таком случае это алмаз неслыханных размеров. Откуда он у вас?

— Говорю же, я сделал его сам,— отвечал он.— Давайте его сюда.

Он поспешно сунул камень в мешочек и застегнулся.

— Я продам вам его за сто фунтов,—вдруг горячо прошептал он.

При этих словах мои подозрения снова ожили. В конце концов это мог быть просто-напросто кусок корунда, случайно напоминающий по форме алмаз и почти столь же твердый. А если даже это действительно алмаз, то как он попал к этому человеку и почему он отдает камень за сто фунтов?

Мы посмотрели друг другу в глаза. Видно было, что ему очень хочется продать камень, но ведь и честный человек может испытать такое желание. В этот миг я поверил, что он предлагает мне настоящий алмаз. Но я человек небогатый, и сто фунтов пробили бы довольно ощутимую брешь в моем бюджете. К тому же ни один нормальный человек не рискнет купить алмаз при свете газового фонаря, поверив на слово какому-то оборванцу. И все же при виде такого крупного алмаза у меня разыгралось воображение, и мне уже мерещились тысячи фунтов. Но тут я подумал, что такой алмаз, вероятно, упомянут во всех справочниках о драгоценных камнях. И снова в памяти всплыли рассказы о ловких мошенниках и о кафрах-контрабандистах, орудующих в Кейптауне.

Я решил обойти молчанием его предложение.

— Откуда же он все-таки у вас? — спросил я.

— Я его сделал.

Я кое-что слышал о Муассане [1], но, припомнив, что его искусственные алмазы были очень невелики, покачал головой.

— Вы, кажется, немного разбираетесь в такого рода вещах. Я расскажу вам кое-что о себе, и, может быть, тогда мое предложение перестанет казаться вам столь сомнительным.— Он повернулся спиной к реке, сунул руки в карманы и, вздохнув, заметил: —Но я знаю, вы мне все равно не поверите.

---

[1] Анри Муассан (1852—1907) — французский химик, получивший электротермическим путем некоторые металлы в чистом виде.

— Алмазы,— продолжал он,— могут быть получены путем нагревания чистого углерода до соответствующей температуры при соответствующем давлении. При этом углерод выкристаллизовывается, но не в виде графитовой или угольной пыли, а в виде мелких алмазов.

Теперь он говорил уже не как жалкий бродяга, а гладко и свободно, как интеллигентный человек.

— Это давно уже известно химикам,— продолжал он,— но никому еще не удалось установить, какая температура и какое давление дают наилучшие результаты. Из маленьких мутных алмазов, полученных химиками, нельзя делать бриллианты. И вот я посвятил свою жизнь решению этой проблемы — всю свою жизнь.

Я начал изучать способы изготовления алмазов, когда мне было семнадцать, а теперь мне уже тридцать два. Мне думалось, что если я буду работать над этой проблемой как проклятый десять или даже двадцать лет, то и тогда игра все же стоит свеч. Допустим, кто-нибудь попадет в самую точку прежде, чем секрет раскроют другие, и алмазов станет столько же, сколько угля,— ведь этот человек будет загребать миллионы. Миллионы!

Он остановился и взглянул на меня, ища сочувствия. В его глазах появился жадный блеск.

— Подумать только, что я на пороге этого, и вот... В двадцать один год у меня была тысяча фунтов,— продолжал он,— я рассчитывал, что за вычетом небольшой суммы, которая пойдет на мое образование, этих денег хватит на опыты. Года два я учился — в основном в Берлине,— а затем стал заниматься самостоятельно. К несчастью, мне приходилось действовать втайне. Ведь если бы я ненароком выдал, чем занимаюсь, я мог бы заразить и других верой в осуществимость моей затеи. Тогда изобретатели стали бы лихорадочно работать в этом направлении, а я не считал себя таким уж гением и не надеялся опередить соперников. Так что, понимаете ли, поскольку я всерьез хотел разбогатеть, никто не должен был знать, что таким путем можно получать алмазы тоннами. И вот мне пришлось работать в одиночку. Сначала у меня была маленькая лаборатория, но когда мои средства стали подходить к концу, пришлось производить опыты в жалкой комнатке с голыми сте-

нами в Кентиштауне, где я под конец спал на соломенном тюфяке, на полу, среди приборов. Деньги так и таяли. Я отказывал себе решительно во всем, но покупал новейшую аппаратуру. Я попытался перебиваться, давая уроки, но я не очень-то хороший педагог, да к тому же у меня нет ни университетского диплома, ни обширных познаний,—я силен только в химии. Оказалось, что за какие-то гроши я должен отдавать чуть ли не все свои силы и время. Но я быстро приближался к цели. Три года назад мне удалось получить пламя, которое могло давать необходимую температуру, и я почти разрешил проблему давления, поместив смесь собственного изготовления вместе с одним соединением углерода в пустую снарядную гильзу. Наполнив гильзу водой, я герметически закупорил ее и начал нагревать.

Он умолк.

— Довольно рискованно,— заметил я.

— Да. Смесь взорвалась, в комнате вылетели все стекла, разбилось много приборов; тем не менее я получил что-то вроде алмазной пыли. Отыскивая способ подвергнуть высокому давлению расплавленную массу, из которой выкристаллизовываются алмазы, я напал на изыскания некого Добрэ, работавшего в парижской лаборатории взрывчатых веществ. Этот ученый взрывал динамит в герметически закрытом стальном цилиндре, который выдерживал давление взрыва, и я узнал, что при желании Добрэ мог бы разнести в пыль глыбы, не менее твердые, чем африканские породы, в которых находят алмазы. Собрав последние средства, я заказал стальной цилиндр типа цилиндра Добрэ. Наполнив его своей смесью и взрывчаткой, я развел огонь в горне и пошел прогуляться.

У меня невольно вызвал улыбку будничный тон, каким он все это рассказывал.

— Разве вы не подумали, что мог взорваться весь дом? Ведь там жили и другие люди?

— Все это делалось во имя науки,— сказал он, помолчав.— Этажом ниже жила семья уличного разносчика, в комнате напротив обретался нищенствующий писатель, а надо мной — две цветочницы. Вероятно, я поступил несколько легкомысленно. Но, я думаю, не все они были в это время дома.

Когда я вернулся, цилиндр был в том же положении, среди раскаленных углей. Взрывчатка не разорвала его. И тут передо мной встала новая проблема. Вы знаете, что для кристаллизации необходимо время. Если ускорить процесс, кристаллы получатся маленькие,— только по истечении длительного времени могут они достигнуть значительных размеров. Я решил дать цилиндру остывать два года с тем, чтобы температура снижалась постепенно. К этому времени я остался уже совсем без денег; нужно было покупать уголь для горна, платить за комнату и что-то есть, а у меня не было ни гроша.

Чем только мне не приходилось заниматься, пока кристаллизовались алмазы! Я продавал газеты, держал под уздцы лошадей, открывал дверцы карет. Много недель подряд надписывал конверты. Служил подручным у уличного торговца и зазывал вместе с ним покупателей: он—с одной стороны улицы, я—с другой. Однажды я целую неделю был совсем без работы и просил милостыню. Что это было за время! Но вот огонь стал ослабевать. В тот день у меня не было во рту ни крошки; какой-то юнец, прогуливавшийся со своей подружкой, подал мне полшиллинга, чтобы покрасоваться перед ней. Да будет благословенно тщеславие! Какой соблазнительный запах доносился из рыбной лавки! Но я все же потратил все деньги на уголь —в горне снова ярко запылал огонь и тут... С голоду глупеешь.

Под конец, три недели тому назад, я перестал поддерживать огонь. Я извлек цилиндр, вскрыл его — он был еще так горяч, что обжигал мне руки,— выскреб стамеской хрупкую лавообразную массу и размельчил ее молотком на чугунной плите. Я обнаружил в ней три крупных и пять мелких алмазов.

Когда я, сидя на полу, стучал молотком, вошел мой сосед-писатель. Он, по обыкновению, был пьян и бросил мне:

— А-анархист...

— Вы пьяны,— сказал я.

— Мерзкий поджигатель...— продолжал он.

— А пошел ты ко всем чертям! — отрезал я.

— Как бы не так,— отвечал сосед, хитро подмигнув. Тут он икнул, привалился к двери и, уставившись в потолок, принялся болтать. Он-де обследовал мою комнату

и сегодня поутру сходил в полицию, где они записали все, что он рассказал.— Уж посмотрим, что это за драгоценности,— прибавил он.

Тут я понял, что попал в безвыходное положение. Либо мне придется открыть в полиции свой секрет — и тогда все пропало,— либо меня арестуют как анархиста. Словом, я подступил к своему соседу, схватил его за шиворот и хорошенько тряхнул, а потом, собрав свои алмазы, удрал. В вечерних газетах мое логово окрестили кентиштаунской фабрикой бомб. И теперь я ни добром, ни худом не могу разделаться с этими алмазами.

Если я обращаюсь к солидным ювелирам, меня просят немного подождать и шепотом велят приказчику сбегать за полицейским. Приходится говорить, что я не могу ждать. Я отыскал скупщика краденого, но он простонапросто присвоил один из моих алмазов и предложил мне обратиться в суд, если я хочу получить его обратно. И вот я брожу бездомный и голодный, а в мешочке у меня пять алмазов стоимостью в несколько сот тысяч фунтов. Вам я доверился первому. Мне понравилось ваше лицо, и, кроме того, я дошел до точки.

Он посмотрел мне в глаза.

— Было бы сущим безумием с моей стороны купить этот алмаз при подобных обстоятельствах,— сказал я.— К тому же я не имею привычки носить с собой столько денег. И все же я почти уверен, что вы рассказали мне правду. Давайте, если хотите, сделаем так: приходите ко мне завтра в контору...

— Вы принимаете меня за жулика! — с горечью сказал он.— Вы заявите в полицию. Но я не намерен лезть в петлю.

— Я почему-то уверен, что вы совсем не жулик. Во всяком случае, вот моя визитная карточка. Возьмите ее. Вам незачем приходить в условленный час. Приходите когда вздумается.

Он взял карточку и, видимо, поверил в мою доброжелательность.

— Обдумайте все как следует и приходите,— заключил я.

Незнакомец с сомнением покачал головой.

— Когда-нибудь я верну вам ваши полкроны с такими процентами, что вы диву дадитесь,— сказал он.— Но

так или иначе, надеюсь, вы не проболтаетесь?.. Не идите за мной.

Он перешел улицу и исчез в темноте — там, где лестница под аркой ведет к Эссекс-стрит,— и я дал ему уйти. Больше я его ни разу не видел.

Впоследствии я получил от него два письма с просьбой прислать денег — банкнотами, не чеком — по указанному адресу. Я все обдумал и поступил, как мне казалось, вполне благоразумно. Как-то раз он зашел ко мне домой, но не застал меня. Сынишка описал мне его — страшно худой, грязный и оборванный человек, сильно кашлявший. Он не оставил никакой записки. Это все, что я могу о нем рассказать. Порой я размышляю о том, какая судьба его постигла. Был ли то просто-напросто отчаянный фантазер и маньяк, или же мошенник, занимавшийся подделкой драгоценных камней, или, быть может, он и в самом деле делал алмазы? Последнее предположение кажется мне вполне вероятным, и я порой думаю, что упустил самую блестящую возможность в своей жизни. Конечно, он, может быть, уже умер, и происхождение его алмазов никого не интересует,— один из них, я повторяю, был величиною почти с сустав моего большого пальца. А может быть, он и по сей день бродит по свету, тщетно надеясь их продать. Вполне возможно, что он еще вынырнет и промелькнет на моем горизонте с безмятежным видом богатого и преуспевающего человека, молчаливо упрекнув меня за недостаток предприимчивости. Иногда мне кажется, что я все же мог бы рискнуть хотя бы пятью фунтами.

1895

ОГРАБЛЕНИЕ В ХЭММЕРПОНД-ПАРКЕ

Еще вопрос, следует ли считать кражу со взломом спортом, ремеслом или искусством. Ремеслом ее не назовешь, так как техника этого дела вряд ли достаточно разработана, но не назовешь ее и искусством, ибо здесь всегда присутствует доля корысти, пятнающей все дело. Пожалуй, правильнее всего считать грабеж спортом — таким видом спорта, где правила и по сей день еще не установлены, а призы вручаются самым неофициальным путем. Неофициальный образ действий взломщиков и привел к печальному провалу двух подающих надежды новичков, орудовавших в Хэммерпонд-парке.

Ставкой в этом деле были бриллианты и другие фамильные драгоценности новоиспеченной леди Эвелинг. Читателю следует не упускать из виду, что молодая леди Эвелинг была единственной дочерью небезызвестной хозяйки гостиницы миссис Монтегю Пэнгз. В газетах много шумели о ее свадьбе с лордом Эвелингом, о количестве и качестве свадебных подарков и о том, что медовый месяц предполагалось провести в Хэммерпонде.

Возможность захватить столь ценные трофеи вызвала сильное волнение в небольшом кружке, общепризнанным вожаком которого являлся мистер Тедди Уоткинс. Было решено, что он в сопровождении квалифицированного помощника посетит Хэммерпонд, дабы проявить там во всем блеске свои профессиональные способности.

Как человек скромный и застенчивый, мистер Уоткинс решил нанести этот визит инкогнито и, пораз-

мыслив должным образом над всеми обстоятельствами дела, остановился на роли пейзажиста с заурядной фамилией Смит.

Уоткинс отправился один: условились, что помощник присоединится к нему лишь накануне его отъезда из Хэммерпонда — на другой день к вечеру.

Хэммерпонд, пожалуй, один из самых живописных уголков Суссекса. Там уцелело еще немало домиков под соломенной крышей; приютившаяся под горой каменная церковь с высоким шпилем — одна из самых красивых в графстве, и ее почти не испортили реставраторы, а дорога, ведущая к роскошному особняку, извивается меж буков и густых зарослей папоротника; местность изобилует тем, что доморощенные художники и фотографы именуют «видами». Поэтому мистера Уоткинса, прибывшего туда с двумя чистыми холстами, новеньким мольбертом, этюдником, чемоданчиком, невинной маленькой складной лестницей (вроде той, какою пользовался недавно умерший виртуоз Чарлз Пис), а также ломом и мотком проволоки, с энтузиазмом и не без любопытства приветствовало с полдюжины собратьев по искусству. Это обстоятельство неожиданно придало некоторое правдоподобие избранной Уоткинсом маскировке, но вовлекло его в бесконечные разговоры о живописи, к чему он был совсем не подготовлен.

— Часто ли вы выставлялись? — спросил его молодой Порсон. Разговор происходил в трактире «Карета и лошади», где мистер Уоткинс в день своего приезда успешно собирал нужные сведения.

— Да нет, не очень,— отвечал мистер Уоткинс.— Так, от случая к случаю.

— В академии?

— Да, конечно. И в Хрустальном дворце.

— Удачно ли вас вешали? — продолжал Порсон.

— Брось трепаться,— оборвал его мистер Уоткинс.— Я этого не люблю.

— Я хочу сказать: хорошее ли вам отводили местечко?

— Это еще что такое? — подозрительно протянул мистер Уоткинс.— Сдается мне, вам охота выведать, случалось ли мне засыпаться.

Порсон воспитывался у теток, и он, не в пример про-

чим художникам, был хорошо воспитанным молодым человеком; он понятия не имел, что значит «засыпаться», однако счел нужным пояснить, что не хотел сказать ничего подобного. И так как вопрос о вешании, казалось, слишком задевал мистера Уоткинса, Порсон решил переменить тему разговора.

— Делаете вы эскизы с обнаженной натуры?

— Никогда не был силен в обнаженных натурах,— отвечал мистер Уоткинс.— Этим занимается моя девчонка, то есть, я хочу сказать, миссис Смит.

— Так она тоже рисует? — воскликнул Порсон.— Как интересно!

— Ужасно интересно! — отвечал мистер Уоткинс, хотя вовсе этого не думал, и, почувствовав, что разговор выходит за пределы его возможностей, добавил: —Я приехал сюда, чтобы написать Хэммерпондский особняк при лунном свете.

— Неужели! — воскликнул Порсон.— Какая оригинальная идея!

— Да,— отвечал мистер Уоткинс.— Я был до смерти рад, когда она осенила меня. Думаю начать завтра ночью.

— Как? Не собираетесь же вы писать ночью под открытым небом?

— А вот как раз и собираюсь.

— Да как же вы разглядите в темноте холст?

— У меня с собой «светлячок»...— начал было с увлечением Уоткинс, но тут же, спохватившись, крикнул мисс Дарген, чтобы она принесла еще кружку пива.— Я собираюсь обзавестись одной вещицей — специальным фонарем,— прибавил он.

— Но ведь скоро новолуние,— заметил Порсон.—И луны не будет.

— Зато дом будет,— возразил Уоткинс.— Видите ли, я собираюсь написать сперва дом, а потом уж луну.

— Вот как! —воскликнул Порсон, слишком ошеломленный, чтобы продолжать разговор.

— Однако поговаривают, что каждую ночь в доме ночует не меньше трех полицейских из Хэзлуорта,—заметил хозяин гостиницы, старик Дарген, хранивший скромное молчание, пока шел профессиональный разговор.— И все из-за этих самых драгоценностей леди Эве-

линг. Прошлую ночь один из полицейских здорово обыграл в девятку лакея.

На исходе следующего дня мистер Уоткинс, вооруженный чистым холстом, мольбертом и весьма объемистым чемоданом с прочими принадлежностями, прошествовал прелестной тропинкой через буковую рощу в Хэммерпондский парк и занял перед домом господствующую позицию. Здесь его узрел мистер Рафаэль Сант, возвращавшийся через парк после осмотра меловых карьеров. И так как его любопытство было подогрето рассказами Порсона о вновь прибывшем художнике, он свернул в сторону, намереваясь потолковать о служении искусству в ночное время.

Мистер Уоткинс, как видно, не подозревал о его приближении. Он только что дружески побеседовал с дворецким леди Эвелинг, и тот удалялся теперь в окружении трех комнатных собачек, прогуливать которых после обеда входило в круг его обязанностей. Мистер Уоткинс с величайшим усердием смешивал краски. Приблизившись, Сант был совершенно сражен невероятно крикливым, сногсшибательно изумрудным цветом. Сант, с малых лет необычайно чувствительный к цветовой гамме, взглянув на эту мешанину, даже присвистнул от удивления. Мистер Уоткинс обернулся, он был явно раздосадован.

— Какого черта вы хотите делать этой адской зеленью? — воскликнул Сант.

Мистер Уоткинс почувствовал, что перестарался: разыгрывая перед дворецким роль усердного художника, он совершил какую-то профессиональную оплошность. Он растерянно поглядел на Санта.

— Извините меня за вмешательство,— продолжал тот.— Но в самом деле этот зеленый слишком необычен. Он прямо-таки сразил меня. Что же вы думаете им писать?

Мистер Уоткинс напряг все свои умственные силы. Только отчаянный шаг мог спасти положение.

— Если вы пришли сюда мешать мне работать,— выпалил он,— я распишу им вашу физиономию!

Сант, человек добродушный, тут же ретировался.

Спускаясь с холма, он повстречал Порсона и Уэйнрайта.

— Это или гений, или опасный сумасшедший,— заявил он.— Поднимитесь-ка на горку и взгляните на его зелень.

И Сант пошел своей дорогой. Лицо его расплылось в улыбке: он уже предвкушал веселую потасовку в сумерках возле мольберта, среди потоков зеленой краски.

Но с Порсоном и Уэйнрайтом мистер Уоткинс обошелся менее враждебно и объяснил, что намеревался загрунтовать картину зеленым тоном. В ответ на их замечания он сказал, что это совершенно новый, им самим изобретенный метод. Но тут же стал более сдержанным, объяснил, что вовсе не намерен открывать всякому встречному и поперечному секреты своего стиля, и подпустил несколько ехидных словечек касательно подлости некоторых «пронырливых» субъектов, которые стараются выведать у мастера его приемы. Это немедленно избавило Уоткинса от присутствия художников.

Сумерки сгустились, загорелась первая звезда, за ней — вторая. Грачи на высоких деревьях слева от дома давно уже умолкли и погрузились в дремоту, и дом, утратив четкость очертаний, превратился в темную громаду. Потом ярко загорелись окна залы, осветился зимний сад, тут и там замелькали огоньки в спальнях. Если бы кто-нибудь подошел сейчас к мольберту, стоявшему в парке, он не обнаружил бы поблизости ни души. Девственную белизну холста оскверняло неприличное словцо, коротенькое и ядовито-зеленое. Мистер Уоткинс вместе со своим помощником, который без лишнего шума присоединился к нему, вынырнув из главной аллеи, занимался в кустах какими-то приготовлениями. Он уже поздравлял себя с остроумной выдумкой, благодаря которой ему удалось на виду у всех нахально пронести все свои инструменты прямо к месту действия.

— Вон там ее будуар,—объяснил он своему помощнику.

— Как только горничная возьмет свечу и спустится ужинать, мы заглянем туда. Черт возьми! А домик и вправду красив при свете звезд, да как здорово освещены все окна! Знаешь, Джим, а ведь я, пожалуй, не прочь бы стать художником, черт меня побери! Ты натянул проволоку над тропинкой, что ведет к прачечной?

Он осторожно приблизился к дому, подкрался к окну будуара и принялся собирать свою складную лесенку. Уоткинс был слишком опытным профессионалом, чтобы почувствовать при этом хотя бы легкое волнение. Джим стоял на стреме у окна курительной.

Вдруг в кустах, совсем рядом с мистером Уоткинсом, раздался сильный треск и сдавленная ругань: кто-то споткнулся о проволоку, только что натянутую его помощником. А потом Уоткинс услышал у себя за спиной, на дорожке, посыпанной гравием, быстрые шаги. Как и все настоящие художники, мистер Уоткинс был человек на редкость застенчивый, поэтому он тут же бросил свою складную лесенку и кинулся бежать через кусты. Он смутно чувствовал, что за ним по пятам гонятся двое, и ему показалось, что впереди он различает фигуру своего помощника. Не теряя времени, он перемахнул через низкую каменную ограду, окружавшую кустарник, и очутился в парке. Он услышал, как вслед за ним на траву спрыгнули двое.

Это была бешеная гонка в темноте, меж деревьев. Мистер Уоткинс был сухопарый, хорошо натренированный мужчина; он шаг за шагом нагонял тяжело дышавшего человека, который мчался впереди. Они бежали молча, но когда мистер Уоткинс стал догонять беглеца, на него вдруг напало ужасное сомнение. В тот же миг незнакомец обернулся и удивленно вскрикнул.

«Да это вовсе не Джим!» — пронеслось в голове у мистера Уоткинса. Тут незнакомец кинулся ему под ноги, и они, сцепившись, повалились на землю.

— Навались, Билл! — крикнул незнакомец подбежавшему товарищу.

И Билл навалился, пустив в ход руки и ноги. Четвертый же, по всей видимости, Джим, вероятно, свернул в сторону и скрылся в неизвестном направлении. Так или иначе, он не присоединился к этому трио.

То, что последовало дальше, почти испарилось из памяти Уоткинса. Он с трудом припомнил, что попал первому из преследователей большим пальцем в рот и опасался за целость своего пальца, а потом несколько секунд прижимал к земле, схватив за волосы, голову человека, которого, по-видимому, звали Билл. Его самого крепко лупили по чем попало, как будто на него нава-

лилась целая куча народу. Затем тот из двоих, который не был Биллом, уперся Уоткинсу коленкой в грудь и попытался прижать его к земле.

Когда в голове у мистера Уоткинса немного прояснилось, он обнаружил, что сидит на траве, а вокруг столпилось человек восемь — десять. Ночь была темная, и он слишком отчаялся, чтобы считать. По всей видимости, они дожидались, когда он очнется. Мистер Уоткинс с прискорбием пришел к заключению, что он попался, и, вероятно, принялся бы философствовать о превратностях судьбы, если бы крепкая взбучка не лишила его дара речи.

Он сразу же заметил, что ему не надели наручников; потом кто-то сунул ему в руку фляжку с коньяком, что его даже растрогало: столь неожиданна была такая доброта.

— Кажется, он очухался,— сказал кто-то, и Уоткинс узнал по голосу ливрейного лакея.

— Мы изловили их, сэр, изловили обоих,— сказал дворецкий; это он подал Уоткинсу фляжку.— И все благодаря вам.

Никто не пояснил слова дворецкого, и Уоткинс так и не понял, при чем же тут он.

— Он никак не придет в себя,— произнес незнакомый голос,— эти злодеи чуть не убили его.

Мистер Тедди Уоткинс решил не приходить в себя, пока не уяснит, какова ситуация. Среди окружавших его темных фигур он заметил двоих, стоявших бок о бок с убитым видом, и что-то в очертании их плеч подсказало его наметанному глазу, что руки у них связаны. Двое! Уоткинс сразу понял, в чем дело. Он осушил фляжку и, пошатываясь, встал на ноги, услужливые руки поддержали его. Раздались сочувственные возгласы.

— Жму вашу руку, сэр, жму руку,— промолвил один из стоявших рядом.— Разрешите представиться. Премного вам обязан. Ведь эти негодяи покушались на драгоценности моей жены, леди Эвелинг.

— Счастлив познакомиться с вашей светлостью,— сказал Тедди Уоткинс.

— Вероятно, вы увидели, что эти негодяи побежали в кусты и бросились за ними?

— Так оно и было,— подтвердил мистер Уоткинс.

— Вам подождать бы, пока они влезут в окно,— сказал лорд Эвелинг.— Если бы они успели взять драгоценности, им пришлось бы гораздо солоней. На ваше счастье, двое полицейских были как раз у ворот и бросились вслед за вами. Вряд ли вы справились бы с обоими, но все равно это было очень смело с вашей стороны.

— Да, мне следовало подумать об опасности,— сказал мистер Уоткинс,— но ведь всего сразу не сообразишь.

— Разумеется,— согласился лорд Эвелинг.— Боюсь только, что они слегка помяли вас,— добавил он. Они теперь шли к дому.— Вы, я вижу, хромаете. Разрешите предложить вам руку.

И вместо того, чтобы проникнуть в Хэммерпондский особняк через окно будуара, мистер Уоткинс вступил в него навеселе и в приподнятом настроении через парадную дверь, опираясь на руку одного из пэров Англии. «Вот это, что называется, классная работа»,— подумал мистер Уоткинс.

При свете газового фонаря обнаружилось, что «негодяи» были всего лишь местными дилетантами, неизвестными мистеру Уоткинсу. Их отправили вниз, в кладовую, где и оставили под охраной трех полицейских, двух лесников с ружьями наготове, дворецкого, конюха и кучера; утром преступников должны были препроводить в полицейский участок в Хейзлхерст.

В зале хлопотали вокруг мистера Уоткинса. Его уложили на диване и ни за что не хотели отпустить одного ночью в деревню. Леди Эвелинг утверждала, что он бесподобный оригинал и что она именно так представляет себе Тернера[1]: грубоватый мужчина с нависшими бровями, немного под хмельком, смелый и сообразительный. Кто-то принес замечательную складную лесенку, подобранную в кустах, и показал Уоткинсу, как она складывается. Ему также подробно рассказали, как была обнаружена в кустах проволока, вероятно, натянутая, чтобы задержать неосторожных преследователей. Хорошо еще, что ему посчастливилось миновать эту ловушку.

И ему показали драгоценности.

---

[1] Джозеф Тернер (1775—1851) — английский живописец.

У мистера Уоткинса хватило ума воздержаться от лишних разговоров, ссылаясь при всяком опасном повороте беседы на пережитое потрясение. Наконец у него началась ломота в спине, и он принялся зевать. Тут хозяева спохватились, что стыдно утруждать разговорами человека, попавшего в такую переделку, и Уоткинс рано удалился в отведенную ему спальню, маленькую красную комнатку рядом с покоями лорда Эвелинга.

* * *

Рассвет увидел брошенный посреди Хэммерпондского парка мольберт с холстом, украшенный зеленой надписью, и охваченный смятением дом. Но если рассвет и увидел Тедди Уоткинса, а с ним и бриллианты леди Эвелинг, он не заявил об этом в полицию.

1895

ОСТРОВ ЭПИОРНИСА

Человек со шрамом на лице перегнулся через стол и посмотрел на мои цветы.

— Орхидеи? — спросил он.

— Очень немного,— ответил я.

— Венерины башмачки?

— Да, главным образом.

— А чего-нибудь новенького не нашлось? Хотя вряд ли. Я побывал на этих островах двадцать пять, нет, двадцать семь лет назад. Если вы найдете здесь что-то новое, значит, это уж совсем новехонькое. После меня не осталось почти ничего.

— Я не коллекционер.

— Тогда я был молод,— продолжал он.— Господи! Сколько я колесил по свету! — Он как бы присматривался ко мне.— Два года пробыл в Индии, семь лет — в Бразилии. Потом поехал на Мадагаскар.

— Я знаю кое-кого из исследователей понаслышке.— Я уже предвкушал любопытную историю.— Для кого вы собирали материалы?

— Для Доусона. А скажите: вам не доводилось слыхать такую фамилию — Батчер?

— Батчер, Батчер...— Фамилия смутно казалась мне знакомой, потом я вспомнил: «Батчер против Доусона».— Постойте! Так это вы судились, требуя жалованья за четыре года — за то время, что пробыли на необитаемом острове, куда вас случайно забросило?

— Ваш покорный слуга,— кланяясь, сказал человек со шрамом.— Занятный случай, правда? Я сколотил себе за это время небольшое состояньице, пальцем о па-

лец не ударив, а они никак не могли меня уволить. Я часто забавлялся этой мыслью, пока жил на острове. И даже подсчитывал доходы, выкладывая из камешков огромные красивые цифры на берегу этого проклятого атолла.

— Как же это случилось? Я уже забыл подробности дела...

— Видите ли... Вы слыхали когда-нибудь об эпиорнисе?

— Конечно. Эндрюс как раз занимается его новой разновидностью; он рассказывал мне о ней с месяц назад. Перед самым моим отплытием. Они, кажется, раздобыли берцовую кость чуть ли не с ярд длиной. Ну и чудовище это было!

— Еще бы! — сказал человек со шрамом.— Настоящее чудовище. Легендарная птица Рух Синдбада-морехода — ничто перед ним. И когда же они нашли кость?

— Года три-четыре назад, кажется, в девяносто первом году. А почему вас это интересует?

— Почему? Да ведь нашел я эту птицу, ей-богу, почти двадцать лет назад. Если б Доусон не заупрямился с моим жалованьем, они могли бы извлечь из этого немалую выгоду. Но что я мог поделать, если проклятую лодку унесло течением?..

Он помолчал.

— Наверно, они нашли кости на том же самом месте. Это болото в девяноста милях к северу от Антананариво. Не знаете? К нему надо добираться вдоль берега на лодке. Постарайтесь вспомнить.

— Не могу. Но, кажется, Эндрюс говорил что-то о болоте.

— Значит, это оно. На восточном берегу. Там в воде есть какие-то вещества, предохраняющие от разложения. Не знаю уж, откуда они взялись. По запаху похоже на креозот. Сразу вспоминается Тринидад. А яйца они нашли? Мне попадались яйца в полтора фута длиной. Это место со всех сторон окружено болотом. И в воде много соли. Да-а... Нелегко мне пришлось в то время! А нашел я все совсем случайно. После этого я взял с собой двух туземцев и отправился собирать яйца в этаком допотопном каноэ, связанном из отдельных кусков; тогда же

мы нашли и кости. Мы прихватили с собой палатку и припасов на четыре дня и остановились там, где почва потверже. Вот сейчас вспомнилось мне все это, и сразу почудился странный, смолистый запах. Занятная была работа. Понимаете, мы шарили в грязи железными прутьями. Яйца при этом обычно разбиваются. Интересно: сколько времени прошло с тех пор, как жили эпиорнисы? Миссионеры утверждают, что в туземных легендах говорится о таких птицах, но сам я этого не слыхал[1]. Однако те яйца, которые мы нашли, были совершенно свежие, как будто только что снесенные. Да, свежие! Когда мы тащили их к лодке, один из моих негров уронил яйцо, и оно разбилось о камень. Ох, и вздул же я этого малого! Яйцо было ничуть не испорченное, словно птица недавно снесла его, оно совсем не пахло тухлым, а ведь эта птица, может, уже четыреста лет, как сдохла. Негр оправдывался тем, что его будто бы укусила сколопендра. Впрочем, я отвлекся. Целый день мы копались в этой грязи, стараясь выудить яйца неповрежденными, вымазались с ног до головы в мерзкой черной жиже, и вполне понятно, что я был зол как черт. Насколько мне было известно, это единственный случай, когда яйца удалось достать совершенно целыми, без единой трещинки. Я видел потом те, что хранятся в лондонском Музее естественной истории; все они надтреснутые, скорлупа склеена, как мозаика, и некоторых кусочков не хватает. А мои были безукоризненные, и я собирался по возвращении выдуть их. Не мудрено, что меня взяла досада, когда этот идиот погубил результат трехчасовой работы из-за какой-то сколопендры. Здóрово ему досталось от меня!

Человек со шрамом вынул из кармана глиняную трубку. Я положил перед ним свой кисет с табаком. Он задумчиво набил трубку.

— А другие яйца? Довезли вы их до Англии? Никак не могу припомнить...

— Вот это-то и есть самое необыкновенное в моей истории. У меня было еще три яйца. Абсолютно свежих. Мы положили их в лодку, а потом я пошел к палатке ва-

---

[1] Насколько известно, ни один европеец не видел живого эпиорниса, не считая сомнительных утверждений Мак-Эндрью, который побывал на Мадагаскаре в 1745 году. *(Прим. автора.)*

рить кофе; оба мои язычника остались на берегу: один возился, залечивая укус, другой ему помогал. Мне и в голову не могло прийти, что эти негодяи воспользуются случаем, чтобы устроить мне пакость. Видимо, один из них совсем одурел от яда сколопендры и от моей взбучки — он вообще был довольно строптивый — и подговорил другого.

Помню, я сидел, покуривая, кипятил воду на спиртовке, которую всегда брал с собой в экспедиции, и любовался болотом, освещенным заходящим солнцем. Болото все было в черных и кроваво-красных полосах — красота да и только! На горизонте виднелись подернутые серой дымкой холмы, над которыми небо полыхало, словно жерло печи. А в пятидесяти шагах от меня, за моей спиной, чертовы язычники, равнодушные ко всему этому безмятежному покою, сговаривались угнать лодку и бросить меня одного с трехдневным запасом провизии, холщовой палаткой и маленьким бочонком воды. И вдруг я услыхал, как они завопили; поглядел,— а они в своем каноэ (настоящей лодкой его и не назовешь) были уже шагах в двадцати от берега. Я сразу смекнул, в чем дело. Ружье у меня осталось в палатке, да и пуль вдобавок не было, одна только мелкая дробь. Негры это знали. Но у меня в кармане лежал еще маленький револьвер; я его вытащил на ходу, когда бежал к берегу.

«Назад!» — крикнул я, размахивая револьвером.

Они о чем-то залопотали между собой, и тот, который разбил яйцо, ухмыльнулся. Я прицелился в другого, потому что он был здоров и греб, но промазал. Они засмеялись. Однако я не считал себя побежденным. Нельзя терять хладнокровия, подумал я и выстрелил еще раз. Пуля прожужжала так близко от гребца, что он даже подскочил. Тут уж он не смеялся. В третий раз я попал ему в голову, и он полетел за борт вместе с веслом. Для револьверного выстрела недурно. От каноэ меня отделяло ярдов пятьдесят. Негр сразу скрылся под водой. Не знаю, застрелил я его или же он был просто оглушен и утонул. Я стал орать и требовать, чтобы второй негр вернулся, но он сжался в комок на дне челнока и не отвечал. Пришлось мне выпустить в него остальные заряды, но все мимо.

Должен вам признаться, что положение мое было

самое что ни на есть дурацкое. Я остался один на этом гиблом берегу, позади меня — болото, впереди — океан; после захода солнца стало холодно, а черную лодчонку неуклонно уносило течением. Ну и проклинал же я и до-усоновскую фирму, и джэмраховскую, и музеи, и все прочее! Я звал этого негра вернуться, пока не сорвал голос.

Мне не оставалось ничего другого, как поплыть за ним вдогонку, рискуя встретиться с акулами. Я раскрыл складной нож, взял его в зубы и разделся. Едва войдя в воду, я сразу потерял из виду каноэ, но плыл я, по-видимому, наперерез ему. Я надеялся, что негр, страдая от укуса, не сможет управлять рулем, так что лодка будет плыть все в том же направлении. Вскоре я снова ее увидел, примерно к юго-западу от себя. Закат уже потускнел, сгущались сумерки. На небе проглянули звезды. Я плыл, как заправский спортсмен, хотя ноги и руки у меня скоро заныли.

Все-таки я догнал каноэ, когда звезды усыпали все небо. Когда стемнело, в воде появилось множество каких-то светящихся точек, сами знаете, фосфоресценция. Порой у меня даже кружилась от нее голова. Я не мог разобрать, где звезды и где вода и как я плыву, вверх головой или вверх ногами. Каноэ было черное, как смола в аду, а рябь на воде под ним — как жидкое пламя. Я, конечно, побаивался лезть через борт. Надо было сначала выяснить, что будет делать этот негр. Видимо, он лежал, свернувшись клубком, на носу, а корма вся поднялась над водой. Лодка медленно вертелась, будто вальсировала. Я схватился за корму и потянул ее вниз, думая растормошить негра. Затем я взобрался в лодку с ножом в руке, готовый к броску. Но негр даже не шелохнулся. Так я и остался на корме маленького каноэ, а течение несло его в спокойный фосфоресцирующий океан; над головой были сплошные звезды, а я сидел и ждал, что будет дальше.

Много времени прошло, прежде чем я окликнул негра по имени. Но он не ответил. Я сам был до того измучен, что боялся к нему приблизиться. Так мы и плыли. Кажется, я раза два вздремнул. Когда рассвело, я увидел, что негр уже давно мертв, весь распух и посинел. Три яйца эпиорниса и кости лежали посредине челнока, в ногах у мертвеца — бочонок с водой, немного кофе и

сухарей, завернутых в номер кейптаунского «Аргуса», а под телом — жестянка с метиловым спиртом. Весла не было, и я не нашел ничего, чем его заменить, если не считать этой жестянки, и решил плыть по течению, пока меня не подберут. Осмотрев тело, я поставил диагноз: укус неизвестной змеи, скорпиона или сколопендры,— и выбросил негра за борт.

После этого я напился, поел сухарей, а затем осмотрелся вокруг. Когда человек ослабевает так, как я ослабел тогда, зрение у него, вероятно, притупляется; во всяком случае, я не видел не только Мадагаскара, но и вообще никакой земли. Я разглядел лишь удалявшийся к юго-западу парус, очевидно, это была какая-то шхуна. Но сама она так и не показалась. Наступило утро, солнце уже поднялось высоко в небе и начало меня припекать. Господи! У меня чуть мозги не сварились. Я пробовал окунать голову в воду, а потом мне попался на глаза номер «Аргуса»; я лег плашмя на дно и накрылся газетой. Замечательная вещь — газета! До того времени я ни одной не дочитал до конца, но, удивительное дело, когда человек остается один, он способен дойти бог весть до чего. Я перечел этот окаянный старый «Аргус», кажется, раз двадцать. Смола, которой было обмазано каноэ, дымилась от зноя и вздувалась большими пузырями.

Течение носило меня десять дней,— продолжал человек со шрамом.— Когда рассказываешь, выходит, будто это пустяк, верно? Но каждый день казался мне последним. Наблюдать за морем я мог только утром и вечером: такой был вокруг нестерпимый блеск. После первого паруса я три дня не видел ничего, а потом на судах, которые мне удавалось заметить, не видели меня. Примерно на шестой вечер меньше чем в полумиле от меня проплыл корабль; на нем ярко горели огни, иллюминаторы были открыты — весь он был точно огромный светляк. На палубе играла музыка. Я вскочил и долго вопил ему вслед... На второй день я продырявил одно из яиц эпиорниса, по кусочкам очистил его с одного конца от скорлупы и попробовал его; к счастью, оно оказалось съедобным. Оно оказалось с легким привкусом,— не испорчено было, нет, а просто напоминало утиное. На одной стороне желтка было круглое пятно, около шести

дюймов в диаметре, с кровяными прожилками и белым рубцом лесенкой; пятно показалось мне странным, но в то время я еще не понял, что оно значит, да и не мог быть особенно разборчивым. Яйца мне хватило на три дня, я ел его с сухарями и запивал водой из бочонка. Кроме того, я жевал кофейные зерна — как укрепляющее. Второе яйцо я разбил примерно на восьмой день и — испугался.

Человек со шрамом умолк.

— Да,— сказал он,— там был зародыш. Вам, вероятно, трудно этому поверить. Но я поверил, ведь я видел его собственными глазами. Это яйцо пролежало в холодной черной грязи лет триста. Тем не менее ошибиться было невозможно. Там оказался... как его?.. эмбрион, большеголовый, с выгнутой спиной; в нем билось сердце, желток весь ссохся, внутри скорлупы тянулись длинные перепонки, которые покрывали и желток. Получилось, что я, плавая в маленьком каноэ по Индийскому океану, высиживал яйца самой крупной из вымерших птиц. Если б старик Доусон это знал! Такое дело стоило жалованья за четыре года... Как по-вашему, а?

Но еще до того, как показался остров, мне пришлось съесть это сокровище, все до последнего кусочка, и черт знает, до чего это было противно! Третье яйцо я не трогал. Я просматривал его на свет, но при такой плотной скорлупе трудно было разобрать, что там внутри; и хотя мне казалось, будто я слышу, как пульсирует кровь, может быть, у меня просто шумело в ушах, как бывает, когда приложишь к уху морскую раковину.

Затем показался атолл. Он как бы всплыл из воды вместе с восходящим солнцем, неожиданно, совсем рядом. Меня несло прямо к нему, но когда до него осталось меньше полумили, течение вдруг свернуло в сторону, и мне пришлось грести изо всех сил руками и кусками скорлупы, чтобы попасть на острова. И все-таки я добрался. Это был самый обыкновенный атолл, около четырех миль в окружности; на нем росло несколько деревьев, бил родник, а лагуна так и кишела рыбой, главным образом губанами. Я отнес яйцо на берег, выбрав подходящее место,— достаточно далеко от воды и на солнце, чтобы создать для него самые благоприятные условия; затем вытащил на берег каноэ, целое и невредимое, и отпра-

вился осматривать остров. Удивительно, до чего тоскливы эти атоллы! Как только я нашел родник, у меня пропал всякий интерес к острову. В детстве мне казалось, что ничто не может быть лучше и увлекательнее, чем жить Робинзоном, но мой атолл был скучен, как сборник проповедей. Я ходил по нему в поисках чего-нибудь съедобного и предавался раздумью; но, уверяю вас, еще задолго до того, как кончился этот первый день, меня уже одолела тоска. А ведь мне очень повезло: едва я высадился на сушу, погода переменилась. По морю, с юга на север, пронесся шторм, краем захватив остров; ночью пошел проливной дождь и завыл ветер. Каноэ сразу перевернулось бы, уж это как пить дать.

Я спал под каноэ, а яйцо, к счастью, лежало в песке, в стороне от берега. Первое, что я тогда услыхал, был такой грохот, словно на днище обрушился град камней; меня всего обдало водой. Перед этим мне снилось Антананариво, я сел и стал звать Интоши, чтобы узнать у нее, какого черта там шумят, протянул было руку к стулу, на котором обычно лежали спички, и тут только вспомнил, где я. Фосфоресцирующие волны катились прямо на меня, словно хотели меня поглотить, кругом было темно, как в аду. В воздухе стоял сплошной рев. Тучи висели над самой моей головой, а дождь лил так, будто на небе началось наводнение и кто-то вычерпывал воду, выливая ее за край небосвода. Ко мне приближался огромный вал, извивающийся, как разъяренная змея, и я пустился бежать. Затем я вспомнил о лодке, и как только вода с шипением отхлынула, помчался к ней, но она уже исчезла. Тогда я решил посмотреть, цело ли яйцо, и ощупью добрался до него. Оно было в безопасности, самые бурные волны не могли докатиться туда; я уселся рядом с ним и обнял его, как друга. Ну и ночка это была, господи боже ты мой!

Шторм улегся еще до утра. Когда рассвело, от туч уже не оставалось ни клочка, а по всему берегу были разбросаны обломки досок, так сказать, останки моего каноэ. Но теперь мне хоть нашлась какая-то работа. Я выбрал два дерева, росших рядом, и соорудил между ними из остатков лодки нечто вроде шалаша для защиты от штормов. И в этот день вылупился птенец.

Вылупился, сэр, в то время, когда я спал, положив голову на яйцо, как на подушку! Я услыхал сильный стук, меня тряхнуло, и я сел,— конец яйца был пробит, и оттуда выглядывала забавная коричневая головка.

«Ну-ну! — сказал я.— Добро пожаловать!»

Птенец понатужился и вылез наружу.

На первых порах он оказался славным и дружелюбным малышом величиной с небольшую курицу, совсем как любой другой птенец, только покрупнее. Он был грязно-бурый, покрытый какими-то серыми струпьями, которые вскоре отвалились, открыв редкое оперение, пушистое, как мех. Трудно передать мою радость, когда я его увидел. Робинзон Крузо и тот не был так одинок, как я, уверяю вас. А тут у меня появился такой забавный товарищ. Птенец смотрел на меня и мигал, поднимая веки кверху, как курица, потом чирикнул и сразу принялся клевать песок, как будто вылупиться с опозданием на триста лет было для него сущей безделицей.

«Привет, Пятница!» — сказал я; еще в каноэ, увидев, что в яйце развивается зародыш, я решил: если птенец вылупится, он, конечно, будет назван Пятницей. Меня немножко беспокоило, чем я его буду кормить, и я дал ему кусок сырого губана. Он проглотил его и снова разинул клюв. Это меня обрадовало: ведь если бы он при подобных обстоятельствах оказался чересчур разборчив, мне пришлось бы в конце концов съесть его самого.

Вы не можете себе представить, каким занятным был этот птенец эпиорниса. С первого же дня он не отходил от меня ни на шаг. Обычно он стоял рядом и смотрел, как я ловлю рыбу в лагуне; я делился с ним всем, что мне удавалось выудить. И к тому же он был умницей. На берегу, в песке, попадались какие-то противные зеленые бородавчатые штучки, похожие на маринованные корнишоны; он попробовал проглотить одну из них, и ему стало худо. Больше он на них даже и не глядел.

И он рос. Рос чуть ли не на глазах. А так как я никогда не был особенно общительным, его спокойная, дружелюбная натура вполне устраивала меня. Почти два года мы были так счастливы, как только это возможно на необитаемом острове. Зная, что мне накапливается у Доусона жалованье, я отбросил прочь все деловые заботы. Иногда мы видели парус, однако ни одно

судно не приблизилось к нашему острову. Я развлекался тем, что украшал атолл узорами из морских ежей и всяких причудливых раковин и кругом по берегу выложил: «Остров Эпиорниса»,—очень аккуратно, большими буквами, как делают надписи из цветных камешков у нас на родине, возле железнодорожных станций; кроме того, я выложил математические вычисления и разные рисунки. Часто я лежал и смотрел, как моя птичка важно расхаживает около меня и все растет, растет; если я когда-нибудь выберусь отсюда, думал я, вполне можно будет заработать на жизнь, показывая эту птицу. После первой линьки она стала красивой: с хохолком, голубой бородкой и пышным зеленым хвостом. Я все ломал себе голову, имеют ли Доусоны право претендовать на нее или нет. Во время штормов или в период дождей мы лежали в уютном шалаше, построенном из остатков каноэ, и я рассказывал Пятнице всякие небылицы про своих друзей на родине. А после шторма мы вместе обходили остров, проверяя, не выкинул ли океан чего-нибудь на берег. Словом — идиллия. Если бы еще немного табачку, ну просто райская была бы жизнь.

Но к концу второго года что-то стало не ладиться в нашем маленьком раю. Пятница достиг тогда почти четырнадцати футов росту; у него была большая, широкая голова, по форме похожая на кирку, и огромные коричневые глаза с желтым ободком, посаженные не так, как у курицы, по разные стороны головы, а по-человечьи — близко друг к другу. Оперение у него было красивое: не темное, почти траурное, как у страусов, а скорее как у казуара. Он начал топорщить гребешок при виде меня и важничать, в общем, проявлять признаки скверного характера...

А однажды, когда рыбная ловля оказалась довольно неудачной, моя птица стала ходить вокруг меня в какой-то странной задумчивости. Я решил, что, может быть, она наелась морских огурцов или еще чего-нибудь, но, как оказалось, она просто показывала мне свое недовольство. Я тоже был голоден и, когда наконец вытащил рыбу, хотел съесть ее сам. В то утро мы оба были не в духе. Эпиорнис схватил рыбу, а я стал гнать его прочь и стукнул по голове. Тут он и накинулся на меня. О боже!..

Эта птица клюнула меня в лицо.— Он показал на свой шрам.— А потом стала лягаться. Прямо как ломовая лошадь! Я вскочил и, видя, что она не унимается, побежал что есть мочи, прикрыв обеими руками лицо. Но проклятая птица, несмотря на неуклюжие ноги, мчалась быстрей скакуна и все лягала меня и долбила своей киркой по затылку. Я бросился к лагуне и забрался в воду по самую шею. Птица остановилась на берегу, потому что не любила мочить лапы, и стала кричать пронзительно, как павлин, только более хрипло, а потом принялась расхаживать взад-вперед по берегу. Сказать по правде, довольно-таки унизительно было видеть, как это ископаемое сделалось хозяином положения. Голова и лицо у меня были в крови, а тело— тело сплошь покрылось синяками.

Я решил переплыть лагуну и на время оставить птицу одну, чтобы она утихомирилась. Там я залез на самую высокую пальму и стал все это обдумывать. Кажется, в жизни я не был еще так оскорблен. Какая черная неблагодарность! Я был для нее ближе родного брата. Высидел ее, воспитал. Этакую большую, неуклюжую, допотопную птицу! Я, человек, царь природы и все такое.

Я думал, что через некоторое время она сама это поймет и устыдится. Думал, что, если мне удастся наловить вкусных рыбок и я как бы случайно подойду и угощу ее, она образумится. Я не сразу понял, какой мстительной и сварливой может быть птица вымершей породы. Воплощенное коварство!

Не буду рассказывать обо всех уловках, которые я применял, чтобы снова усмирить птицу. Это свыше моих сил: даже теперь я сгораю со стыда, когда вспоминаю, как пренебрежительно обращалась со мной эта музейная диковинка и как она избивала меня! Я пробовал применить силу и стал бросать в нее с безопасного расстояния обломками кораллов, но она только проглатывала их. Потом я метнул в нее раскрытый нож и чуть не распростился с ним, хотя он был слишком велик, чтобы она могла его проглотить. Пытался я взять ее измором и перестал удить рыбу, но она научилась отыскивать на берегу после отлива червяков, и ей этого хватало. Добрую половину суток я проводил, стоя по шею в лагуне, а другую половину — наверху, на пальмах. Однажды

пальма оказалась не очень высокой, и когда птица настигла меня там, ох и полакомилась она моими икрами! Положение стало совершенно невыносимым. Пробовали вы когда-нибудь спать на пальме? Меня мучили ужаснейшие кошмары. И к тому же какой позор! Эта вымершая тварь бродит по моему острову с надутым видом, словно герцогиня, а я не имею права ступить ногой на землю. Я даже плакал от усталости и досады. Я прямо заявил ей, что не позволю какому-то дурацкому анахронизму гоняться за мной по пустынному острову. Пускай разыскивает какого-нибудь мореплавателя своей собственной эпохи и клюет его, сколько вздумается. Но она только щелкала клювом, завидя меня. Этакая огромная уродина, одни ноги да шея!

Сколько все это тянулось, даже не хочется говорить. Я убил бы ее раньше, но не знал способа. В конце концов я все же сообразил, как мне ее прикончить. Так ловят птиц в Южной Америке. Я сплел свои рыболовные лесы с водорослями и лианами и сделал крепкий канат ярдов в двенадцать длиной или даже больше, а к обоим концам привязал по большому коралловому обломку. На это ушло довольно много времени, потому что постоянно приходилось то лезть в лагуну, то забираться на дерево — смотря по обстоятельствам. Наконец я раскрутил этот канат над головой и запустил им в птицу. Сначала я промахнулся, но во второй раз канат обвился вокруг ее ног. Она упала. Канат я бросил, стоя по пояс в лагуне, а как только птица свалилась на землю, выскочил из воды и перепилил ей горло ножом...

Мне даже теперь неприятно об этом вспоминать. А в ту минуту я чувствовал себя убийцей, хотя так и кипел от злости. Я стоял над ней и видел, как кровь течет на белый песок, как ее сильные длинные ноги и шея дергаются в агонии. Ах, да что говорить!..

После этой трагедии одиночество, как проклятие, нависло надо мной. Боже мой, вы даже представить себе не можете, как мне не хватало этой птицы! Я сидел около ее трупа и горевал; меня пробирала дрожь, когда я оглядывал свой унылый атолл, на котором царило безмолвие. Я вспоминал, каким славным птенцом был этот эпиорнис, когда вылупился, и какие симпатичные, забавные повадки были у него, пока он не озлобился. Кто зна-

ет, если б я его только ранил, я, вероятно, сумел бы его выходить и привить ему дружеские чувства. Будь у меня какой-нибудь инструмент, чтобы выдолбить яму в коралловом атолле, я похоронил бы эпиорниса. Мне казалось, что я расстался с человеком, а не с птицей. Съесть ее я, конечно, не мог бы, и поэтому опустил в лагуну, где рыбки начисто ее обглодали. Я даже не оставил себе перьев. А потом какому-то типу, путешествовавшему на яхте, в один прекрасный день вздумалось поглядеть, существует ли еще мой атолл.

Он явился как раз вовремя, потому что мне стало так тошно на пустынном острове, что я уже раздумывал, не зайти ли мне просто подальше в море и там покончить со всеми земными делами или поесть этих зеленых штучек...

Я продал кости человеку по фамилии Уинслоу, торговавшему поблизости от Британского музея, а он, по его словам, перепродал их старику Хэверсу. Хэверс, видимо, не знал, что они превосходят по своим размерам все, что было до сих пор найдено. Поэтому они привлекли к себе внимание только после его смерти. Птицу назвали... эпиорнис... как это дальше, вы не помните?

— Aepyornis vastus,— подсказал я.— Забавное совпадение: ведь именно об этих костях упоминал один мой приятель. Когда был найден скелет эпиорниса с берцовой костью длиной в ярд, считалось, что это уже предел, и его назвали Aepyornis maximus. Потом кто-то раздобыл другую берцовую кость в четыре фута шесть дюймов или больше, и та птица получила название Aepyornis titan. Затем, после смерти старика Хэверса, в его коллекции нашли ваш vastus, а потом нашелся vastissimus.

— Уинслоу так и говорил мне,— сказал человек со шрамом.— Если найдутся еще новые эпиорнисы, он думает, что какую-нибудь ученую шишку хватит удар. А все-таки странные истории случаются с людьми, правда?

1895

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Индекс 70665.

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том I.

Редактор тома В. Хинкис.

Иллюстрации художника
Н. Гришина.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 20/V 1964 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 961. Зак. 708. Форм. бум. $84 \times 108^{1}/_{32}$.
Физ. печ. л. 14,5 + 5 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 24,29. Уч.-изд. л. 26,16.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.